

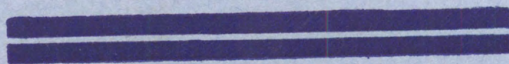
10

НОВОБЫИ МИР

1975

НОВОБЫИ
МИР

10



1975



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 10

Октябрь, 1975 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. ЯГОДКИН — Идеология, политика и литературно-художественное творчество	3
—————	
МИХАИЛ БЕЛЯЕВ — Похвала мастеру красного дерева, стихи	27
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Кладбище в Скулянах	30
ЮБАН ШЕСТАЛОВ — Сказка в синий полдень, поэма. Перевел с манси автор	180
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
АНАТОЛИИ КОНГРО — Земля-мать	189
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
АВЕТИК ИСААКЯН — Мысли о жизни и искусстве. Из записных книжек. Перевела с армянского С. Хитарова. Вступление, подготовка текста и примечания Авикиа Исаакяна	215
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>К 80-летию со дня рождения Сергея Есенина</i>	
В. ПЕРЦОВ — Есенин в современности	227
—————	
П. БАЛАШОВ — Путь художника	242

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Леонид Новиченко. Слыша этот звон... — Сурен Гайсарьян. С нежной любовью. — И. Роднянская. Прибавление к объему. — М. Домогацких. Новая встреча с Цюй Цю-бо.	253
<i>Политика и наука</i>	
С. Троицкий. Биография советской столицы. — Б. Кузнецов. Мысль и внутренний диалог. — И. Дрейцер. Искусство синтеза. — Ю. Курсков. Культура Сибири за два века.	267
КОРОТКО О КНИГАХ — Ибрагим Усмонов. — Садриддин Айни. Собрание сочинений в шести томах. ✦ Ю. Борисов. — А. С. Бушмин. Преемственность в развитии литературы. ✦ Ю. Скворцов. — А. Нежный. Дни счастливых открытий. ✦ Ан. Пирожков. — На суше и на море. Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. ✦ В. Левин. — Г. Б. Федоров, Г. Ф. Чеботаренко. Памятники древних славян (VI—XIII вв.)	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

В. ЯГОДКИН,
секретарь Московского городского комитета КПСС



ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Год 1975 войдет в историю как год, насыщенный выдающимися политическими событиями, центральным из которых было празднование тридцатилетия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победа над фашизмом имела всемирно-историческое значение, оказала глубочайшее воздействие на весь ход мирового развития. Она убедительно продемонстрировала великую жизненную силу социализма, явилась торжеством советского общественного и государственного строя, социалистической экономики, идеологии марксизма-ленинизма, морально-политического единства советского общества, братской дружбы и патриотических традиций народов СССР.

В бессмертном подвиге советского народа воедино слились величайшее мужество воинов, партизан и участников подполья, беспредельная самоотверженность тружеников тыла — рабочих, колхозников, интеллигенции, ковавших оружие для победы.

Выдающиеся свершения советского народа, руководящая и направляющая деятельность Коммунистической партии всесторонне, глубоко и ярко показаны в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева на торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном тридцатилетию нашей победы. Они вызывают у каждого советского человека чувство гордости за достигнутое, горячей благодарности партии за то, что она в исключительно трудных условиях сумела мобилизовать на разгром врага все силы народа и привести его к победе.

Залечив раны, нанесенные войной, Страна Советов за послевоенный период далеко шагнула вперед, неизмеримо приумножилась ее мощь, вырос экономический и научно-технический потенциал. Преобразился ее облик. Стала богаче и краше жизнь советских людей.

Если вдуматься в значение перемен, которые произошли в мире, осмыслить их направленность, то нельзя не прийти к выводу, что у истоков этих перемен стоит наша великая социалистическая родина. Вот уже тридцать лет в результате мудрого внешнеполитического курса ленинской партии наш народ живет и трудится в условиях мира. Последовательное проведение в жизнь политического курса, определенного XXIV съездом КПСС, Программы мира обеспечивает Советскому Союзу и братским социалистическим странам необходимые внешние условия для дальнейшего продвижения по пути построения социализма и коммунизма.

Ярким подтверждением этого явилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое положило начало новому этапу разрядки напряженности, явилось важным шагом на пути закрепления принципов мирного сосуществования и налаживания отношений равноправного сотрудничества между государствами с различным общественным строем.

Главный политический итог проведенной после XXIV съезда КПСС работы, как подчеркнул декабрьский (1974) Пленум ЦК КПСС, состоит в том, что в стране обеспечено динамичное развитие народного хозяйства в целом, сделан большой шаг вперед в создании материально-технической базы коммунизма.

Достойный вклад в осуществление задач девятой пятилетки вносят трудящиеся Москвы. Напряженно трудятся они и в последнем, завершающем году пятилетки.

В принятых социалистических обязательствах москвичей предусмотрено государственными планом на 1975 год по объему реализации продукции и выпуску важнейших видов изделий выполнить 26 декабря, завершить пятилетку к 1 декабря 1975 года. Прирост выпуска продукции в текущем году и за пятилетие будет в основном получен за счет повышения производительности труда.

Партийные организации Москвы направляют свои усилия в области идейно-воспитательной работы на то, чтобы идеологически обеспечить успешное выполнение заданий 1975 года и пятилетки в целом.

Как известно, трудящиеся Москвы досрочно, 19 августа 1975 года, выполнили пятилетний план по общему объему производства промышленной продукции. Выпуск ее увеличился на 37,6 процента против 34,1 процента по пятилетнему плану.

Новым стимулом дальнейшего роста инициативы и творчества москвичей явилось постановление ЦК КПСС «О социалистическом соревновании за достойную встречу XXV съезда КПСС».

В трудовых коллективах Москвы возникло много ценных патристических починов и начинаний, широко развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу исторического события в жизни партии и советского народа — XXV съезда КПСС.

В могучий поток славных дел москвичей, успешно осуществляющих величественную программу коммунистического строительства, начертанную XXIV съездом КПСС, весомый вклад вносят деятели литературы и искусства.

Строительство коммунизма в нашей стране органически связано с созданием его материально-технической базы и всесторонним развитием самих людей. Неизмеримо возрастает в современных условиях роль литературы и искусства в воспитании советского человека. Лучшие произведения в высокохудожественной форме раскрывают его героический труд, идейную убежденность, служат воспитанию подлинного патриотизма и интернационализма.

В поле зрения писателей, художников, работников театра, кино находятся актуальные проблемы внешней политики нашей партии, успехи коммунистического строительства в стране.

Москва является крупнейшим культурным и художественным центром нашей страны, общепризнанным центром литературной, музыкальной, театральной жизни, выставочной и концертной деятельности. Здесь ежегодно происходят важные общесоюзные и международные события — съезды и конференции творческих союзов, музыкальные конкурсы, выставки, кинофестивали и т. д. Можно без преувеличения сказать — многие творческие коллективы столицы демонстрируют высшие достижения советского искусства.

Вопросы деятельности учреждений культуры, жизни творческих союзов, вопросы развития литературы и искусства находятся всегда в центре внимания Московской городской партийной организации, Московского городского комитета КПСС. При этом нам приходится иметь в виду специфические условия, сложившиеся в этой области идеологической работы в Москве. К ним нужно отнести прежде всего большую концентрацию творческих сил работников и учреждений культуры в столице (более 80 тысяч творческих работников, среди которых свыше 15 тысяч коммунистов). Достаточно сказать, что здесь трудится половина всех членов Союза кинематографистов, более четвертой части писателей, художников и композиторов нашей страны.

Масштаб и значение деятельности, осуществляемой творческими коллективами, организациями и учреждениями культуры, возлагают на них особую ответственность за идейно-художественный и организационный уровень проводимой работы, а также в значительной степени и за то, как и какими путями развивается и будет развиваться искусство у нас в стране.

Постоянно руководствуясь ленинским положением о том, что литература и искусство являются частью общепартийного дела, Московский городской комитет партии относится к каждому значительному событию в художественной жизни города как к событию политического и идеологического значения.

Свое вдохновение писатели, художники, композиторы, работники творческих учреждений столицы черпают из жизни, из окрыляющих, зовущих к новым свершениям решений партии и правительства. КПСС делает все, чтобы их труд был наиболее плодотворным, удовлетворял все возрастающие эстетические запросы народа. Направляющим, испытанным компасом, ведущим к созданию высококачественных произведений, к успехам в творчестве были и остаются бессмертные идеи марксизма-ленинизма. Этими идеями озарен весь путь развития многонациональной советской литературы и искусства. М. Горький, В. Маяковский, А. Фадеев, М. Шолохов, Л. Леонов, Я. Колас, К. Федин, Д. Шостакович, Б. Иогансон и другие классики советской литературы и искусства сверяли и сверяют целенаправленность своих произведений по единственному правильному, единственно точному учению — учению Маркса — Ленина. Это тот самый неисчерпаемый светлый источник, который питает и будет постоянно питать могучее древо литературы и искусства, благодаря чему наши литература и искусство занимают прочное, ведущее место в мире.

Советская литература и искусство всегда были сильны тем, что чутко отображали главные тенденции в развитии общества, вскрывали смысл важнейших событий в жизни партии и народа, исходя из ленинского указания о том, что нужна «не выдумка новой пролеткультуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения мирозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»¹. И сейчас деятели литературы и искусства сосредоточивают главное внимание на том, чтобы глубоко отобразить в художественных произведениях особенности современного этапа коммунистического строительства, ведущую роль рабочего класса в этом строительстве, художественно исследовать социальные, нравственно-психологические проблемы, порождаемые научно-технической революцией, крупным планом показать героев наших дней.

Время и жизнь доказали, что наибольший успех, популярность среди народов нашей страны выпали на долю книг, кинокартин, спектаклей,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 462.

полотен живописи, музыкальных произведений, в которых торжествует идейная сила убеждения, дух революционной борьбы за освобождение от эксплуатации, насилия и зла.

Душой творческого метода советского художника была и есть коммунистическая партийность. Этот принцип, как известно, несколько не противоречит свободе художественного творчества, напротив — является его выражением.

«Боевая роль советской литературы и искусства в мировом процессе развития художественной культуры определяется прежде всего зарядом коммунистической идейности и партийности, который присущ лучшим произведениям наших художников», — сказал М. Шолохов на XXIV съезде партии.

В вопросах художественного творчества партия принципиально и последовательно исходит из того, что конкретные особенности этапов коммунистического строительства ставят перед литературой и искусством конкретные задачи, решение которых является общенародным, общепартийным делом. XXIV съезд КПСС ясно и четко указал на «возрастающую роль литературы и искусства в создании духовного богатства социалистического общества».

Что это означает конкретно? Это означает, что наша литература, искусство должны активно помогать партии воспитывать глубокую преданность идеям Ленина. «В конечном счете решающей предпосылкой нашего продвижения вперед во всех направлениях, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа Москвы 13 июня с. г., — является именно рост идейной убежденности, политической сознательности трудящихся.

Быть идейным — это значит осознать свой труд как частицу великого общего дела — строительства коммунизма, приучиться сознавать и чувствовать, как, говоря словами поэта, «мой труд вливается в труд моей республики».

Это значит быть непримиримым к эгоизму и косности, к расхлябанности и разгильдяйству, к обывательскому равнодушию и рвачеству.

Это значит требовать от себя и от других строжайшего соблюдения дисциплины труда, работать с огоньком, инициативно, с полной отдачей сил.

Это значит горячо любить свою великую социалистическую Родину и отдавать себе отчет в том, что наши успехи — это вклад в общее дело борьбы всех народов за прочный мир, за свободу, за социализм».

Отсюда большая и ответственная задача литературы и искусства, специфика и сила которых как средства воспитания состоит именно в том, что они воздействуют на разум и чувства человека, затрагивают эмоциональную сферу его деятельности, проникают, по словам Маяковского, в такие участки мозга и сердца, куда никаким другим путем не доберешься.

Главное, что определяет успех или неуспех произведения, — и д е й н а я п о з и ц и я х у д о ж н и к а. Имеется в виду, конечно, художник, обладающий высоким профессиональным мастерством, талантом, художник, понимающий, что основой основ подлинного творения является результат его воздействия на человека, на его духовный мир, на его политический кругозор.

Формирование духовной культуры, духовной жизни советского человека следует рассматривать как процесс социальный, в неразрывной связи с такими явлениями, как построение развитого социализма в СССР, возникновение в СССР новой исторической общности людей, именуемой советский народ, как проходящая в стране научно-техническая революция, и, наконец, с учетом острой борьбы в сфере идеологии, в ко-

торой нет и не может быть мирного сосуществования между социализмом и капитализмом. В конечном счете наша борьба за формирование мировоззрения человека есть не что иное, как борьба за коммунизм. «Великое дело — строительства коммунизма, — отметил на XXIV съезде партии Л. И. Брежнев, — невозможно двигать вперед без всестороннего развития самого человека. Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как невозможен он и без соответствующей материально-технической базы».

Вот почему партия неустанно заботится об идейном содержании всех видов художественного творчества — литературы, театра, кино, живописи, музыки. Вот почему, руководствуясь марксистско-ленинскими положениями о партийности литературы и искусства, она выдвигает принципы целенаправленного воздействия на развитие литературно-художественного творчества.

Перед искусством и литературой сегодня как никогда остро стоят вопросы глубокого творческого поиска, развития творческой индивидуальности художника, необходимости разнообразия форм и стилей, выработанных на основе метода социалистического реализма.

Реалистическое воспроизведение действительности, ее отражение в революционном развитии, партийность, народность, историзм, социалистический гуманизм в своей совокупности дают художнику неограниченные возможности широко отображать сегодняшнюю действительность в ее диалектическом развитии, показывая все то новое, светлое, что рождено советским строем, и осуждая негативное, отрицательное, с которым литература и искусство социалистического реализма ведут активную борьбу. Только этот испытанный временем метод, неразрывно связанный с марксистско-ленинским мировоззрением, позволяет художнику подняться в своем творчестве до высочайших вершин, вдохновенно, ярко, поэтично воспеть героика коммунистического строительства.

Оптимизм советской литературы и искусства есть эстетическое отражение исторического оптимизма нашего общества. «Мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного неистовства»². Наш оптимизм — это оптимизм, вызванный сознанием правоты великого ленинского учения и дела, силы и красоты социалистического труда, уверенности в исторической значимости свершений нашего народа.

В современных условиях острой идеологической борьбы между социализмом и капитализмом ни один художник не может быть безразличным, нейтральным к политике, к задачам коммунистического воспитания народа. Мы должны всегда иметь в виду, что борьба — понятие не отжившее, не отвлеченное. Это понятие выражает столкновение марксистско-ленинских взглядов на политику, на проблемы развития нашей страны, на проблемы развития мирового социализма, а значит, и на проблемы развития литературы и искусства с чуждыми нам буржуазными, ревизионистскими, право- и левооппортунистическими взглядами. Эта борьба бескомпромиссная, непримиримая.

В борьбе за проведение принципа коммунистической партийности в жизнь, как и в любой открытой борьбе, не бывает легких побед. Сошлюсь на высказывание известного литературоведа А. Дымшица, который писал: «Открытая партийность писателя определяет его место в обществе, его социальную ответственность, — она нередко приносит ему нема-

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 478.

ло переживаний самого разного свойства. Самоопределяясь на линии идеологического боя, писатель, стоящий на позициях партийности, не может рассчитывать на пощаду со стороны врагов, но зато ему обеспечены любовь и уважение масс, народное признание и народная признательность. Открытая партийность художника открывает перед ним путь, полный испытаний, ибо он есть путь классовой борьбы, идеологических, политических, эстетических битв». Наша творческая интеллигенция — активный участник этих битв. Советский народ ждет от нее таких произведений, в которых бы правдиво отображалась советская действительность на всех этапах развития социалистического государства, с большой художественной силой утверждались коммунистические идеалы.

Борьба за утверждение этих идей является практической реализацией мировоззренческой позиции творческого работника.

Только партийно-классовая точка зрения, только конкретно-исторический подход к явлениям дает возможность художнику раскрыть подлинное содержание повседневных дел советского человека, найти нужные, действенные формы и средства для правдивого отображения богатства и многогранности жизни советских людей.

* * *

Московская городская партийная организация проводит большую работу, направляя деятельность творческих союзов, коллективов, организаций и учреждений культуры столицы на выполнение решений XXIV съезда КПСС и XXI городской партийной конференции, на создание произведений, способствующих воспитанию коммунистического отношения к труду, чувства советского патриотизма и пролетарского интернационализма, непримиримости к буржуазной идеологии, высокой гражданской ответственности.

Деятели литературы и искусства Москвы активно участвуют в решении этих важнейших задач, стоящих перед советской творческой интеллигенцией. Большая работа проводится творческой интеллигенцией столицы по осуществлению поставленной на XXIV съезде партии задачи — превратить Москву в образцовый коммунистический город.

За последнее время московскими писателями создано значительное число произведений о нашей социалистической современности, произведений, проникнутых гражданским пафосом, чувством советского патриотизма и пролетарского интернационализма, созданы десятки хороших книг, являющихся несомненным вкладом в литературную ленинскую, раскрывающих величие победы Октябрьской революции.

Наиболее значительные из этих произведений получили всенародное признание. Ленинская премия присуждена М. Шагинян за произведения о В. И. Ленине, А. Барто за книгу стихов для детей, Ю. Бондареву за сценарий киноэпопеи «Освобождение», К. Симонову за трилогию «Живые и мертвые», М. Храпченко за книгу «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы».

Многие московские писатели стали лауреатами Государственных премий СССР и РСФСР. Среди них прозаики В. Кожевников, А. Иванов, М. Прилежаева, поэты Л. Татьяничева, С. Васильев, М. Луконин, драматурги А. Салынский и А. Софронов, критики и литературоведы А. Метченко, В. Прицов и другие.

Созданы произведения, которые составляют художественную летопись революционного преобразования страны в годы первых пятилеток, книги, посвященные великому подвигу народа в Отечественной войне и отразившие славные свершения советских людей в наши дни. Среди них «Блокада» А. Чаковского, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Судьба» П. Проскурина, «Война» И. Стаднюка, «Ивушка неплакучая» (2-я кни-

га) М. Алексеева, «В полдень на солнечной стороне» В. Кожевникова. Вольнолюбивый дух нашего народа раскрывают произведения, посвященные его героическому прошлому: роман Г. Маркова «Сибирь», поэма С. Наровчатова «Василий Буслаев», роман В. Шукшина «Я пришел дать вам волю» и другие.

Писатели столицы постоянно работают над произведениями о Москве и москвичах. В издательстве «Московский рабочий» только за последнее время выпущены коллективные сборники «У нас на Пресне», «Московские страницы», «Радуга трех гор». Высокую оценку у читателей получили сборники о рабочем классе «Будни и праздники», «Письма с заводов и строек».

Значительная работа по созданию высокохудожественных постановок проделана московскими театрами. Основное место в их репертуаре заняли спектакли, в которых правдиво отображается наша советская действительность, идейно-политическое единство и сплоченность народов СССР, их интернационализм и патриотизм.

В 1973—1974 годы московскими театрами создано 189 новых спектаклей, из которых 115 — на современную тему. Репертуар театров стал разнообразнее по тематике, основное место в нем занимают произведения советских авторов, воплощающих на сцене современную жизнь советских людей — строителей коммунизма. Из новых спектаклей, обогативших репертуар московских театров, следует отметить «Драматическую песню» (Театр имени Пушкина), «Сталеваров» (МХАТ), «Дендильской» (Театр имени Вахтангова), «Автоград—XXI» (Театр имени Ленинского комсомола), «Молодую гвардию» (Центральный детский театр), «Дарю тебе жизнь» (Театр имени Ермоловой), «Судьбу человека» (Театр имени Пушкина), «Горячий снег» (Театр имени Гоголя) и другие.

Традиционными стали в Москве фестивали театрального искусства, недели изобразительного искусства, праздники песни, дни кино и эстрады. Ежегодно проводятся фестивали: «Московская театральная весна», «Русская зима», «Московские звезды».

Немалых достижений добились московские кинематографисты. На экраны вышли такие значительные художественные фильмы, как киноэпопея «Освобождение», «Угрошение огня», «Сибирячка», «Горячий снег», «А зори здесь тихие...», «Они сражались за Родину» и другие. Созданы десятки интересных документальных и научно-популярных фильмов. К ним прежде всего относятся «Я — гражданин Советского Союза», «Отчизна», «Единство», «Тревожная хроника», «Орбита интеркосмоса». На Центральной студии документальных фильмов с 1972 года регулярно выходят номера кинообозрения «Москва», в котором отражается многосторонняя деятельность трудящихся столицы, претворяющих в жизнь решения XXIV съезда партии.

За период после XXIV съезда КПСС композиторами Москвы создано свыше 500 музыкальных сочинений. Многие из них получили широкое признание и прочно вошли в репертуар концертных коллективов. Как крупные события в музыкальной жизни столицы были встречены 15-я симфония, 14-й и 15-й квартеты и вокальный цикл «Верность» недавно ушедшего от нас великого композитора нашего времени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Высокую оценку общественности получили 2-й фортепианный концерт и 3-я симфония Т. Хренникова, вторая редакция оперы «Кола Брюньон» Д. Кабалевского, 2-й фортепианный концерт А. Эшпая, концерт для оркестра А. Пахмутовой, оратории «Бессмертие» А. Флерковского и «Дело Ленина бессмертно» Б. Александрова, симфония А. Холминова, вокально-хоровая сюита «Приокские рассказы» С. Туликова, музыка композитора Е. Овчинникова к кинофильму «Они сражались за Родину» и другие.

В соответствии с решением пленума правления Московской композиторской организации «Композиторы Москвы — трудящимся столицы» столичные композиторы сейчас активно работают над произведениями, посвященными родному городу.

Плодотворно работают и московские художники. Об этом свидетельствует их активное участие во многих больших и ответственных смотрах изобразительного искусства, в том числе в выставке «Московские художники — 50-летию образования СССР», «Наша Родина», выставке «Московские художники — 30-летию Великой Победы» и других. Значительная работа осуществляется художниками-монументалистами. Среди этих работ хотелось бы отметить создание памятников Л. Толстому, А. Фадееву, М. Кутузову, а также монументальных росписей, украсивших столицу.

Одним словом, можно смело сказать, что лучшие произведения литературы и искусства творческих работников — москвичей еще и еще раз демонстрируют великую жизненную силу ленинских идей партийности, народности, неувядаемую силу метода социалистического реализма.

Как знак всенародного признания явилось недавнее присуждение звания Героя Социалистического Труда актерам театра Гоголевой Е. Н., Завадскому Ю. А., Жарову М. И., Ильинскому И. В., Цареву М. И., Улановой Г. С., композиторам Хренникову Т. Н., Хачатуряну А. И., Кабалевскому Д. Б., писателям Грибачеву Н. М., Полевому Б. Н., Катаеву В. П., Кожевникову В. М., Симонову К. М., Маркову Г. М., Михалкову С. В., Чаковскому А. Б., кинорежиссерам Александрову Г. В., Райзману Ю. Я., Герасимову С. А., Юткевичу С. И.

Отмечая значительные творческие достижения деятелей литературы и искусства Москвы, большую и плодотворную работу, которую проводят партийные организации творческих союзов и учреждений культуры, нельзя не видеть и недостатков в деятельности этих организаций и нерешенных проблем.

К сожалению, идейно-художественный уровень некоторых новых произведений литературы и искусства далеко не всегда отвечает высоким духовным запросам нашего народа. Произведениям на современную тему порой не хватает боевитости и партийной целеустремленности. Глубокое осмысление жизни в ряде случаев подменяется поверхностным изображением происходящих процессов.

Некоторые партийные организации не предъявляют еще должной взыскательности к коммунистам, творческим работникам за идейно-художественный уровень создаваемых и исполняемых произведений. Это делает возможным появление слабых в идейно-художественном отношении спектаклей, концертных программ, кинофильмов, книг, которые несут вред эстетическому воспитанию трудящихся.

Было бы неправильно закрывать глаза и на отдельные недостатки, встречающиеся там, где ясность и четкость идейных позиций литературы и искусства некоторые творческие работники подменяют чем-то аморфным, расплывчатым, как туман.

Известно, что репертуар, тематический план определяет политическое лицо каждого театра, киностудии. И оттого, насколько ответственно, насколько требовательно подходят руководство, партийная организация к формированию репертуара, зависит в конечном итоге вклад целого творческого коллектива в нашу общую воспитательную работу.

В некоторых произведениях театра и кино осуществляется, в частности, попытка интерпретировать отдельные проблемы развития нашего общества, не определяя, казалось бы, отношения к ним самого автора и тем самым как бы предоставляя зрителю возможность выбрать один из подсказываемых вариантов. Но подобный «чистый объ-

ективизм» по пословице «я не я и хата не моя» на деле обращивается тем самым «подтекстом», который все понимают, хотя автор формально остается в стороне. Страусовая политика никогда не делала чести советскому художнику, сознающему свою ответственность за судьбу родины.

В последнее время много говорится об отставании драматургии от современных задач, от требований сегодняшнего дня. Хотелось бы в связи с этим сказать о важности сохранения и развития тех традиций московских театров, когда прекрасные спектакли создавались и создаются в тесном содружестве с драматургами. Опыт подсказывает, что талантливое сценическое произведение, ставящее серьезные проблемы нашей жизни и увлекающее зрителей, рождается только при заинтересованном соучастии и активной работе театра с драматургом.

Двойственное, противоречивое впечатление на зрителей производили некоторые выставки московских художников. Видимо, их организаторы руководствовались принципом — показывать все, что предложат сами художники, не предъявляя высоких требований ни к идейно-художественному уровню работ, ни к их тематической направленности. Такая мнимо «объективистская» позиция организаторов выставок приводит к эклектике, к тому, что добротные реалистические произведения «сосуществуют» с грубыми формалистическими и натуралистическими поделками, с кричащими, претендующими на дешевый эффект вещами.

На выставках тематических картин слабо представлены темы труда, многогранной жизни советского народа.

Если говорить об отдельных случаях искаженного восприятия и ошибочного отражения действительности в художественных произведениях, то причина, видимо, заключается в том, что некоторая часть творческих работников слабо связана с жизнью, видит какую-то частицу целого, а не все многообразие и сложность происходящих процессов, болезненно реагирует порой на те или иные события, дает им субъективистски-ограниченное толкование. А как известно, одно и то же событие может иметь совершенно разное толкование, зависящее от идейной позиции художника. Вот так и получилось: Герберт Уэллс в революционной России увидел Россию во мгле, Джон Рид — десять дней, которые потрясли мир. Разные позиции — разное видение мира.

Владимир Ильич Ленин конкретно и образно проиллюстрировал сущность «внеклассового» и классового подхода к оценке общественных явлений. Он пишет, что в первом случае «размагниченный мелкобуржуазный интеллигент хныкает, плачется, теряется перед любым проявлением безобразия и зла, лишается самообладания, повторяет любую сплетню, пыжится говорить нечто несвязное о «системе».

Пролетарий, — пишет далее В. И. Ленин, — (не по бывшей своей профессии, а по действительной своей классовой роли), видя зло, берется деловым образом за борьбу: поддерживает открыто и официально кандидатуру хорошего работника Ивана, предлагает сменить плохого Петра, возбуждает дело — и ведет его энергично, твердо, до конца — против проходимца Сидора, против протекционистской выходки Тита, против преступнейшей сделки Мирона, вырабатывает... деловые, практические предложения...»

И заканчивает: «Вот такие пролетарии никогда не дойдут до классовой роли размагниченного мелкобуржуазного интеллигента, беспомощно мечущегося, пасующего перед сплетней, называющего обрывки сплетен «системой»³.

Идейная направленность художественного творчества приобретает особое значение в условиях ожесточенной борьбы двух идеологий. Литература и искусство — важнейшие участки этой борьбы. Вот почему

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 228.

городская партийная организация всемерно повышает роль партийных организаций творческих союзов, учреждений культуры и искусства, стремится к тому, чтобы создать в коллективах атмосферу высокой партийной взыскательности к творческим работникам, критики и самокритики, непримиримости к идейным срывам и ошибкам.

* * *

Выше уже говорилось, что залогом творческого успеха, источником вдохновения является марксистско-ленинское мировоззрение художника, его идейная закалка, преданность своему народу, его идеалам. Это и понятно. У политически развитого человека, активного участника общественной, государственной жизни неизмеримо шире кругозор, глубже взгляды на жизнь, ее развитие и вместе с тем прочнее творческие позиции. Созданное им произведение, как правило, несет большой художественный и идейно-политический смысл, приобретает весомое общественное звучание. И наоборот, чем уже идейный кругозор творческого работника, чем больше оторван он от жизни своего общества, от дел, свершаемых его народом, тем ниже и качество того или иного творения, тем больше шансов скатиться на мелкотемье, а не то и вовсе на обывательщину.

Следовательно, на первый план выдвигается забота творческих союзов, учреждений культуры, их парторганизаций о политическом воспитании членов союза, о постоянном повышении их идейной закалки, о вовлечении в активную общественную жизнь. В этом отношении партийные организации творческих учреждений Москвы накопили большой опыт. Многие из них по-боевому решают эти задачи. Да иначе и нельзя. Литература, искусство — это не частное дело, а общенародное, общегосударственное. Говоря образно, политика сидит всегда рядом с писателем за его столом, хочет он это признавать или нет.

В эпоху, когда «литературное дело» перестало быть только «индивидуальным делом», независимым от «общего дела» всего преобразованного революцией народа, В. И. Ленин прямо ставил вопрос о партийности и глубокой идейной принципиальности литературы. Ленинская страстность, убежденность, принципиальность полностью проявлялись и в оценке явлений художественного процесса. Активно борясь против лагеря реакции, против буржуазно-анархистских теорий мнимой «свободы» художника, Владимир Ильич, убежденный в идейно-эстетической бесплодности футуризма, решительно выступил против издания массовым тиражом футуристских «произведений». В 1921 году в письме к М. Н. Покровскому он писал: «Надо это пресечь. Условимся, чтобы не больше двух раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 экз. Нельзя ли найти надежных *анти* футуристов?»⁴ В. И. Ленин заботливо и любовно выращивал литературу, кровно связанную с революцией, с борьбой пролетариата за свое социалистическое будущее. Он со всей силой подчеркивал, что приобщение к идеям социализма создает новые стимулы для творчества, которое будет служить не пресыщенным «верхним десяти тысячам», а многомиллионному народу.

Ставя с такой резкостью вопрос об идейной позиции художника, В. И. Ленин в то же время энергично выступал против каких бы то ни было попыток игнорирования всей сложности и специфичности литературно-художественного творчества.

Душой творческого метода социалистического реализма была и есть коммунистическая партийность. Этот принцип, как уже отмечалось, нисколько не противоречит свободе художественного творчества, напротив — является его выражением. Он

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 179—180.

означает классовую определенность позиции художника. Это, конечно, выражается не в голых схемах, а в живых, полнокровных образах. Принцип этот ни в коей мере не вступает в противоречие и с принципом народности искусства.

Нельзя не согласиться с А. Метченко, который, рассматривая проблему народности как узловую проблему развития литературы и искусства, пишет, что «принцип партийности в литературе возник как продолжение и развитие народности на почве, ею подготовленной. Но не для того, чтобы заменить народность или сузить сферу ее действия, а для того, чтобы поднять ее на уровень духовных запросов эпохи социалистической революции, строительства социализма и коммунизма».

Таким образом, идейная позиция художника в сплаве с высоким профессиональным мастерством и творческим усвоением исторической культуры нашего народа определяет успех или неуспех его произведения.

Проблемы содержания и идейной направленности советской литературы и искусства неотделимы от вопросов развития и обогащения художественной формы, ибо в литературе и искусстве ответ на вопрос, что хочет сказать художник людям, неразрывно связан с другим вопросом — как выражает он свою мысль, свою идею.

Наша партия стоит за внимательное отношение к творческим поискам, за яркое раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе метода социалистического реализма.

Талант действительно необходимо поощрять. Однако одно дело — живой и смелый эксперимент, необходимый во всяком творческом деле, другое дело — отрыв от жизни во имя формотворчества, уход от реализма и нигилистическое отрицание накопленных традиций культуры народа. С последним мы не можем мириться, поскольку отступление от классических, прогрессивных традиций даже независимо от субъективных намерений автора объективно наносит ущерб делу коммунистического воспитания трудящихся.

Ведь таланта вообще, так сказать, вне времени и пространства, не существует. В. Г. Белинский говорил о том, что талант художника оценивается, как земля, — не просто потому, что она есть, а по плодородию своему, по тому, что вырастает на этой земле. О таланте художника мы судим по его произведениям, по результатам его творчества. Надо прямо сказать, что во все времена высокий талант от Леонардо да Винчи до Репина, от Пушкина до Горького отмечала и высокая требовательность к каждому написанному слову, к каждому мазку кисти по холсту. К сожалению, иногда всевозможные формалистические выверты, стоящие на уровне дешевого экспромта, принимаются за признак таланта, чуть ли не гениальности.

Право же, плохую помощь оказывают творческим работникам, пускающим свой талант в расход по мелочам, те, кто восхищается такими, с позволения сказать, «явлениями» в литературе и искусстве. В сущности, речь идет о том, чтобы исключить любую возможность растраты творческих сил, когда тот или иной творческий работник поддается влияниям чуждой моды, утрачивает верный ориентир и потом, мучительно преодолевая свои заблуждения, не сразу находит верный путь служения своим талантом народу.

В свое время в беседе с одним литератором Алексей Максимович Горький говорил о том, какой же это писатель, если у него нет мировоззрения. А без политических взглядов нет мировоззрения.

Первый поэт первого в мире пролетарского государства Владимир Маяковский всю свою поэтическую революционную программу вывел из формулы «цель поэзии — социализм» и ей одной подчинил творческие

искания. «Делать стихи» для него означало «делать жизнь». Делать жизнь, воздействуя на ум и сердце читателя, на его поступки, отношение к людям, к миру, исходя из идей социализма.

Идеи марксизма-ленинизма, воспринятые Маяковским еще в юные годы, стали для поэта путеводной звездой. И большинство написанных им строк талантливо и вдохновенно, с подлинно гуманистическим пафосом, политической четкостью, верностью коммунистическим идеалам утверждали торжество великих идей, звали на бой с отжившим старым миром, передавали человеку то особое, что открылось ему самому, — его видение высшей коммунистической цели.

Мировоззрение творческого работника, сформировавшееся на глубоком, заинтересованном изучении марксистско-ленинской теории, расширяет и углубляет его реалистический взгляд и оценку общественных процессов, что в наибольшей степени и соответствует объективной реальности.

Исходя из этого, одним из главных направлений работы Московской городской партийной организации по формированию марксистско-ленинского мировоззрения творческой интеллигенции является повышение уровня партийной учебы.

Основной формой учебы, получившей преобладающее распространение в творческих организациях, является Университет марксизма-ленинизма, теоретические и методологические семинары, а также изучение марксистско-ленинской теории по индивидуальным планам. Повышая уровень партийной учебы, МГК, РК КПСС, парткомы творческих организаций прививают интеллигенции интерес к глубокому, систематическому изучению мировоззренческих наук, организуют изучение документов КПСС, составных частей марксизма-ленинизма, ленинского теоретического наследия, современных достижений общественных наук. Центральное место в учебных занятиях занимают вопросы ленинской теории литературы и искусства.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС о работе с идеологическими кадрами в партийной организации Белоруссии в творческих коллективах изучается широкий круг проблем: теоретические и практические выводы партии по вопросам коммунистического строительства в нашей стране, сформулированные XXIV съездом КПСС, проблемы идеологической борьбы в условиях разрядки международной напряженности и мирного сосуществования государств с различным общественным строем, основные принципы искусства социалистического реализма и критика современного буржуазного авангардистского искусства и др.

Так, на городских семинарах директоров, главных режиссеров, секретарей партбюро московских театров и концертных организаций, руководителей и секретарей партбюро организаций и учреждений изобразительного искусства в прошлом году прочитаны лекции: «Идеологическая борьба в эстетике и искусстве», «О некоторых формах проникновения буржуазной идеологии», «Новые тенденции в идеологической борьбе в области культуры на современном этапе», «Внешнеполитическая деятельность КПСС и Советского государства по осуществлению решений XXIV съезда КПСС», «Современное формалистическое искусство, анализ его сущности и критика».

Актуальность тематики, высокий профессионализм лекторов, правдивость и конкретность в изложении материала позволили привлечь внимание руководителей творческих коллективов к теоретическому осмыслению современных процессов в идеологической борьбе, поднять уровень марксистско-ленинского образования в творческих коллективах.

На высоком уровне организована партийная учеба в Большом театре Союза ССР. Здесь успешно работает филиал Университета марксизма-ленинизма, который окончили 1800 человек. На трех факультетах

университета изучаются проблемы современного советского и зарубежного искусства, международные отношения, важнейшие вопросы марксистско-ленинской теории. Кроме университета, творческие работники театра занимаются в 11 теоретических семинарах.

Следует отметить важную закономерность, заключающуюся в неуклонном возрастании интереса творческой интеллигенции к изучению ленинских работ, к вопросам марксистско-ленинской теории искусства, к проблемам борьбы КПСС за чистоту марксизма-ленинизма, против антикоммунизма и ревизионизма. Главное внимание в работе теоретических семинаров сосредоточено на изучении тем «В. И. Ленин о литературе и искусстве», «Роль советского искусства в борьбе за коммунизм», «В. И. Ленин о непримиримости коммунистической и буржуазной идеологий и обострение идеологической борьбы в современных условиях». Такие семинары были проведены партийными организациями московских отделений Союзов писателей, композиторов, художников РСФСР, в Малом театре, Драматическом театре имени Станиславского, Театре оперетты, музыкальном училище при Консерватории, Институте театрального искусства имени Луначарского, Литературном институте имени Горького и др.

В своей работе партийные организации Москвы исходят из того, что эффективность воспитательного воздействия произведений литературы и искусства во многом зависит от правильной объективной оценки реальной действительности. В. И. Ленин учил нас всегда смотреть правде в лицо: «...будем смотреть правде прямо в лицо, — говорил он. — В политике это всегда самая лучшая и единственно правильная система»⁵.

Одно из условий успешной работы партийных организаций творческих учреждений мы видим в правдивой информации, в откровенном обмене мнениями, когда, как говорится, вещи называют своими именами, когда отвергается тактика заигрывания с деятелями литературы и искусства, похлопывания по плечу, что еще в жизни встречается.

Воспитание реалистического представления об уровне развития советского общества, о характере стоящих перед ним задач и путей их решения — это, на наш взгляд, важная сторона идейно-воспитательной работы. Очень важно, чтобы не было конфликтов между «школьными», «кабинетными» представлениями и жизненным опытом. Иначе говоря, чтобы была правильная, объективная социальная ориентация.

Социализм — это не какое-то бесппроблемное общество или стерильная среда, свободная от противоречий и трудностей. Следует помнить ленинское предупреждение о том, что строительство нового общества — сложный и длительный процесс.

Мировой революционный процесс вообще идет далеко не гладкими, не простыми, не прямолинейными путями. «Таких революций, которые, завоевав, можно положить в карман и почтить на лаврах, в истории не бывало... — говорил В. И. Ленин. — Революция подвергается самым серьезным испытаниям на деле, в борьбе, в огне»⁶.

В беспрецедентном деле созидания нового общества приходится преодолевать разного рода препятствия, трудности, недостатки, противоречия. И кроме того, сам позитивный процесс созидания нового общества рождает неантагонистические противоречия.

В связи с этим в творческом процессе писателя, художника, композитора и актера исключительно важное значение имеет правильный, марксистско-ленинский подход к анализу и оценке противоречий

⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 130.

⁶ Там же, т. 38, стр. 52.

при социализме и художественному показу путей, средств их разрешения. А это достигается глубоким изучением марксистско-ленинской теории.

Необходимо повышать эффективность партийной учебы. Еще нередко политическая учеба проводится формально, в отрыве от жизни. Порой отдельные товарищи несерьезно относятся к учебе, редко обращаются к произведениям классиков марксизма-ленинизма, поверхностно изучают проблемы теории и политики КПСС. Партийным организациям творческих союзов следует глубже вникать в содержание марксистско-ленинского образования, оказывать помощь и осуществлять более действенный контроль за изучением творческими работниками актуальных проблем марксистско-ленинской философии и эстетики, современной идеологической борьбы, всемерно развивать у них органическую, внутреннюю потребность в политическом самообразовании.

Сегодня во весь рост встает проблема соответствия темпов нашей жизни и отражения этой жизни в художественной литературе. Это тем более важно в связи с бурным ростом научно-технического прогресса, социальными изменениями в структуре общества и общественном производстве.

В социалистическом обществе, как подчеркнул XXIV съезд партии, «рабочий класс был и остается основной производительной силой общества (разрядка моя.— В. Я.). Его революционность, дисциплинированность, организованность и коллективизм определяют его ведущее положение в системе социалистических общественных отношений».

Ускоренный технический прогресс, ставший закономерностью развитого социалистического общества, обуславливает рост рабочего класса, выдвижение его на передовые рубежи научно-технической революции, повышение его профессионально-образовательного уровня.

Рабочие составляют ныне большинство трудящегося населения Советского Союза. В рядах рабочего класса почти 70 миллионов человек.

Рабочий класс СССР — признанный авангард нашего народа, снискавший уважение и любовь всего прогрессивного человечества, показавший высочайшие образцы трудового и боевого героизма, высокой политической сознательности, интернациональной пролетарской солидарности, горячего советского патриотизма.

Поэтому когда мы говорим о классовом подходе ко всем фактам и явлениям общественной жизни, это значит, что мы имеем в виду подход с позиции рабочего класса, ведущего класса общества, это означает оценку поступков и действий через призму именно его, рабочего класса, идеалов — идеалов коммунизма.

Рабочий класс — подлинный герой нашего времени, достойный стать героем литературы, героем масштабных произведений о жизни общества и народа.

Московские писатели ведут в этом направлении интенсивный поиск; пример тому произведения В. Попова «Обречешь в бою», А. Иванова «Вечный зов», повести «Особое подразделение» и «Петр Рябинкин» В. Кожевникова, «Право выбора» М. Колесникова, «Сказание о директоре Прончатове» В. Липатова. Всяческой поддержки заслуживает также работа очеркистов А. Аграновского, А. Борина, А. Медникова, В. Панова и других, верных теме рабочего класса.

Прогрессивные идеи, рождаемые ролью рабочего класса в нашем обществе, привлекают все большее количество писателей. Это хорошо. Однако рабочий класс — это не просто тема, это ключ к осмыслению современной эпохи, к познанию настоящего и прогнозированию будущего советского общества. Поэтому произведения о людях заводов и фабрик — это, по сути дела, книги о советском обществе в разных его аспектах. Глубоко ошибочным было бы ограничить это понятие рамками так

называемого производственного романа. Плохо, что не всегда еще эти произведения достигают должного уровня художественного обобщения. Не хватает крупномасштабных произведений о рабочем классе, о его ведущей роли в жизни общества, о новых людях и перестройке их психологии, их уровне культуры и образованности, произведений, широко и разносторонне раскрывающих образ рабочего-интеллигента. Образы рабочих нередко оказываются недостаточно яркими и полнокровными.

Одной из важнейших задач творческих организаций является привлечение внимания писателей к рабочей теме и повышению идейно-художественного уровня произведений о рабочем классе.

Гражданский долг литератора — в художественном произведении глубоко и талантливо раскрыть титаническую работу партии по строительству коммунистического общества на всех этапах развития Советского государства. Образ коммуниста сегодняшнего дня, верного сына своей Родины, активного борца за все новое и прогрессивное ждет своего воплощения в новых произведениях литературы и искусства.

В условиях социализма, одним из основных принципов которого является принцип коллективизма, сложился новый тип деятеля культуры, свободного от пут анархоиндивидуализма, — тип художника-гражданина, активно участвующего в жизни общества, верно служащего своим творчеством народу.

В этой связи встает другой вопрос. Литературный труд — это не только творческий процесс, когда автор остается наедине со своими мыслями и образами, но и самые разнообразные формы общения с читателями, с народом.

Великий Горький, вернувшись в 1928 году в Советский Союз из Сорренто, первым долгом своим считал необходимым увидеть страну в пылу социалистического обновления и отправился путешествовать по стране. Он жаждал встреч с читателем, жадно впитывал то новое, что рождало молодое социалистическое общество.

Личный пример Горького оказал огромное воздействие на литературу, на расширение и углубление ее связей с советской действительностью. Алексей Максимович подчеркивал, что советский писатель не может быть только писателем, не может быть только профессиональным литератором, это живое лицо, живой, энергичный участник всего, что происходит в стране.

Так понимал роль и значение советского писателя Горький. Так понимали свое место в литературе и многие другие зачинатели советской литературы.

«Поближе к жизни, — говорил В. И. Ленин. — Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса *на деле* строит нечто *новое* в своей будничной работе. Побольше *проверки* того, насколько *коммунистично* это новое»⁷.

Только действительно глубокое знание сегодняшней жизни, правильное понимание развития современного общества, идейная зрелость, подлинно гражданское стремление совершенствовать свое искусство на путях социалистического реализма, коммунистической партийности и народности — только это создает прочный фундамент творчества; с другой стороны, нельзя забывать и о том, как отрицательно сказывается на читателе воздействие псевдохудожественных произведений, приспособленчество к незрелым эстетическим вкусам.

Актуальная задача писателя, художника, драматурга, артиста и режиссера — найти простые и высокие слова, которые донесут до каждого советского человека все то прекрасное, героическое, замечательное, что

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 91.

связано с патриотизмом многонационального советского народа. Раскрывая в своих произведениях революционные традиции советского общества, тысячелетние корни истории и культуры нашей Родины, художник должен показать новым поколениям величие нашего народа, его гений и героизм.

Характерной чертой жизни творческих организаций сегодня является усиление их содружества с коллективами промышленных предприятий, строек, колхозов, совхозов, воинских подразделений.

Партийные организации Москвы возглавили это движение, всемерно расширили творческие связи мастеров литературы и искусства с трудовыми коллективами. Такие связи оказывают огромное воспитательное воздействие на обе стороны. Не в тиши кабинета рождаются произведения о нашей эпохе. Они возникают в гуще народных масс, отражают жизнь народа, являются неразрывной составной частью его духовной культуры.

Связь творческих работников с производственниками приняла в Москве действительную форму — заключение коллективных договоров о содружестве. Так, с 1968 года коллективный договор связывает между собой МХАТ имени М. Горького и Театр имени Моссовета, с одной стороны, и заводы «Красный пролетарий» и 1-й ГПЗ — с другой. В прошлом году Московская организация Союза писателей РСФСР заключила договор с целым рядом промышленных предприятий Москвы. Коллективы постоянно принимают взаимные обязательства, в которых предусматривается значительное перевыполнение творческих планов и производственных заданий, а также осуществление ряда общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, направленных на дальнейший подъем культурной жизни коллективов.

И когда недавно в торжественной, праздничной обстановке был открыт один из самых современных Дворцов культуры в Москве — Дворец культуры 1-го Государственного подшивного завода, то это был праздник и для актерского коллектива Театра имени Моссовета, представители которого во главе с народными артистами СССР В. Марецкой и Ю. Завадским были своими, близкими людьми в прославленном рабочем коллективе.

Жизнь рождает более разнообразное общение писателей с читателями в соответствии с новыми условиями, с новым характером отношений и уровнем понимания литературы. Широкое распространение получили праздники поэзии в Михайловском, на Брянщине, на Ярославщине. Группы московских литераторов побывали у трудящихся Архангельска, в Тюмени и других сибирских городах.

Московские композиторы в результате встреч с тружениками городов и сел страны создали новые произведения. Характерен в этом отношении цикл сибирских песен А. Пахмутовой, созданный в содружестве с С. Гребенниковым и Н. Добронравовым.

Все это живительный источник творчества, ибо в таких прямых контактах наши литераторы, художники, композиторы приобретают много жизненного материала, у них рождаются замыслы новых произведений о наших героических днях, о конкретных героях нынешней пятилетки.

Партийная организация столицы большое внимание уделяет расширению и укреплению связей художественной интеллигенции с коллективами заводов, фабрик, тружениками совхозов и колхозов Подмоскovie, с войнами московского гарнизона.

Созданный при МГК КПСС практический семинар для творческой интеллигенции систематически знакомит участников семинара с различными производственными предприятиями, научно-исследовательскими и другими учреждениями столицы.

В наши дни борьба идей все чаще принимает форму конфронтации двух противоположных образов жизни — буржуазного и социалистического. Буржуазные идеологи рассчитывают на то, что неуклонный рост жизненного уровня и потребления в социалистических странах со временем заставит людей видеть в потреблении основной смысл существования, результатом чего якобы явится сближение противоположных социальных систем и их идеологий. Они уповают на перерождение социализма в «потребительское общество», на разложение его изнутри. Особые надежды связываются с молодым поколением, которое, по их мнению, стремится только к тому, чтобы как можно больше потреблять и поэтому должно со временем утратить свойственный социализму классовый, первопрородческий дух.

Рассмотрим, например, одну из злободневных проблем, которая находится в центре внимания нашей публицистики.

Буржуазные идеологи прибегают сейчас к так называемой социологической пропаганде, или социологическому воздействию. Цель социологической пропаганды — вызвать у людей неудовлетворенность нашей действительностью, безразличие к целям социалистического развития, к идеям и ценностям научного коммунизма и социалистической морали.

Недзья закрывать глаза на то, что подобная пропаганда несоциалистического образа жизни может попасть на благодатную почву, подготовленную потребительским отношением отдельных лиц и групп к социализму, культом вещей и стремлением к личному обогащению.

Все расширяющиеся возможности потребления позволяют советскому человеку создать для себя «зону комфорта», удовлетворить не только самые необходимые нужды и потребности, но и такие, которые еще вчера могли считаться роскошью. Хорошо это или плохо? Конечно же, хорошо, поскольку в отличие от капиталистического Запада этот комфорт приобретается не в результате эксплуатации человека человеком, а честным трудом на благо общества. И было бы странно отказываться от него только потому, что в отдельных случаях рост материального достатка оборачивается духовным оскудением личности.

Однако с достижением высокого уровня потребления развитие общества не кончается. Такой уровень в новом, социалистическом обществе является не конечной целью, а лишь условием и средством для активного духовного развития человека.

Само по себе изобилие вещей не может, да и не должно служить для нас идеалом. Ценность человека определяется прежде всего его трудом, его вкладом в строительство коммунизма.

Однако мещанство — это один из самых живучих пережитков старого строя, рецидивы которого мы наблюдаем у определенной части населения. Серьезная опасность со стороны современного мещанства состоит в его воздействии на молодежь. Обыватель пытается воспитать младшее поколение в своем духе, борется за молодежь. Мещанин пытается внушить молодежи эгоистическое, скептическое, циничное отношение к жизни, вызвать у нее тем самым нигилистическое отношение к социалистическим морально-нравственным нормам.

Мещанско-потребительская психология, разумеется, не доминирует у советских людей, но ее отдельные носители представляют значительную опасность. Именно мещанство, обывательщина являются благодатной почвой для идеологических диверсий империализма.

Наша молодежь, советские люди беззаветно преданы идеалам коммунизма. Однако это не означает, что у нас исключены отдельные проявления чуждой нам идеологии и морали. Силой эстетического воздействия произведений литературы и искусства необходимо аргументированно ра-

зоблачать мешанско-потребительское отношение к жизни, ярко и убедительно показывать, что высокий и все возрастающий уровень потребления материальных благ в наших социалистических условиях является лишь средством гармонического духовного и физического расцвета личности, условием дальнейшего развития общественной, социальной активности трудящихся.

Социалистический образ жизни не есть нечто застывшее и неизменное: он — в динамическом процессе, диалектическом развитии, со своими противоречиями, столкновениями нового и старого. Но противоречия социалистического образа жизни не носят антагонистического характера. Это противоречия прогресса: возникшая в нашем социально-экономическом и духовном развитии, они на основе принципиального совпадения интересов действуют как движущие силы его, как факторы совершенствования социалистических общественных отношений.

Партия и народ ждут от советских писателей, композиторов, художников, деятелей кино и театра талантливых произведений, раскрывающих прогрессивную, революционную сущность социалистического образа жизни, его динамизм, оптимизм и героизм.

Важнейшим критерием оценки любого творческого труда является общественный резонанс, общественные последствия позиций, взглядов, выраженных в романе, рассказе, очерке, поэме, сценарии, картине, скульптуре и т. п. В своей статье «Кому выгодно?» В. И. Ленин подчеркивал: «...в политике не так важно, кто отстаивает непосредственно известные взгляды. Важно то, кому *выгодны* эти взгляды, эти предложения, эти меры»⁸. Эта глубокая мысль Ленина должна быть руководящим принципом и для творцов художественных произведений.

Идейность и художественность в литературе и искусстве не сосуществуют, а взаимно проникают и взаимно обуславливают друг друга. Идейные просчеты искажают действительность, приводят к неправде, лжи. Низкий художественный уровень произведения дискредитирует высокие идеи.

Наша партия стоит за внимательное отношение к творческим поискам, за яркое раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе метода социалистического реализма. Однако некоторые писатели, художники отходят от метода социалистического реализма и в результате оказываются на чуждых нам идейных позициях. Одно дело — живой и смелый эксперимент, другое дело — уход от реализма, бездумное следование модернистской моде.

Цель тех немногих, кто пытается в настоящее время изменить лицо советского искусства, базирующегося на методе социалистического реализма, национальных традициях народного искусства, в конечном счете направлена на то, чтобы «перепрограммировать» советского человека. Поэтому мы осуждаем и будем осуждать «модернизм», разоблачаем и будем разоблачать его антихудожественную сущность, его враждебность нашему социалистическому искусству. «Модернизм» есть явление космополитическое, которое полностью отрешается от национальных форм искусства.

Нельзя замалчивать, примиренчески относиться к произведениям безыдейным, аполитичным. На любые отклонения от краеугольных принципов марксистско-ленинской эстетики — партийности, народности, коммунистической идейности — необходимо своевременно реагировать. Между тем такого оперативного, взыскательного разговора как раз в ряде случаев и не бывает.

⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 61.

Воинствующая непримиримость к отходу от идейных позиций проявляется тогда, когда писатель-коммунист непосредственно участвует в оценке негативных явлений.

Пассивность в постановке острых идеологических вопросов, требующих идейно четкого, принципиального отношения, отсутствие ясной партийной оценки тех или иных слабых, порочных произведений порождают вокруг них атмосферу нездоровой сенсации, дают почву для фальсификации истинного положения дел в нашей литературе и искусстве.

Примиренчества, обывательского созерцательства не должно быть. Книга — это не тетрадь в школьном портфеле или запись в семейном альбоме. Книгу читают тысячи, миллионы людей, и нам не безразлично, что в ней проповедуется, чему она учит людей. Писатель в большом ответе перед партией и народом за каждое свое слово.

Художник не может быть безответственным перед обществом. «Да, я против свободы, — писал М. Горький, — начиная с той черты, за которой свобода превращается в разнузданность, а, как известно, превращение это начинается там, где человек, теряя сознание своей действительной социально-культурной ценности, дает широкий простор скрытому в нем древнему индивидуализму мещанина и кричит: «Я такой прелестный, оригинальный, неповторяемый, а жить мне по воле моей не дают». И еще хорошо, если он только кричит, потому что когда он начинает действовать по воле своей, так в одну сторону он становится контрреволюционером, а в другую — хулиганом, что почти равноценно — подло и вредно».

В борьбе за идейную чистоту в литературе и искусстве важная роль принадлежит литературно-художественной критике. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии Л. И. Брежнев говорил: «Несомненно, успехи советской литературы и искусства были бы еще значительнее, а недостатки изживались бы быстрее, если бы наша литературно-художественная критика более активно проводила линию партии, выступала с большей принципиальностью, соединяя взыскательность с тактом, с бережным отношением к творцам художественных ценностей».

Большое внимание в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» уделено партийности и принципиальности критики, повышению ее идейно-эстетического уровня, намечен комплекс мер, направленных на ее совершенствование.

С момента опубликования этого постановления прошло немало времени и многое уже сделано в плане его реализации. Осуществление широких организационных мероприятий коммунистами издательств, редакций журналов, газет способствовало значительной активизации их деятельности в создании новых работ, отвечающих требованиям дня, повышению ответственности за идейно-теоретический уровень произведений литературно-художественной критики.

За последнее время такие столичные издательства, как «Художественная литература», «Советский писатель», «Наука», «Современник», «Молодая гвардия» и другие, выпустили ряд актуальных, необходимых нашему читателю изданий. Среди них книги об эстетическом наследии К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, об идейно-эстетических принципах советской литературы, о партийности, народности, о современной многонациональной советской литературе; книги, посвященные борьбе с буржуазной идеологией, критике ревизионизма и т. д.

Однако успокаивать себя тем, что все уже сделано, все решено, мы не можем. Факты говорят о том, что и сегодня наша критика не всегда еще дает глубокий анализ процессов, происходящих в литературе, все

еще допускает тенденциозность в оценке тех или иных художественных произведений. Объективный анализ нередко подменяется либо непомерным захваливанием, либо незаслуженным разномом.

Некоторые критические работы не содержат глубокого научного анализа, серьезных обобщений и рекомендаций, носят описательный характер, оторваны от жизни, дают неверные, объективистские оценки процессам, происходящим в искусстве, отступая от марксистско-ленинской методологии, от принципов классового подхода к оценке явлений литературы и искусства.

В поле зрения критики, в центре литературных споров последних лет оказались такие принципиальные вопросы, как вопрос о народной литературе, о традициях и новаторстве, о соотношении национального и интернационального, общечеловеческого и классового, весь сложный комплекс духовных, нравственных ценностей мира социализма. Но не всегда эти вопросы рассматриваются правильно, с научных позиций.

В работах некоторых литературоведов, искусствоведов видна тенденция к размыванию метода социалистического реализма путем «привнесения» в советскую художественную культуру «приобретений» модернистского авангардистского искусства. Более того, в некоторых работах допускаются факты огульного отрицания большей части написанного советскими авторами по критике буржуазного искусства и его теорий.

Серьезные идейные просчеты имеются в работе Г. Куницына «Политика и литература» (М. «Советский писатель». 1973). Совершенно нельзя согласиться с использованием Г. Куницыным типа Тарелкина для «наложения» его на определенные явления в истории советского общества и, более того, к нашей современности. Все рассуждения автора книги о «нынешнем Тарелкине» (на стр. 129—130, 157, 160) политически бестактны, если учесть, что он вводит понятие тарелкинщины при рассмотрении ряда этапов истории нашего государства и нашей партии, по отношению к нашим идеологическим дискуссиям. Из образа Тарелкина, порожденного социально-экономическими условиями России XIX века, выводится определенный «общественно-психологический тип «ретивого служаки», повинного, в частности, в избии честных кадров и т. д. Все это неисторично и двусмысленно, а поэтому дезориентирует читателя.

Далее Г. Куницын делает попытку «дополнить» ленинское учение о двух культурах. Он пишет: «Может быть, ныне и в самом деле назрели условия, чтобы выдвинуть вопрос о том, что в некоторых наиболее развитых капиталистических странах имеется уже, так сказать, три культуры». Мысль более чем странная. Если ее принять, исчезает социальный и идеологический антагонизм. К тому же когда Ленин выдвигал учение о двух культурах, он вполне учитывал состояние и перспективы развития культуры в развитых империалистических странах.

Не менее странные выводы и положения содержатся и в книге Г. Недошивина «Теоретические проблемы современного изобразительного искусства» (М. «Советский художник». 1972), в которой фактически содержится попытка оправдать модернистские антиреалистические течения в искусстве XX века, показать их связь с революцией, выдвинуть их на первый план как авангард художественного прогресса. Г. Недошивин представляет движение модернистского «авангарда» как «движение вперед», от худшего (реализма XIX века) «к лучшему», как «закономерный и необходимый поиск» в художественном творчестве.

Несмотря на внешнюю полемику с Р. Гароди, Г. Недошивин, по существу, заимствует у Гароди его основной ошибочный тезис о том, будто реализм буржуазен и обречен на отмирание, о том, будто социалистическое общество, и прежде всего революционный рабочий класс, должно

противопоставить реализму модернизм, выдвинуть новый творческий метод, разрушить реалистическую традицию в искусстве. Говоря о народности искусства, Г. Недошивин проводит мысль о том, что народность не естественное, необходимое качество искусства, а некая обуза, обязывающая художников считаться с отсталым народным вкусом. Реализм XX века, по Недошивину, должен перейти от наблюдения и исследования жизни к выражению субъективной творческой воли, от достоверности отображения — к настроению, от правдоподобия — к условности.

Как и Г. Куницын, Г. Недошивин совершенно неправомерным образом интерпретирует учение о двух культурах внутри каждой культуры классово-антагонистического общества, считая, что борьба в сфере современного изобразительного искусства идет не между реализмом, способным к выражению идеалов, воли и чаяний широких трудовых масс, с одной стороны, и модернизмом — с другой, а внутри модернистских течений, между лучшей и худшей частью так называемого авангарда.

Идеологическая борьба в эстетике характеризуется такими изощренными приемами и формами, применяемыми нашими идейными врагами, что неискушенному читателю порою может показаться, будто здесь и борьбы-то нет; есть только разные взгляды и понятия, продиктованные различными вкусами. А о вкусах, как известно, не спорят. Именно эту особенность идеологической борьбы в эстетике не учитывают товарищи в своих работах, о которых речь шла выше.

Какие выводы следуют из того, что было изложено?

Во-первых, необходимо настойчиво добиваться ясности и четкости идейных позиций в исследованиях проблем теории и истории литературы и искусства. При этом следует исходить из того, что при всем многообразии жанров, стилей, форм художественного воплощения реальной действительности идейные позиции деятелей советской культуры едины. Это позиции рабочего класса, ведущего класса нашего общества, и его идеологии — марксизма-ленинизма, который стал идеологией всего нашего народа, это позиции социалистического реализма.

Ясность и четкость идейных позиций — решающее условие успешной творческой деятельности каждого деятеля литературы и искусства.

Во-вторых, партийные организации должны последовательно осуществлять классовый, партийный подход ко всем фактам и явлениям общественной жизни, истории искусства, постоянно воспитывать у творческих работников глубокое понимание того, что искусство есть борьба идей, идей классово определенных, борьба идей за или против.

Партийные организации должны бороться против попыток «размягчить» наши принципы, «разрыхлить» наши идеи, против попыток внедрить в сознание творческих работников абстрактное представление об искусстве, политический нейтралитет и политическую беспечность.

В-третьих, партийные организации, все коммунисты должны всегда с ленинской принципиальностью проводить линию партии в области литературы и искусства, быть непримиримыми к любым отклонениям от этой позиции.

Концепции «автономности искусства» и «общечеловеческой культуры», отрывающие культуру от политики, в конечном счете, как уже неоднократно подтверждал ход исторического развития и классовых битв, приобретают активную антисоциалистическую направленность.

На состоявшемся в марте 1975 года собрании партийной группы писателей столицы выступающие особое внимание обращали на необходимость совершенствования политического воспи-

тания, всей системы образования, подготовки творческих работников, активного приобщения их к проблемам повседневной практики коммунистического строительства. Особое внимание партийные организации столицы обращают на идейно-политическую работу среди молодых творческих работников, на формирование у них марксистско-ленинского мировоззрения, классового подхода ко всем явлениям жизни, воспитание их на революционных, трудовых и боевых традициях советского народа.

Подготовка молодого пополнения советской литературы и искусства — дело творческое, живое, требующее постоянного обновления, движения вперед.

Партийные организации, ректораты и преподаватели творческих вузов Москвы за последнее время значительно повысили качество подготовки специалистов, систематически обновляют содержание учебных дисциплин, активно внедряют прогрессивные методы воспитания и обучения студентов, добились увеличения притока в творческие вузы рабочей и колхозной молодежи. Надо и впредь расширять работу по привлечению на учебу лучших представителей трудящейся молодежи.

Как правило, наша творческая молодежь имеет хорошую профессиональную подготовку, она исследует и смело развивает традиции русской, советской художественной культуры. Однако нас не может не беспокоить, что некоторые молодые творческие работники пассивны в общественной жизни, в их творчестве зачастую слабо отражено общественное, гражданское начало.

Происходящая в обществе смена поколений обязывает с особой пристальностью следить за ростом молодых деятелей литературы и искусства, заботливо пестовать молодые таланты. Партийные организации творческих союзов, театров, киностудий, концертных организаций призваны много сил и внимания уделять воспитанию творческой молодежи, постоянно анализировать процессы, совершающиеся в художественном творчестве в связи с приходом новых отрядов молодежи в литературу и искусство.

На старшем поколении творческих работников лежит особая ответственность за будущее нашей литературы и искусства. Необходимо всегда помнить, что только активная и систематическая работа с молодежью, ясная в своей общественной направленности, может дать нужный нам результат. Опыт большого мастера изобразительного искусства, пример его творчества, отношения к жизни, его общественная деятельность помогают развить и поднять гражданское сознание молодого человека, вступившего на путь служения своему народу. Все это способствует тому, чтобы творческий поиск молодого художника был направлен на решение больших тем.

Доброжелательное и вместе с тем требовательное отношение к молодежи поможет ей обрести уверенность в своих силах, глубже понять личную ответственность за судьбу советской литературы и искусства.

Во всей большой и разнообразной работе, проводимой московскими отделениями творческих союзов, театрами, киностудиями, концертными коллективами, огромную роль играют партийные организации. Они проводят большую организаторскую и политико-воспитательную работу в коллективах, способствуют повышению творческой и общественной активности деятелей литературы и искусства.

«Сила партийного руководства, — говорил Л. И. Брежнев на XXIV съезде партии, — в умении увлечь художника благородной задачей служения народу, сделать его убежденным и активным участником преобразования общества на коммунистических началах».

Московский городской и районные комитеты партии ведут постоянную работу по улучшению деятель-

ности партийных организаций творческих союзов, театров и учреждений культуры, повышению активности творческой интеллигенции, по воспитанию у нее чувства ответственности за дальнейшее сплочение творческих коллективов на принципиальной основе.

Бюро МГК КПСС и РК КПСС систематически рассматривают на своих заседаниях вопросы о работе партийных организаций творческих союзов и учреждений культуры по идейно-политическому воспитанию художественной интеллигенции, об усилении их влияния на творческую и общественную деятельность. Регулярными стали встречи руководителей МГК КПСС, исполкома Моссовета, учреждений и ведомств с деятелями литературы и искусства.

Только за последнее время бюро МГК КПСС заслушало и обсудило отчеты партийных комитетов московских организаций Союза композиторов РСФСР и Союза художников РСФСР, Института истории искусств Министерства культуры СССР, отчет о работе парткома ГАБТ СССР по идейно-политическому воспитанию коллектива, Театра имени Вахтангова, Всесоюзного объединения государственных цирков и других. Свердловский РК КПСС заслушал отчеты партбюро Малого театра и Центральной студии документальных фильмов, обсудил вопрос «О работе парткома Большого театра СССР по руководству марксистско-ленинским образованием творческих кадров» и др. Краснопресненский РК КПСС рассмотрел вопросы «О работе партийных организаций журналов и газет по повышению ответственности коммунистов за идейно-политический уровень публикуемых материалов», «О работе партийных организаций Домов творческой интеллигенции по идейно-политическому воспитанию работников литературы и искусства» и т. д.

Такое внимание к первичным партийным организациям не случайно. Именно они являются тем главным звеном, через которое обеспечивается дальнейшее повышение идейно-политического и художественного уровня работы творческих коллективов.

Первичные партийные организации, охватывая все сферы сложной творческо-производственной жизни творческих коллективов, играют в них авангардную роль. Возросла ответственность и активность партийных организаций учреждений культуры в связи с предоставлением им права контроля деятельности администрации. На партийных собраниях, заседаниях партийных комитетов и бюро московских писателей, композиторов, кинематографистов, художников систематически обсуждаются коренные вопросы жизни и деятельности творческих коллективов. При этом МГК КПСС ориентирует партийные организации на то, что все процессы литературно-художественного творчества можно правильно оценить, только исходя из классового, партийного подхода. Отступление от этого в идеологической работе неминуемо влечет за собой появление тенденций, размывающих сам метод социалистического реализма, подрывающих идейную основу советской литературы и искусства.

Забота и ответственность за укрепление организационных и идейных основ творческих союзов — главная обязанность каждого члена союза и его руководителей. Это уставное требование вытекает из принципа демократического централизма, принципа жизнестойкости и боеспособности творческой организации.

Объективное понимание творческих возможностей художника, партийная принципиальность в решении вопросов культуры, умение создать здоровую творческую атмосферу в среде деятелей литературы и искусства, ориентация их на решение актуальных задач современности — характерная особенность плодотворной работы партийных организаций творческих коллективов в Москве.

Осуществляя руководство партийными организациями творческих союзов, учреждений культуры и искусства, Московский гордской комитет партии и райкомы партии используют разнообразные формы организационно-партийной работы, в том числе проведение семинаров и совещаний, общегородских собраний коммунистов творческих союзов и другие формы.

В тех же целях в МГК КПСС были проведены собрания актива работников московских театров, кино, концертных организаций. На этих собраниях были выработаны рекомендации, которые легли в основу всей производственно-творческой деятельности творческих коллективов.

Апрельский Пленум ЦК КПСС (1975) принял решение о проведении в феврале 1976 года XXV съезда партии. Вся творческая жизнь московских писателей и художников, композиторов и режиссеров, актеров театра и кино направлена сейчас на то, чтобы вместе с трудовыми свершениями советского народа очередной съезд партии был отмечен новыми талантливыми произведениями литературы и искусства, достойными нашей великой социалистической отчизны.



МИХАИЛ БЕЛЯЕВ



ПОХВАЛА МАСТЕРУ КРАСНОГО ДЕРЕВА

Ах, мастера! Во всем повинны!
Вот этот: с деревом чудит.
Коснется — и душа осины
Чапушкой древней зазвенит.

В лесу по мастеру томилась,
К его приблизилась лицу —
И смыслом вся раззолотилась,
Едва с осины сдул ленцу.

Очнулась,
Чашей к жизни вышла;
Играя снова под резцом,
Берет и девку с коромыслом
И птицу красную с кольцом.

И на боках покатых чаши
Их вспыхнет резвый хоровод.
И, блеска солнечного краше,
Их радость в вечность поплывет.

Восславят жизни
Ясность нашу
И мастера всеильный пыл,
Что превратил поленья в пряжу:
Как будто ткал, когда творил.

И мастеру блюсти ли отдых?
Миры рождаются в руках!
И он настаивает воздух
На красоте своей в веках.

Мудрит воображеньем зыбким,
Соединяя, как венцом,
Огни, морозы и улыбки
Единым чудным завитком.

И людям головы вскружил он,
Пустил и сутки кувырком —
Пласты огней вскрывая живо,
Сокрытых в дереве самом.

И отдает свое здоровье
Он крутоклювым петушкам,
Что целятся влюбленным в брови
И скачут бойко по домам.

Его душа — из сказок родом.
Душ, с этой схожих, недород.
И благодарная природа
Его меж сказок бережет.

И мастерство его похоже
На созревание плода.
И лица делает моложе
Его задумок высота.

* *
*

О нежности не вспомнишь даже
И каждый шаг в пути грузней,
Когда настой снегов овражных
Манит холодностью своей.

И вдруг в том белом оголенье
С морозом слаженных берез —
Девичьим взглядом потепленье,
И сразу дыбом водосброс.

И шире мир!
Пострелы чаще,
Вертушки, дудки, гомонки! —
По всей дуплисто-черной чаще
Гремят пернатые звонки.

Из заскорузлой мертвой жути
Над гребнем красного крыльца
Взвьется в небо тонкий прутик
На новоселие скворца.

И озаренный чудом этим,
А может быть, сойдя с ума,
Навек останусь на планете
Влюбленным строить терема.

СИНИЦА

Притерпелась к холоду синица —
И в седую стужу не таетя.

Кувыркком по веткам ледяным
Катится — за нею только дым.

Огдяднулась, прыгнула в осинник —
И осинник захлебнулся синим.

Вот и сад, набравший серебра,
Вспыхнул светом синего пера.

С ней сугроб — как синяя косынка.
Не синица, а лесная синька.

Осмотрела снега вороха —
Подсинила белые снега.

* *
*

Шуми, очаг! Не угасай, беседа!
Осенний стол с друзьями веселей.
Кипит лазурь над отчим домом — это
Проходит клин последний журавлей.

В счастливый путь! Дары полей мы взяли.
Любимые не разлюбили нас,
Хотя уже не спим на сеновале.
Отяжелел дождей остывших пляс.

Но трепет наших песен нескончаем,
И мы легки, как прежде, на подъем
И молодо на шутки отвечаем.
Листвой берез позолотило дом.



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



КЛАДБИЩЕ В СКУЛЯНАХ

Я умер от холеры на берегу реки Прут, в Скулянах, месте историческом. Моя жена Марья Ивановна хлопотала возле меня вместе с несколькими девушками-цыганками, нашими крепостными.

Будучи по природе и по воспитанию женщиной расчетливой, Марья Ивановна в этом случае не пожалела лучших простынь из тонкого голландского полотна, с крупными метками, собственноручно вышитыми ею гладью. Из этих простынь она смастерила нечто вроде стеганого одеяла, насыпав в него раскаленной пшеницы.

Я чувствовал тяжесть этого покрывала, но мое холодеющее тело уже не ощущало ожогов, из чего я понял, что пришла смерть.

Марья Ивановна, имевшая привычку по всякому пустяку ломать руки и восклицать «о майн гот!», на сей раз проявила особую, молчаливую сдержанность. С педантической энергией она исполнила все предписания военного лекаря, присланного моим другом, командиром прутского полубатальона карантинной стражи, а также советы, вычитанные в домашнем лечебнике, потрепанной книге чуть ли не петровских времен, оставшейся в наследство от моих предков.

Меня раздражал беспорядок, произведенный моей болезнью: подсов, в который мне приходилось поминутно испражняться, фаянсовый кувшин, расписанный цветочками, стоявший на полу посередине комнаты, тазы, лужи воды, едкий дым жженой серы, которым окуривали весь наш обширный барский дом.

Меня бесило, что я сам был причиной беспорядка, которого на старости лет не переносил.

Сознание уплывало от меня, но я еще различал предметы: большой молдавский ковер на стене, на нем саблю, пороховницы, два скрепленных пистолета и мою гордость — дорогую трофейную лядунку из черной лакированной кожи с золотым накладным вензелем императора Наполеона — латинская буква N, окруженная лавровым венком. Эту лядунку я содрал с французского офицера, взятого мною в плен во время Отечественной войны 1812 года под Грубешовом.

Мне бы хотелось перед смертью благословить моих детей, но никого из них не было в Скулянах: три сына, Александр, Яков и самый младший, мой любимец Ваня, учились в Ришельевском лицее в Одессе, старшая дочь Елизавета, недавно окончившая с шифром Смольный институт в Санкт-Петербурге, уже вышла замуж за полтавского предводителя дворянства и жила в Полтаве своим домом, а младшая, Анастасия, гостила у знакомых в Кишиневе, так что мы с Марьей Ивановной оставались дома одни.

Я посмотрел как бы сквозь туман на свою Марью Ивановну в ее синем домашнем платье, в накрахмаленном чепце, на ее длинное морщинистое лицо с поблекшими голубыми глазами и вспомнил ее той прелестной шестнадцатилетней девушкой, которая ухаживала за мной в то далекое время, когда я лежал у них в старинном домике под красной черепицей в Гамбурге, залечивая свои раны. Тогда я не чаял выжить, но семья пастора Крегера меня выходила. В особенности старалась милая Марихен. Мы полюбили друг друга, и по выздоровлении я увез ее в Молдавию, где она стала моей женой, хозяйкой большого имения.

Я был в семейной жизни человеком строгих правил, и, наверное, Марье Ивановне было не всегда легко со мной ладить, но она стойко переносила мой характер, и теперь, умирая, я вдруг почувствовал к ней жалость и прежнюю любовь, ослабевшую со временем.

Мысли мои стали все больше и больше путаться.

Мне вдруг представилось, что я вижу наяву своего любимого Ванечку таким, каким он был шести или семи лет. Он будто бы стоял у придорожки, белокурый, голубоглазый, лицом в мать, в красной шелковой рубашечке, подпоясанной молдавской вышитой тесемкой, и будто слезы текли из его испуганных глаз.

Я захотел благословить это видение, но у меня уже не было мочи поднять руку и сложить окостеневшие пальцы для крестного знамения. Я хотел сказать, что завещаю Ванечке мой сафьяновый портфель, где хранилась тетрадка с неоконченными записками, которые я начал незадолго перед смертью, о турецкой кампании и о достославном походе 1812 года, послужной список, а также коробочку, где под стеклом хранился мой единственный боевой орден Владимира четвертой степени с бантом.

Конечно, я заслужил большего: мне следовал бы Георгиевский крест, — но у меня был несносный характер, я постоянно спорил с начальством, самовольничал, и, естественно, меня обошли.

Георгиевский крестик пролетел мимо...

И даже теперь, лежа на смертном одре, я не мог примириться с этой обидой.

Я надеялся, что Ваня когда-нибудь прочтет мои записки и, может быть, предаст их гласности, и тогда все поймут, что я заслужил более, чем Владимира четвертой степени, хотя и этот орден был очень почетен, но, конечно, Георгиевский крест был куда выше!

Меня тревожило, удастся ли Ване разобрать мой почерк: до старости лет я так и не научился как следует чинить гусиные перья, которыми принято было писать. Я не умел достаточно остро срезать перочинным ножиком кончик пера и умело расщепить его. Для меня, как для военного человека, привыкшего действовать пистолетом и саблей, искусство чинить гусиные перья казалось недостижимым, и мне всегда было удивительно, как это хорошо удавалось, например, Пушкину, умевшему столь быстро, четко, изящно и тонко писать гусиным пером.

Перья наших молдаванских свойских гусей, которые я употреблял для писания своих мемуаров, были худшего сорта, чем те, которые употреблял Пушкин. Может быть, их ему присылал Вяземский из Санкт-Петербурга.

Жаркий, гнетворный ветер пробегал по осоке и тальнику в пойме пограничной реки Прут. Граница по случаю холеры была закрыта.

Шлагбаумы опущены. На мачте кордона развевался зловещий желтый карантинный флаг. Многие жители в страхе покидали Скуляны.

Изредка стреляла сигнальная пушка.

Марья Ивановна поднесла к моим губам зеркало. Оно не замутилось, я уже не дышал. Но мои стекленеющие глаза еще видели — или мне казалось, что они видят, — отражение моего мертвенно-белого лица с отросшими седыми усами, небритым подбородком с сабельным шрамом и висками, зачесанными вперед, по моде достопамятного двенадцатого года.

Подобно любой живой или неживой форме существования, я не имею ни начала, ни конца. Как все в природе, я бесконечен. Мое начало, так же как и мой конец, может быть только условно. Начать себя я могу как угодно: с равным правом с мига моего рождения или с мига смерти любого из моих предков.

Впрочем, даже это неточно, потому что, если разобраться, все живые существа в мире в равной степени и мои предки и мои потомки.

Я существую в так называемом времени, которое так же, как и я сам, бесконечно.

Умерев, я просто соединился с бесконечным миром элементарных частиц, как об этом стало принято считать в науке через сто лет после меня.

Священник опоздал и не успел меня исповедовать и причастить. Я уже был то что называется мертвецом. Но так как смерть оказалась всего лишь одной из форм жизни, то мое существование продолжалось и дальше, только в другом виде.

Мои похороны были спешны. Могильщики в холерных балахонах наскоро вырыли могилу. Под пение хора и звон погребального колокола меня вынесли из маленькой старинной церкви, сохранившейся со времен прутского похода Петра.

Я лежал зашитый в холстину, в просмоленном гробу, окруженный облаками росного ладана, который не мог заглушить запаха карболки. Меня опустили в глубь могилы и засыпали негашеной известью. Народу было мало, но командир прутского полубатальона карантинной стражи, полковник Н., явившийся в парадной форме, с кивером на согнутом локте, стоял рядом с моей вдовой, прижимавшей к носу кружевной платок, пропитанный ароматическим уксусом.

Следом за ней полковник бросил на крышку гроба ком сухой земли с пучком полыни, а затем вытер замшевой перчаткой слезы со своих выпуклых глаз в красных прожилках.

Как все пожилые военные, он был несколько сентиментален.

Свято соблюдая православные обычаи, Марья Ивановна положила на могильный холм самое большое блюдо из нашего саксонского сервиза, который некогда было очень хлопотно везти из Гамбурга в Бессарабию, через потревоженные недавней войной европейские земли.

На саксонском блюде была насыпана горка колева, то есть рисовой каши, засыпанной сахарной пудрой и обложенной разноцветными мармеладками.

Черпая серебряной ложкой с нашей фамильной монограммой, Марья Ивановна стала расчетливо оделять колевым кладбищенских нищих, подставлявших свои потертые бараньи шапки.

Время окончательно потеряло надо мной свою власть. Оно потекло в разные стороны, иногда даже в противоположном направлении, в

прошлое из будущего, откуда однажды появился родной внук моего сына Вани, то есть мой собственный правнук, гораздо более старший меня по летам. Едва его ноги зашаркали по сухой полыни скулянского кладбища, по изъеденным маленькими улитками, выветрившимся, почерневшим мраморным или известняковым плитам, ушедшим глубоко в землю, как наше бытие — его и мое — соединилось, и уже трудно было понять, кто я и кто он.

Кто правнук и кто прадед?

Я превратился в него, а он в меня, и оба мы стали некоторым единым существом. Наше общее бытие совершалось по новым, еще неоткрытым, неведомым законам.

Едва машина сошла с асфальтового шоссе и щебенка защелкала по крыльям и стеклам «Волги», давая понять, что мы едем по грейдеру, и как только за нами поднялось облако белой бессарабской пыли, знакомой мне с детства, и с одной стороны вдоль дороги потянулась желтая, созревшая кукуруза с волосатыми початками, а с другой стороны — пойма пограничной реки Прут, поросшая тростником и лесом, сквозь который тускло блестела вода, как я почувствовал сердечное волнение, будто бы после бесконечно долгого отсутствия увидел знакомые места.

Подобное состояние я уже испытал однажды, когда летел низко над дымящейся землей во время Ясско-Кишиневской операции.

Я сидел на заднем сиденье спиной к спине летчика и, прижав к плечу приклад крупнокалиберного пулемета, всматривался в облачное небо ранней весны, где примерно на уровне нашего хвоста летели неровной цепью аисты-черногозузы, возвращавшиеся на родину из Египта.

В случае, если бы в поле моего зрения появился вражеский самолет, я должен был стрелять. Перед собой я видел руль нашего штурмовика и опасался, что, когда придется открыть огонь, я могу в него случайно попасть. Перед вылетом я поделился своими опасениями с пилотом, но он, усмехнувшись, сказал:

— Авось не попадете.

Я был военным корреспондентом.

Разогнав стадо баранов, пасшихся на лугу, мы поднялись в воздух. Мы мчались совсем невысоко над охваченной пожарами местностью, которую, сидя спиной к движению, я мог видеть лишь в те мгновения, когда наш штурмовик делал крутой вираж или резко уходил вверх. Тогда я видел сельские дороги, забитые вражескими обозами, людей, бегущих враспынную, застрявшие в грязи немецкие тяжелые орудия, брошенные грузовики, рассыпанные снаряды, мешки, ящики.

Когда мы круто развернулись над излучиной Прута, беря курс на Яссы, покрытые шапкой дыма, я посмотрел через левое плечо и на миг как бы повис лицом вниз над Скулянами, над их горящими домами и мельницами.

Особенно мне запомнилась ветряная мельница с охваченными огнем вращающимися крыльями.

Посреди огня и дыма белела старинная церковь, каким-то чудом не тронутая пожаром, и вокруг нее кладбище. Тогда я еще не знал, что моя судьба каким-то образом связана с этим местом в юго-западном углу нашего громадного отечества. Тогда я еще не знал, что именно здесь, на древнем погосте времен Кантемира, похоронен мой прадед.

Я мало интересовался своей родословной, не придавая ей никакого значения, и лишь на старости лет, когда в мои руки попали некоторые бумаги прадеда и деда, чудом уцелевшие после всех превратностей ре-

волюций и войн, я сначала без особой охоты стал их разбирать, а потом увлекся.

Среди бумаг наибольший интерес представляли записки моих деда и прадеда. Записки деда в подлиннике и записки прадеда в копии, снятой уже гораздо позже одной из многочисленных дочерей деда, то есть моей теткой.

Наверху листа плотной канцелярской бумаги с водяными знаками четким, так называемым бисерным женским почерком было выведено заглавие:

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Бачея (1783—1848)».

Дальше значилось:

«Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея Алексеевича Бачея. Среди этих бумаг оказалась небольшая тетрадка старинной желтой бумаги, на первом листе которой рукой нашего отца написано: «Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в которых он сам участвовал».

«С большим трудом читается написанное старинным почерком, но чем дальше, тем интереснее и живее становится рассказ, обрывающийся, к сожалению, на 1813 году. Сведения о дальнейших военных подвигах деда в кампании 1813 и 1814 гг. мы знаем из документов и рассказов покойного отца».

Так как это предисловие датировано 1911 годом, то можно предположить, что в преддверии празднования столетия Отечественной войны двенадцатого года семья покойного дедушки решила предать гласности участие прадеда в этой великой войне, принесшей такую славу России.

Однако никаких документов на этот счет я больше не обнаружил, а рассказов покойного дедушки о своем отце, герое Двенадцатого года, не слышал, так как он умер, когда мне было едва ли два года.

...приходится довольствоваться тем немногим, что сохранилось в заветном сафьяновом портфеле.

Но прежде чем заняться записками прадеда, чего своевременно не сделал его любимый сын Ваня — мой дедушка, — мне захотелось познакомиться с воспоминаниями самого дедушки, находившимися, по-видимому, в том же самом сафьяновом портфеле и попавшими в мои руки в виде нескольких разрозненных тетрадок, исписанных уже не гусиным пером, а стальным, отчего, впрочем, почерк деда не стал разборчивее, чем почерк прадеда.

Я нашел среди упомянутых тетрадок несколько вырванных страниц, написанных другим почерком, более четким: видимо, незадолго до смерти дедушка диктовал это кому-нибудь из своих дочерей, которых, кстати сказать, было не то восемь, не то девять, а на специально оставленных полях собственноручно делал вставки и примечания карандашом, слабой рукой и очень неразборчиво: я потратил много усилий, чтобы прочитать их, разгадывая некоторые слова и отдельные буквы, имевшие вид непривычных для моего теперешнего глаза очертаний, иногда даже напоминающие скорее нотные значки, чем буквы.

Будучи уже сам очень старым человеком, во всяком случае намного старше своего деда и своего прадеда, я купил увеличительное стекло и читал при его помощи. В стеклянных недрах, при свете довольно сильной настольной электрической лампы, микроскопические насекомые дедовских букв вдруг вырастали до огромных размеров и плыли перед глазами, окруженные пылающим ореолом.

«Родился я 23 мая 1835 г. на берегу реки Прут в Бессарабской области (губернии), в м. Скуляны, на границе с Молдавией, ныне Румынией».

На полях карандашом:

«Отец мой капитан Елисей Алексеевич за ранения вышел в отставку 36 лет от роду, происходил из дворян Полтавской губернии, мать — немка из Гамбурга, с которой отец познакомился по взятии Гамбурга от французов в 1814 году, а в 1818 году вышел в отставку».

Стало быть, отец моего прадеда, то есть мой прапрадед, происходил из дворян Полтавской губернии и, можно предположить, как об этом гласит семейная легенда, был запорожцем, сечевиком, может быть, даже гетманом. После ликвидации Запорожской Сечи он был записан в полтавские дворяне, а потом каким-то образом приобрел имение в Молдавии, в Скулянах.

Раненый русский офицер, помещенный для лечения на постой в бюргерскую квартиру занятого города, женится на своей сиделке, молоденькой хорошенькой дочке хозяина, — вещь весьма обычная для того времени. Известно, что нечто подобное случилось во время Отечественной войны 1812 года с поэтом Батюшковым, о чем я в юности сложил стихотворение:

«Любезный друг, я жив, и богу известно, как остался жив, простреленный навывлет в ногу и лавры брани заслужив. Перетерпев и боль и голод, походов зной, ночлегов холод, я — в Риге. Рок меня занес в гостеприимные покои, и я в бездейственном покое здесь отдыхаю среди роз. Ах, Гнедич, ежели б ты знал: не в битвах, не в походах счастье. Кто жар любви не испытал, не ведал трепет сладострастья, безумец! — жизни тот не знал. Познавши сих восторгов сладость, я пью из полной чаши радость. Прощай, пришли стихи свои, твой стих душе моей чудесен, ты знаешь — богу нежных песен сродни крылатый бог любви. Прощай. Устал марафь. Пиши» — так, изливая жар души, из Риги в Петербург далекий влюбленный Батюшков писал. Текли восторженные строки, и «томный жар» в слезах блистал... Меж тем, не зная, что зима готовит горькую разлуку, «она» смотрела через руку на строчки милого письма».

Из этого можно заключить, что Батюшкову удалось избежать, как тогда привыкли выражаться, «цепей Гименея» и благополучно улизнуть от своей немочки, чего нельзя сказать о моем прадеде.

В письме одной из моих сентиментальных теток, занимавшейся семейной хроникой, написано:

«...у пастора Крегера была дочь Мария 16 лет, которая, ухаживая за молодым раненым офицером, сильно полюбила его. Молодой человек, в свою очередь, тоже не был равнодушен к Марии. Молодые люди, не желая расставаться друг с другом, испросив разрешения у родителей Марии и получив от них согласие на брак, отправились на лошадях в далекую, неведомую для молодой женщины Россию, в Бессарабию, где находилось имение ее мужа. Мария перешла в православие и больше ни своей семьи, ни своей родины уже никогда не видела».

Воображение живо нарисовало мне это романтическое свадебное путешествие на почтовых из Гамбурга до Скулян, через города Восточной Европы, потревоженной недавним нашествием наполеоновских армий, ночевки на постоялых дворах и так далее...

Название Скуляны — самая фонетика этого слова — возбудило в моем сознании представление о чем-то некогда хорошо мне знакомом, но забытом, как музыкальная фраза, которую иногда бывает трудно восстановить в памяти. Я готов был поручиться, что никогда не бывал в Скулянах. Тем не менее при самом звуке этого слова возникала неясная, романтическая картина, с трудом различимая в тумане прошлого.

Но вот однажды, перечитывая Пушкина, я обратил внимание на заключительную фразу повести «Выстрел»:

«Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».

Так вот оно что!

Что же это было за сражение под Скулянами?

Я стал один за другим перелистывать синие томики Пушкина, его заметки, рассказы, письма.

Вот несколько слов из письма Вяземскому:

«Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев? я познакомлю тебя с героями Скулян и Секу, сподвижниками Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном».

Нетрудно представить молодого опального поэта, увлеченного романтикой Гетерии, борьбы за освобождение Греции, вдыхающего ветер Свободы, пронесшийся над дунайскими княжествами, над живописными холмами и кодрами Молдавии. Его увлекли характеры инсургентов. Кажется, он сам готов был, подобно Байрону, поднять оружие за свободу, в сущности, чуждой ему Греции — только потому, что в те дни Греция была символом свободы.

Пушкин долго не мог забыть молдавские впечатления. Через десять или двенадцать лет после кишиневского изгнания он написал одну из самых своих зрелых и изящных прозаических вещей, повесть о некоем болгарском разбойнике Кирджали, в которой также упоминаются Скуляны:

«Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, болгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отстающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слышал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и разбил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которую гарцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд...»

Будучи правнуком своего прадеда, очевидца этих событий, я с особым удовольствием читал «Кирджали», беря на веру все, что написал Пушкин.

Однако в качестве прадеда своего правнука — то есть меня, что, в сущности, по сравнению с вечностью одно и то же, — я не считал картинку, написанную Пушкиным, вполне достоверной: вряд ли картечь могла перелететь через очень широкую пойму Прута и вряд ли начальник карантина мог слышать ее жужжание. Сомневаюсь также, чтобы старичок, сорок лет служивший в армии, отроду не слыхивал свиста пуль, — даже если предположить, что они залетали на наш берег. Время было военное, Россия вела несколько войн; все ее офицеры были люди обстрелянные. Во всяком случае, мой приятель (тот самый, который присутствовал на моем погребении), командир прутского полубатальона карантинной стражи полковник Н., был боевой офицер, дравшийся с турками, а потом и с войсками Наполеона. Во время достопамятного сражения под Скулянами между греческими повстанцами и турками наш карантинный полубатальон был приведен в боевую готовность. Довольно равнодушно к сражению отнеслись жители Скулян на противоположном берегу Прута, и лишь моя супруга Марья Ивановна, бывшая в это время на сносях, так перепугалась, что спряталась в погреб, где у меня были закопаны в песок заветные бутылки «клик», и едва там не родила нашего второго ребенка, Яшу. Я вывел ее из погреба чуть ли не силой и сделал шуточный выговор: она, видимо, забыла, что пережила осаду Гамбурга, слышала грохот французской артиллерии маршала Даву и при этом все время держала себя молодцом.

В остальном Пушкин был верен истории.

Вот в каком живописном, романтическом уголке России родились все мои пятеро детей, от которых продолжался наш род и в конце концов произошел тот старик, который ходил по скулянскому кладбищу, разыскивая мою могильную плиту, но так до сих пор ее не нашел: видно, она очень глубоко ушла в землю и заросла полынью.

Мой младший сын Ваня впоследствии описал свое детство следующим образом:

«Скуляны состоят из двух частей: старые, где церковь православная и село молдавское; новые Скуляны, где почтовая контора, карантин, таможня, кордон пограничной стражи, главная улица с еврейскими лавками и постоялым двором, а затем дома разного чиновного люда».

«В новых Скулянах, на площади, стоял наш дом с громадным двором, посреди которого были сложены 20 или 30 сажен березовых дров, привозимых из заграничного берега Молдавии. При доме находился большой сад с виноградником и фруктовыми деревьями. Против выходного крыльца, внутри двора был земляной погреб, в котором хранилось все молочное, собираемое с коров. По левую сторону ворот стоял громадный амбар — кладовая, в которой по правую сторону от дверей стояли две сорокаведерные бочки наливки — сливянки и вишневки, а сбоку их — трехведерный бочонок заграничного рома для гостей, а по левую — несколько кадок соленого масла; в стеклянной же посуде — фунта два сливочного масла, которое через два дня пополнялось новым, а старое, если оставалось, солилось и клалось в кадку. Тут же стоял мешок крупитчатой муки; на потолке на балках висели окорока, в ящиках лежали колбасы и солтисоны, разная копченая пища. Стоял ящик с вермишелью, макаронами и разными съедобными продуктами».

«На дворе гуляло до сотни разной птицы: кур, гусей, индюков, уток, цесарок, каплунов, которыми заведовала особая крепостная женщина».

«В конюшне стояли 5 лошадей; во дворе было две кухни; господская с лучшей крепостной кухаркой, которая готовила под наблюдением матери, а другая, тоже с крепостной кухаркой, — людская».

«Продолжением кладовой был большой амбар, наполненный хлебом в зерне на продажу. Под амбаром был винный погреб для вина на продажу и домашнего обихода. Вино очень хорошее. Тут же в песке выложены были бутылки с разным иностранным вином, а также с донским...»

Воображаю, какие пиры задавал мой прадед, когда к нему наезжали гости из Кишинева и других мест центральной Бессарабии. Тут уж, конечно, из песка выкапывались и старое бургундское, и то-кайское, и столетний иоганисбергер, и уж, конечно, в большом количестве донское, цимлянское с засмоленными пробками, крепко перевязанными тонким шпагатом, который прадедушка собственноручно надрезал ножичком, после чего пробки вылетали со звуком пистолетного выстрела, и прабабушка затыкала уши мизинцами, восклицая свое неизменное «о майн гот!».

Вполне возможно и даже очень вероятно, что на прадедушкиных обедах бывал и молодой Пушкин, привезенный кем-нибудь из своих друзей, кишиневских чиновников, в пограничные Скуляны для того, чтобы своими глазами увидеть места, где герои Гетерии переходили Прут для того, чтобы сразиться за свободу Греции с ненавистными турками. А быть может, за хлебосольным прадедушкиным столом сидел и сам Александр Ипсиланти — бывший генерал русской службы, потерявший руку при взятии Дрездена в 1813 году, где, кстати сказать, дрался рядом с ним и прадедушка.

...и грибки шампанских пробок летели в потолок...

Можно предположить, что герой Гетерии Александр Ипсиланти и мой прадедушка, несмотря на разницу в чинах, все же могли быть друзьями. Им было что вспомнить за бутылкой донского, а вероятнее всего, за бутылкой вдовы Кликко, зарытой особенно глубоко в заветном уголке винного погреба.

...Вижу молодого человека в коротком сюртучке, голубоглазого, смуглолицего, курчавого — Пушкина, — целующего ручку моей прабабушки, царившей за парадным столом в своем праздничном чепце с хорошо разглаженными атласными лентами.

Но это все, конечно, лишь плод моего воображения.

«Во дворе, — писал далее дедушка, — был особенный запасной флигель. Рядом с ним экипажный сарай с дрожками, коляской, бричкой и двумя санями: большими и малыми. В сарае при входе стояла домашней работы деревянная ступа, где толкли пшено. Подле угла того сарая был еще другой сарай, для дров. Под ним ледник, где летом хранился бочонок с пивом, приготовляемым матерью по-немецки. Позади ледника — скотный двор. Возле сада был особый «саж», где откармливались свиньи для зареза».

«На горище (то есть на чердаке) нашего дома висели на толстых бечевах виноградные кисти и разные фрукты, собираемые в саду и хранимые на зиму. Под ними разостланы были большие рядна, на которые падали некоторые фрукты — так называемая падалица. Ключ от горища всегда висел среди прочих ключей на поясе матери».

«Утром каждый день мать с крепостной горничной, а если ей было некогда, то посылала меня или сестру Лизу, чтобы горничная собирала в особую посуду упавшие фрукты, которые затем поступали в пользу крепостных».

«На горе, — было приписано на полях карандашом рукой дедушки, — от дома с правой стороны стояла большая мельница, куда по приказанию отца водили меня, приучая к опасности».

Вероятно, мой дедушка, маленький Ваня, впервые приведенный на мельницу, испытал такой ужас, что через много-много лет и таинственным путем этот ужас передался по наследству мне, его внуку.

Долго преследовал меня страх ветряной мельницы.

Не могу не привести несколько строк из «Капитанской дочки», которую как раз в это время перечитывал:

«Читатель извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосония».

Мне очень свойственно находиться в таком состоянии, как бы в миг засыпания, между бодрствованием и сном, что так чудесно назвал Пушкин «первосонием». Впрочем, я бы предпочел назвать его междусонием.

...между жизнью и смертью...

Я всегда испытывал ужас при виде огромных мельничных крыльев, проносившихся в опасной близости над моей головой, как бы желая меня обезглавить, при их зловещем скрипе, их движении силой степного ветра.

Еще больший ужас испытывал я, когда мне в детстве случалось, поднявшись по шаткой лесенке, войти внутрь работающей мельницы, где в сухом сумраке вокруг меня трясся привод, связанный из грубых деревянных брусьев, крутящийся столб со странным, зернистым гулом вращал жернова, из-под которых лился белый ручеек пшеничной муки.

«Мысли гигантов... Мысли гениев», как сказал о работе мельничных жерновов один великий черт.

Хлебная пыль стояла в воздухе и першила в горле. Люди с белыми мешками на спинах, осыпанные с головы до ног мукой, двигались мимо меня как привидения.

Не менее страшной казалась мельница ночью, посреди безлюдной степи, когда ее крылья неподвижно чернели на фоне звездного неба.

Тогда черная коробка мельницы, лишенная души, представлялась мне непомерно огромной, занимающей полнеба, а я рядом с ней — таким маленьким!

Однажды, будучи юношей, шел я глухой ночью через степь между двумя лиманами — Куяльницким и Хаджибеевским, засидевшись в гостях на Куяльницком лимане. Все уже ушли спать, а мы с «ней» одни продолжали сидеть на террасе облитые теплым светом полуночной июльской луны, и никакая сила в мире не могла заставить меня встать с плетеного кресла, хотя девушка уже несколько раз зевнула, крестя свой маленький кошачий ротик. Наконец я заставил себя встать. Она пошла в комнаты и вернулась с небольшим дорожным пистолетом прошлого века. Наверное, из такого пистолета Дубровский застрелил медведя. Девушка попросила, чтобы я взял его на всякий случай: мало ли что могло случиться со мной ночью в глухой степи. Я сунул холодный пистолет под свою летнюю коломьянковую гимназическую куртку на грудь и пошел восвояси.

Уже перешло за полночь. На горизонте сгушалась предутренняя чернота.

...Я был опьянен любовью...

Глухая ночь, далекий лай собак, весь небосклон пропитан лунным светом, и в серебре небес заброшенный ветряк стоит зловещим силуэтом. Беззвучно тень моя по лопухам скользит и как разбойник гонится за мною. Вокруг сверчков хрустальный хор звенит и жнивье ярко светится росой. В душе растет немая скорбь и жуть. В лучах луны вся степь белее снега. До боли страшно мне. О, если б как-нибудь скорей добраться до ночлега.

Мне показалось, что я слышу за собой чьи-то недобрые шаги. Я вынул пистолет. Синий огонек луны скользнул по его никелированному стволу с ложбинкой.

Через несколько дней началась война 1914 года.

«За мельницей, — писал дедушка слабеющей рукой карандашом на полях своих мемуаров, — в пяти верстах были пять садов виноградных и фруктовых, названных по числу детей: Сашин сад, Яшин сад, Анастасьин сад, Лизин сад и Ванин сад (то есть мой сад!)».

«В моем саду было озеро с проточной водой, куда запускали карасей, окуней и раков для домашнего употребления, а в саду Анастасии — винодельный завод. Он выделял вино со всех садов».

«Один случай засел у меня в голове... Проезжая в бричке по моему саду...»

На этом месте запись карандашом обрывается. Доходя до этого места, я всегда начинаю гадать: какой же случай произошел с дедушкой в его саду?

Так как я уже не мог никогда узнать этого, то на всю жизнь у меня осталось ощущение чего-то таинственного. Всякий раз, как мне приходилось войти под сень фруктового сада или в гущу виноградника с вырезными листьями, покрытыми бирюзовыми пятнами купорося, я испытывал и до сих пор испытываю это странное ощущение.

«Готовили у нас два раза: обед и ужин, все заново. Обедали потом под деревьями возле дома, а зимой в комнате».

«Когда отец бывал у себя в кабинете, то ему посылали доложить, что кушанье готово. Мать, сестра и я стояли возле своих приборов за стульями и ожидали отца. При входе своем он крестился на образ, окинув предварительно своим взглядом, все ли в порядке, после чего садился. что обозначало, что нам тоже можно садиться».

«Никто прежде него не смел открыть рта».

«С матерью он говорил по-немецки, а с сестрой и мною по-русски, причем ответы наши должны были быть краткие и ясные, без рассуждений».

«По праздникам он разрешал давать к столу полбутылки шампанского или донского...»

Представляю себе, с каким нетерпением мой дедушка — тогдашний мальчик Ваня — и его сестренка Настя дожидались праздничного обеда, заранее чувствуя на языке морозные иголки шампанского. Они испытывали то же самое, что впоследствии, лет этак через сто с лишним, испытал однажды и я в парижской Гранд-опера в антракте оперы Дебюсси «Страдания святого Себастиана», когда, пройдя в новых,

скользких ботинках через громадное холодное фойе бельэтажа по хорошо натертому, но старому и скрипучему паркету, я попал в буфет, где продавщица в наколке налила мне в плоский бокал немного замороженного шампанского из золотого горлышка бутылки, и я отошел к громадному высокому окну с закругленным верхом, за которым сиял ночной Париж со множеством сверкающих витрин на авеню Гранд-опера и фонарей в стиле XIX века, изливающих современный свет середины XX века всех оттенков голубого, зеленого, лилового, смешанных вместе, и сделал расчетливо маленький, божественно скупой глоток «клик», от которого по моему языку побежали иголочки, в горле зашипало, а лиловые фонари площади, наполненной толпой, как бы потекли в моих глазах, меняя тона, и голова закружилась, повторяя движение бегущих вокруг площади автомобилей.

Ах, прадедушка, прадедушка, что ты натворил, разрешая моему дедушке глоток шампанского в праздник...

«Когда мне минуло семь лет, я был отдан к местному дьячку для обучения грамоте. Это продолжалось один год. Затем я вместе с другими детьми благородных семейств поступил к особому молодому учителю. Обучение шло довольно успешно...»

«Не могу не вспомнить: отец был строг, но очень меня любил, приучая меня ко всяким опасностям, например к езде верхом без седла, приказывая кучеру Остапу сажать меня на коня и отпускать. Ездил я далеко за местечко на превосходном коне Овсяннике...»

«...чудный конь, смиренный, при нешибкой езде ходил иноходью, что было очень удобно для маленького мальчика».

Как увидит читатель в дальнейшем — если у него хватит терпения дочитать эту книгу, — будучи уже на военной службе во время кавказской кампании, дедушка много внимания обращал на лошадей и много ими занимался среди забот и опасностей походной жизни.

«Зимой при страшной вьюге и метели отец, выходя из кабинета в сени, бывало, крикнет:

— Ваня!

И я моментально, застегнув курточку, в шапке, вылетал в сени. Мать шла за мной».

«Вопрос:

— Здоров ли ты?

Я отвечал:

— Здоров, папочка.

Отворяя дверь во двор и повелительно указывая пальцем, отец командовал своим офицерским голосом:

— Марш!

В одну минуту я бросался в кучу снега и начинал барахтаться».

«Мать моя, стоя в ледяных сенях и подняв сложенные руки, со слезами на глазах восклицала:

— Майн гот! О майн гот! Майн либер зон!

— Ничего, — отвечал отец, — коли выдержит, будет здоров, а не выдержит — похороним. На кладбище много места».

«Затем он командовал:

— Довольно!

...и я вскакивал и становился перед ним как солдатик по команде смиренно».

«Вопрос:

— Здоров?»

И я отвечал:

— Здоров, папочка!

Хлопая меня по плечу, он говорил:

— Молодец!

И, обращаясь к матери, говорил:

— Бери его. Переодень в сухое».

«Мать хватала меня на руки и уносила в свою душистую комнату, начав переодевать. Прыгая на одной ножке со снятым мокрым чулком, я, бывало, кричал с восторгом:

— Папа сказал мне: молодец!

Мать только отвечала мне: «Гут, гут» — и торопилась натянуть на мои ноги сухие шерстяные чулки домашней работы».

«Радость от похвалы отца была настолько сильна, что я готов был броситься в огонь, если бы он приказал».

«Через два года после поступления к учителю отправили меня в Одессу к моим братьям, которые, окончив Ришельевский лицей, служили в этом городе: старший брат, Александр, в коммерческом суде, а младший, Яков, в государственном банке. У них была квартира из двух комнат — одна была общею нашей спальней, а другая гостиной, где я занимался...»

Здесь рукопись обрывается, а на полях рукой деда карандашом написано:

«В 1844 году после Пасхи мой зять Ковалев, наняв возчика — повозку с будкой, — повез меня учиться в Одессу».

«Первый день поездки был довольно скучен и однообразен. Ровная местность, гладкая степь, не на чем отдохнуть глазу».

«На другой день пейзаж стал более разнообразен, начались горы, деревни, и наконец пошел дождь, ввиду которого мы раньше окончили дневную поездку, остановясь ночевать в одной болгарской деревне. Нам была отведена очень чистая комната. Хозяин дома, занятый выжиманием вина в особо устроенном сарае, производил его довольно чисто».

«Переночевав, мы выехали. День был чудный. Мокрая зелень блестяла на солнце. Освеженный ароматный воздух заставлял забывать неудобства нашего путешествия».

«На третий день мы въехали в Кишинев и остановились на постоялом дворе. Оттуда пошли отыскивать поручика Модлинского полка Войтова. Мы застали его в офицерском собрании, где была масса его товарищей — все люди почтенного возраста; между ними ни одного молодого, как мы привыкли видеть в армии теперь».

Я думаю, это были ветераны войны Двенадцатого года.

«Поговорив о том о сем, мы простились и ушли домой. На следующий день после обеда на постоялом дворе выехали. Вечером другого дня остановились в Тирасполе, где ночевали, тоже на постоялом дворе».

«Наутро опять были в дороге...»

«Проезжая мимо Бендер, мы мельком увидели крепость — не грозную твердыню, где в начале XVIII века искал последней опоры разбитый Петром под Полтавой шведский король Карл XII и предатель России, кровавый старик Мазепа, а мирный уголок, где помещался военный госпиталь и склады с разным имуществом».

«Через некоторое время наше путешествие окончилось. В Одессе мы остановились на постоялом дворе в доме Томазини, теперь Бернштейна, на углу Полицейской улицы и Александровского проспекта. Дом этот существует и теперь в том же виде, но третий этаж надстроен. Закусивши, мы пошли в банк к брату Якову...»

Тут карандашные пометки на полях кончаются, и рукопись обрывается несколькими пустыми пожелтевшими страничками.

...Вижу девятилетнего мальчика в курточке, Ваню, моего дедушку, которого везут из Скулян в Одессу поступать в гимназию.

Ваня впервые расстается с отчим домом, с матерью и отцом в армейском капитанском мундире, которые стоят на крыльце, глядя на дорожную повозку с будкой — так называемой халабудой, — увозящую в клубах холодной утренней пыли их младшего сына в новую жизнь.

Мать утирает щеки платком, отец хмурится, бодрится, старается выглядеть молодцом, опирается на палку.

Больше Ваня уже никогда его не увидит.

Что может сравниться с чувством первого расставания с родным домом, с местами, знакомыми с самого раннего детства? Кто знает, быть может, Ваня уже никогда в жизни не проедет по этой скучной, плоской равнине вдоль пограничной реки Прут, которая в его детском воображении превращалась в романтическую местность, полную красот и загадок. Сердце его сжимается от недобрых предчувствий, свойственных человеку, впервые покидающему семью. Чаще всего эти дурные предчувствия оказываются ложными. Но кто знает, что будет впереди!

Впрочем, эти черные мысли быстро проходят. Внимание то и дело отвлекается. Маленький Ваня видит вокруг себя незнакомую страну, живописную область Российской империи между двумя реками — Прутом и Днестром. С каждой верстой местность становится все красивее. Невысокие горы, скорее холмы, дальние отроги Карпат, долины, возвышенности, как бы переливающиеся одна в другую, кое-где грабовые и дубовые рощи — по-молдавски «кодры», — уже покрытые первой зеленью, пасхальное небо с легкими облачками, яркое, но не резкое солнце, аисты-черногузы на камышовых и соломенных крышах чистеньких, даже нарядных молдавских деревень, мазанки со столбиками навесов — голубые, лиловые, розовые... Первая пыль над дорогой... Первая бабочка... Начинающие зеленеть ореховые деревья.

Иногда на горизонте появляются старинные турецкие крепости — свидетели русской военной славы, свидетели побед и поражений. Тени Петра, Карла XII, Кантемира, турецких полководцев, шведских солдат, Суворова, Потемкина.

Маленький Ваня ехал по полям, где еще до сих пор в земле находили чугунные ядра, заржавленные штыки-багинеты. Вокруг мальчика простирался театр бывших войн... Но, может быть, не только бывших, но и будущих, кто знает? Это бросало тревожную тень на окрестности. Ванино воображение было не в силах проникнуть в будущее. Будущее не просматривается сквозь голубой зеркальный воздух ранней весны, но тень будущего как бы плывет вдоль волнистого горизонта.

Тенистый, весь в зелени, маленький провинциальный Кишинев с одноэтажными городскими домиками, в одном из которых совсем еще недавно жил ссыльный Пушкин... Гарнизонное собрание, где Ваню поразило, что почти все офицеры — люди пожилые, даже старые, как и его отец, ветераны достопамятного Двенадцатого года, как бы овеванные славой Бородина, Смоленска, Дрездена...

...А там дальше вдруг — резкая полоса ни разу в жизни еще не виданного моря, того самого Черного моря, которое в энциклопедических словарях часто называлось заливом Средиземного...

...И наконец въезд в Одессу, в богатый, шумный, каменный город порто-франко.

Но что такое порто-франко? Не каждый знает.

Вот что об этом пишет одесский летописец Де-Рибас, потомок того самого Де-Рибаса, одного из основателей города в том виде, в каком он существует и ныне:

«Летом 1817 года стали направлять в сторону Куяльницкого лимана большие партии арестантов и вольнонаемных рабочих для прорытия канавы вокруг Одессы от Куяльника до Сухого лимана на протяжении 24-х верст. Канавы эта должна была служить чертою, внутри которой все привозимые морем иностранные товары могли быть продаваемы без взимания за них таможенных пошлин. При вывозе этих товаров за черту города для направления внутрь России или транспорта за границу они оплачивались обычным порядком, для чего были устроены особые таможенные заставы (Херсонская и Тираспольская). Множество иностранных судов стояло на рейде, зная о предстоящем введении в Одессе нового таможенного порядка. Они ожидали сигнала, чтобы поскорее причалить к пристани и выгрузить беспошлинный товар. Наконец раздался этот сигнал — пушечный выстрел...»

«Вся жизнь в Одессе преобразилась, все стало в ней дешево, и самые малоимущие слои населения могли себе позволить роскошь пользоваться заграничными произведениями...»

Вот что такое было порто-франко. Одесса стала чем-то вроде вольного города, и эта райская жизнь продолжалась до 1857 года.

Стало быть, дедушка приехал в Одессу времен порто-франко, и его поразила кипучая жизнь этого богатого европейского портового города, по сравнению с которым Кишинев, не говоря уж о родных Скулянах, казался захолустьем. В особенности поразило дедушку одесский порт с волнорезом и сияюще-белым Воронцовским маяком в форме удлиненного колокола, вокруг которого летали тучи чаек. В порту стояло множество торговых заграничных судов, анатолийских фелюг, бригантин, дубков, легкокрылых яхт, среди которых иногда виднелись черные трубы колесных пароходов, покрывавших вокруг себя воду сажей. Грузчики тащили на спинах тюки товаров и сваливали их в пакгаузы. Иные из грузчиков были полуголые, в турецких фесках. В толпе расхаживали иностранные матросы, шкипера с трубками в зубах.

Иногда к пристани подкатывал блестящий экипаж с каким-нибудь местным негодником-итальянцем или греком. Все вокруг кипело портовой жизнью.

А в открытом море, среди сине-зеленых волн с барашками пены, шла — при свежем крепком ветре — несколько военных фрегатов Черноморского флота под всеми своими многоярусными надутыми парусами, с треугольниками кливеров над бушпритами, с андреевскими флагами — крестом голубой на белом фоне, — с медными пушками, виднеющимися в глубине квадратных люков, называемых портами. И чудная эта картина со всеми своими подробностями показалась мальчику как бы символом славы и могущества России. Слезы восторга навернулись на его голубые глаза.

А когда через несколько лет началась война на Кавказе, молодой восемнадцатилетний юноша, как об этом впоследствии написала сестра моей покойной мамы, тетя Наташа, в своей «Хронике семьи Бачей», немедленно отправился добровольцем, или, как тогда говорили, охотником, на поле брани. Там он, «не считаясь с опасностью для жизни, с юношеским пылом бросился в самые опасные места боя».

Первые годы военной службы дедушки мне неизвестны, так как тетрадь с их описанием утрачена. Но сохранилось несколько других тетрадей, из которых одна, по-видимому вторая, начинается прямо со середины фразы:

«...командир полка ввиду невозможности доставать продовольствие разрешил получать нам из рот на приварочные деньги (3 копейки в сутки) сухари и пищу, если таковая готовилась. Это нам много помогло, по крайней мере не чувствовалось голода».

По-видимому, это писалось дедушкой уже в старости, в виде мемуаров, которые были так распространены среди отставных генералов, считавших долгом оставить потомкам описание своей военной службы.

Рука у него была еще довольно твердая, чернила не слишком выцвели, и писались мемуары уже не гусиным пером, а стальным, отчетливо.

Все же мне стоило большого труда разобрать не всегда понятные завитушки, свойственные особенностям его полустаринного почерка. Он, например, писал букву «с» в виде громадной скобки, уходящей глубоко вниз строки, так что я долго не мог привыкнуть к тому, что этот странный знак есть не что иное, как обыкновенная буква «с». Букву «ж» он писал так же точно, как свое загадочное громадное «с», но только с каким-то узелком посередине, так что часто поначалу мне приходилось гадать, какая это буква: «с» или «ж»?

Букву «л» он писал в виде геометрического обозначения угла, или уменьшенного латинского «л».

Удивительно, что я тоже одно время вдруг стал писать эту букву таким же манером: вероятно, во мне начали проявляться дедовские гены, так же точно как некогда в свою очередь они перешли к дедушке от прадедушки, в особенности в начертании буквы «Б», стоявшей в начале их фамилии. В этом я убедился, когда получил из молдавского архивного управления фотокопию подписи моего прадедушки на какой-то официальной бумаге того времени, обнаруженной в архиве Скулян: подпись с росчерком. Кроме трудных букв «с», «ж» и «л», в почерке дедушки была еще одна особенность, свойственная также и почерку его отца: часто последние буквы какого-нибудь слова делались мал мала меньше, совсем крошечные, почти микроскопические. Для того чтобы их прочесть, приходилось прибегать к увеличительному стеклу.

Вся рукопись деда представляется мне теперь как ряд сильно увеличенных, почти огромных прописей, бегущих перед моими глазами как странные призраки букв-великанов.

Волшебная сила увеличительного стекла как бы возвращала их ко мне из непомерно далекого прошлого, принося с собой яркие картины этого прошлого: скалистые горы, сакли, каменистые дороги, горные реки, ущербную луну...

«Денщики всегда пользовались этим и для пропитания себя...»

Значит, дедушка в это время уже имел денщика, то есть был офицером.

Сначала доброволец, охотник, потом совсем молоденький офицер, подпоручик, некогда и я повторил в юности начало дедушкиной, да и прадедушкиной военной карьеры с той лишь разницей, что прадедушка дослужился до капитана, дедушка вышел по старости лет в отставку в чине генерал-майора, а меня застала революция прапорщиком, представленным к производству в подпоручики.

«Утром встав, оглядевшись, проверили людей, некоторых татар не оказалось, вероятно, во время движения они тихонько отстали, но осо-

бого вреда нам не сделали... Наскоро пообедали кашницей с салом и пошли в поход на Ханис-Цхали, куда должен был прийти и отряд из Мингрелии. Там мы остановились, чтобы защищать дорогу к Кутаису, где собрались все к 21 ноября 1855 года.

(Не уверен, что все названия населенных пунктов и фамилии прочитаны мною правильно, особенно на первых страницах записок, так как бумага почти сплошь покрыта ржавыми крапинками, как кукушкино яйцо.)

На правах внука, продолжателя рода, считаю возможным кое-где исправлять стиль дедовых записок, сохраняя все их простодушие, собственное девятнадцатилетнему субалтерну, прямо с гимназической скамьи попавшему на Кавказ, называвшийся в песнях того времени «гибельный», в армию, ведущую затяжную войну то с горцами, то с турками, послужившую темой для Лермонтова, Пушкина, а потом и Льва Толстого, который примерно в одно время с дедушкой воевал на Кавказе, а потом в осажденном Севастополе.

«Мы, субалтерны роты поручика Равича, подпоручики Беляев и я, заняли одну саклю, где также поместили двух наших верховых коней и денщиков. Посередине сакли развели костер, на котором денщик ротного командира готовил общий обед и чай».

«Спали мы на земляном полу, на соломе, не раздеваясь. Лошади в ногах наших жевали гогий — нечто вроде нашего проса».

«Дня через два была тревога:

— Турки идут!

По тревоге все части с артиллерией и казаками выступили в боевом порядке к реке, вблизи которой на версту расстилалась ровная поляна».

«По разведке всегда оказывалось одно и то же: милиционеры видели за рекою движение турок, поднимали тревогу, после которой турки отступали. И мы возвращались обратно на свои квартиры, где нас ожидали денщики».

«Так было и теперь».

«Проделав хороший моцион, мы с аппетитом обедали, затем начались шутки, рассказы — словом, все шло своим чередом».

«Подобные ложные тревоги служили некоторым развлечением в нашей обыденной, но тревожной жизни».

«В особенности тревожно было на Рождестве. Пришел Новый год, и мы ждали наступления на нас турок, но они хотя иногда и появлялись за рекой, но, видя, что мы бодрствуем и готовы к бою, после нескольких пустячных выстрелов опять уходили, давая нам повод полагать, что турки не очень-то хотят боя. Видимо, война кончалась».

Далее дедушка в протокольном стиле повествует о том, как он в одно из спокойных воскресений ходил в местечко на базар, где пил «горячую воду, варенную с медом», закусывая чуреками — «лепешками из толченой гогии», — а также вместе со своими товарищами младшими офицерами разглядывал толпу имеретинов, приехавших на базар для продажи лошадей местной горской породы.

Среди однообразия бивачной жизни дедушка описал два случая, поразивших его своей дикостью:

«Во время стоянки в Хоши однажды в воскресенье по многолюдному базару проезжал верхом старший полковой священник отец Михаил Мищенко, очень серьезный, пожилой человек, умный и богатый. Навстречу ему попался другой полковой священник, младший, отец Семен Судковский, молодой человек, неизвестно как попавший в духовное звание. Его жизненная дорога была дорогой так называемого у нас «кутилы-мученика». Карты и вино — вот все, что он любил в жизни».

«Поравнявшись с отцом Мищенко, отец Судковский преувеличенно, шутовски-лихо откозырял, но отец Мищенко, видя, что Судковский навеселе, ограничился сухим поклоном и, не останавливаясь, стал продолжать свой путь. Тогда Судковский, вдруг повернувшись назад, ударил лошадь отца Мищенко плеткой и крикнул на нее. Лошадь подскочила. Мищенко, весь бледный, схватился за гриву, но лошадь все несет да несет, потому что Судковский продолжал кричать, скакать рядом и бил ее изо всех сил плетью».

«Весь базар сбежался и гогочет, смотря на такую потеху».

«Проскакав таким образом с версту, Судковский остановился и, смеясь, крикнул:

— А что, отец Мищенко, хорошо ли вашей ж...?»

«Проскакав еще версту, лошадь Мищенко была остановлена солдатами».

«Случай этот не прошел Судковскому благополучно: по поданному отцом Мищенко рапорту Судковский был переведен в Севастопольский полк, но история этого происшествия долго была в памяти нашего полка».

Можно себе представить, какой вид имел отец Мищенко во время своей вынужденной скачки: пожилой священник в порыжелой походной рясе, в стальных очках, с косичкой серо-серебряных волос, выбившейся из-под кастровой шляпы, с наперсным крестом на черно-красной Владимирской ленте, коими награждали армейских священников вместо боевых орденов, подпрыгивающий на несущейся карьером взбесившейся лошади, уронив поводья и болтая ногами в сапогах с рыжими голенищами.

Другой случай, описанный дедом, окончился более трагически:

«Командир 10-й роты поручик Бахметьев, богатый помещик Казанской губернии, любящий покутить, устроил на масленицу в местечке кутеж, по окончании которого, севши верхом на своего горячего коня-аджарца, понесся домой в лагерь, непрерывно хлестая коня плетью. Конь, закусив удила, летел, как стрела из лука. На пути стояло дерево, старая чинара, ветви которой повисли над дорогой. Бахметьев спяну не разглядел его. Удар со всего лету был роковой. С разможенной головой Бахметьев упал замертво. Коня поймали и привели. Брат покойного подпоручик Бахметьев устроил аукцион имущества брата, и конь этот — серый, длинный, высокий, с лебединою шеей — достался мне».

«Я рад был покупке, сам с денщиком ухаживал за ним. Конь страдал мокрецами, которые завелись по случаю февральских дождей, разведших сырость и мокроту: таков кавказский климат!»

«Все вдруг стали говорить, что перемирие заключено, хотя никаких положительных сведений не имелось».

«Именно в это время наш новый батальонный командир майор Войткевич почему-то вздумал производить учения — ружейные приемы, — на которые выводились все четыре роты, но без офицеров, кроме меня. Только один Войткевич да я присутствовали».

«Батальон становился покоем (то есть в виде буквы «п»), я командовал, а Войткевич смотрел придирчиво, педантично поправлял, по десять раз заставлял делать каждый прием. Он принадлежал к числу тех недоброжелательных, вечно чем-то обиженных, злых, жестоких офицеров-службистов, которых во множестве породила кавказская война».

«Мои товарищи по батальону, офицеры, подшучивали надо мной, что я попал в милость к Войткевичу, хотя, по совести говоря, я этого совсем не искал. Почему выбор Войткевича пал на меня, не знаю. Вероятно, это была одна из его причуд, так как ко всему прочему он был еще и самодур».

«Впрочем, должен сознаться, мне эти ежедневные упражнения даже нравились: видимо, во мне билась военная жилка, унаследованная мною от покойного отца».

«Кроме того, учения эти как бы сокращали время и оно тянулось не так мучительно».

Видимо, у дедушки наступил тот момент душевного разочарования в своей службе, который время от времени наступает у военных, в особенности во время затяжной кампании, что, между прочим, не раз испытывал и я на позициях под Сморгонью во время первой мировой войны. Тогда мне под любым предлогом хотелось уйти с батареи и погулять одному среди густых хвойных лесов, постоять на перекрестке дорог, где находилось деревянное распятие с маленькой фигуркой Христа, а также с молотком и клещами, привешенными к перекладинам креста, — тем самым молотком, которым забивали гвозди в руки и ноги распятого, и теми самыми клещами, которыми потом вытаскивали эти гвозди.

Такие придорожные распятия были обычны для тех мест.

Там я задумчиво стоял, проклиная тот час, когда решил отправиться на фронт и принял присягу и теперь был уже навсегда связан с ужасной военной жизнью, и в одиночестве глотал слезы, вспоминая все свои любовные приключения в тылу, и сочинял сентиментальные стишки, посвященные разным девушкам — подругам моей свободной и легкой юности, счастливой жизни в тылу, где мне не угрожала ежеминутная возможность смерти.

«Слякоть еще была, но холода уже не было. Такова здешняя весна. Пасха прошла незаметно. 20 апреля 1856 года получили наконец извещение о заключении мира. На другой день пришли к церкви, выступились, отслужили молебен, промаршировали и стали на свои позиции. Утром разрядили ружья, почистили их и заговорили о том, что будет с нами дальше. Многие офицеры, особенно помещики, подали в отставку».

Но куда было деваться двадцатилетнему подпоручику, почти мальчику, одному из наследников бессарабского имения, которое мать, потерявшая недавно мужа, продала за гроши и переехала в Одессу, где жила на положении бедной капитанской вдовы на иждивении своего старшего сына Александра.

Дедушке оставалось одно: служба в армии. И он покорился своей судьбе, тем более что и покойный отец его, и дед — неведомый нам Алексей Бачей, — и отец этого неведомого Алексея Бачея — прапрапрадед, по преданию один из запорожских старшин, — все они были военные.

Стал пожизненным военным и молодой кавказский офицер, мой дедушка Иван Елисеевич Бачей, вот уже третий год тянувший, подобно Льву Толстому, кавказскую походную ляжку.

«Через неделю получили приказ выступать в Кутаис. Собрались, пошли и через два дня были уже в знакомом городе. Жизнь в нем после долгого застоя кипела. Но, увы, мне не пришлось воспользоваться радостями мирной жизни в удобной городской обстановке. Простояв в Кутаисе два дня, мы получили приказание идти за город, верст двадцать влево, рубить лес и прокладывать дорогу».

«Так после жестокой войны мы были обращены в военнорабочих».

«Что ж делать, мы люди подчиненные, исполняем что приказывают — без прекословия: на то служба».

«Пришли, стали в лесу в палатках, получили от инженеров топоры и пошли крошить!»

«Скучно, грустно, но, проведши целый день на работах, возвращаясь к вечеру сильно уставший, пьешь чай, ужинаешь и засыпаешь».

«Через месяц прорубили дорогу и получили приказание идти за тем же еще несколько назад. Прошли обыкновенным шагом еще верст тридцать и, остановившись под какою-то горой, снова стали рубить лес».

«Помню один ужасный случай во время рубки леса — еще на старом месте. Люди стали сильно болеть. Унтер-офицер 6-й роты Гольберг из учебного полка, бывший еврей, а тогда уже православный, выкрест, лежал в сильном пароксизме лихорадки и не вышел на работу, о чем фельдфебель доложил по команде ротному, так что все было по уставу».

«Командир батальона майор Войткевич, проверяя людей, узнал, что Гольберг отсутствует. Поднялся крик, шум. Войткевич тут же приказал привести Гольберга. Его привели больного, едва державшегося на ногах, в жару, в лихорадке, с желтым малярийным лицом и дрожащими ногами.

— Почему не пошел на работу? — крикнул Войткевич.

— Крепко болен, — сказал Гольберг».

«Войткевич прикусил свой рыжеватый, как бы постоянно мокрый ус. Его щека задергалась, глаза сузились. Он размахнулся и несколько раз ударил Гольберга по лицу. Гольберг свалился на землю. Тогда Войткевич стал бить его каблуками по чем попало: по лицу, по груди, по темени. Гольберг сначала кричал, а потом перестал, затих, несмотря на сыпавшиеся удары».

«Уставши бить, Войткевич снял свою боевую смятую фуражку, вытер со лба пот носовым платком, который извлек из заднего кармана походного сюртука, поправил съехавшую за спину кавказскую шашку, отделанную серебром с чернью, отвернулся и приказал убрать Гольберга».

«Гольберга подняли уже мертвым, отнесли в лазарет, где приняли и показали в бумагах умершим от дизентерии».

«Так погиб человек неизвестно за что, — пишет дедушка и прибавляет свою характеристику Гольберга: — Хороший был служака».

Больше у дедушки не нашлось никаких слов. Да и что он мог сказать, обмерший от ужаса, скованный жесточайшей дисциплиной, лишенный права выражать свои чувства и мысли, на всю жизнь морально прикованный к слепо движущейся машине старорежимной николаевской, а потом александровской армии? С юных лет превратившись в нерассуждающего солдата, дедушка даже на старости лет, будучи уже генерал-майором в отставке и пища на свободе свои мемуары, все-таки избегал по мере возможности высказывать свои мысли и чувства, делать характеристики сослуживцев, предпочитая ограничиваться лишь протокольным изложением фактов и упоминанием фамилий и чинов.

«...прибыл к нам новый батальонный командир, произведенный из капитанов Белостокского полка, майор Войткевич Франц Игнатьевич, поляк, женатый в Одессе».

Дедушка не объясняет, тот ли это Войткевич, который убил Гольберга, или другой, однофамилец. Все же, я думаю, тот.

А между тем есть основание полагать, что слава Войткевича как офицера-зверя была уже широко распространена в армии, так что следовало бы уточнить, о каком Войткевиче идет речь.

Впрочем, Войткевич не представлял исключения, он являлся довольно распространенным типом той эпохи: жестокого по отношению к нижним чинам и грязного интригана по отношению к своим товарищам офицером, карьериста и хапуги...

«Прекратив рубку леса, пошли мы далее, остановившись на позиции в пятидесяти верстах от г. Сурама. Разбили палатки для стоянки».

«...снова у меня появилась лихорадка: во время пароксизма лежу на бурке и мечусь часа два, иногда три. Потом кое-как поднимусь на ноги, пойду, пошатываясь, и сяду впереди палатки. Сижусь, смотрю на прекрасную, но чуждую моему сердцу природу».

«Промучившись неделю, наконец поправился. Вероятно, сухая, открытая местность нашего лагеря помогла мне перенести приступ малярии, этого бича кавказской жизни».

«Через неделю пошли далее по направлению к Сухуму. Я ехал на своем коне Дагобере, имея вещи в переметных суммах; кастрюли нес на себе денщик. Опять пошли дожди. Душная сырость Кавказа вызвала вновь у меня лихорадку. До того дошла слабость, что еду и качаюсь в седле между своих переметных сум. Придя в Сурам, стали общим полковым лагерем на совершенно ровном, открытом месте».

«Сурам тогда не представлял ничего хорошего. Несколько домов, выстроенных из местного камня, лишенных какого-либо архитектурного стиля, под зелеными или красными железными крышами. Направо и налево горы, покрытые лесом, менявшим свою окраску в зависимости от погоды: в солнечные дни он был веселый, прозрачный, с черными стволами, просвечивающими сквозь зелень орешника, кизила, шиповника. В дождливые дни, когда туман непроницаемо окутывал вершины и лишь у подошвы горы можно было рассмотреть что-нибудь, лес еле заметно синел, и сырая духота наполняла долины».

Правду сказать, скучно писал мой дедушка.

Однако Пушкин как-то заметил, что есть книги скучные, которые читаются лучше нескучных.

«...чем книга скучнее, — писал Пушкин в своем «Путешествии из Москвы в Петербург», — тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания, etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об книгах ученых, но и об книгах, писанных с целью просто литературною...»

Будем надеяться, что Пушкин прав, и продолжим довольно скучные заметки моего дедушки.

«Позади лагеря шла кремнистая дорога на Боржом, где находилась почтовая контора, в которой наши получали корреспонденцию, идущую из далекой России».

«Вид позиции — ровный, зеленый, со стройными рядами белых палаток — сначала очень мне нравился и вселял в душу нечто вроде военной гордости. Но ее живописное однообразие скоро мне надоело. Лежа на бурке перед палаткой, я думал о своей дальнейшей судьбе, и она

меня не слишком радовала: первое, еще совсем детское увлечение боевой жизнью давно прошло, романтика рассеялась, и теперь я смотрел на свое положение более трезво: молодой человек в малых чинах, без средств, на чужой стороне... Не очень-то весело. Но что делать?»

«Такова была моя служба, моя судьба, отчасти повторявшая судьбу моих предков — русских офицеров».

«Когда я поправился, меня вместе с писарем на казенной подводе послали в Боржом получить корреспонденцию для полка».

«Поехали часов в восемь утра. Погода была чудная, но ровность и однообразие дороги среди зеленых гор скоро показались мне скучными».

«В два часа появилось знаменитое Боржомское ущелье. Справа крутой гористый берег, слева далеко внизу — река того же названия. Дорога идет извилинами, попадаются большие площадки — на них дома военнорабочих, сады».

«Река так хороша, что невольно — хотя никогда и не видел — сравнил бы ее с Рейном, почему-то пришедшим мне на мысль во всю дорогу — несколько верст — до Боржома».

Дедушка не понимал, почему ему пришла мысль о Рейне. А я понимаю. Наверное, дедушкина мать, моя прабабка, рассказывала своему младшему сыну Ване какие-нибудь легенды о русалках Рейна, а быть может, и пела о чем-нибудь подобном, качая ногой его деревянную молдавскую колыбель-качалку, сделанную крепостным столяром. Не исключено, что в скулянском доме на стенах висели под стеклом в рамках, оклеенных ярко-синими и золотыми бумажками, литографические виды Рейна, раскрашенные от руки акварельными красками: курчаво-зеленые холмы, покрытые виноградниками, кроны романтических суковатых дубов и буков и кое-где на скалах увитые плющом руины средневековых замков, а посередине струящейся реки — челны рыбаков.

...Молоденький офицер в летнем сюртуке с высокой узкой талией, в фуражке в белом полотняном чехле, отчего она казалась несколько великоватой, проезжал вместе с полковым писарем мимо кавказской реки, текущей среди холмов с остатками древних грузинских крепостей, и ему невольно представлялось, что он едет по берегу Рейна и слышит невнятные голоса русалок, поющих что-то на немецком языке...

«В конце пути показались красивые здания, почтовая станция, где я и остановился в качестве военного пассажира. В углу станционного двора поставили нашу казенную повозку, а лошадей отвели под навес, чтобы солнце не так сильно их жгло. Умывшись и почистив от пыли сапоги, пошел я через мост в военный госпиталь навестить некоторых своих товарищей, больных офицеров. Меня окружили. Стали расспрашивать:

— Скоро ли в Россию?

Я отвечал, что еще ничего не известно».

«Из госпиталя прошел я в почтовую контору и, получив корреспонденцию, отправился бродить по городу с большим великолепным домом в несколько восточном, мавританском вкусе, почти дворцом, великого князя Михаила Николаевича, который виднелся в глубине громадного южного сада, откуда текли то жаркие, то прохладные запахи лавровишни, кедров, кипарисов, грецких орехов, каштанов, чинар, вьющихся роз».

«Очень оживляла город протекающая посередине река, плывущие по ней небольшие лодки и разбитые на берегу палатки купален».

Зеркальные вспышки мокрых весел, шум и крики купальщиков, говор гуляющей публики, смех, восклицания.

«Возвратясь на станцию, с аппетитом пообедал и лег отдохнуть в комнате, недавно выбеленной, еще сырой, с невысохшей известкой».

«Жарко, душно, нестерпимо... К вечеру стало прохладнее. Я вышел на крыльцо, и мне было так приятно подышать чистым, бальзамическим горным воздухом».

Ах, как я понимаю моего дедушку, который без фуражки, расстегнув на груди сюртук и сорочку, под которой висел на цепочке золотой крестильный крестик, стоял на крыльце почтовой станции, глядя на снежные вершины гор, за которыми гасли последние лучи заходящего солнца.

Быть может, в эти минуты, сам того не сознавая, дедушка наслаждался свободой, столь редким даром для всякого подневольного, военного человека.

Помню себя восемнадцатилетним вольноопределяющимся на позициях под Сморгонью, куда я попал, подобно дедушке, прямо с гимназической скамьи. Сначала я не понял, что уже больше не принадлежу самому себе. Но скоро, приняв воинскую присягу перед строем своей батареи в деревне Лебедянь, почувствовал себя навсегда связанным с армией, лишенным свободной воли, полностью зависящим не только от своего взводного, но даже от орудийного младшего фейерверкера, не говоря уж о фельдфебеле и командире батареи, имевших право распоряжаться моей жизнью.

Я не смел ни на минуту отлучиться без разрешения от своего орудия, чтобы погулять в одиночестве на воле. Только тогда я полностью оценил свою утраченную свободу. Но было уже поздно: я принял воинскую присягу. Постепенно я втянулся в жизнь батареи, подчинился солдатской дисциплине и даже иногда находил в ней удовольствие.

Но главной радостью для меня в то время являлась возможность по приказу начальства отлучиться с батареей по каким-нибудь делам в обоз первого разряда, или в штаб бригады за письмами, или в околоток, если я вдруг чувствовал себя заболевшим, но тогда в сопровождении кого-нибудь из фейерверкеров, несущего под мышкой специальную «больничную книгу».

Тут я на час, на два вдруг оказывался принадлежащим самому себе. Никто мною не командовал, не распоряжался. Я шел, весело размахивая руками, расстегнув верхний крючок моей длинной артиллерийской шинели с черными выпушками и суконными погонами, на которых толстым слоем коричневой потрескавшейся масляной краски, наложенной сквозь трафарет, был отпечатан номер нашей бригады — 64-й — и две скрещенных пушечки.

Дышалось легко, и утренний морозный воздух мерцал вокруг моего дышащего рта мельчайшими ледяными кристалликами. Густые полесские ели, красиво обложенные пластами толстого голубого снега, как бы стояли по колено в сугробах, и мутно-розовое морозное солнце выходило из-за горизонта, над которым со стрекозиным шумом летел аэроплан-корректировщик.

С какой радостью я получал в бригадной канцелярии, размещенной в фольварке, пачку писем для своей батареи, среди которых находил один или два узких конвертика, надписанных не совсем установившимся, полудетским девичьим почерком.

Я разрывал на ходу конверт на тонкой цветной подкладке и жадно читал, сняв вязаные перчатки, письмо, от которого пахло легкими цветочными духами — ландышем, фиалкой, резедой, — и не было тогда человека счастливее меня на земле, охваченной пожаром всемирной бойни.

...и даже, вернувшись на батарею, явившись взводному фейерверкеру и сбежав по земляным ступеням, обшитым тесовыми дощечками, глубоко вниз, в темный и тесный наш блиндажик, где всегда остро пахло еловыми и можжевельновыми ветками, я продолжал перечитывать при скупом дневном свете, проникавшем с воли в землянку, милое письмо, а в глазах у меня продолжал еще плавать синий отпечаток утреннего солнца и летящего над горизонтом корректировщика...

Так что я вполне понимаю душевное состояние дедушки, ездившего в Боржом за почтой.

«Утром рано встал, напился чаю из помятого станционного самовара и собрался в обратный путь. Приятно было ехать по великолепному Боржомскому ущелью не торопясь, шагом, любуясь рекой, ставшей как будто еще красивее. Миновав ущелье, поехал рысью и к обеду был уже в лагере, сдал корреспонденцию и возвратился в свою палатку».

«Пошли обычные занятия. Время текло незаметно. В конце сентября я стал чувствовать себя нехорошо: краткость сна, головная боль, отсутствие аппетита. В октябре болезнь усилилась. Полковой врач признал необходимым отправить меня в горийский госпиталь, верстах в тридцати от места нашей стоянки».

Помню свою военную юность. Когда мне становилось невозможно тянуть солдатскую лямку, когда жизнь начинала казаться беспросветной, а война — величайшей глупостью человечества, тогда меня неизменно спасала какая-нибудь выдуманная или подлинная болезнь, которую я еще больше в себе разжигал. Я кашлял, у меня поднималась температура. Взводный фейерверкер заглядывал мне в разинутый зев и многозначительно пожимал плечами. Он был добрый человек и отправлял меня в бригадный околоток за восемь верст, на станцию Залесье, где, пользуясь хорошим отношением ко мне бригадного лекаря, я и оставался на несколько дней. Там, лежа на нарах, покрытых трухлявой соломой, бок о бок с больными солдатами и слыша слабо доносившуюся издали пальбу наших батарей, я наслаждался безопасностью и бездельем. Околоток был для меня отдыхом, спасением, чем-то вроде украденной свободы.

Несмотря на множество гнездившихся в пазах госпитальной избы крупных белорусских клопов, которых по ночам больные солдаты выжигали спичками, несмотря на необходимость принимать касторку и разевать рот, куда веселый и грубый фельдшер-украинец со странной фамилией Шкуропат, пуская во все стороны свои шутки-прибаутки, залезал специально выструганной щепочкой с тампоном ваты, смазывая мое горло черным, как деготь, жгучим йодом, и я потом целый час отплевывался желтой горько-сладковатой слюной, — все же это была свобода, и, лежа ночью на нарах среди хрипящих и стонущих солдат, в духоте и вони, я предавался позднему сожалениям, что пошел на войну добровольцем, и при свете маленькой керосиновой коптилки перечитывал письма, полученные из тыла.

«Я, — продолжает дедушка, — подал рапорт о болезни. Меня одели, укутали и, положив на двухколесную арбу, повезли с другими больными в горийский госпиталь».

«День был яркий, теплый, даже жаркий, сухой, и кавказская природа, еще почти не тронутая осенним умиранием, окружала меня во всем великолепии своих южных красок, но любоваться природой не пришлось: болезнь крепко меня прихватила».

...Видимо, дедушка получил на турецком фронте, за Батумом, малярию...

«Меня уже стал сильно трясти озноб, не попадал зуб на зуб. Начиная пароксизм. И когда к вечеру мы прибыли в город Гори и поехали по узким улицам среди саклей, окружавших стоящую посередине города скалистую гору с живописными остатками старинной крепости, и громадные колеса нашей арбы на четверть погрузились в каменистую пыль, я уже почти ничего не соображал, и первая ночь в горийском госпитале прошла в кошмарах, не прекратившихся с наступлением утра, и мучительно тянулись еще несколько дней и ночей, проведенных мною в бессознательном состоянии, среди странных видений, где смешивалось прошлое, настоящее и будущее».

Дедушку как бы все время куда-то везла скрипучая арба вечности с двумя громадными колесами, между которыми лежало его обессиленное высохшее тело, а вокруг возникали как бы из пустоты видения отвлеченных понятий, принявших материальные формы, и разных предметов, утративших свою материальность и превратившихся в отвлеченные понятия, терзавшие сознание своей непознаваемостью.

Среди этого хаоса постоянно присутствовала военная треуголка отца времен двенадцатого года, с плюмажем, она же легендарная шляпа Наполеона, явившаяся вдруг из глубины прошлого, каким-то образом олицетворяя разгром великой французской армии, и тяжелая бурка кавказской войны, давившая тело всеми складками своих горных перевалов и тесных дефиле, откуда с визгом вылетали штуцерные пули турецкого сорокатысячного десанта, высадившегося в своих алых фесках на Черноморском побережье Кавказа, и битва на реке Ханис-Цхали, взятие Карса, и спешное отступление Омер-паши, и внезапные налеты мюридов Шамиля — всем этим были тягостные складки бурки, поминутно сползающие, как горные обвалы, с холодеющего тела. Это было также абстрактным воплощением воинской присяги, боевого крещения, производства в офицеры, любовью к родине и спасением Севастополя, обменного по мирному договору на Карс.

Жажда, томившая его, являлась в виде узкого грузинского кувшина на плече горийской девушки в чадре, поднимающейся по гористой улице мимо миндальных и ореховых деревьев, мимо кустарника барбариса с чугуно-синими, багровыми листьями, мимо плетеных заборов с висящими на них связками кукурузных початков и стручков красного перца...

Затем этот глиняный кувшин, покрытый потом, оказывался на столе посередине сакли, рядом со стеклянной кружкой, в то время как недалеко в духане слышалось как бы церковное пение низких мужских голосов, гортанных и печальных, а невыносимая жажда продолжалась бесконечно, и не было силы встать, подойти к холодному кувшину и напиться.

А затем раздавался скрип сухих деревянных ступенек, слышались чьи-то тяжелые, бесконечно длящиеся шаги, и в саклю входил как бы из непомерно далекого будущего человек в странной одежде, с головой, повязанной аджарским башлыком.

Тягостно и вместе с тем вкрадчиво-мягко ступая чувяками, он подходил к столу, долго рассматривал обстановку сакли: восточный ковер на деревянном ложе, скатерть на столе, сундук, покрытый тканой материей, помятый тульский самовар в углу на комодке рядом с круглым качающимся зеркальцем в траурно-черной раме...

Наконец его взгляд останавливался на кувшине с холодной водой.

Его глаза светились неполным светом, как ущербный, умирающий месяц.

Он наливал из кувшина воду в стеклянную кружку, и струя воды зловеще краснела, превращаясь в вино. Как бы совершая некий таинственный ужасный обряд прощания со своим прошлым, человек не торопясь пил из кружки, и пока он пил, вино превращалось в кровь, и человек вытирал серповидные, мокрые от крови усы рукавом своей странной тужурки.

Это видение длилось мучительно долго и заканчивалось тем, что человек с окровавленными усами бесшумно выходил из сакли и его глаза скупно светились, как ущербный месяц, а сухие деревянные ступени стояли под тягостно-мягкими неслышными шагами, в то время как в духане продолжалось церковное пение, и дедушка понимал, что это панихида по унтер-офицеру Гольбергу, растоптанному каблуками майора Войткевича.

«К ноябрю я стал поправляться. Тут получилось известие о выходе дивизии в Ставропольскую губернию по Дарьяльскому ущелью через город Владикавказ. Слабость мешала мне выписаться из госпиталя, а тут еще уговоры товарища моего Добрянского не торопиться».

«В начале декабря, пропустив полк, мы с Добрянским наконец выписались и поехали в полк, который все еще шел да шел где-то впереди нас, совершая заданный марш в Ставропольскую губернию».

«Проехали мы Дарьяльское ущелье, потом и Душет, в тридцати верстах от Тифлиса. Город маленький, ничем не замечательный, кроме своего названия, мягкого и ласкового, — Душет, сочного, душистого, как груша дюшес. Его военный госпиталь содержится в чистоте и порядке. Здесь много больных и раненых из-под Александрополя, где были жаркие бои с турками».

«Поблизости госпиталя — сад довольно большой и тенистый. В саду гуляют поправляющиеся раненые. У того забинтована голова, у того рука на перевязи, кто опирается на госпитальную палочку, кто прыгает на костыле, вытянув вперед замотанную ногу. И все они были рады, что война, слава богу, кончилась и есть надежда скоро попасть домой, в Россию».

Декабрь ничуть не был похож на зиму, а скорее на теплую, мягкую осень с ясным небом и грустным, невысоким, золотистым солнцем, рисующим на дорожках госпитального сада слабые тени еще не вполне пожелтевшей листвы разных деревьев южных пород.

«Мы с Добрянским очень подружились, как это часто бывает между молодыми офицерами-однолетками, пролежавшими рядом в одной палате военного госпиталя. Эта полковая дружба заменяла нам и семью и сердечные привязанности, которых мы оба по молодости лет еще были лишены».

«Желая подольше насладиться свободой, мы не спешили: ехали в день по одной станции, чтобы на каменной дороге не пострадалаковка лошадей. Идти я не мог: слабость не позволяла, а во время моего лежания в госпитале, оказывается, Горбоконь продал моего коня Дагобера, так что приходилось трястись в повозке».

«До станции Хойшаур мы все время ехали вверх. Вид великолепный: направо горы, покрытые снегом, налево глубоко внизу Терек и зеленая долина, где осетины пасут свои стада, сверху напоминающие букашек».

«...со станции ясно видим Казбек, до половины своей покрытый снегом, а остальная, нижняя половина — зеленая».

«Заплатили деньги за топку печи, так как было очень холодно. Напившись чаю и согревшись, легли спать. Вставши утром, пока готовили нам чай, вышли к церкви полюбоваться оттуда Казбеком, снежная вершина которого была розово освещена восходящим солнцем при совершенной тишине вокруг».

«Картина чудная!»

«В 10 часов утра, после чаю, отправились дальше. Теперь дорога пошла все вниз: справа все те же высокие горы, а слева внизу пенистый Терек. С последней станции Карс, где оканчивалось знаменитое Дарьяльское ущелье, поехали мы по ровной дороге до самого Владикавказа».

Мог ли тогда знать дедушка, что лет тридцать или сорок спустя по этому же пути, прыгая по каменистой дороге вдоль бешеного Терека, проедет линейка с осетином на козлах, в которой среди прочих экскурсантов, сидящих в два ряда спиной друг к другу, будет ехать и одна из его многочисленных дочерей — Евгения Ивановна, — совсем еще юная дама в дорожном шотландском саке и войлочной осетинской шляпе, а рядом с нею ее муж, бородатый педагог из поповичей, в холщовой косоворотке, подпоясанной шелковым витым шнурком с кистями, и в такой же войлочной осетинской шляпе — неременной принадлежности кавказских путешественников того времени. Оба в пенсне, они совершали свое свадебное путешествие по Военно-Грузинской дороге, ошеломленные красотами Кавказа, оглушенные грохотом Терека...

Это были мои будущие отец и мать.

«Приехав во Владикавказ, остановились мы в местной гостинице с внутренней узорно-чугунной лестницей, ведущей во второй этаж, где находились номера».

«С наступлением сумерек, как водится, подавались свечи, но одновременно с их подачей в номере запирались окна и внутренние ставни — предосторожность не лишняя, так как частенько горцы по неистребимой ненависти к своим покорителям — русским — воровски пробирались из своих глухих аулов в город и, заметив где-нибудь в окне огонь, стреляли на всем скаку по огню, зачастую убивая кого-нибудь из бывших в комнате».

«Так мы сидели при свечах в нашем номере с запертыми ставнями и пили чай, обмениваясь невеселыми мыслями о том, что хотя война с турками, слава богу, кончилась сравнительно благополучно, так как русским дипломатам удалось обменять Севастополь на Карс, но мир на Кавказе еще далеко не наступил: то и дело восставали горские племена, собираясь под зеленое знамя пророка, поднятое их неукротимым вождем Шамилем».

...Кто держится прямо, кто смолоду воин, во славу ислама сражаться достоин...

«Получив прогоны, мы поехали дальше. День был пасмурный, но не сильно холодный. Проехавши одну станцию, мы остановились ночевать в отдельном доме местных обывателей, который отвело нам станичное правление».

«Таким образом мы не торопясь подвигались по одной станции в день, так как ночью езда не производилась из опасения все тех же горцев. Впрочем, иногда, в экстренных случаях, когда наряжался осо-

бый конвой из казаков с пушкой — так называемая оказия, — мы ехали и ночью. Но это случилось редко».

«Таким манером доехали мы помаленьку до города Ставрополя. Была суббота. Давно не слышанный нами колокольный звон приятно прозвучал в вечернем воздухе и отозвался в сердце, напомнив нам, что мы снова в России».

«Остановились в местной гостинице, где к нам присоединились еще несколько офицеров, отставших от недавно прошедшего здесь нашего полка».

«Первый раз пришлось провести несколько ночей в хорошем здании нам, отвыкшим от подобных удобств за долгое время войны».

«На другой день пошли в комиссариатскую часть интендантства, где к двум часам получили прогоны до м. Медвежьего, места стоянки полка. Другой день мы употребили на покупку необходимого. Затем на третьи сутки выехали не торопясь в путь. Прибыли в местечко Медвежье почти без опоздания, всего лишь на другой день прихода полка. Видно, полк (так же, как и мы) не слишком торопился. Однако командир полка, к которому мы явились, довольно сильно распек нас за долгую езду».

«К счастью, этим дело и кончилось».

«Отвели квартиру довольно далеко от центра местечка. Скучно, грустно было после нескольких недель свободы жить одному с денщиком и тянуть надоевшую полковую ляжку. Но приходилось мириться: назвался груздем — полезай в кузов».

«Через несколько дней командир полка поехал в местечко Песчаное, где были расквартированы полковой штаб и 1-я карабинерная рота. В отсутствие командира жить стало веселее и свободнее».

«Так шли дни за днями, очень однообразно и уныло. Воскресенье давало некоторое разнообразие: поход в церковь, вид людей обыкновенных, а не солдат».

«Вскоре по ходатайству местного общества нашу полуроту перевели в село Привольное, и меня назначили за старшего, так как более не было субалтернов старше меня».

«Ротный капитан Глоба остался в Медвежьем, где был штаб 2-го батальона. С ним жил брат его Андрей, бывший батальонным адъютантом. В Медвежье приехали поручики Евлашов, Витковский — георгиевский кавалер за бой под Чалосом. Оба поручика вместе ездили в близлежащую деревеньку помещика Маклакова, у которого была хорошенькая дочь. Там они иногда проводили по несколько дней, а затем возвращались по домам».

Тут в словах дедушки чувствуется некоторая зависть к двум удачливым поручикам, нашедшим в захолустном Медвежьем гостеприимный помещичий дом с хорошенькой дочкой, сведения о существовании которой не могли не волновать воображение холостого подпоручика Бачея, хотя привлекательность помещицей дочери была известна ему лишь по слухам. Может быть, дедушка даже был в нее тайно влюблен, так как ясно себе представлял все прелести ни разу не виденной им девушки. Чего не делает пылкое воображение: однажды упомянутая помещица дочь ему даже приснилась в нарядном платье с бантиками, с локонами и розовыми пальчиками, которыми она, заливаясь румянцем, открывала кран серебряного самовара, наливая кипяток в стакан с крепкой заваркой, игриво пододвинутый георгиевским кавалером поручиком Витковским.

«Привольное, куда я был переведен со своею полуротою, оказалось селом довольно обширным. Вокруг церкви оно было населено русскими, а вдоль речки, в стороне, жили малороссы из Воронежской губернии, переселенцы. Там отвели мне квартиру в доме богатого старика Лаврентия Максимовича Омелянченко, у которого были жена и дочь-невеста».

«В этой малороссийской части Привольного поселили и моих солдат, которых местные жители разобрали нарасхват. Мужички были зажиточные, и солдатикам жилось хорошо: белый хлеб, пища отменная. Когда же солдаты ходили для хозяев по воду к колодцу или гоняли скот на водопой, то хозяева давали им даже свои кожухи, чтобы служилые не замерзали на морозном степном ветру».

«В конце каждого месяца жителям выдавались квитанции за полученный солдатами провиант. Однако зажиточные мужички почти никогда не предъявляли эти документы ротному командиру к оплате; ротный благодарил жителей и в знак благодарности присылал со своим денщиком ведро казенного спирту. Все были довольны».

«Мой старик Лаврентий не пил водки, и я, бывало, зазывал его к себе и готовил чай и пунш, что старик любил очень. В разговорах зимнею порою время летело незаметно».

«За пуншиком вспоминалось все мною прочитанное, память у меня была отличная, и все это я рассказывал деду Лаврентию. Вечера такие повторялись часто. Старик очень меня любил. Я отвечал ему тем же».

«Однажды он пригласил к себе в гости местного священника. Время шло в разговорах, участие в которых принимали только мы трое: хозяин, я и священник. Дочка же хозяина Аня, уже упомянутая мною, в свей вышитой рубахе, с бусами на смуглой шейке, сидела молча в сторонке потупив глаза и не пропускала ни одного слова из нашей беседы. Иногда она поднимала свои карие малороссийские глаза, и я ловил ее мимолетный взгляд...»

А вьюга лепила в маленькие окошечки деревенской горницы, отражавшие в неровных стеклах огонек масляной лампочки, повешенной над столом. В трубе завывало. В печке жарко трещали кукурузные стволы и дымился кизяк — весьма распространенное здесь топливо. И, казалось, конца не будет этому вечеру в теплой мазанке, конца не будет этой дружеской беседе, этим мимолетным взглядам карих глаз, уже начинавшим вызывать в дедушке какие-то неопределенные надежды, предчувствие любви и счастья, которые, впрочем, по-видимому, так и не сбылись. Во всяком случае, в записках дедушки на этот счет ничего не было сказано. Впрочем, не надо забывать, что бабушка нередко заглядывала через дедушкино плечо в его тетрадку, так что дедушка хотя и на старости лет, но все же писал осторожно, чтобы не получить головной боли от бабушки...

«В следующее воскресенье священник пригласил к себе меня и старика хозяина, состоявшего при церкви в должности ктитора, или церковного старосты, то есть лица уважаемого и по общественному положению почти равного священнику».

«Мы приехали вечером, часов в шесть, когда по зимнему времени было уже совсем темно и в густой синеве снежной ночи светились окошечки сельских хат».

«В довольно чистенькой квартирке нас встретили поп со своей дочерью, девушкой лет восемнадцати, довольно миловидной, обучавшейся в Ставрополе и в этом году только что окончившей обучение».

«Подали чай. Началось угощение».

«Дочка оказалась очень разговорчивой. Вечер прошел приятно. Это знакомство велось всю зиму: то поп у нас, то мы со стариком у него. В хорошую погоду я стал посещать церковь, до которой от моей квартиры было далековато. Служба мне нравилась, ничего себе, но пение оставляло желать лучшего, оно не отличалось стройностью, так как хор состоял наполовину из мужчин, а наполовину из женщин. Но ничего не поделаешь, по необходимости приходилось мириться и с таким пением».

Дело тут, конечно, было не в пении и даже не в религиозных чувствах дедушки, а в смутных воспоминаниях о церкви в Скулянах и в поповой дочке, аккуратно посещавшей каждую церковную службу, где она, как дочь священнослужителя, стояла близко у клироса.

Надо полагать, дочка попа помаленьку вытеснила из сердца одинокого подпоручика обеих предыдущих дочек — абстрактную дочку помещика Маклакова и дочку квартирного хозяина, старика Омельченко. Однако обо всем этом дедушка в своих записках осторожно умалчивает.

Не без волнения отправлялся дедушка в своей усердно вычищенной походной бекеше, с кавказской шашкой, в хорошо начищенных сапогах в сельскую церковь, предчувствуя, что сейчас увидит поповскую дочку. Он сразу же находил ее в толпе мужиков в праздничных бараньих тулупах и баб в цветных платках и в сапожках с подковками.

На поповой дочке была бархатная шубка с заячьим воротником и модная ставропольская шляпка, накрытая сверху ковровой шалью, завязанной узлом под розовым подбородком с ямочкой. Дедушка покупал пятикопеечную восковую свечку и, подойдя сзади к девушке, осторожно постукивал свечкой по ее плечу с буфом. Это была обычная просьба передать свечку дальше, с тем чтобы кто-нибудь из стоящих впереди зажег ее и поставил перед иконостасом. Не оборачиваясь попова дочка брала свечку и ставила ее среди других свечей, пылавших костром. По движению ее руки дедушка чувствовал, что она знает, кто передал ей свечку.

...Она становилась на колени, крестилась, и дедушка тоже становился рядом с ней по-военному на одно колено, опираясь одной рукой на шашку, а другой мелко, поспешно крестясь, и шепотом говорил в затылок поповой дочке:

— Здравия желаю.

На что она как бы с некоторым испугом отвечала ему:

— Ах, это вы? Какая неожиданность!

У нее было грубоватое, хотя и красивое лицо с черными, как бы мужскими бровями и усиками над верхней губкой.

— Как изволили почивать? — спрашивал шепотом дедушка. — Какие видели сновидения?

— Вы мешаете мне молиться, — отвечала она быстро, вполголоса. — Видела вас во сне.

— Волшебница, — говорил дедушка.

— Нет, нет, я пошутила.

— Обманщица!

— Тссс! — говорила она и начинала прилежно креститься.

После службы они выходили вместе на паперть, и он провожал ее до поповского домика под зеленой железной крышей — она впереди, как царица, а он несколько позади, придерживая локтем свою шашку, чтобы она не болталась.

Попова дочка была всем хороша — образованна, разговорлива, остра на язык, высока, стройна, и дедушка чуть было в нее не влюбился, да помешали ее мужские брови, усики, а также излишняя развязность в обращении, а вернее всего, еще не пришло время ему по-настоящему полюбить.

А то поповская дочка, чего доброго, стала бы моей бабушкой. Но, благодарение создателю, до этого дело не дошло. Довольно и того, что моим дедушкой впоследствии стал вятский протоиерей, отец моего отца.

С поповой дочкой как-то само собой разладилось.

«В феврале вся наша рота была назначена в Песчанку в караул на неделю в полковой штаб. Накануне прошла 1-я полурота с ротным командиром капитаном Глобою, который по моему приглашению остановился у меня ночевать. Я ему устроил ужин и чай с ромом. В 10 часов легли спать. Ночь прошла незаметно. Утром, закусивши и напившись чаю, целой ротой выступили, пришли в Песчанку — местечко большое (есть даже лавки с розничными товарами), но все-таки это не местечко, а скорее обыкновенное большое село. Квартиру нам отвели общую, на конце села, так как середина его была, как водится, занята полковым штабс-м.»

Как читатель, наверное, уже заметил, в записках дедушки часто встречаются замечания о течении времени: время текло медленно, время шло незаметно, дни летели, дни тянулись и тому подобное. Как человек военный, подневольный, исправный служака, лишенный воображения, жизнь свою он ощущал как бы пленником быстрого или медленного течения времени и все события этой жизни добросовестно заносил в свой журнал одно за другим по порядку, как подсказывала ему слабеющая на старости лет память, не выделяя важного от не важного. Будучи человеком хотя и начитанным, но неопытным в занятиях беллетристикой, он не покушался на художественность и записывал свои былые впечатления языком протокольным, канцелярским.

Следует сказать, что он писал свои записки не как дневник, а как воспоминания, будучи уже в отставке, незадолго до смерти.

Но для чего он их писал? Ведь не только для препровождения времени. Хотя — как знать? — может быть, и для этого тоже. Вероятнее всего он писал, как бы исполняя некий долг перед историей, сам того, впрочем, не сознавая.

«Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа, — писал Пушкин в своем «Романе в письмах». — Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?»

Последнее замечание Пушкина скорее касается не дедушки, столбового дворянина, а меня, разночинца, сына надворного советника по отцовской линии.

«Через два дня по прибытии в Песчанку прислал мне записку прапорщик В., товарищ мой по производству, только что подавший в отставку. В записке своей он писал, что продает коня с седлом за 25 рублей и что местные мужички, узнав о его отъезде, предлагают ему больше, но он считает, что лучше отдать коня товарищу, чем богатому хохлу».

«Я тотчас пошел к В. и, осмотрев коня, не сказав ни слова, дал деньги. Конь кровный, карабах, стоит гораздо больше: гнедой, не старый, смирный — чего еще надо?»

«Приехав домой, то есть на квартиру, показал я коня денщику, который его одобрил, и мы, укрыв его попоною, полученной в придачу, поставили коня к особой повозке возле лошадей ротного. Купил сена, овса, всего, что нужно. Через два дня конь стал хромать. Я его осмотрел.

Оказалось, все дело в том, что конь был давно кован, а мороз ночью сжал подковы. Когда коня расковали, он перестал хромать и весело принялся жевать сено.

Тут дедушке изменяет его эпическая степенность, и он восклицает: «Конь очень хорош!»

Видимо, лошади были если не страстью, то, во всяком случае, его слабостью, перешедшей по наследству от военных предков, чем и объясняется, что незадолго до смерти, познакомившись впервые со мной, своим двухлетним внуком, он подарил мне славного игрушечного коня — бурого, в яблоках, — Лимончика, о чем я уже, впрочем, недавно писал в своей книге «Разбитая жизнь».

«Через день я был назначен дежурным по караулам. Осмотрев все казармы, вечером, в 9 часов, я был с рапортом у командира полка. Процедура краткая: сказал, что все благополучно, и пошел домой. Так как идти деревней было довольно грязно, то я пошел задами, где было сухо. Верста ходу поздней ночью показалась мне за три. Сельские огоньки в окнах были мне руководителями, по ним я шел как по звездам, спотыкаясь, блуждая со стороны в сторону. Через час, показавшийся мне за два, я пришел таким усталым, что предложенный мне денщиком ротного командира ужин я не принял, а лег спать. Утром рано первая забота — посмотреть коня. Все исправно, конь не хромает...»

«Через день смена, возвращение назад в Привольное. Ротный держался на несколько часов в штабе. Рота выступила со мною одним».

«Я поехал верхом на своем новом коне, чувствуя полное удовольствие».

Недаром же прадедушка приучал дедушку в Скулянах к верховой езде на неоседланной лошади.

«Через час догнал нас ротный командир Глоба, и уже до самого Привольного шли под его командованием. В Привольном распустили по домам 2-ю полуроту, а сам Глоба в 2 часа дня пошел с 1-й полуротой далее, в Медвежье, где солдаты явились на свои квартиры».

«Прибыв в Привольное, я со своим денщиком Иваном стал хлопотать, чтобы купить кибитку, так как холода все продолжались. Вместе с тем я стал обучать верхового коня к запряжке, ходить в хомуте и возить сани или телегу. При посредстве старика Лаврентия купил я маленькую повозку, колеса достали особо, оковав их в местной кузнице при посредстве все того же старого хозяина».

«Съездил в Медвежье, купил там новый хомут с вожжами и чересседельником. Возвратившись, стал сам вместе с денщиком Иваном и стариком Лаврентием красить повозку и сделанную к ней кибитку черной краской. Вышло довольно хорошо: не кибитка, а карета, да и только!»

«После месячного ежедневного обучения конь стал ходить в запряжке смело и успешно. Все это радовало и доставляло мне удовольствие».

По-видимому, кроме военной жилки, в дедушке билась еще хозяйственная жилка, унаследованная от матери.

«Да, чуть не забыл!..» — восклицает дедушка, вспомнив вдруг какую-то забытую им подробность.

«По выезде из Гори я с Добрянским заехали в Георгиевск, попутный город, с тем чтобы из местного госпиталя получить дальнейшие про-

гоны. Приехав в субботу после обеда, мы заняли отдельную квартиру у местного торговца — русского купчика — и стали ожидать понедельника, чтобы идти в госпиталь за прогонами. По неимению каких-либо знакомых воскресенье мы провели скучно и томительно».

«В понедельник часов в десять пошли мы в госпиталь получать путевые деньги, на что пришлось употребить часа два. За это время мы тут же в госпитале познакомились с местным смотрителем провиантского магазина; фамилию его теперь уже не упомяну. Он пригласил нас вечером к себе на чай, будучи женатым человеком и имея хозяйство».

«Знакомство было приятно, так как внесло в нашу жизнь некоторое разнообразие».

«Вечером, часов в шесть, мы вместе с Добрянским отправились. Хозяин уже ожидал нас. Познакомились с его молодой женой, очень приветливой и разговорчивой дамой, довольно начитанной и не стесняющейся говорить о разных вещах — даже о литературе! — что меня, признаться, приятно поразило».

Видно, дедушка был о дамах не весьма высокого мнения.

«Через час мы с хозяином и еще одним его знакомым сели за пре-франс по четверть копейки, а молодая барынька присаживалась то к одному, то к другому из гостей, ни на минуту не прерывая свой начатый разговор на литературные темы. Около двенадцати сели ужинать. Ужин прошел довольно приятно. Милые хозяева были очень гостеприимны. Часа в два ночи мы распростились с ними душевно, благодарные судьбе за столь приятное знакомство, с тем чтобы утром продолжать свой путь. Мне больше так и не привелось с ними увидеться».

«Спасибо им за гостеприимный прием!»

Дедушка не мог удержаться, чтобы не вставить это ничем не замечательное дорожное событие в свои мемуары. Видимо, эту маленькую радость походной жизни он сохранил в своем сердце на всю жизнь до старости.

Может быть, в лице любезной хозяйки, хорошенькой говорливой дамочки со склонностью к литературе, перед молодым подпоручиком возникло еще одно искушение, в то время когда он, подобно Печорину, вел жизнь странствующего офицера, бессознательно стремясь к встрече с еще неизвестной ему молодой женщиной, которой суждено было стать моей будущей бабушкой.

Сделав в своих записках это несущественное отступление, дедушка возвратился к прерванному описанию своей жизни в Привольном.

«Спустя неделю после возвращения из Песчанки мне встретилась надобность побывать в Медвежьем. Этот день мне хорошо запомнился, так как я впервые собрался ехать на своем Султане — так звали моего нового коня. Должность кучера исполнял мой денщик Иван. Позавтракавши, собрались ехать».

«При тихой погоде, при небольшом морозце дорога была очень приятна: впервые на собственной запряжке, хотя и не слишком шикарной, но своей!»

«Ах, как все в это утро было хорошо!»

«Заехав к капитану Глобе и оставив у него коня с повозкой, я с Иваном отправились на базар, который находился тут же, вблизи квартиры. Купив что было нужно, мы с Иваном вернулись домой к ве-

черу. Напившись чаю и поужинав довольно сытно, лег спать. Ротный пришел поздно, где-то был в гостях».

«Утром проснувшись и умывшись, напился я с ротным и братом его Андреем чаю и собрался в дорогу».

«По-прежнему стояла отличная, хотя и морозная погода. Ехали спеша и к заходу солнца достигли своего Привольного. Встреча с хозяином была радушна. Напившись чаю с привезенным ромом, хорошо поужинав, в десятом часу улеглись спать».

«Наступила масленица 1857 года. Привольное зашумело и заголосило из конца в конец разными песнями. Каждый день с утра до позднего вечера по домам местных жителей шло угощение. В четверг устроил прием хозяин мой Лаврентий. Накануне шли приготовления всего варенного. Спирт через ротного я выписал из Медвежьего. Этот напиток хозяин придержал под конец».

«Гости были по всему дому: у меня в комнате преимущественно молодые бабы. Когда подали уже огонь, хозяин велел своему сыну наливать спирту».

«Это была картина!»

«Кому только ни поднесется рюмка со спиртом, тот или та, выпив залпом, сразу же валились под стол как подстреленные. Угостив и уложив таким образом своих гостей, мой старик, глубоко вздохнув, сказал мне:

— Вот панычку, теперь никто не скажет, что старый Лаврентий плохо угостил. Угостил добре и под стол уложил».

«Старик Лаврентий не спал всю ночь, обходя лежавших на полу, и в качестве добросовестного хозяина охранял их сон. Много баб свалилось у меня в комнате. Смотря на них, старик качал головою и говорил ласково:

— Вот скаженные бабы, не нашли себе другого места, как только в комнате у моего панычка».

Придерживаясь своего несколько эпически-беспристрастного стиля, дедушка не считал нужным больше останавливаться на подробностях этой сельской карнавальной ночи, и я не знаю, как он отнесся к присутствию местных молодых красавиц, спящих у него в комнате.

Я думаю, дедушка сознательно сократил эту сцену, так как имел обыкновение по мере их написания прочитывать свои мемуары бабушке, что передалось по наследству и мне.

«Чуть свет гости стали просыпаться, бабы стряхивали со своих юбок солому, поправляли на голове гребни, на шеях мониста. Благодаря старика Лаврентия за угощение, они просили рюмочку спирту опохмелиться и, выпив, с поклонами расходились по домам».

«Казалось, наступил длительный мир. Но это только так казалось».

В дедушкиных записках после этого имеется не вполне понятная фраза:

«Конец терпенью настал!»

Но чьему терпению, по какому поводу, что случилось? Не ясно. Можно догадываться, что какие-то горские племена нарушили мир. Снова в лесах и горах зашевелился Шамиль. Но удивительно, что об этом дедушка пишет с явным удовольствием: наконец, дескать, кончилось наше бездействие.

Впрочем, может быть, я не так понял его восклицание.

«Войска свободные есть. Возможность достаточная. Переправу решено совершить в лодках. Орудия были поставлены на высоком берегу для прикрытия переправы. В какие-нибудь три часа переправа совер-

шилась. Пластунов и казаков послали за версту вперед. Затем построили в боевой порядок три полка с артиллерией и двинулись в Адагулак по ровной и безлесной местности. Лес был верстах в четырех вправо и влево, а впереди начинался с реки Адагуш и тянулся верст на двадцать».

«Шли не спеша, зная, что к вечеру дойдем до места назначения. На полпути сделали привал. Солнце жгло очень сильно».

«Наш полк составлял арьергард. Обоз всего отряда шел впереди нашего полка. Брестцы составили левый, а крымцы правый фас. Стоя на привале, мы успокоились, видя, что все благополучно и вокруг тихо. Идучи с привала на привал, мы уже не так сторожились. К заходу солнца пришли в Адагулак, где назначено было строить Нижнеадагушское укрепление на один батальон с четырьмя орудиями и провиантским складом».

Видно, кавказская война продолжалась.

«На другой день начальство занялось разбивкой лагеря для каждой части. Пластунов и по 96 человек штуцерных с каждого полка послали за протекающую впереди речку, за которой тотчас стоял штаб отряда с полковником Бабичем. Правую сторону заняли крымцы, левую брестцы. Артиллерию поставили между полками. В тот же день инженеры разбили позицию укрепления, которое следовало нам строить. На следующий же день приступили к его постройке, для чего было вызвано от каждого пехотного полка по тысяче человек».

«Все вокруг закипело. Заблестели на солнце топоры и лопаты. всюду виднелись солдатские мундиры и рубахи. Заскрипели повозки. Задымилась костры. Выросли землянки, покрытые дерном».

«...он настроит дымных келий по уступам гор; в глубине твоих ущелий загремит топор...»

«С начала наших работ стали появляться горцы. Было видно простым глазом, как на опушке стоявшего впереди леса устраивались горские батареи из крепостных пушек, положенных на особо насыпанный вал».

«Как только батареи были готовы, горцы открыли по нам артиллерийский огонь. Наши батареи отвечали. Сначала наши солдаты, отвыкшие от ядер, уходили с работы и строились. Но скоро привыкли. Стрельба шла, а работы продолжались. То тут, то там ядра со свистом пролетали над головой и, ударившись в зеленую траву, поднимали черные фонтаны земли. Из наших и горских пушек вылетали клубы порохового дыма. От канонады звенело в ушах...»

«Наступила Пасха».

«На первый день Пасхи работы шли как обычно, а в это время горцы, думая, что мы гуляем, открыли сильнейшую канонаду. Однако увидев, что мы в ту же минуту стали отвечать, замолчали. Спустя часа два повторили, но по-прежнему успеха не имели».

Так происходило закрепление отвоеванных у горцев земель.

«27 апреля мы решили устроить через протекающую впереди реку постоянный мост, с тем чтобы через него можно было перевозить пушки, которые до сих пор при надобности шли вброд. Приступили

к работам. Сперва все шло спокойно, только крики и шум засевших в лесу горцев показывали, что враг не дремлет. На эти крики и шум стали со всех сторон сбегаться к лесу горцы, и когда их набралось довольно — подняли стрельбу из пушек и винтовок. Наши люди стали в ружье, артиллерия открыла огонь картечью, пули с визгом полетели через узенькую, как ручей, реку, и горцы были отогнаны, после чего работы по сооружению моста продолжались».

«На другой день переправа была готова, стали строить передовые укрепления на четыре орудия прикрытия. Укрепление состояло из высоко насыпанного бруствера с глубокой канавой; бока закрыты до самой реки плетневым забором».

«С устройством моста почти ежедневно горцы собирались толпами, делали наблюдения и каждый раз были отбрасываемы. Ночью каждый полк высылал команду в 50 человек, при офицере, которая, усиливая дневную цепь, держала караул всю ночь до восхода солнца. Провести ночь на этом дежурстве стоило немало: вой шакалов, крики горцев в лесу, подозрительные шорохи, далекое ржание коней, случайный выстрел... Все это приносило немало тревоги. Спать не приходилось. Бодрствуешь всю ночь, присматриваясь, прислушиваясь к малейшему ночному звуку...»

«Пройдет ночь — и слава богу!»

«А то, бывало, приезжают какие-то лазутчики — не один, не два, а целый десяток и более. Тут немедленно надо давать знать в штаб отряда. Приезжает начальник штаба, а если что-нибудь важное, то и сам начальник отряда».

«Несколько раз, будучи в ночном карауле, приходилось мне видеть его. Иногда при перестрелках он, бывало, подавал команду:

— Стать в ружье! Подойти ближе!»

«И, окруженный моими солдатиками, продолжал под пулями выслушивать донесения пластунов и вести переговоры с перебежчиками — разный сбродом, не вызывавшим никакого доверия».

«Приезд пластунов и перебежчиков дозволялся только на наш задний фас, и если он случался часов в 9 или 10 вечера, то в солдатских палатках начинался нарочито шумный разговор, пение песен, смех, шутки-прибаутки. Горцы смотрели и прислушивались, делая заключение, что русские не унывают».

«Картина чудная, особенно в тихую июльскую лунную ночь, когда все вокруг делается как бы сказочным, волшебным и немного страшным. Только, к сожалению, за отсутствием художественного таланта не сумею ее передать во всей красе», — прибавляет дедушка.

«Час и более идут переговоры. В то время, когда старики горцы ведут перед начальником нашего отряда свои неторопливые, лукавые восточные речи, остальные, сидя на конях, внимательно осматривают наш лагерь».

«Мы, караульные, хорошо это видим, не спускаем с них глаз, держа ружья наизготовку».

«Просьба горцев обычно была относительно прекращения нами постройки укрепления, которое с каждым днем росло и увеличивалось».

«Мы отвечали горцам отрицательно, говоря:

— Ваша вина. Зимние набеги, грабежи хуторов и станиц за Кубанью надоели белому царю. Он приказал построить крепости и вас отогнать подальше».

«Все переговоры были одно и то же...»

«Иногда назначался летучий отряд с артиллерией. Он двигался вперед, уничтожая запасы горцев. При этом велась перестрелка, обычно

кончавшаяся нашим успехом. Часа три-четыре двигались со стороны в сторону, жгли сакли, топтали посевы, иногда забирали добро горцев на повозки и возвращались с добычей домой».

Подлинно ужасная, грабительская, колониальная война. Удивительно, как хладнокровно пишет об этом дедушка .

«Получив сведения о готовящемся нашем движении, горцы обычно собирались перед лесом и заводили сильную оружейную стрельбу, время от времени пуская ядра по строящейся крепости. Мы, видя такое сильное скопление горцев, откладывали свое движение, и все оканчивалось одной стрельбой из пушек».

«В сентябре двинулись мы особым отрядом вовнутрь впереди находившегося леса. Горцы прозевали. Мы заняли лес и тотчас начали его рубить. Горцы пришли, но, уже будучи не в состоянии что-нибудь сделать, отступили, очень горюя о потерянном. Таким образом, отведя область артиллерийского огня горцев подальше от крепости, мы обеспечили строительные работы, которые пошли теперь быстрее и успешнее».

«Движения наши за пределы крепости стали повторяться, вызывая каждый раз истребление горского жилья».

«Природа чудная, местность восхитительная явились нашим глазам. Можно было понять, отчего солдаты так сильно отставали».

«Время шло да шло, укрепление возводилось. Батареи, фасы были уже готовы. Строились здания для офицеров, лазарет, казарма, склад провианта был за одним фасом, внутри укрытый брезентом. Сарай, ротные склады были размещены в землянках вне левого фаса под прикрытием крепостного огня и охраняемые в этом месте крутым берегом реки Адгулак».

«Октябрь и ноябрь стояли сухие, теплые, и за это время все работы закончились и батальон крымцев с четырьмя орудиями был водворен. Затем с каждого полка было выделено по четыре роты, казачий полк, пластуны, шесть орудий и на 30 ноября назначено движение вперед против левого фаса крепости. Остальным же ротам приказано было идти назад за Кубань. Мы, назначенные по жребию, двинулись за реку влево, а остальной отряд в 8 часов утра пошел на квартиры в станицы за Кубань...»

Сейчас, когда я переписываю и кое-где исправляю записки деда, мне кажется ужасным то равнодушие, с которым он упоминает об истреблении горского жилья, о грабеже имущества горцев, наконец, о вооруженном захвате горских земель. Я вижу прекрасную природу, беспощадно преданную огню и мечу.

Ужасно, ужасно!

Но кто знает, какова была бы судьба России, каковы были бы границы Советского Союза, если бы тогдашняя Россия не победила в этой войне с восставшими племенами, руководимыми знаменитым Шамилем. Говорят, что он был орудием английской, антирусской политики на Востоке. Я в это не верю. Шамиль был патриотом своего народа, защитником своих земель. Но в случае нашего поражения в войне с Шамилем не потеряли бы мы тогда в конечном итоге все Причерноморье? Не попали бы Грузия, Армения и Азербайджан под власть Турции и Ирана, более отсталых государств?

Вероятно, мой дедушка, молоденький подпоручик, ничтожная песчинка в армии, не отдающий себе отчета в том, что происходит в мире,

лишенный способности видеть историческую перспективу, жил и действовал почти бессознательно, бездумно, повинуюсь скорее биологическим, чем историческим закономерностям.

Но, с другой стороны, можно ли знать заранее исторические закономерности?

Одним из позднейших наших поэтов не без яду было написано следующее четверостишие: «Однажды Гегель ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад».

Хотя и считается, что время течет из прошлого в будущее, но человеческая память очень часто делает поправки к этому предположению, ничем, впрочем, не доказанному, так как точно неизвестно, что такое будущее и что такое прошлое. Человеческая память заставляет сознание возвращаться из будущего или даже из настоящего в прошлое или наоборот.

Дедушка в своих записках нередко возвращается в прошлое для того, чтобы восстановить какое-нибудь событие, ускользнувшее из его памяти. Так, например, он вдруг вспомнил в ноябре, что с ним произошло в августе, и вспомнил это уже на склоне лет, перед своим концом:

«В августе во время стычки при постройке предмостного укрепления однажды я с товарищем своим Витковским зашли на передовую батарею, где как раз стоял караул какого-то полка. Наблюдая шнырявших между деревьями и воспользовавшись временной тишиной, вздумалось нам потешиться над горцами. Теперь, на старости лет, делая эти записки и вспоминая мою далекую боевую молодость, я нахожу большой глупостью и мальчишеством то, что мы тогда сделали вместе с моим дружкой-однолеткой Витковским».

«Пробравшись через батарею между пушек, мы взобрались на бруствер, уселись на него рядом в нескольких шагах один от другого и начали посылать в сторону неприятеля кукиши».

«Расстояние, отделявшее нас от горцев, не превышало 500 шагов. Наши шутки разозлили горцев. Несколько человек в косматых папахах собрались у переднего дерева, довольно толстого, и стали из-за него стрелять в нас. Несколько штуцерных пуль с визгом пронеслось над нашими головами. Мы кубарем скатились с бруствера в ров. Батарея наша отменила горцам залпом из всех орудий. Загремели выстрелы с обеих сторон. На тревогу прискакал начальник отряда. Разобрав, в чем дело, он страшно рассердился и тут же приказал нас, виновников, наряжать не в очередь на работы».

«И поделом!»

Я думаю, следовало бы дедушке и его дружку Витковскому хорошенько надрать уши.

«Однако нет худа без добра: наша глупая выходка показала, что обе стороны не дремлют и бдительно охраняют занимаемые позиции».

«Итак, 30 ноября 1857 года движение наше началось до рассвета. Шли молча, спотыкаясь по неровностям местности. С восходом солнца мы вышли на поляну и построились в ротные колонны, выслав вперед с правой стороны застрельщиков со штуцерами».

«Сперва выстрелы были нечастые, но дальше, когда наши стрелки, поравнявшись с крайними саклями, стали поджигать их имеющимися в роте скоропалительными трубками, стрельба усилилась, загремели и наши пушки».

Что это за скоропалительные трубки? Я думаю, это были картонные пороховые ракеты на палках, которые пускали по горским деревьям для того, чтобы поджигать сакли.

«Идя в колонне, повернувшей налево, я оказался сбоку левого фланга, на виду леса, где шла перестрелка».

«...привозили раненых, которых, перевязав на скорую руку, клали в лазаретные фургоны с красными крестами...»

«Идя вперед и ведя стрельбу, я вдруг почувствовал, как одна пуля ударила в правый каблук моего сапога, так что я как-то невольно дернул ногу вперед и чуть не упал. Через несколько минут другая пуля ударила в мой меховой воротник сзади. Я схватился руками за затылок. Видя это, взводный унтер-офицер Сердюков, старый, седой николаевский солдат в бескозырке блином, сказал:

— Видно, ваше благородие, вас сегодня уьбют, не даром ни одна пуля не летит мимо.

— Ничего, братец, — бодро сказал я, — авось помилует! — А у самого сердце так и жжалось».

«Через несколько минут третья шальная пуля с левой стороны угодила в воротник».

Одна секунда, один шаг вперед — и не было бы ни дедушки, ни бабушки, ни мамы, ни меня самого, ни моего младшего брата Жени в этом чудесном, загадочном, непознаваемом мире.

Не могу себе этого представить.

«В то время загремели наши пушки и усилилась стрельба в цепи. Это отогнало горцев, и пули перестали залетать в роту...»

(Что, прибавлю я, сохранило в этом мире дедушку, и бабушку, и маму, и меня, и Женю...)

«В 12 часов, благополучно миновав открытую местность, отряд стал на привал отдохнуть и поесть сухарей».

Пока дедушка, сидя у походного костра, ест сухари, размачивая их в котелке с кипятком, и, сняв сапог, рассматривает каблук, сбитый чеченской пулей, мне вспоминается одна ночь, когда я, подобно дедушке, скатился кубарем с небольшой высотки под Сморгонью.

Наш взвод — две трехдюймовые скорострельные пушки с масляным компрессором и оптическим прицелом — выдвинули вперед, почти на линию пехотных окопов на самом переднем крае дивизии. Мы пришли ночью на заранее приготовленную позицию, установили орудия с брезентовыми чехлами на дулах и затворах, а сами влезли в глубокие землянки с блиндажами в три наката толстых сосновых бревен и стали устраиваться на ночлег, выставив часовых. В полночь настала моя очередь заступить на дежурство у орудий. Мороз был трескучий, крещенский, и мне дали бараний постовой тулуп, остропахучий и теплый, как печь, и длинный, до самого пола, с чересчур длинными рукавами. Обнажив свой артиллерийский бебут — нечто вроде длинного кинжала, холодного оружия нижних артиллерийских чинов, — и взяв его по уставу к плечу, я стал ходить, топя твердыми, сухими, тоже «постовыми» валенками, возле орудия по твердому, драгоценно сверкающему снегу. Черное небо над бесконечными снегами России мерцало переливающимися крещенскими звездами, и я, живший до сих пор только на юге, был очарован никогда еще мною не виданной красотой северной морозной ночи.

Из-за снежного бугра, у подошвы которого была скрытно устроена наша позиция, время от времени взлетали немецкие осветительные ракеты, обливая местность косо плывущим, как бы лунным светом. От земли до неба стояла торжественная тишина, изредка нарушаемая винтовочными выстрелами. Это наши боевые охранения и патрули перестреливались с немцами. Однако, казалось, это не имеет никакого отношения ко мне — так далеки были мои мысли, так полна была моя душа красотой этой волшебной ночи.

Я взобрался на вершину бугра для того, чтобы увидеть пейзаж во всей его ширине и как бы приблизиться к играющим над моей папачой звездам.

Отсюда открывался еще более восхитительный вид на снежную равнину с темными островами хвойных перелесков.

Несколько осветительных ракет хлопнуло вдали, и яркие их звезды поплыли в небе, облив вершину бугра магическим светом, в котором двигалась моя удлинившаяся тень, плывя по фосфорическому снегу. И в тот же миг я услышал винтовочные выстрелы, и немецкие пули, как стайка птичек со щебетом и свистом, пронесли над моей головой. Я кубарем скатился вниз, испытал в одно и то же время и ужас смерти и счастье спасения.

Это было мое боевое крещение.

Впервые со всей очевидностью я понял, что война — это не игрушки и что смерть стережет меня повсюду и может настичь в любой миг.

А между тем ночь была вокруг по-прежнему величава и торжественна, и моя душа, сжавшись на секунду от ужаса смерти, снова горела любовью, предчувствием какого-то неведомого счастья, долгой жизни, восторгом перед красотой мира.

Юности так свойственны возвышенные заблуждения!

Мне тогда и в голову не приходило, что в любой миг могут вдруг встать спрятанные в пустынных снегах целые армии, миллионы солдат, сотни батарей, огнеметов, аппаратов для пуска удушливых газов — и все это с воем и грохотом обрушится друг на друга по велению единой сигнальной ракеты, красной звездочкой взлетевшей над верхушками мирного белорусского леса, и уничтожит меня навсегда...

Мне было в ту пору едва лишь восемнадцать лет, судьба меня помиловала, смерть обошла стороной, как деда и прадеда, но через четверть века я испытал в последний раз ее ужасное приближение.

Был горячий, безветренный июль на орловской земле. Кругом необрушенные поля, истерзанные только что закончившимся здесь сражением. Кое-где поле было выжжено, и низко над землей тянулся удушливый дымок. Несколько мертвых немецких танков виднелось то там, то здесь. Из люка одной из этих обгоревших машин торчала нога в грубом солдатском башмаке. То и дело под ногами попадались кучи стреляных гильз мелкокалиберных пушек. Солнце только что закатилось за дымящийся горизонт, но безоблачное небо продолжало светиться розовым, ровным тоном июльской зари. Я шел по компасу, отыскивая танковый корпус, куда был назначен корреспондентом. Гимнастерка на спине пропотела, и брезентовые летние сапоги покрыты толстым слоем пыли. Луна посередине неба была едва обозначена белым кружком, обещая яркую лунную ночь. Но пока еще был день или, вернее, тот промежуток между днем и ночью, который в средней полосе России в июле так долго тянется в розовом молчании как бы слегка запыленной природы.

Среди тряпья, железного лома, обрывков каких-то бумажек, трупов, раздавленных танками, в некоторых местах мягко голубели цветы ци-

коря и сине-красные васильки, обычная принадлежность русского поля. Орел был еще в руках немцев, но в ходе войны уже произошел роковой для немцев перелом и началось их отступление. Все вокруг казалось безопасным. Но вдруг я услышал хорошо знакомый звук немецкого бомбардировщика. Он летел на страшной высоте над самой головой, неизвестно куда направляясь и, по-видимому, не представляя для меня — маленькой одинокой букашки, затерянной среди исковерканных орловских просторов, — никакой опасности. И вдруг в тот самый миг, как я подумал о своей безопасности, я услышал на той невероятной, страшной высоте зловещий звук, который, вероятно, никто из фронтовиков не забудет до самой своей смерти: звук оторвавшейся от самолета тонновой авиабомбы. Я прыгнул в ближайшую воронку, как будто бы это могло спасти меня от гибели. Но среди военных существует убеждение, что в одну и ту же воронку снаряд попадает в виде редчайшего исключения. Солдаты прыгают под артиллерийским огнем в воронки, сидят там, втянув голову в плечи, надеясь, что снаряд в воронку не попадет... надеясь, но не вполне этому веря, потому что бывали случаи, что и попадал. Я лежал, свернувшись калачиком, на дне воронки, как в кратере вулкана с зубчатыми краями, для чего-то прикрыв голову походным планшетом, в котором носил бритву, мыло, помазок и блокнот с фронтовыми записями. Я понимал, что планшет меня не спасет, но все же крепко прижимал его к фуражке, в то время как мой необычайно обострившийся слух был весь поглощен звуком летящей сверху бомбы.

На войне любой снаряд, любая авиабомба и любая пуля кажется всегда метящей прямо в тебя.

Я знал это, но в данном случае был уверен, что слух меня не обманывает: бомба падала прямо на меня и не было мне спасения от неминуемого моего уничтожения.

Воображению отчетливо представлялась та с каждым мигом усиливающаяся звуковая линия, которая соединяла меня с падающей бомбой. Звук нарастал и настолько разросся, что все вокруг меня как бы померкло, ужас охватил душу, я понимал, что наступили последние секунды моего существования на земле, и в эти последние секунды под ужасающий свист бомбы я не увидел, а как бы ощутил не только всю мою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таинственным образом со всеми моими предками, как ближними, так и самыми отдаленными. Я как бы странным зрением увидел кладбище в Скулянах, о котором тогда еще не имел ни малейшего представления, я увидел Измаил и Браилов, штурмовые лестницы, летящие и дымящиеся бомбы, пылающие сакли горцев, подожженные скоропалительными трубками, в мой каблук ударила штуцерная пуля, кровь лилась по лицу моего прадеда на подступах к Гамбургу, разорвавшийся под Дрезденом снаряд оторвал руку генерала Александра Ипсиланти, и она, эта оторванная вместе с генеральским обшлагом рука, полетела куда-то в сторону вместе с осколками разорвавшейся гранаты; на берегу реки Прут горели кареты петровского обоза; и, тесно прижавшись ко мне, стояли на коленях мои маленькие дети — Павлик и Женечка — и жена, которых я мучительно любил больше всего на свете и которых я видел последний раз в жизни, ужасаясь тому, что через миг ничего этого уже никогда не будет, все это навсегда уничтожится. Звук падающей бомбы, превратившийся уже в нестерпимый визг, вдруг тупо оборвался, где-то в стороне от меня послышался грохот разрыва, и, осторожно выглянув из воронки, я увидел в километре от себя нечто пылающее в клубах черного дыма на небольшом возвышении, где до этого я видел несколько изб. «Моя» бомба разорвалась именно там, а для чего ее туда бросили, я не знал: может быть, там был какой-нибудь склад или, что вернее всего, у немцев на карте была неточно нанесена какая-то цель, казавшаяся им важной.

Бомбардировщик был уже далеко, еле слышен, и вокруг стояла темно-розовая прелестная тишина орловского вечера, и полная луна стала более заметной в зените безоблачного неба.

Я выкарабкался из воронки, счищая с себя сухую глину и почему-то повторяя неизвестно откуда возникшие в моей памяти строки, каким-то образом связанные с моей военной молодостью и происшествием под Сморгонью:

«Не так ли под напев ветров, прозрачная и ледяная, в спиртовом пламени снегов сгорает полночь ледяная».

Но вернемся к запискам деда.

«Видны были горцы, перебежавшие в дальний лес по пути нашего следования...»

«Отдохнув час, пошли далее. Выстрелы загремели. Запылали сакли, сараи, стога сена и скирды хлеба, подожженные скоропалительными трубками, изготовленными в пиротехнической лаборатории нашего артиллерийского парка, — картонные трубки, туго начиненные спрессованной мякотью черного пороха. Стоило поднести к ним тлеющий фитиль, как из них начинали извергаться фонтаны золотого именинного дождя, сжигая на своем пути все способное гореть: адское порождение невинного дачного фейерверка, который, бывало, зажигали у нас в Скулянах в табельные дни или семейные праздники при хлопанье пробок и звоне бокалов».

«...стали опять приносить на носилках или просто на шинелях раненых...»

«Так шло дело до 4 часов, когда начальник отряда, привстав на стременах и приложив к глазам бинокль, не осмотрел пылающую, дымящуюся, обугленную местность и, с видимым удовольствием разгладив усы, сказал:

— На сегодня хватит. Отбой!»

«Он приказал отозвать назад стрелков и штуцерных, из которых многих недосчитались: они легли там, среди обугленных развалин и дорагающих саклей».

«В пять часов пошли назад. Пришли поздно. Палаток уже не было, так как отряд, ушедший на Кубань, забрал их с собой. Под открытым небом развели мы костры, сварили кашу, подсчитали не вернувшихся товарищей и легли на голую землю, положив под голову ранцы, укрывшись шинелями и бурками, у кого они были, и заснули тягостным сном под маленькой холодной луной, стоявшей над нами посередине неба».

...той самой луной, которая через много лет после этого стояла над мной в розовом небе под Орлом, той самой луной, которая много лет раньше светила над прадедушкой под Браиловом, под Дрезденом, под Гамбургом, той самой луной, которая и ныне освещает заброшенное кладбище в Скулянах, его сухую серебристую полянь, его изъеденные временем, вросшие в землю мраморные плиты с разноязычными надписями...

...той самой луной, на которую уже ступила нога человека — разрушителя и созидателя.

«1 декабря в 8 часов утра выступили на Кубань и мы. Пришли к вечеру, и тут же началась переправа, длившаяся часа два или три. Было очень холодно, как верно говорит пословица — «гнуло в дугу». Наконец переправилась и наша рота. Нам, офицерам, отвели какую-то комнату на почтовой станции. Остальные части разместились тут же невдалеке. Переночевав кое-как на грязном полу, напившись чаю, пошли в станцию Ивановскую, где назначена была зимовка».

«Станица была мне уже известна по командировке прежним летом произвести какое-то следствие. Тогда я стоял в хате у некоей Пухинихи, разбитной, веселой казачки».

Что за Пухиниха? Имя, прозвище, фамилия? Неизвестно, об этом дедушка ничего определенного не написал. Пухиниха и Пухиниха. Об остальном можно только догадываться.

Обошительная казачка. Вероятно, черноглазая. А может быть, прелесть веселая вдова-старуха.

«Теперь я было опять поселился у нее, но увы! Через некоторое время последовало распоряжение о формировании трех стрелковых рот и упразднении 4-го батальона. Страсть начальства к постоянным переформированиям! Беда, да и только!»

«Я получил назначение во 2-ю стрелковую роту поручика Гончарова и перешел жить к нему. (Хороший был человек. Теперь он генерал и командует бригадой.)».

«Да, совсем забыл сказать выше: когда 30 ноября ходили мы в набег против горцев, застрельщиками нашими командовал офицер младше меня — князь Руслев, произведенный в офицерский чин в Мингрельском гренадерском полку за боевые отличия. Очень милый молодой человек, не захотевший идти внутрь России. Он и прапорщик Чиляев — оба произведенные одновременно — через полгода перевелись в Тифлис».

«У Гончарова жилось мне недурно, но скучно. Виделись мы утром за чаем, в 12 часов за обедом, иногда перед вечером, прежде чем по обыкновению отправлялись в гости к полковому адъютанту Иванову, человеку семейному, имеющему бездетную жену. Ивановы жили вместе с ротным командиром Карташовым, женатым на сестре мадам Ивановой, молодой веселой барыне из Одессы».

Мог ли в то время дедушка предвидеть, что у двух прелестных сестер-одесситок мадам Ивановой и мадам Карташовой есть еще младшая сестрица, которой впоследствии суждено было стать моей бабушкой?

«Вскоре мы довольно тесно сошлись с моим ротным командиром Гончаровым. Наслушавшись моих рассказов о Пухинихе, Гончаров захотел и сам побывать у нее».

...Ангел смерти вынул мою душу и унес ее неизвестно куда, вернет всего, рассеял по всей вселенной. Но тело мое, четырнадцать раз раненое во время Отечественной войны, осталось на кладбище в Скулянах..

«Однажды вечером человек поручика Гончарова подвел к дверям его верхового коня, покрытого, как попоной, длинным кавказским ковром. Мы вместе с поручиком Гончаровым вышли из дома и, усевшись вместе верхом на длинного коня, поехали к Пухинихе».

«Грязь была великая, тьма кромешная, и только шагом на умном коне можно было добраться до цели нашего путешествия».

«Мы застали Пухиниху одну с сестрой. Познакомив Гончарова с сестрами, я сказал, что мы приехали ради скуки, надеясь, что, может быть, здесь нам будет веселее, причем приказал приготовить чай. Пухиниха быстро распорядилась чаем, послав сестру за местными молодыми казачками. Через каких-нибудь полчаса чай был готов и гости пришли, придерживая юбки, задрипанные грязью».

«Начался шум, говор и пение кубанских старинных песен, которые, как известно, по всему казачьему Причерноморью были на редкость хороши».

«Вечер прошел незаметно и весело».

Я думаю, нечто подобное этой вечеринке, но неизмеримо талантливее описал Лев Толстой в «Казаках».

«...собравшись в 10 часов домой, мы с поручиком Гончаровым, сам-друг, прежним порядком поехали верхом на одной лошади, сказав, что в воскресенье будем опять».

«В то время мой Султан стал хромать. Появились мокрецы. Приходилось лечить его, как некогда Дагоберта. Лечение шло успешно, но полковой коновал, призванный мною, сказал:

— Проваживайте коня, ваше благородие, но не ездите».

«Совет хороший, но очень скучный. Однако поневоле приходилось ему следовать. Все же в воскресенье мы опять собрались вечерком к Пухинихе. На этот раз мы заехали по дороге в местную лавку и купили мелких сладостей, то есть изюму и каленых орехов. Наше угощение, по видимому, очень понравилось гостям Пухинихи. Разговоры были веселые, песни пелись чаще, глаза молодых казачек блестели жарче, румяные губы многообещающе улыбались...»

На этом месте описание веселой вечеринки у гостеприимной Пухинихи обрывается, и можно лишь предполагать его продолжение. Во всяком случае, думаю, без жарких поцелуев в темных холодных сенях дело не обошлось.

Но дедушка в своих записках был крайне осторожен.

«Приближалась весна. Стало солнышко пригревать. Черноземная грязь подсыхала, а вместе с тем начались стрелковые учения. Собственно стрельбы, огня, было не очень много, а так себе, для препровождения времени, чтобы солдатики наши, да и мы, их офицеры, не забывали службу. Вместе с тем пошли слухи, что снова пойдем за Кубань, но только на этот раз с другой стороны».

«Это было в конце февраля. А в половине марта получился приказ выступить».

Вот тебе и поездки к Пухинихе, вот тебе и молоденькие казачки, их карие и черные глазки, их жаркие поцелуи в ледяных сенях. Прощайте!

«Солдатушки-ребятушки, где же ваши жены? Наши жены — ружья заряжены, вот где наши жены!»

...Да с присвистом, с присвистом...

«Опять забыл записать, что в половине января я с одним офицером выпросился в Екатеринодар, столицу казачьего войска, верст за сто от нашей стоянки».

«Выехав утром рано на санях, мы к вечеру приехали на почтовых. В город въехали на колесах. Началась оттепель, и в городе была такая страшная грязь, что посреди главной улицы мы увидели громадный тарантас, застрявший в грязи».

«Остановились в местной гостинице. Помещение неважное. Но для нас, давно не видевших лучшего, было хорошо. Чай и обед тоже были хороши. Пробыв два дня, купивши что нужно, рано утром третьего дня отправились домой на перекладных. Снегу стало очень мало, но ехали скоро и к вечеру были дома».

На старости лет дедушка почему-то вспомнил эту ничем не замечательную, даже как бы бессмысленную поездку на два дня в Екатеринодар, как говорится, «за сто верст киселя хлебать».

Догадываюсь, почему эта поездка вспомнилась дедушке. Для каждого, кому хоть когда-нибудь довелось попасть с фронта в тыловой город, на всю жизнь остается в памяти это событие.

Подобное испытал и я в своей военной молодости, поэтому могу себе представить, как два боевых кавказских офицера въезжают на перекладных в тыловой Екатеринодар. Здесь, правда, тоже чувствовались отголоски войны с горцами, но совсем по-другому, не так, как в дальних кубанских станицах, в горных аулах, на просеках, вырубленных в девственных лесах.

Проехал рысью казак-ординарец с казенным пакетом, засунутым за обшлаг рукава, — посыльный из штаба; его конь с трудом выдирает копыта из грязи со звуком хлопающей пробки... Проехали две артиллерийские упряжки, таща за собою пушку — видно, на ремонт в артиллерийский парк. Из казармы слышался хор солдатских голосов, стройно певших «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое» — обычную молитву после вечерней переключки. В церкви благовестили ко всенощной, и над колокольной совсем по-зимнему кружились галки. Дома были одноэтажные, иногда двухэтажные, каменные, особняки. Но попадались и трехэтажные, кирпичные, по-провинциальному затейливые. В окнах их за занавесками, за зеленью комнатных растений — фикусов, рододендронов — уютно светились олеиновые или керосиновые лампы, иногда под цветными абажурами. Мелькали тени, среди которых молоденькие офицеры не без волнения угадывали стройные женские силуэты со взбитыми прическами. В освещенных магазинах виднелись заманчивые товары. В витринах аптек с двуглавыми орлами пылали алым и синим огнем громадные стеклянные графины, наполненные подкрашенной водой. К подъезду большого здания с колоннами — гарнизонного собрания — пробирались гуськом солдаты музыкантской команды с медными трубами, флейтами, тромбонами и тарелками — видно, здесь предстоял танцевальный вечер.

Все это волновало молодых офицеров, предвидевших радости двух- или трехдневной свободы в заманчивом тыловом городе.

«Пошли, потянулись те же однообразные гарнизонные будни, и продолжалось это до половины марта, когда было получено приказание выступить на новую экспедицию. Я был послан с командой в пятьдесят человек хлебопеком, чтобы сохранить сухарный запас».

«Было и тепло и холодно. Когда греет солнышко — тепло. Когда облачко — холодно. Чем дальше шел я со своей командой, тем делалось теплее. К Пасхе пришли в станицу Лабинскую. Дневка на отдых, а потом опять в дорогу. И так далее».

«Наконец пришли к месту назначения, в станицу Прочный Окоп. Станица на крутом берегу реки Кубань, очень укрепленная, имеющая на валу пушки».

«Мы приготовили хлеб и, дождавшись прихода своих, сдали им хлеба, а затем я с отрядом переправился через реку и пошел дальше, но уже с осторожностью. Стоверстный поход с остановками в некоторых вновь построенных станицах ничего дурного не предвещал. Горцы показывались группами не более двух-трех человек и, видя мою вооруженную команду в пятьдесят человек, не нападали, следя лишь только за тем, не отстанет ли кто-нибудь из наших. Зная привычку горцев нападать на одиночек, я строго следил за своей командой».

«Придя в станицу, в которой назначено было очередное хлебопечение, я обратился с требованием в провиантский магазин, а также к квартировавшей здесь роте Крымского полка за некоторыми вещами. Получив все нужное, мы приготовили хлеб, я сдал его своему полку, а затем пошел далее».

«Помню один случай, бывший со мной по дороге. Переночевав в попутной станице, я утром послал унтер-офицера в станичное правление за подводами и стал ждать их прибытия. Возвратившийся унтер-

офицер доложил, что подвод не дают без приказания станичного атамана. Это крайне меня взбесило, и я тотчас отправился к станичному атаману. Придя на квартиру, спросил, где станичный атаман, и, получив указание, с маху отворил дверь, идущую прямо из сеней, где на табурете сидел дежурный казак с чубом из-под фуражки, внутрь дома».

«Это оказалась спальня».

«Налево возле дверей на высокой кровати лежала молодая жена атамана то что называется «дезабилье», то есть совершенно раскрытая, в чем мать родила, и весело о чем-то болтала со своим мужем, станичным атаманом, который сидел возле стола».

«Что называется — табло! Ха-ха!»

«Я, конечно, очень поразился, хотя и не подал виду».

«Раздался женский крик, визг, возня... Лежавшая дезабилье дама укрылась с головой стеганым одеялом, из-под которого виднелся всего лишь один ее хотя и испуганный, но тем не менее довольно хорошенький любпытный глаз, опушенный густыми ресничками».

«Атаман, молодой казачий офицер из немцев, вскочил со стула, но я, как будто бы не замечая поднятой мною суматохи, сказал весьма официальным тоном, что нужны подводы».

«Атаман, вежливо указав рукой на дверь, попросил меня следовать за ним в соседнюю комнату, где, усадив меня на стул, с величайшим, чисто немецким самообладанием стал писать записку в станичное правление, которую, написав, с корректным поклоном подал мне, хотя руки его при этом сильно дрожали. Извинившись за свое невольное вторжение в его, так сказать, семейное святое святых, виной которого был дурак вестовой, указавший мне не ту дверь, я распрощался и удалился, будучи и сам несколько фраппирован этим пикантным происшествием».

«Придя домой, я тотчас послал унтер-офицера с запиской атамана за подводами и, без затруднения получив их, выступил в поход».

Не берусь утверждать, но думаю, что образ обольстительной атаманши неглиже еще долго тревожил воображение дедушки, заняв свое место в ряду жены интендантского чиновника, дочери помещика Маклакова, поповны и всех хорошеньких казачек из числа гостей продувной бабы Пухинихи.

«Через несколько дней я пришел в укрепление Надежное — место стоянки нашего 1-го батальона, где должны были строиться укрепления для станицы Сторожевой, куда должны были прибыть новые поселенцы с Дона. Линейный батальон, тут стоявший, уходил в Пенбабский отряд».

«...занимался печением хлеба. Ничего не поделаешь. На военной службе ни от чего не откажешься...»

«Через неделю пришел наш батальон с полевым штабом. С 25 апреля начал он приемку казарм и церкви, бывшей в Надежном. Литовцы ушли, оставив сдатчика. Казармы четырехротные оказались очень плохи. Канцелярия получше. А офицерские флигеля совсем хороши. Хорош и прочен оказался также дом командира, а также два офицерские флигеля: сбоку одного из них и даже позади через крепостную стену оказался довольно хороший, хотя и небольшой фруктовый садик на возвышенном берегу реки Большой Зеленчук, через которую был перекинут небольшой мост».

Апрельское солнце сияло, трава зеленела, в ней чернели круглые, маленькие, очень глубокие норки таранулов, было жарко, и яблони, вишни, груши были осыпаны душистым цветом, так что когда дедушка проходил под ветвями цветущих деревьев, подняв к небу свое узкое лицо с еле пробивающимися усиками и бакенбардами и голубыми глазами, унаследованными от матери, то на его плечи бесшумно слетали розовые, белые, зеленоватые лепестки, а над головой с посвистыванием, как маленькие пульки, пронеслись пчелы, и трудно было представить, что где-то в горах и лесах прячутся горцы, каждую минуту готовые напасть на станицу.

Душа была полна радости, умиротворения и безопасности. Казалось, что повсюду на земле наступил вечный мир под этим прелестным хрупко-голубым апрельским, не то русским, не то кавказским небом.

«Слева между фасом казарм и офицерского флигеля имелись ворота, открываемые на форштадт, где были построены в одну небольшую улицу дома женатых солдат, огороженные особым высоким плетнем со щелями для стрелков. Плетневая эта стена оканчивалась воротами, выходящими на мост».

«С выступлением из Ивановской я был переведен в 1-ю стрелковую роту капитана Карташова, человека семейного, женатого на свояченице полкового адъютанта Иванова, о чем я, кажется, уже имел случай упомянуть ранее. Обе семьи жили вместе, занимая три очень большие и светлые комнаты с просторным крыльцом».

«Упоминаю о сем, так как впоследствии это имело влияние на всю мою дальнейшую жизнь».

...и на самый факт моего появления на свет, могу добавить я в качестве внука своего дедушки...

«Я вместе с прапорщиком Дмитрием Константиновичем Попаленко поселились на форштадте, где и поставили своих лошадей».

«На левой угловой башне, где находилось орудие и откуда был виден передний левый фас, а также ворота форштадта, возле моста на ночь ставились часовые. Впереди укрепления, шагах в шестистах, строили переднюю стенку — два густых плетня в сажень высотой, засыпанные в середине землею. Позади этой двойной стенки устроили низенькую завалинку, также из плетней, набитых землей, так называемый барбот, на который становились солдаты с ружьями в случае необходимости открыть огонь. Такая стена с барботом тянулась на протяжении всего переднего фаса, на пятьсот шагов, имея на углах по батарее с одним орудием, обстреливавшим передний и боковой фасы. Подобная же стена шла по левому фасу, имея на середине батарею также из одного орудия для укрепления также по правому фасу».

«Впрочем, пока это все выстроилось, прошло довольно много времени, почти шесть месяцев».

Как говорится, время шло, а служба тоже от него не отставала.

«1 мая пришли поселенцы, казаки с Дону. Поставили их на места, назначенные для станицы, разбили кварталы, наметили колышками улицы, протянули канаты, и пошла постройка хат. Тут же появились маленькие казачата в ситцевых рубашках, босые, в бараньих шапках и сразу начали ловить таранулов, опуская в ямки длинные нитки с мягкими восковыми шариками на концах. Тарантул вцепится в шарик, завязнет, тут его и вытаскивают на свет божий — страшного, черного,дохматого, со злыми глазками...»

«Днем солдаты строили стены из плетней и батарей, а также ходили на прикрытые пастбы — по одной роте, с одним орудием на каждое пастбище. Опасались набегов горцев».

«Жители-новоселы под нашей охраной спешно строили себе хаты, а пока что ночевали кое-как — в шалашах, времянках или просто под открытым небом».

«...кроме того, ходили мы на рубку леса — одна рота при орудии и полсотни казаков».

«21 мая получилось приказание выслать сотню казаков с ракетным станком, конвоировать командующего линией генерала Филипсона, прибывающего к нам для осмотра строящейся станицы. Утром рано сотня ушла, сделав предварительно объезд кругом, но не заметила ничего подозрительного».

«Секреты — впереди, в ущельях и наверху. Скот донских переселенцев — молодняк — выгнали на пойму за передний фас станицы под прикрытием одной роты штабс-капитана Равича, при одном орудии. Возле квартиры командира полка приготовили почетный караул под моим начальством».

«Я был в парадной форме, в маленьких сапогах. Начальство тоже. Приехал Филипсон, принял почетный караул и отправился в станицу».

«...сотня вываживала лошадей на форштадте...»

«Придя домой, я расстегнул тесноватый парадный мундир и сидел на кровати, разговаривая с Поповским».

Представляю себе приподнятое настроение дедушки, который только что в парадной тесноватой форме, в ярко начищенных коротеньких парадных сапожках, в замшевых перчатках, с рукой, лихо взятой под козырек, без запинки отпартовал приезжему генералу о том, что на линии никаких происшествий не случилось, почетный караул построен, а генерал милостиво подал ему руку тоже в замшевой, но более дорогой перчатке.

«...и вдруг прозвучало несколько выстрелов. В ту же минуту казаки, вываживавшие своих лошадей на ярко-зеленом лугу, замундштучили их и понесли на выстрелы. Во двор наш влетел денщик Поповского на моем Султане, крича:

— Ваше благородие, беда! Горцы напали, отбили табун и погнали в ущелье!»

«Услышав это, мы с Поповским вскочили как были незастегнутые, схватив пистолеты и шашки, и побежали в станицу. Шум, гам, формируется команда из партизан и посылаются вперед. Пробегая станицу, вижу общую картину: бабы-переселенки повсюду плачут о своих коровушках. Человек двадцать тащат на вожжах какого-то горца в порванном бешмете, без шапки, с бритой головой. Он бормочет что-то неразборчиво, показывая какую-то измятую записку...»

«Вдруг он упал на землю».

«Мгновенно несколько винтовок было направлено на него. Раздалось выстрелы. В воздухе блеснули выхваченные из ножен шашки... И человека не стало».

«Оказалось, что это так называемый «мирной» горец, приехавший вместе с генералом Филипсоном и заскочивший несколько вперед от генеральской свиты. Обезумевшая толпа не рассуждая схватила его и потащила на вожжах в штаб отряда, добравшись до которого он был бы спасен. Но, на грех, он споткнулся, упал — и всему конец!»

«На безумные лица казаков страшно было смотреть. Они наводили ужас».

«Я побежал дальше и, наконец нагнав роту, пошел с ней как был в расстегнутом парадном мундире и коротких парадных сапожках».

«Выстрелы впереди раздавались весьма часто...»

«Между тем дело было так: горцы, подкравшись к нашему секрету, моментально его изрубили, а затем в числе шестисот всадников понеслись на станицу, охватывая кольцом разбегающийся скот, который по тревоге барабанов и горнов стал сгоняться своими погонщиками. Пока, поймав одного, ловили другого, подоспели горцы и стали рубить поводья, угоня лошадей; сопротивлявшимся же погонщикам рубили напрочь головы. Все это происходило на глазах генерала Филипсона, который со всем своим штабом стоял в двадцати шагах перед возводимой плетеной стеною».

«75 человек роты Равича стояли на месте, охраняя пушку. Двадцать горцев, выпалив из ружей, пронеслись из одного ущелья сквозь стадо вперед, в другое ущелье. Весь скот — лошади, волы и коровы — шарахнулся за ними, а остальные 580 горцев сзади, отстреливаясь, поскакали во всю прыть. За ними в погоню выскочили казаки — человек восемьдесят из сотни. Они нагнали горцев уже во втором ущелье. Но что они могли сделать против 580?»

«Пехота, бывшая на работах перед нападением, ушла в укрепление Надеждинское обедать. Выскочив по тревоге в одних рубашках, с ложками за голенищами, они побежали преследовать горцев, но, конечно, не догнали. Впереди в пыли мелькнули только плоские папахи, похожие на вороньи гнезда. Конный пешему не товарищ».

«Для того чтобы пересечь путь горцам, мы, пехота, взяли вправо и на страшной высоте, по крутизне, надеялись перерезать горцам путь. Страшно устав, оборвав всю обувь, мы часа через два перевалили поперечные горы, но с высоты увидели, что горцы далеко впереди, тут мы остановились, вытащили из болотного провала брошенную горцами корову, принадлежащую нашему батальонному командиру подполковнику Клостерману».

«Возвратились в станицу: везде уныние, рассказы о разных случаях, бывших в течение этого страшного часа. Вот как прошло 22 число прекрасного солнечного майского дня».

На всю жизнь осталась в памяти дедушки изрешеченное пулями, изрубленное шашками тело «мирного» горца, по ошибке убитого озверевшими казаками, и две окровавленные головы погонщиков, снесенные горскими шашками, острыми как бритвы. Эти даже не отрубленные, а как бы напрочь мгновенно срезанные головы катились по яркому лугу поймы, где еще совсем недавно казацки ребятишки так беззаботно ловили тарантулов.

«Того же числа в 4 часа Филипсон уехал в Ставрополь. Все пошло своим чередом: заботы, пастьба оставшегося после набега горцев скота, хождение в лес и т. д.».

«Через неделю приехал военный следователь...»

«Надо еще сказать, что после 22 мая полковой квартирмейстер штабс-капитан Рубин, вздумав услужить командиру полка, отдал приказ, что во время перестрелки в тот несчастный день была убита 41 казенная лошадь и для осмотра этих убитых лошадей назначается комиссия в составе подполковника Мокреца, меня и прапорщика Поповского. Комиссия должна была представить акт. Это было через неделю после набега горцев, и мы, ходившие в это время на рубку леса, видели несколько костей животных, не более. Но как же нам следовало поступить, если приказом, назначавшим нас в комиссию, мне и Поповскому был

прислан подлинный акт, где были прописаны все кони — числом 41, — будто бы убитые. Акт этот был уже подписан Мокрецом».

«Думали мы, думали с Поповским, ничего не придумали, кроме как взять да и подписать акт, что мы по своему легкомыслию и сделали».

«Полк, получив такой акт, сейчас же представил его комиссариатской комиссии с просьбой отпустить деньги на покупку новых лошадей».

«Через две недели приехал следователь, полковник, — забыл его фамилию — и приступил к делу. Сначала все шло хорошо, но неделю спустя следователь с некоторыми нашими офицерами вздумал покутить, что по кавказскому обычаю было не в редкость. Когда в полночь шум кутежа стал разгораться, подполковник фон Клостерман, который оставался за командира полка, уехавшего на воды в Пятигорск, не мог перенести этого шума. Он вышел во двор укрепления и стал кричать на офицеров, кутивших со следователем. Произошла ссора между фон Клостерманом и следователем. Офицеры разошлись. Но дело приняло дурной оборот».

«На другой же день мы, комиссия, получили дополнительные вопросы: указать отряд, сопровождавший нас при осмотре убитых лошадей, причем назвать людей отряда поименно для опроса, при каких именно обстоятельствах производился осмотр убитых лошадей».

«Получив такие запросы, мы с Поповским вдвоем пошли к Мокрецу спросить, что делать. Он ответил нам:

— Не знаю, что хотите, то и пишите».

«Вот те на!»

«Придя домой в свою палатку, мы написали, что осмотра убитых лошадей не было, что приказ отдан задним числом, были ли убитые лошади — не знаем: готовый акт был прислан нам из полковой канцелярии, и мы подписали его».

«Представив рапорты, мы стали ждать, что будет, зная хорошо, что ничего доброго не будет».

«Скоро следствие кончилось, следователь уехал».

«...несколько раз была тревога: горцы подходили, мы их прогоняли; ходили в лес на рубку. В конце октября вышла колонна в лес. Клостерман был за старшего, я — батальонным адъютантом. Рубка прошла спокойно. К вечеру пришли домой. На дороге сломалась ось у двух повозок, взятых нами у переселенцев. Клостерман приказал оставить их на месте с пятью казаками конвоя...»

«С заходом солнца стало холодать. Ветер из ущелья сделался порывистее. Между тем поправка осей замедлилась. Пять казаков, два подводчика и я — вот все, что было в диком ущелье. Положение не из приятных. Наконец оси исправили, и мы тронулись. Часов в 9 вечера были уже дома. Явившись к Клостерману, я рапортовал о благополучном прибытии».

«Однако меня, видно, сильно продуло в ущелье. На другой день я почувствовал какую-то слабость и отсутствие аппетита, но ничего не предпринял, врачу не сообщал, а так промаялся».

«Прошла неделя, а состояние мое становилось все хуже и хуже. Пригласил доктора Родзевича, который прописал мне какую-то микстуру и сказал, что у меня была просто лихорадка, но кто его знает, может, начнется и тиф».

«Подождем!»

«На другой день не лучше. Лихорадки как будто нет, а силы мои все убывают. Последовал приказ отправить меня в Ставрополь в больницу. Доктор Родзевич явился и сказал, что он меня записал. Надо собираться!»

«Предстояло ехать верст восемьдесят с оказией, то есть при казачьем конвое с пушкой, так как по дороге все еще пошаливали горцы».

Таким же способом и примерно в тех же местах езжали Пушкин, и Лермонтов, и Лев Толстой. Езжал и мой дедушка.

«Меня собрали и, уложив в мою повозку, отправили при первой оказии. При мне был мой денщик Иван, который ухаживал за мной, как нянька».

«Спасибо ему! Никогда не забуду!»

«Во время езды мне было легче, но при остановках ужасно нехорошо. Ночевали возле укрепления станицы Каменный Мост. Ночь прошла слава богу. Повезли далее. Все дурно, все хуже и хуже. Аппетита никакого. Тошнота. К вечеру приехали на Кубань в станицу Баталпашинскую».

«Мне все хуже и хуже. Почти уже ничего не соображаю, живу как в тягостном тумане».

«После Баталпашинской езда уже одиночная, без конвоя. Оказия кончилась. Не страшно: река разлилась широко, горцы не нападут. Выехав из упомянутой станицы, я впал в бесчувствие. Мой бедный Иван вез меня далее, останавливаясь на ночлег в попутных станицах. Не помню, на какой день достигли мы Ставрополя. Не помню даже, как приняли меня в госпиталь. Смутно помню лишь, как на другой день Иван отправился обратно в отряд, а меня осмотрел дежурный врач, сказав, что нет мне спасения и нужно к вечеру выписать меня в покойницу, ибо к вечеру я непременно умру».

«Так бы со мной и поступили, если бы не случившийся тут мой товарищ юнкер Русанов, который буквально вымолил у доктора оставить меня в палате до завтра — может быть, я очнусь. Доктор после долгих пререканий согласился. Я остался в палате. В полночь пришел в себя, простонал, но ничего не мог выговорить: от сильного жара потрескался язык и я был не в состоянии произнести ни одного слова. Подошел фельдшер. Я показал ему на свой язык. Мои открытые глаза, движение руки показали фельдшеру, что кризис миновал и теперь нужно только поддерживать организм, который сильно ослаб».

«Помазав мне язык кисточкой с разведенным медом, фельдшер стал ободрять, успокаивать меня. В 10 часов утра пришел доктор и очень удивился, что я жив. Прописавши мне какую-то микстуру, он ушел, причём у меня создалось такое впечатление, что он не совсем доволен тем, что я как бы не подтвердил своей смертью его предсказания».

...так сказать, подорвал его авторитет в глазах низшего больничного персонала...

«К моей койке стали подходить разные юнкера, бывшие в палате; подошел фельдшер; начались расспросы, разговоры, но я только пожимал плечами, будучи не в состоянии пошевелить распухшим, потрескавшимся языком».

«Через неделю мне стало лучше. Я уже мог произнести несколько невнятных слов».

Тут дедушка прибавляет свою любимую фразу:

«Так тянулось время...»

«Через месяц появился аппетит и вполне здоровый сон. Я быстро поправлялся».

На этот раз неосознанная попытка дедушки хоть на несколько дней укрыться от тягот походной жизни, от неприятностей, связанных с под-

писью акта насчет убитых лошадей, подкинутого ему жуликоватым интендантом, желание освободить свою пленную мысль от принудительных представлений, оказались чуть ли не роковыми: с кавказской лихорадкой — малярией — не шутят. Дедушка чуть не угодил в мертвецкую, откуда вряд ли бы уже выбрался живым. Он чудом вернулся к жизни. И, находясь между жизнью и смертью, в том ужасном и вместе с тем блаженном состоянии как бы душевной невесомости, он в своем погасающем воображении заново переживал кровавые события, о которых, уже на старости лет, он так безыскусно и так правдиво поведал в своих записках, нацарапанных плохо разбираемым почерком. Ничтожная песчинка среди великих и малых исторических событий XIX века, он жил общей армейской, ничем не замечательной — временами кровавой, временами безумно скучной — жизнью, которая, как всякая человеческая жизнь, всегда достойна художественного изображения хотя бы единственно для того, чтобы потомки имели достоверные свидетельства о жизни своих отцов, дедов и прадедов.

В истории человечества не бывает незначительных событий.

...Отпущенный дедушкой обратно в свою часть, ехал денщик, старый, еще николаевский солдат в бескозырке блином, в шинельке, подбитой ветром, с седыми усами и бакенбардами, из которых высовывался колюче-бритый солдатский подбородок, ехал среди причерноморских степей, в виду предгорий Кавказа, где все еще шумели незамирные племена, трясясь на попутной фурштадтской повозке, и время от времени вытирал рукавом слезу, повисшую на усах: он не чаял уже когда-нибудь увидеть своего господина, умирающего в ставропольской больнице...

«Не за горами уже было то время, — читаем мы в книге французских историков Лависса и Рамбо «История XIX века», — когда великий геройиз русского народа, проявленный им во время всех войн XIX века, в которых участвовала Россия (...и в которых участвовали мои прадед и дед...), должен был сказаться в вооруженной революционной борьбе против своих хищников и своих интервентов...»

Предки мои, проливая кровь от дельты Дуная, от Добруджи и предгорий Карпат до Батума и Карса, героически сражаясь в Севастополе, подобно Петру, давшему России выход в Балтийское море, окончательно закрепили за Россией громадную полосу Причерноморья, навсегда открыв для нее путь в Средиземное море, от которого она до тех пор была отрезана турками.

Впрочем, если читателю все это неинтересно, если его до сих пор не увлекла судьба молоденького кавказского офицера, бессознательно совершающего свою более чем скромную, но все же историческую роль русского воина, то лучше бросьте эту книгу, так как вы ничего не найдете в ней особенно любопытного, кроме, быть может, истории женитьбы моего деда, а также участия прадеда в сражениях достославного Двенадцатого года и некоторых моих личных воспоминаний о первой мировой войне, участником которой я был.

«В конце ноября я узнал, что наш полковой командир полковник Чихачев, прибыв из Пятигорска и направляясь к своему полку, остановился в Ставрополе. Я пошел явиться к нему. Он встретил меня приветливо, советуя полежать еще в госпитале, но я сказал, что думаю поправиться среди своих боевых товарищей в полку и потому уже подал рапорт о выписке из больницы».

«Чихачев пожал плечами: редкий случай, когда офицер отказывается несколько лишних недель пролежать в госпитале. Вероятно, у меня вид был очень жалкий, потому что полковник Чихачев, посмотрев на мое пожелтевшее, исхудавшее лицо, измученное малярией, предложил мне взаймы денег. Я поблагодарил и отказался, сказав, что я не играю, не пью и деньги у меня есть. Вновь пожав плечами и усмехнувшись, Чихачев простился со мной».

«Хотя день был ясный, но морозный, вдыхать не комнатный, а открытый воздух было приятно. Обратно я пошел уже пешком, почти не чувствуя усталости. Силы мои заметно восстанавливались. По дороге я зашел в лавку, купив на дорогу чаю, сыру, сахару, сухариков».

Дома приятно было рассматривать, разложив на больничной койке, покупки, аккуратно упакованные лавочником-армянином в грубую оберточную бумагу и крепко перевязанные тонким шпагатом. Приятно было извлечь на свет божий небольшой цибик с латунной застежкой, обклеенный бумагой с разноцветными картинками, где в середине в свинцовой оболочке хранился душистый китайский чай. Приятно было держать в руках тяжеленную литую сахарную голову, выглядывающую из синей толстой бумаги, как снежная вершушка Эльбруса. Сухарики аппетитно шуршали в пакете, а головка красного голландского сыра с оранжевым разрезом источала тонкий запах, возбуждавший аппетит. Ямайский ром булькал в толстогорлой черной бутылке, и ярко-желтые лимоны распространяли вокруг свой свежий аромат, тут же смешавшийся с надоевшим запахом больничной карболки.

«Я почувствовал себя после прогулки по городу совершенно здоровым, бодрым и был очень доволен, получив в тот же день разрешение выехать в полк, к товарищам, без которых я уже, признаться, соскучился».

Вот как быстро меняется на военной службе настроение!

«Пообедав с аппетитом (дедушка никогда не упускал случая отметить этот факт) и поговоривши на сон грядущий с юнкером Русановым о том о сем, в последний раз я лег спать на свою надоевшую мне госпитальную койку. Утром, часов в восемь, явился я в контору госпиталя, получил прогоны, пообедал пораньше и, в час дня выехав, прибыл на следующий день в станицу Б., где стал на квартиру, ожидая прихода оказии».

«Через несколько дней оказия пришла, и я, примостившись на одной казенной полковой подводе, где, кстати сказать, везли деревянный ракетный станок, напомнивший мне одну из наших стычек с горцами, когда в толпу черкесов летели, шипя, огненные змеи наших боевых ракет, зажигая плоские крышки саклей, поехал шагом, рассчитывая к вечеру быть во вновь построенной станице Исправной, где стоял 2-й батальон под командованием Войткевича, того самого офицера-зверя, который недавно на моих глазах насмерть забил сапогами большого малярийной унтер-офицера Гольберга, о чем я уже упоминал в этой тетрадке...»

«Ужасное воспоминание!»

«К вечеру пришли на место. Хотя было неприятно-холодно, но это способствовало более скорому ходу конвоя: чтобы согреться».

«Я остановился у офицера Анатолия Васильевича Горбоконя. Это был мой лучший товарищ, который обрадовался, что я жив. Долгий вечер прошел в разговорах с милейшим Горбоконом. Наутро я собрался в дальнейший путь в свое Сторожевое. Горбоконь дал мне своего Бурого, на котором я и поехал, а также послал со мной своего денщика, чтобы потом привести коня обратно».

Молодцевато сидя в казачьем седле, дедушка ехал то шагом, то рысью, и вокруг него раскрывался знакомый пейзаж с белыми вершинами Кавказского хребта, откуда потягивало холодком.

«Прибыв в Сторожевое, я вступил в должность свою батальонного адъютанта. Еще до этого, лежа в госпитале, я прочел в старых номерах «Русского инвалида» о производстве меня в подпоручики 27 мая 1858 года, а в декабре по прибытии в полк узнал о своем производстве в поручики 10 ноября».

«В полку я нашел все благополучно. Надел новые погоны с тремя звездочками, адъютантские аксельбанты и почувствовал себя настоящим боевым кавказским офицером. Мне дали одну комнату во флигеле укрепления. Своего Ивана вместе с Султаном я устроил невдалеке. Иван, со своей вечной полуобгорелой трубочкой-носогрейкой в желтых зубах, очень мне обрадовался, не надеясь уже меня видеть в живых».

«...сильная сыпь появилась у меня на теле, но доктор и полковой фельдшер сказали, что это ничего: причина тому — слишком ранняя выписка из госпиталя и поездка по холодной погоде. Я просидел безвыходно в комнате месяц, и все прошло».

«2 февраля по ходатайству Войткевича я был назначен командующим 6-й ротой — за больного капитана Завадского, вскоре умершего».

«Прибыв к месту стоянки 6-й роты в станицу Исправную, я остановился на квартире по главной улице в угловом доме, у казака из донцов. Кормили меня там за 5 рублей в месяц очень сытно и довольно вкусно».

«Шло время незаметно», — отмечает дедушка по своему обыкновению.

«Так как я состоял командиром роты, а в роте больше не было офицеров, то приходилось раз в месяц ходить с двадцатью человеками в караул для охраны Каменного Моста. Там было два орудия. Артиллеристы при них жили постоянно. Стоянка на Каменном Мосту была скучная, однообразная. Появление горцев иногда разнообразило жизнь. Тревога, стрельба из орудий — вот и все развлечение, да еще, пожалуй, приход оказии, получение провианта».

«В конце марта мне пришлось идти на Каменный Мост на смену Русова. Он прислал мне записку с просьбой, чтобы я приехал на его коне, диком горце. Я согласился. Человек Русова привел мне коня, и я спокойно на него сел. Но только что я тронул его, чтобы ехать, как он стал бить задом и становиться на дыбы. Потом в один миг повернулся назад и, брыкаясь и «становясь козлом», помчался в конюшню с низкими дверями. Видя неминуемую смерть и не будучи в состоянии удержать дикого горца, я сбросил стремя и опрокинулся назад. Упал я хорошо, но у меня отнялись ноги...»

«...поволокли меня на квартиру, где доктор тотчас бросил мне кровь, поставил 10 банок, и к вечеру я оправился. В караул пошел другой офицер».

«В апреле на Пасху был такой случай: несколько человек горцев, все из так называемых абреков, то есть «обрекших себя на смерть», тихо-молком проникли через всю нашу линию к Кубани и возле станицы Невинномысской бросились на грабеж хуторян. По поднявшейся тревоге со всех сторон на выстрелы полетели казачьи сотни. Горцы, видя неудачу, пустились наутек, приближаясь к нашей линии. Донские сотни, видя, что горцев немного и что их уже преследуют другие, остановились и стали возвращаться домой. Сотня же нашей станицы, приняв горцев, преследовала их не отставая, так как и тем и другим путь был один».

«Невдалеке от станицы горцы, видя, что им не уйти, бросились в соседний лес, в глубокую балку вроде ямы, поросшей лесом».

«Во время перестрелки один казак, оступившись, полетел вниз. Горцы заметили его — упавшего, — бросились к нему и начали рубить его шашками, тем самым совершенно открыв свое присутствие. Наши казаки, видя ужасную гибель своего товарища, озлились, начали стрелять залпами из всех ружей, которых было у них более пятидесяти».

«Дело кончилось».

«Убитые горцы были: три старика с седыми короткими бородами, один средних лет, а два — совершенные юноши лет по двадцать. Лица их, вымазанные кровью и вываленные в пыли, со стиснутыми зубами, — кроме окаменевшей злобы, ничего не выражали».

«Все это было неопишимо ужасно, переворачивало душу...»

«24 мая я сдал роту прибывшему из России нашему капитану Силину, а сам отправился опять в Сторожевую принять должность полкового квартирмейстера от капитана Рубана, едущего в Пятигорск. Прибыв в Сторожевую, я за неделю принял должность, после чего Рубан уехал, а за ним вскоре и командир полка полковник Чихачев, любившие лечиться на водах».

«Забыл еще сказать: в декабре 1858 года праздновали у нас два праздника: полковой и именины Чихачева. Будучи назначен ассистентом к знамени, я простоял в полной парадной форме, в коротких сапогах в церкви на молебствии окруженный облаками ладана, блеском священнических облачений, штаб-офицерских эполет, кострами свечей, оглушенный хором наших солдатских, горластых певчих».

«После молебна вместе со всеми другими я отправился на обед к Чихачеву. Обед был хороший. Все привезено из Ставрополя. Кто играл в карты, тот сел за зеленый столик. А я с Горбоконом, не пившие и не игравшие, сейчас же после обеда отправились домой, где за стаканом сладкого чая провели весь вечер».

«Горбоконт ночевал у меня».

Из этой записи опять-таки явствует, что дедушка мой не пил и не играл; среди кавказских офицеров это было большой редкостью.

«В начале марта 1859 года, будучи уже ротным командиром, поехал я вместе с другими офицерами на блины к Чихачеву. Ехали целой компанией, человек двенадцать. Горбоконя не было, он в этот день дежурил по батальону. Обед начался в 12 часов, и через два часа встали из-за стола. Кто были любителями выпить или играть в карты, те, как водится, остались, а несколько человек нас — не пьющих и не игравших — ушли».

«Распорядившись, я оседлал своего верного Султана и поехал домой, то есть в станицу Исправную. Погода хотя и холодная, но приятная. Надыхавшись за обедом у Чихачева блинного чада, табачного дыма трубок и папирос, я с наслаждением летел во весь опор, слыша, как подковы щелкают по кремнистой дороге, изредка высекая искры. Доехав до первой переправы и оглядевшись кругом, я приготовил свои пистолеты: луч холодного солнца скользнул по вороненой стали граненых стволов. Переправившись вброд через речку, я поехал рысью под горою, за которой были аулы горцев, так называемых «мирных». Но не дай бог попасться этим «мирным» в одиночку».

«Слыша крик, шум в аулах, я пришпорил Султана еще крепче и понесся во весь опор, сжимая в руке пистолет со взведенным курком. Подъ-

ехав на версту к Каменному Мосту, я попридержал Султана, перевел его на шаг, давая немного отдохнуть после скачки, а затем снова пустил во весь опор; и за мною во весь опор неслась по небу ущербная луна. К вечеру был уже дома, хотя и порядочно приморил коня. Более часу пришлось его потом вываживать».

«...много всяких случайностей, но всего за 40 лет не припомнишь...»

«...2-й и 3-й батальоны выступили первый на постройку новой станции Большой Зеленчукской, а второй для постройку другой станции, служащей как бы охранением нашей Сторожевой».

«Переселенцы (тоже с Дону) прибыли одновременно с батальоном и начали постройку. Были при этом разные перестрелки. Самая большая случилась 24 числа, когда зеленчукская сотня делала утренний объезд. На нее напало более 600 горцев. Сотня, отстреливаясь, отошла к станции, где ее поддержал батальон».

По-видимому, предполагаю я, это было одно из последних боевых действий организованных горцев, так как примерно около этого времени, а именно 13 (1) апреля, наши войска заняли резиденцию вождя горских племен знаменитого Шамиля аул Ведено, из которого Шамиль бежал в свое последнее пристанище высокогорный аул Гуниб, где 25 августа по старому стилю и был взят в плен.

«В начале июля прибыл к нам новый командир полка Петр Васильевич Шафиров из Брестского полка: маленький, толстенький, неженатый. Вслед затем был получен официальный приказ по армии об отчислении Чихачева. Началась сдача полка».

«Забыл сказать, что немного ранее этого получилось распоряжение продать вещи и имущество умершего капитана Завадского. Аукцион устроен был на дворе Надеждинского. Я купил тарантас покойного капитана и некоторую сбрую. Свою же кибитку, о которой упоминал раньше, я продал. Тарантас оказался совершенно исправным. Я поставил его вместе с полковым обозом...»

Заканчивалась мучительно долгая, кровавая война по завоеванию Кавказа, а молодой поручик, мой дедушка, наряду со своими служебными ротными делами не забывал обзаводиться собственным хозяйством, как бы предчувствуя близкий конец холостой жизни, хотя знакомство с будущей супругой еще скрывалось в туманном будущем.

А тем временем полковая жизнь, как любил часто упоминать дедушка, «шла своим порядком».

«Получился приказ о переводе князя Руснева и Чивилева в войска города Тифлиса, куда они оба после прощального обеда и отправились».

«С 600 выбранных солдат в кавказскую армию послан был мой друг поручик Горбоконь, о котором мне еще придется много раз упоминать. Перед самым своим уходом Горбоконь продал мне своего бурого коня. Таким образом, у меня было уже два коня и тарантас».

Знал ли дедушка, что когда-то в отдаленном будущем его внук, маленький мальчик с круглым японским личиком и жесткими черными, коротко остриженными волосами, будет запрягать в опрокинутый стул своих игрушечных лошадок Лимончика и Кудлатку, как бы повторяя небольшой эпизод из жизни своего деда?

«Стал приучать бурого ходить на пристяжке».

«Время шло, а с ним приготовления к выступлению. Ждали только прихода резервного кавказского батальона. Сходил я с колонною на каменностное укрепление, где получил крупу и муку для десятидневного запаса. По приходе назад наши роты стали печь сухари, старую крупу расходовать, а новую сохранять на поход. 12 июля в сильный

дождь пришли резервные. 23-го производилась сдача им наших позиций. 24 июля в 12 часов мы выступили на Каменный Мост».

«До выхода произошло продажа некоторого имущества Чихачева. Я купил его старого толстого верхового коня и шлею — за 10 рублей, теперь у меня были тройка и тарантас!»

«Ехать можно!» — в восторге восклицает дедушка, коего мечта о собственной тройке наконец осуществилась.

«Батальон шел впереди, а мы, штабные, ехали позади. (Дедушка на своей тройке!) Переход был небольшой, всего 10 верст. Дело шло к вечеру. Луна освещала дорогу. На Каменном Мосту ночевали. Батальон впереди выставил цепь, а мы с экипажами стали под стенами укрепления. Ночь прошла тихо. Луна сияла. Утро наступило ясное. В 8 часов пошли далее. На Каменном Мосту к нам присоединился 2-й батальон. В станице Кардафской присоединился также и 3-й батальон. Отсюда мы пошли целым полком. Шли с осторожностью, выставив сторожевое охранение, до Прочного Окопа, где, перейдя реку Кубань, сдали все оружие и далее шли с палочками».

«За несколько станций от Прочного Окопа наш полк догнал Горбоконь, вернувшийся из командировки. Шафиров, я, Войнов и еще некоторые другие офицеры гуляли по селу, наслаждаясь предвечерней прохладой и любуясь далекими горами с их снежными вершинами, как вдруг явился Горбоконь. Отрапортовав Шафирову о своем благополучном прибытии, он присоединился к нам. Мы все шли позади Шафирова, и наши тени длинно тянулись наискось деревенской улицы. Горбоконь и Войнов шли рядом, то громко смеясь, то перешептываясь. Шафиров несколько раз оглядывался на них, но они продолжали. На квартиру Шафирова я вошел один. И тут Шафиров начал высказывать свое неудовольствие на Горбоконя. Любя Горбоконя и зная, что Шафиров хотя человек и добрый, но мстительный, я призвал на помощь все свое красноречие и, клянясь и божась, стал выгораживать Горбоконя. Я выставил Шафирову на вид молодость Горбоконя, его природную живость. Я говорил, что, может быть, Горбоконь, после долгой разлуки свидевшись с приятелем, забыл по молодости лет о присутствии старших и позволил себе увлечься слишком громким и веселым разговором, что это, конечно, с его стороны неуместная ошибка, бестактность, о чем я Горбоконю непременно скажу; но ничего в этом не было для Шафирова оскорбительного, клянусь честью!»

«Я говорил долго и очень горячо».

«Шафиров успокоился и простился со мной дружески, сказав на прощание:

— Скажите Горбоконю, чтобы в другой раз он был осторожнее».

«Возвратившись домой, я застал у себя Горбоконя и передал ему о нашем разговоре с Шафировым. Горбоконь был крайне удивлен и сказал, что, увидевшись с Шафировым, извинится за невольную сделанную опрометчивость, что смеялись они с Войновым за спиной у Шафирова, может быть, и громко, но невольно, и смех их не имел общего с предположением Шафирова, что они смеялись на его счет».

Из этой заметки можно составить себе представление о той атмосфере мелочного самолюбия и вздорных понятий об офицерском приличии, которая царила в тогдашней армии.

Впрочем —

«Все пошло своим чередом: движение, ночевки, дневки — все дальше и дальше от Кавказа. Уже давно скрылись из глаз их снежные вершины, их ущелья, полные опасностей. Прошли Аксай, подошли к Мариуполю».

«Город приморский на берегу Азовского моря, здания каменные. По всему видно, что среди жителей процветает коммерция. Жители в большинстве греки и евреи. Тепло. Погода пока хорошая. За Мариуполем в одном селе нас встретил командир 5-го корпуса генерал-адъютант Безак. На следующий день он назначил смотр обоза и лошадей».

«Я распорядился всю свою тройку, лошадей других офицеров, а также лошадей раненых вести запряженными в обозные повозки. Несмотря на то, что многие лошади, в том числе и командирские, по закону могли содержаться и содержались «на траве» (то есть на своем, а не на казенном довольствии), все же следовало представить на смотр всех лошадей без исключения, ибо командир получал деньги на содержание их всех».

Видимо, по обычаю, командир присваивал себе деньги, получаемые на корм лошадей. Дедушка же ловко помог показать на смотре всех лошадей по «общему счету» — тонкость того времени, которая, по-видимому, не считалась злоупотреблением и на которую обычно начальство смотрело сквозь пальцы.

«Тройку своих лошадей я пустил в первых упряжках, как довольно видных и светлых».

Опять какая-то хитрость, мне непонятная.

«Смотр прошел хорошо. Все шито-крыто. Шафиров поблагодарил меня».

«Прошли Ростов-на-Дону. Город большой, но мы его почти не видели, так как стоянка была далеко, а мне еще необходимо было побывать на почте — на противоположной стороне. Пришел я на почту и получил по переводу деньги. Почтмейстер, молодой человек, как видно, не любил военных. Он был по приемам своим очень нелюбезен. Но мне от этого ничего. Я получил деньги — и всему конец!»

Дедушке было глубоко наплевать на неучливого почтмейстера, не жаловавшего военных. Но неприятный осадок остался; вечная вражда между военными и штатскими. Видимо, «кавказские офицеры» снискали себе не слишком хорошую славу.

«В то время за городом была ярмарка. Устроена довольно хорошо, хотя по большей части в холщовых бараках-балаганах. Сходил я на ярмарку, купил что надо...»

А что надо — неизвестно. Ром? Кремни для пистолетов? Мыло? Бумагу? Чернила? Бритву? Ваксу для сапог? Кто его знает.

«Домой возвратился к обеду. А квартиру мне отвели в центре города, у богатого купца-грека, разговорчивого старика, который меня радушно угостил отличным обедом, состоящим из очень вкусных греческих блюд. Мы с ним разговаривали допоздна и...»

«Время шло незаметно».

Почему-то дедушке очень нравилось, когда время шло незаметно, и он всегда отмечал этот факт в своих записках.

«...переночевав, пошли дальше... Началась Таврическая губерния, в которой назначена была наша стоянка».

«Дальше поход уже надоед, желалось скорее стать на постоянное место, какое бы оно ни было».

«22 сентября в 4 часа дня пришли наконец в свою Большую Знаменку. Здесь был назначен штаб полка и дежурная рота. Прочие роты пошли расходиться по Мелитопольскому уезду. В Мелитополе стал штаб дивизии. Военские части стояли на своем продовольствии — не больше одной роты в селе. Вскоре по прибытии в Б. Знаменку последовало при-

казание продать 125 подъемных лошадей, а людей, прослуживших до 6 лет, уволить: кого в отставку, кого в бессрочный отпуск».

«Теперь стало ясно, что война кончилась и начинается мирное время».

В этой фразе, несмотря на то, что в ней содержится как бы нечто радостное оттого, что начинается «мирное время» и все бедствия и ужасы миновавшей войны окончились навсегда, вместе с тем чувствуется скрытая горечь, как это ни странно, свойственная почти всем военным, переходящим после длительной тяжелой войны на безопасную, мирную жизнь.

Я сам испытал это двойственное чувство радости и горечи поздней осенью 1917 года, когда демобилизовался из армии и явился за получением денег и документов в штаб полка, разместившийся в пустой даче на краю Одессы. Румынский фронт докатился до Одессы! Меня больно поразили беспорядок, царивший в канцелярии, где вместо столов писаря устроили свои «ундервуды» на досках, положенных на ящики. Все произошло быстро и как-то унижительно небрежно. Я расписался в ведомости, получил деньги, следуемые мне вперед за два месяца и за ранение, послужной список, где я уже именовался не прапорщиком, а подпоручиком и где находилась выдержка из приказа о награждении меня орденом святой Анны 4-й степени «за храбрость». Теперь я был свободен и мне не угрожала ежеминутная смерть. Я вышел из канцелярии и отправился по мокрой дороге в город, со всех сторон окруженный туманом, сквозь который слабо чернели голые, облетевшие деревья. Мои руки стыли в лайковых офицерских перчатках, полученных мною совсем недавно, при производстве в офицеры. Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее мне было грустно. Я нанял извозчика и поехал в город, где долго сидел в кафе за чашкой кофе, а потом на углу Дерибасовской и Екатерининской, возле дома Вагнера купил громадный букет гвоздик, сырых от тумана, и отправил его с посыльным в красной шапке к Ирэн. Потом я стал как безумный тратить свои последние военные деньги, и весь этот туманный, холодный октябрьский день остался в моей памяти как страшная смесь радости и грусти, восторга свободы и унижения от демобилизации и горечи военного поражения.

Даже любовь меня не радовала.

«Командир нашего полка, — пишет дедушка, — занял квартиру бывшего командира Минского полка, выступившего в Феодосию, а я занял недалеко квартирку в одну комнату. Стал устраиваться уже не по-походному, а прочно, с расчетом на долгое пребывание в этом уютном местечке, где судьбою суждено было мне найти свое счастье».

«Вскоре в Никополе была объявлена ярмарка, куда я отправился, чтобы продать свою тройку и тарантас. Никополь от нас в семнадцати верстах. Переправившись через реку на шаланде, куда поместилась моя тройка с тарантасом, я с Иваном приехали на ярмарку, остановились прямо на поле под открытым небом, распрягли лошадей и привязали их к тарантасу, в котором было сено. Часа через два явился какой-то помещик и сразу же, не торгуясь, купил мою тройку с тарантасом, упряжью и седлом за сто рублей. Получив деньги, я с Иваном примостились на воз к какому-то мужику из Знаменки и ночью поехали домой».

Ночь была теплая, осенняя, пахло сухим сеном, южнорусское небо чернело над степью, все осыпанное мелкими, еще почти летними звездами, над древними скифскими курганами, где, быть может, лежали кости

наших отдаленных предков, над кустами чертополоха, или, как его здесь называли, будяка, вдоль пыльного шляха... Хрустальный хор поздних еверчков стоял вокруг от неба до земли, где далеко на горизонте, то приближаясь, то отдаваясь, горел красный пастуший костер. Иногда по светло-серому мерцающему небу среди родных созвездий пролетал метеор, и, пока он катился, дедушка загадывал свое самое сокровенное желание. Но чего он желал? Я этого не знаю и никогда не узнаю, потому что дедушка ничего об этом в своей тетрадке не написал. Рядом с дедушкой на возу сидел, сгорбившись, его верный друг денщик Иван и курил свою трубку-носогрейку, которая часто гасла, и тогда Иван принимался рубить огонь, высекать искры и раздувать тлеющий трут, и его трубочка опять начинала рдеть в темноте этой степной таврической ночи, и в теплом воздухе распространялся сытный запах махорочки, такой привычный, такой военный, такой солдатский...

Вокруг все было мирно. Ехать было безопасно. Кавказ с его тревожными ночами и набегами горцев лежал где-то далеко-далеко и казался уже смутным воспоминанием. Да и там уже война, очевидно, кончилась.

Дедушка чувствовал себя на пороге какой-то новой, счастливой жизни, и когда проезжали мимо заброшенного, почерневшего от времени ветряка, возле которого лежал старый, стершийся жернов, обросший вокруг серебристой душистой полынью, то дедушка уже не испытывал привычного страха и не вынимал из бокового кармана сюртука свой дорожный пистолет...

«Начало мирной гарнизонной жизни ознаменовалось тем, что началась продажа полковых лошадей. Лошади шли за бесценок: два, три и пять рублей. Командир полка из своих фуражных добавил три рубля».

(Для чего это делалось, не понимаю. Дедушка ничего не объясняет. Я думаю, что тут опять была какая-то финансовая тонкость...)

«Становой пристав, приглашенный мною на аукцион, устроил все формальности. Лошади были быстро распроданы. За хорошую продажу Шафиров получил благодарность от высшего начальства. Становой же за успешное содействие продаже получил в подарок тройку лучших лошадей, за которых Шафиров внес свои деньги».

Как я понимаю, никто не остался в накладе, и дедушка тоже. Это была как бы награда за все лишения и бедствия военной жизни.

«Кончилась распродажа лошадей, началось увольнение людей. Переписки стало масса. Но мы, офицерская молодежь, все превозмогли. По елучаю перевода полка на мирный состав была тьма самых различных запросов и требований, которые нужно было исполнить. Я исполнял их дома за стаканом крепкого чая, засиживаясь нередко далеко за полночь».

«Возьмешь, бывало, лист бумаги, перо и не знаешь, что писать. Но едва напишется первая какая-нибудь буква, как мысль мгновенно мелькнет — и пошла писать губерния, едва успевает рука. Через час-два бумага готова».

«Вначале я, бывало, посылаю написанное Шафирову. Он прочтает, просмотрит и возвращает с надписью карандашом «хорошо». Получив бумагу с такой надписью, я откладывал ее в особую папку, с тем чтобы утром ее переписал начисто писарь. В 12 часов я нес эту бумагу (и все остальные бумаги) на подпись».

Значит, к этому времени дедушка уже был переведен в штаб полка, а может быть, и дивизии. Кем он только не был в армии: и младшим офицером, и командиром роты, и хлебопеком, и квартирмейстером, и водил команды на рубку леса, и жег «скоропалительными трубками» гор-

ские аулы, и объезжал диких лошадей — кавказский офицер, на все руки мастер! Настоящий, кадровый!

«К Рождеству получил я командировку в Одессу отвезти 30 тысяч рублей в банк. Со мною поехал юнкер Горбоконь 2-й и унтер-офицер 1-й роты. Сперва я поехал в Мелитополь, где начальник дивизии Вагнер давал мне поручений к своей дочери. Собрав все посылки, в том числе — хорошо помню — 2 фунта табаку, я с Горбоконом 2-м поехали. За станцию до Херсона нас сильно вымочил дождь. Часа в два ночи приехали, но при сносе вещей у меня похитили табак Вагнера. Утром вставши, я начал осматривать вещи, но табаку, к сожалению, не оказалось. Сильно раздраженный, я дал Горбоконю 4 рубля и послал в город купить табак и заплатить за посылку. Сделав все это, я сдал табак по принадлежности. Вернувшись и хорошенько пообедав, отправились мы в дальнейший путь на Николаев, куда приехали на лошадях к вечеру, но, не останавливаясь, тут же отправились дальше в Одессу».

Представляю себе неустойчивую новороссийскую предрождественскую погоду в степи, недалеко от Черного моря: в Херсоне дождь, а между Херсоном и Николаевом уже, быть может, мокрый снег, морской ветер, временами туман, ночью мороз, так что телеграфные провода вдоль шоссе превратились в стеклянные палки и тяжело провисли между белыми фаянсовыми баночками изоляторов. А потом, быть может, снова потянуло влажным черноморским ветром и с обледеневших проводов посыпались капли воды.

В общем, погода скорее неприятная, чем приятная. Дедушка время от времени ощупывал свою грудь, где была спрятана сумка с тридцатью тысячами казенных денег. Он переживал прилив того особенного чувства возвращения в родные места, откуда несколько лет тому назад выехал на войну мальчишкой-вольноопределяющимся, а теперь возвращался кадровым офицером, героем Кавказа, навсегда уже выбравшим свой жизненный путь.

В противоположность дедушке я, демобилизовавшись из армии в конце 1917 года, испытывал совсем другое чувство — тревоги, беспокойства, неизвестности: что меня ждет впереди? В то время, когда в Петрограде и Москве совершилась Великая Октябрьская революция, но советская власть до нас еще не дошла, я чувствовал себя освобожденным от воинской присяги, не знал, не представлял, как я буду жить в дальнейшем, — недоучившийся гимназист, без профессии, без твердых представлений о гражданском долге. Единственно что наполняло мою душу, это была поэзия. В эти смутные революционные дни я был влюблен и ни о чем другом не думал, как только о любви к «ней». Теперь я понимаю, как это было странно и глупо. Как раз в ту ночь, когда в Петрограде восставший народ при звуке выстрела шестидюймового орудия с крейсера «Аврора», при свете скрещенных прожекторов ринулся на штурм Зимнего дворца — последней опоры старого мира, ничего этого не зная, я сидел в своей комнате в облаках табачного дыма и писал три сонета о любви: «Душа полна, как звучный водоем, как парус, вздутый ласковым порывом, как облако над солнечным заливом, как майский сад, цветущий под дождем...» — и т. д.

Нет, я совсем не был похож на дедушку.

Рядом с дедушкой сидел, нетерпеливо поводя плечами, молодой юнкер Горбоконь в подвернутом башлыке, наполовину прикрывавшем малиновые от крепкого степного ветра нежные юношеские уши. А на козлах рядом с почтовым ящиком боком сидел серьезный немолодой унтер-офицер в брезентовом кожане, держа руку на расстегнутой кобуре,

где находился большой револьвер с оранжевым шнуром, надетым на шею унтер-офицера: все-таки везли немалые казенные деньги; шутка ли сказать — тридцать тысяч!

Приближаясь к Одессе, где дедушка учился в гимназии, где жили его братья, где все напоминало ему годы юности, мысль дедушка устремилась еще дальше — в Бессарабию, на берег реки Прут, в Скуляны, где возле древней церкви на кладбище была могила его отца, отставного капитана Нейшлотского полка, сражавшегося с турками в дельте Дуная, в Добрудже, на подступах к Цареграду... Дедушке представлялись виноградники, сады, ветряные мельницы в степи, просторный богатый помещичий дом, где он родился. Он знал, что после смерти отца их родовое гнездо было продано. Все распалось, разрушилось... Осталась лишь таинственная связь между ним, моим дедушкой, и его предками, и его будущими потомками, историческая судьба которых заключалась в боевом служении России, в укреплении ее черноморских границ, той громадной полосы родной земли, которая начиналась с буджакских степей, тянулась на восток через Новороссийский край, через Крым, через донские и кубанские земли, через Закавказье, через Дагестан, Грузию, Мингрелию, Абхазию, Армению вплоть до турецкой границы, мимо снежных шапок Арарата...

Телеграфные и верстовые столбы пробегали назад, все назад, мимо почтовой кибитки. Вокруг была мутная пустынная степь. И лишь недалеко от Одессы, возле Дофиновки, дорога подошла к обрывам, и перед глазами открылся простор зимнего моря, катившего свою тяжелую мертвую зыбь на песчаный берег, где белели сугробы тающего снега, похожие на белых медведей, улегшихся возле мутно-зеленой воды взбаламученно Черного моря с густым пароходным дымом на горизонте.

«Перед вечером, миновав Жевахову гору, лиманы и Пересыпь, мы въехали в город, уже освещенный огнями фонарей. Под копытами лошадей зашелкала, рассыпая искры, новая гранитная мостовая. Юнкер Горбоконь 2-й почти на ходу высадился на Софиевской улице и, взяв извозчика, отправился домой, я же поехал к брату Александру на угол Почтовой и Ришельевской, двух великолепных, прямых, как струна, центральных улиц, — в дом Видмана... В квартире брата я застал одну лишь прислугу Елизавету, бывшую нашу крепостную из Скулян, а теперь вольную».

Сердце дедушки больно сжалось.

Сначала они не узнали друг друга. Она не узнала маленького Ваню в этом офицере с золотистыми бачками, с кавказской шашкой, в мокрой бурке, который молодым простуженным голосом спросил:

— Александр Елисеевич дома?

Но когда он скинул бурку и снял шинель и папаху, вытер платком желтоватое удлиненное лицо с голубыми глазами, она вдруг поняла, что перед ней младший сын ее бывших господ, тот самый мальчик Ваня, который, бывало, приходил к ней в людскую кухню, где она исполняла должность кухарки, и она жарила ему в духовке кукурузные зерна, вдруг с треском лопавшиеся, превращаясь в рыхлые белые цветочки вроде маленьких клубероз, — любимое лакомство всех скулянских детей, да и взрослых тоже. Она любила этого барчонка в красной рубашечке и сушила для него на подоконнике маленькие полосатые тыквочки, называвшиеся таракуцками, испорченным молдавским словом «эртэкуцэ», служившие игрушками, чем-то вроде музыкальных инструментов, издававших при встряхивании удивительный шорох своих высушенных семечек.

Теперь Елизавете было странно видеть Ваню взрослым офицером. Она стояла перед ним — пожилая женщина с цыганскими глазами, в тесной ситцевой кофте, в переднике, в козловых башмаках с ушками, с серебряным печатным киевским колечком на опухшем пальце — такая чужая и вместе с тем такая домашняя, живая свидетельница их бывшего богатства и нынешнего разорения. Дедушке нужно было сделать умственное напряжение, чтобы наконец постичь, кто она такая. Может быть, он бы так ее и не узнал, если бы не тот особый кухонный запах вытертых мочалкой жирных кастрюль, который запомнился ему с детства и был связан с ее именем, так же как и с музыкальным шорохом высушенных таракуцек.

— Панычик! Це ж вы! — сказала она, склонив черно-седую голову набок, и вдруг из ее карих глаз покатались слезы.

— Лизавета! — воскликнул дедушка. — Вот так встреча!

Он вдруг сразу припомнил свое навсегда миновавшее детство и услышал звук лопавшихся в духовке кукурузных зерен.

Бывшая их крепостная, а теперь вольная кухарка Елизавета стояла перед ним в солидно обставленной передней его старшего брата, теперешнего главы их семьи.

Она стояла перед ним как конец прошлой дворянско-помещичьей жизни и начала новой, еще не вполне понятной жизни, в которую вступал дедушка.

«Расположился, — пишет он, — у брата в гостиной на диване. Брат пришел со службы поздно. Напились чаю, поговорили и легли спать».

Скупое, даже как-то не по-родственному неизменно упоминает дедушка о своем старшем брате Александре. О чем они говорят перед сном? Неизвестно. Вероятно, о каких-нибудь пустяках. «О том о сем», по шутливому выражению дедушки. А ведь они давно не виделись, и за это время произошло много событий: умер в Скулянах от холеры отец, сестра Елизавета, уехавшая в Петербург и, как дочь участника Отечественной войны двенадцатого года, принятая в привилегированное учебное заведение, окончила его и вышла замуж; умер брат Яков; после Крымской войны скулянское имение оказалось проданным и мать дедушки Марья Ивановна принуждена была бросить насиженное гнездо и уехать. Где-то в Бессарабии осталась старшая сестра Анастасия, жена того самого Ковалева, который, как мы уже знаем, отвозил дедушку из Скулян в Одессу поступать в гимназию.

Почему-то мне кажется, что братья Александр и Иван не слишком любили друг друга, быть может, при разделе наследства старший брат обидел младшего, да и разница в годах была довольно велика для того, чтобы они могли стать близкими друзьями: Александр был уже настоящим, солидный мужчина средних лет, с бакенбардами, в вицмундире, занимавший в банке довольно видное положение. Дедушка же в его глазах представлялся необстоятельным мальчишкой, который, вместо того чтобы делать себе карьеру на поприще гражданской службы, ни с того ни с сего прямо с гимназической скамьи отправился добровольцем на войну на Кавказ и хотя уже дослужился до поручика, но какие же у него могли быть перспективы? На всю жизнь остаться армейским пехотным офицером, и тянуть лямку, переезжая из одного гарнизона в другой, и получать ничтожное жалованье, только и всего. Александр с высоты своего солидного служебного положения, имея уже известный вес в местных биржевых кругах, неодобрительно смотрел на своего меньшого брата, который, скинув обмундирование и оружие и поставив грязные сапоги возле дивана, спал крепко, но тяжело, иногда вскрикивая во сне...

«На другой день, 24 декабря, в сочельник, пошел в город и купил что нужно».

Но что ему было нужно? По своему обыкновению, не пишет.

«Вернулся, пообедал и вечером пошел в гости к зятю Горбоконя майору Верстовскому на кутью; так как уже был вечер, то, едва поздоровавшись, сейчас же сели за стол».

Немного подморозило, небо очистилось, стало прозрачно-зеленоватым, и над черными силуэтами голых акаций, над черепичными крышами, над чердаками показалась первая звездочка как знак того, что уже можно садиться за стол с голодной кутьей. Кутья только так называлась — голодная, а на самом деле на чистой льняной скатерти, разостланной поверх пахучей соломы, что должно было напоминать о яслях, в которых родился малютка-спаситель, были расставлены тарелки, блюда и поливные миски со множеством всякого рода постных кушаний, специально приготовленных для сочельника: жаренные на подсолнечном масле пирожки с сильно наперченной гороховой начинкой или кислой капустой с поджаренным луком, заливной судак, от одного взгляда на которого охватывала морозная дрожь, вареники с картошкой, пончики с вареньем, варенуха в графинах, та самая варенуха, о которой волшебник Гоголь сказал, что это «варенуха с вытребеньками»...

Но самое главное — на этом столе были две глубокие миски, одна с пшеничной кутьей, другая с взваром, слова, которые в наших краях всегда произносились вместе, неотделимо друг от друга, как пара волов в одном ярме, — «кутья и взвар».

Взвар был не что иное, как компот, сваренный из сушеных яблок, сморщенных, как старухи, черных сушеных груш, вишен, изюма, а кутья не имела ничего общего с той кладбищенской кутьей — рисовой кашей, посыпанной сахарной пудрой, — без которой не обходятся ни одни православные похороны. Рождественская кутья, распространенная у нас на юге, представляла из себя варенные на меду пшеничные зерна, перемешанные с мелко нарубленными грецкими орехами (называвшимися, кстати, во времена моего дедушки волошскими) и залитые сладким соком растертого до молочной белизны мака. От кутьи невозможно было оторваться, и добрая хозяйка обычно щедро добавляла суповой ложкой эту божественную еду в глубокие блюдечки своих гостей.

Луч первой звезды — «вифлеемской» — дрожал в окне, наполняя сердце каким-то особым, рождественским холодом, составляя как бы одно неизъяснимо великолепное целое с кутьей, взваром, заливным судаком и прочими блюдами, расположенными на льняной скатерти поверх свежей душистой соломы

Сидя за этим праздничным ужином, дедушка чувствовал себя умиротворенно, радостно, и давно забытый холодок детства пробежал по его телу.

«Хозяева оба очень милые, разговорчивые, расспрашивали о Кавказе, о тамошней жизни, климате, природе».

И, надо думать, дедушка — в парадном сюртуке и ярко начищенных парадных сапожках, — слегка облокотившись на спинку стула и позванивая под длинной скатертью шпорой, охотно делился своими наблюдениями о Кавказе, о жизни на позициях, о стычках с горцами, о рубке леса, о набегах и о многом другом, о чем примерно в то же время и даже иногда теми же словами писал Лев Толстой, а прежде него — Лермонтов и Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», что как-то странно и сладко сближало моего скромного, ничем не замечательного дедушку с обоими великими писателями.

«Вечер прошел незаметно, — с удовлетворением отмечает дедушка по своей привычной любви к времени, когда «оно проходит незаметно». — В 10 часов я, протрившись, пошел домой».

Когда он шел по празднично опустевшей Одессе, по гулким тротуарам, вымощенным плитками итальянской вулканической лавы, в рождественском небе уже мерцали мириады звезд, и среди них, быть может, скользил, как на коньках с горки, гоголевский черт, без которого не могло обойтись ни одно рождество.

И ночь была торжественна.

«Брат еще не возвращался из биржевой залы, открытой несмотря на сочельник, а когда пришел, то я уже спал. На другой день — первый день Рождества — я пошел в церковь».

В этот день 25 декабря праздновалась годовщина изгнания Наполеона с его «двунадесятью языками» и после литургии служился торжественный молебен. Морозное солнце било в узкие окошки под куполом, и в церкви Афонского монастыря, полной молящихся, лилово курились полосы солнечного света, и дедушка, любитель хорошего церковного пения, наслаждался звуками стройного и строгого монашеского хора, чувствуя себя причастным к русской воинской славе, к победе над врагами — отчасти потому, что сам был боевым офицером, а отчасти потому, что его отец (а стало быть, мой прадед) капитан Елисей Бачей был участником войны достопамятного Двенадцатого года.

«Отстояв литургию и молебен с водосвятием, с каплями святой воды на бровях, отобедав дома с братом, я пошел бродить по городу...»

Здесь все было связано с его гимназическими годами, с его юностью. Он с волнением узнавал все достопримечательности Одессы: белую колоннаду Воронцовского дворца, как бы повисшую над голубой пропастью порта, памятник дюку де Ришелье с изящной головкой, похожей на вилок цветной капусты, и рукой, протянутой к Стамбулу, городскую Думу со статуей слепой Фемиды, белый маяк при входе в порт, уже отстроенный после бомбардировки во время севастопольской кампании.

Прибавилось кое-что новое.

В цоколь памятника дюку было вделано ядро — память о бомбардировке города англичанами, — а против Думы стояла, повернутая к морю, чугунная пушка, снятая с потопленного против Малого Фонтана английского фрегата «Тигр» — событие, происшедшее во время, когда дедушки в Одессе не было.

Появился на соборной площади памятник Воронцову — узкое властное лицо и застегнутый на все пуговицы сюртук.

«Полумилорд, полукупец» и т. д.

Город явно менял свое лицо.

Несмотря на свою сравнительную молодость — деду в ту пору едва исполнилось двадцать пять лет, — он ощущал легкую горечь от сознания хотя и медленно, но все же уходящей жизни.

«Так прошло три дня, в которые я бывал у Верстовских, пил чай и проводил вечера. На четвертый день отправился в банк, внес полковые деньги — 30 тысяч рублей, — получил свидетельство об этом, почувствовал облегчение и на пятый день выехал на почтовых из Одессы. Дорога была уже другая, не на Мелитополь, а прямо на Никополь, что оказалось заметно ближе. Переправившись по уже хрупкому льду через Днепр, часа через два был уже дома. Явился к командиру, отдал ему свидетельство, напился чаю и пошел к себе на квартиру».

«Дело пошло по-старому: днем в канцелярию, а вечером дома».

Легко разделался дедушка с грустными воспоминаниями юности, легко переступил порог зрелости, легко забыл войну.

Можно ему только позавидовать. Мне все это далось гораздо тяжелее. Впрочем, и время было не то. Вокруг меня бушевала революционная буря, по городу разъезжали броневики, заставляя содрогаться памятники и колоннады, по ночам в разных частях города слышалась редкая винтовочная стрельба, по улицам проходили матросские патрули с восставших кораблей «Синоп» и «Алмаз»... В их руках отливали синевой вороненой стали маузеры. Холодная предрассветная луна освещала мертвые дома. А я один в своей маленькой комнате — не то отставной офицер, не то дезертир, ероша волосы, писал, обливаясь слезами:

«Вверху молчали лунные сады, внизу прибой считал песок, как четки. Всю эту ночь у дремлющей воды я присидел на киле старой лодки. И ныло от тоски все существо мое, тоска была тяжелее черной глыбы. И если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы...»

...В этом было отличие меня от дедушки...

«Командир полка Шафиров хотя и холостой, но любил устраивать у себя танцевальные вечера, что, впрочем, более приличествовало командиру полка не холостому, но женатому».

Танцевали под фортепиано, при стеариновых свечах. Надо признаться, дедушка не без удовольствия предавался этому невинному развлечению, вполне заменявшему для него занятие поэзией, тем более что на танцевальных вечерах у Шафирова бывали не только полковые дамы, но также местные знаменские девицы, среди которых попадались довольно хорошенькие, особенно прелестные при вечернем освещении, делающем их южно-провинциальные личики просто-таки фарфоровыми.

Воображаю, как дедушка в длинных военных брюках на штрипках, с красным кантом, в легких штиблетах, обхватив одной рукой в белой перчатке стройный девичий стан, а другую руку заложив за свою узкую сухопарую спину, обтянутую новым сюртуком с фалдами на шелковой подкладке, взбив над высоким лбом белокурый напомаженный кок, шеголевато выделявал па какой-нибудь чешской польки и лихо топал подошвами и каблуками во время кадрили.

Не следует забывать, что, будучи штабным офицером, он уже носил адъютантские аксельбанты, придававшие его фигуре некоторую служебную значительность.

Однако, несмотря на эти танцевальные вечера, стрела Амура ни разу не поразила дедушкино сердце настолько, чтобы ему могли угрожать «узы Гименея».

Все это было еще впереди.

«В январе пришлось съездить в Мелитополь по не совсем приятному поводу: дело в том, что из штаба дивизии совершенно неожиданно прислали начет на ротных командиров за довольствие рот в 1859 году. Никому и в голову не могло прийти, что может выплыть это дело, относящееся еще ко времени военных действий. Думали: что с возу упало, то пропало. Однако не тут-то было. Командиру полка и ротным было неприятно. Стали просить меня уладить это дело».

Можно заключить, что к тому времени за дедушкой уже каким-то образом закрепилась репутация канцелярского дипломата, опытного в различных запутанных, кляузных делах, неизбежных во всех воинских частях, имеющих свое хозяйство.

«Я возил с собою старшего писаря Лося, весьма сведущего в таких неясных делах, старшего унтер-офицера — и мы в большом полковом тарантасе отправились в Мелитополь. Правду сказать, я сам плохо представлял себе, как буду действовать».

«Проехав целую ночь, я к вечеру был на месте».

«Дело оказалось серьезное, тем более что дивизией командовал генерал Соболевский, человек разбитой и очень сердитый».

«Мой Лось, побывав в дивизионном штабе, разнюхал у своих знакомых писарей, в чем дело, и узнал, что все можно устроить, если прождать с неделю, пока не вернется Вагнер, поехавший в Херсон к дочери. Я сунул по совету Лося дивизионному писарю 25 рублей, и писарь познакомил меня с черновой бумагой, в которой было сказано: по встретившейся надобности возвратить книги дивизионному штабу. Прочитав эту секретную бумагу и найдя ее содержание весьма хорошим для того, чтобы замять дело, я поехал домой, куда прибыл благополучно».

В чем состояла миссия дедушки и о каких бумагах идет речь, не понимаю. Наверное, это была какая-то особенная канцелярская тонкость. Чувствую лишь, что дедушка ликовал.

«На другой день явился я к командиру полка и объяснил ему, в чем дело. Он был очень доволен моей командировкой и...»

На этом месте обрывается тетрадь без номера, а следующая тетрадь утрачена, так что приходится продолжать разбирать записки деда в тетради № 4 и тетради № 5, имеющих на обложке надпись:

«Мои воспоминания. И. Бачей».

«На Крещение 6 января 1860 года после парада поручик Гуров уговорил меня пойти с визитом к полковому адъютанту Иванову, семейному человеку, у которого — как я, кажется, уже упоминал раньше, — кроме жены, жила еще мать жены и младшая сестра, впоследствии... моя жена».

Вот тебе и раз! Неожиданно. Скорей по-кавалерийски, чем по-пехотному, и уж во всяком случае не по-штабному. И не вполне в духе дедушкиного уравновешенного характера. Но...

С этого места стиль дедушкиной прозы делается многозначительно-скупым. Пишущий как бы желает внушить читателю мысль, какие важные последствия могут повлечь за собой столь незначительные события, как, например, праздничный визит молодого офицера в семейный дом полкового адъютанта с такой ординарной фамилией, как Иванов.

«Придя к Ивановым, мы провели за обыкновенным, ничем не замечательным разговором час времени, а затем, простившись, ушли по домам».

Эту запись можно понять в том смысле, что дедушка как бы даже и вовсе не заметил присутствия в гостинной молодой девушки, сестры хозяйки дома мадам Ивановой.

Однако в самом умолчании о младшей сестре крылось многое.

«На масленой, — продолжает дедушка свои воспоминания все в том же лапидарном стиле, — мадам Иванова с сестрой и поручиком Евлашовым заехали за мной кататься на санях».

...большие полковые парные сани, покрытые кавказским ковром, с медвежьей полостью и слегка выпившим солдатом на облучке. Лошади остановились как вкопанные против дедушкиного крыльца, но крупные бубенчики на хомутах все никак не могли уgomониться, издавая волнующий музыкальный шорох.

Накинув бекешу, дедушка поспешно, дабы не задерживать дам, выходит на крыльцо.

Ветер валит с крыши облака снега, и сквозь пургу, жмурясь, дедушка видит башлык поручика Евлашова, перекрещенный на груди, и два женских розовых от мороза лица, наполовину закрытых муфтами: одно лицо мадам Ивановой, другое похожее на нее, но совсем молоденькое, почти детское личико ее младшей сестры.

Дедушка расшаркивается перед дамами, прося прощения за то, что замешкался, причем его маленькие штабные шпоры, прибитые к каблукам шевровых штиблетов, позванивают, а поручик Евлашов отстегивает медвежью полость и так неловко втаскивает дедушку за рукав в сани, что дедушка под общим смех валится прямо на дам, от которых пахнет теплыми меховыми муфтами, меховыми шапочками, повязанными поверх оренбургскими платками, источающими запах свежих брокаровских духов.

Дамы жмутся друг к дружке, и вскоре дедушка устраивается рядом с поручиком Евлашовым на переднем сиденье, лицом к лицу с одной из дам, которая оказывается младшей сестрой мадам Ивановой.

— Пошел! — кричит поручик Евлашов, изображая бесшабашного масленичного кутилу.

— Слушаюсь, ваше благородие! — молодецки подмигивая, отвечает солдат и, привстав на облучке, лупит концом синих гарусных вожжей «по всем по двум».

Лошади берут с места в карьер, валдайский колокольчик заливаются, бубенцы шуршат, вокруг степь, укрытая толстой пеленой пухлого южного снега, в лицо бьют вихри морозной пыли, забирающейся за воротники, ресницы у дам побелели, а щеки горят жарко...

Вон в стороне от дороги изо всей мочи скачет, оставляя за собой серые следы и прижав к спине уши, заяц-беляк в зимней шубке.

Из сугроба торчит куст засохшего прошлогоднего чертополоха, дрожа от налетов степного таврического ветра.

— Заяц — это к счастью! — кричит сквозь ветер мадам Иванова, прикрывая лицо муфтой.

Дедушка изо всех сил поджимает и отводит в сторону ноги, боясь коснуться коленями колен младшей сестры мадам Ивановой, у которой из-за муфты виднеется только один веселый глаз.

...они с гиком обгоняют попутные сани...

Потом чьи-то сани обгоняют их, как бы осыпав на лету звоном бубенцов и колокольчиков.

Горизонт мутен. Снежное небо и снежная степь слились воедино, но где-то высоко чувствуется спрятанное солнце. Ну и так далее.

Странно, но, может быть, именно здесь в облаках метели, среди этой таврической, новороссийской степи, под елочный шорох бубенцов и дилиньканье валдайского колокольчика в конечном итоге решался вопрос о моем бытии.

«Проездив час за селом по дороге в Малую Знаменку, возвратились назад, причем мадам Иванова выговаривала мне, что я их забыл. Я отговаривался неимением времени. Этому не поверили и пригласили ехать к ним пить чай. Волей-неволей пришлось согласиться. За чаем я больше молчал, прислушиваясь, как поручик Евлашов трунил с младшею сестрою».

«Сам же Иванов все время занимался бумагами, по-семейному разложив их рядом со стаканом чая в подстаканнике».

«После сытного ужина я простился и ушел».

Кажется, на этом все бы должно было кончиться и я мог бы не появиться в этом мире...

Ан нет!

«Через неделю был ротный праздник 3-й стрелковой роты, которую командовал капитан Попов. На этот праздник поехал я на казенных лошадях вместе с Ивановым. Все пили и ели очень много. Но Иванов и я очень мало. Вечером, когда поехали обратно, наш возница — фурштадт — оказался мертвецки пьян. Пришлось перетащить его в ящик повозки, сесть на козлы и править лошадьми самому».

«С этого вечера я стал чаще бывать у Ивановых».

Можно подумать, что в этом каким-то образом повинен мертвецки напившийся на ротном празднике фурштадт. Но нет.

«Меня, — пишет дедушка, — привлекала младшая сестра мадам Ивановой. Приходя к ним вечером, я вместе с молодой девушкой усаживались особняком, в уголку, играть в пикет».

«Однажды вечером, числа 10 марта, поручик Евлашов стал говорить о какой-то свадьбе. Младшая сестра мадам Ивановой, мадемуазель Мари, с которой я в это время по обыкновению играл в пикет, вдруг посмотрела на меня и спросила:

— Ну а вас, Иван Елисеевич, когда можно будет поздравить с законным браком?

— Нас вместе поздравят, — неожиданно для самого себя ответил я тихо, почти шепотом».

«Покраснев как маков цвет, девушка ничего не сказала. Но дальнейшая игра наша в пикет была уже комедией: мы не смотрели в карты, а бросали их наобум».

«Прошел вечер. Гости разошлись, и я вместе с ними. Придя домой, я лег в постель, но сон бежал моих глаз. Разные думы сменялись одна другой. Я никак не мог унять душевного возбуждения. Рассвет застал меня у окна, над которым снаружи висела бахрома сосулук, откуда то и дело срывались капли. В воздухе плыл великопостный звон к ранней заутрени. Наконец я уснул. В 8 часов я проснулся, умылся в сенях ледяной водой, оделся, напился чаю».

Дедушка никогда, даже в самые важные минуты своей жизни, не забывал сообщить, что он напился чаю.

«...я в 10 часов пошел в канцелярию и писал, писал, писал бумаги, сам не зная и не понимая, что пишу».

«В 11 часов я пошел в отделение адъютанта Иванова и сказал ему:

— Прошу вас на несколько слов».

«Придя в особую комнату, чтобы быть наедине, я передал ему, что невестка его Мария Егоровна произвела на меня сильное впечатление; одним словом, я ее полюбил и прошу его содействия в своей семье, чтобы я мог назвать мадемуазель Мари своею женою».

«Иванов расстался со мною, сказав, чтобы я надеялся».

«Все это так меня взволновало, что я отправился к командиру полка с докладом бумаг в белом жилете, что было совсем не по уставу. Командир полка, зная меня как исполнительного, аккуратного офицера, при виде моего белого жилета посмотрел на меня удивленными глазами и, указав пальцем на мой жилет, спросил, строго нахмурившись:

— Что это значит, поручик?»

«Опомнившись и извиняясь, я поспешно застегнулся, дабы скрыть жилет».

«Вечером я был у Ивановых, и, встретив меня в гостиной, старуха мать сказала мне, что Иванов передал ей мое предложение и со своей стороны она согласна, но надо спросить самое Мари. Позвав Мари, которая тут же вошла в гостиную и остановилась в дверях, старуха мать спросила ее, согласна ли она».

«Та изъявила согласие».

«Остальные члены семьи и гости тут же поздравили нас».

«Мы стали жених и невеста».

«В пикет мы больше уже не играли, а ходили рука об руку по комнате, разговаривая о будущем».

«На следующий день я послал в Полтаву своей матери и сестре письмо, прося их благословения, и скоро получил в ответ их полное согласие. Тогда с Подгурским, уезжавшим в командировку в Одессу, я написал письмо с тем же брату Александру. Через две недели Подгурский приехал и привез письмо от брата, который сильно меня отчитывал потому, что невеста бесприданница — ничего не имеет, — а на бедной жениться нельзя».

Тут влюбленный дедушка-идеалист, по-видимому, не на шутку вспылал; впрочем, отношения со старшим братом у него всегда были холодные: слишком разные они были люди.

«На это письмо послал я резкий ответ и вместе с тем попросил Шафирова быть у меня благословенным отцом».

«Свадьба была назначена в первое воскресенье после Пасхи, на так называемую Красную горку, когда обычно у нас на Руси играется большинство свадеб».

«На страстной я, взяв отпуск, поехал на почтовых со своим Иваном в Полтаву».

Становится кое-что более ясным в семейной хронике Бачей: сестра дедушки Лиза, та самая, с которой в детстве, в Скулянах, дедушка играл в таракуцки и лазил на горище, где хранились на зиму фрукты, — эта самая Лиза по окончании с шифром Смольного уехала в Полтаву, где поступила классной дамой в институт для благородных девиц; в нее влюбился губернский предводитель дворянства, богатый полтавский помещик, вдовец, Петр Ганько, женился на ней, и она сделалась хозяйкой одного из самых видных полтавских домов. Впрочем, она при этом не бросила службы и еще долго продолжала оставаться классной дамой в институте для благородных девиц.

Хотя Лиза была бесприданница — имение в Скулянах перешло в другие руки, — но ее брак с Ганько был вполне равный, так как отец Лизиною отца, а мой прапрадед Алексей Бачей происходил из дворян Полтавской губернии и даже, по преданию, был выходцем из старшины Запорожской Сечи, то есть мог считаться как бы из рода гетманов, о чем я уже, впрочем, здесь упоминал.

Елизавета Елисеевна, урожденная Бачей, а в замужестве Ганько, поселила у себя нежно любимую мать, которая после смерти мужа и разорения совсем растерялась, однако обратно на родину в Гамбург уехать не захотела, навсегда оставшись русской дворянкой, хотя правильно изъясняться по-русски так никогда до самой своей смерти и не научилась, большею частью говорила по-немецки и всюду возила с собой мейсенскую чашку, из которой пила кофе, по немецкому обычаю наливая в него из фарфорового кувшинчика величиной с наперсток несколько капель сливок.

О своем переезде на почтовых из Знаменки в Полтаву дедушка не распространяется, но я думаю, что это было полное очарования путешествие ранней весной, когда снег уже почти совсем сошел и на вербах засеребрились почки, похожие на заячьи хвостики, и на лозинах повисли сережки, сплошь покрытые желтой пылью странного своего цветения.

Казалось, сама природа готовится не только к празднику воскресения Христова, но также и к дедушкиной свадьбе, заставляя зеленеть пригорки и блестеть воды разлившихся рек и ручьев.

Наслаждаясь красотой ранней южной весны и предаваясь сладким мечтам о будущем семейном счастье, дедушка все время видел перед собой свою невесту, или, как он еще продолжал называть ее на людях, мадемуазель Мари, а сам с собой уже Машей и даже Машенькой. Ее образ всюду сопровождал его: милая молоденькая девушка из интеллигентной семьи профессора Шевелева, еще почти совсем девочка, крепенькая, с круглым румяным добрым лицом и маленькими пухлыми ручками, в шелковом расфуфыренном платье, довольно складно, хотя и грубо скроенном и пошитом знаменской модисткой, с косынкой на шейке, — точно такой, какой дедушка на всю жизнь запомнил ее в незабвенный день помолвки.

Таких хорошеньких, крепеньких, круглолицых красавиц так и хочется назвать таракучками.

Ничего этого дедушка, конечно, в своих воспоминаниях не пишет. Приходится мне на правах его внука и наследника заниматься подобными описаниями.

«По приезде в Полтаву — при унылом звоне великопостных колоколов — я остановился в гостинице, переночевал, привел себя в порядок и отправился к Ганько, дом которого был хорошо знаком каждому извозчику. Застал дома мать, сестру и двух дочерей предводителя Ганько от первого брака».

«Поцелуи, объятия, восклицания — все пошло одно за другим. Расспросы обо всем. Узнав, что я остановился в гостинице, сестра ужасно рассердилась и заставила меня немедленно отправиться в гостиницу, забрать свои вещи и переехать к ним в дом, где в особом флигеле мне была приготовлена комната. В этой свежей, с только что вымытым полом и голубыми стенами комнате я переоделся, почистился и через двор, уже поросший молодой травкой, отправился в дом».

«Зять, муж моей сестры Елизаветы, Петр Ганько, уже пришел. Мы познакомились. Он мне понравился: хороший седоватый господин, очень вежливый и бодрый. Тут же я познакомился со своей племянницей, дочкой моей старшей сестры Анастасии, жены того самого Ковалева, который отвозил меня из Скулян в Одессу поступать в гимназию. Звали мою племянницу Верой Ковалевой».

«Сестра моя Елизавета вместе с нашей старушкой матерью, узнав о незавидном положении Ковалевых в Бессарабии, привезли Веру в Полтаву, с тем чтобы поместить в институт, где ей могла оказать протекцию Елизавета».

«Вера, полная краснощекая девушка, что называется, кровь с молоком, родилась в Скулянах в 1844 году, стало быть, ей исполнилось теперь 16 лет».

По-видимому, эта самая Вера принадлежала к тому же типу девушек, что и невеста дедушки мадемуазель Мари, младшая сестра мадам Ивановой, то есть была, что тогда называлось, «розанчик».

«...она любит самовластие, и здесь если ей приходится исполнять какой-нибудь приказ бабушки или тети, то исполняет его молча, прикусив пухлые губки...»

«Старшая дочь Ганько от первого брака все молчит, читает, но младшая, Аня, 15 лет, — веселая и разговорчивая — очень мне понравилась».

«Вот и вся семья».

Дедушка сразу попал в общество молодых девушек, что не могло еще больше не поднять его настроение, и без того отличное, веселое,

радостное, как и полагалось влюбленному жениху в ожидании свадьбы. Да и появление в доме молодого кавказского офицера, героя, да к тому же еще и жениха, не могло не возбудить повышенного интереса к нему молоденьких родственников.

Я думаю, с появлением дедушки в доме Ганько сама собой установилась легкая атмосфера всеобщей влюбленности.

«Я приехал в страстную среду; на другой день, в четверг, был с сестрою в церкви кадетского корпуса и отстоял там длинную всюнощную с приглушенным стройным мальчишеским хором, траурными ризами священнослужителей и тем особым вечерним великопостным светом, который так грустно и так молодо синел в узких церковных окнах».

Стоя рядом с сестрой, преклонив по-военному одно колено, а на другом, выставленном, придерживая фуражку, дедушка молился о своем покойном отце, о старушке матери, об оставленной в Знаменке невесте и усердно крестился, прижимая ко лбу, груди и плечам крепко сложенное троеперстие. Сестра же его Лиза, стоя на коленях и убрав в сторону шлейф длинного платья, прижимала к груди руки в перчатках, вспоминала Скуляны, детство, дружбу с братом, думала о своем муже, таком прекрасном человеке, о его дочерях, таких прекрасных девушках, и на глазах у нее сияли слезы любви и умиления.

Эта совместная молитва еще больше сблизила брата и сестру, и без того крепко любивших друг друга.

«Прошла святая, разговены после пасхальной заутрени, стол, уставленный высокими, как башни, куличами, называвшимися здесь по-южному пасхами, и множеством ранних весенних цветов, выращенных в собственной оранжерее».

«В четверг на святой, получив благословение матери и не переставая думать о невесте, которую пообещал привезти в Полтаву в следующем году на Пасху, я выехал со своим верным Иваном восвояси, в полк».

«Поездка прошла благополучно», — счел необходимым отметить дедушка, хотя трудно представить себе, почему бы поездке этой и не быть благополучной. Ведь время уже было мирное и черкесов вокруг не наблюдалось.

Ах, это время, которое почему-то всегда летит «незаметно»!

Каждое попутное местечко или большое село встречали дедушку пасхальным трезвоним; сияло солнышко; зеленела новая травка, в которой кое-где виднелись скорлупки крашенок; на дорогах курилась первая, уже почти летняя пыль. Над камышовыми крышами белых хуторов летели аисты. Милая сердцу картина.

Дедушка чувствовал себя прекрасно: только что он провел несколько радостных дней среди родных и близких, в красивом городе с белыми домиками под зелеными и красными железными крышами, окруженными пирамидальными тополями, садовками, где уже в полную силу цвели вишни и яблони; на праздничном базаре среди каруселей и перекидок стеклянно блестя на солнце поливная посуда здешних гончаров — глиняные горшки и глечики, завернутые в солому; аппетитно пахли свежеспеченные знаменитые полтавские бублики и сайки; нарядные чернобровые красавицы в клетчатых плахах, скрипучих полусапожках с подкованными каблучками, в платочках, накрученных на голове наподобие чалмы, так и обжигали молодого кавказского офицера взгляда-

ми своих карих, ярких, смоляных, чересчур смелых глаз, улыбками румяных ротиков...

...а знаменитые полтавские бабы-перекупки в плисовых безрукавках носили мимо него на плечах кипы богато вышитых рушников и свертки домотканого сурового холста...

Дедушка перебирал в памяти свои полтавские впечатления, веселые обеды и ужины в богатом доме Ганько среди молоденьких девушек, расспрашивавших его о Кавказе, о войне, о его невесте.

Присутствие девушек в кружевных платьях с розовыми кушаками и белых лайковых башмачках особенно украсило его пребывание в Полтаве отчасти потому, что, любясь их свежестью и молодостью, он не мог каждый миг не возвращаться памятью к своей невесте, почти такой же молоденькой, но только во сто раз более желанной и любимой.

«Ах, Машенька, Машенька!» — не раз вздыхал про себя дедушка среди самых веселых застольных разговоров.

Дедушка проехал через поле знаменитой Полтавской битвы, где Петр разбил шведов и навсегда утвердил славу России.

«В Знаменке я застал всех здоровыми, в полку — все в порядке. Вещи мои уже оказались перенесенными к Ивановым, а потому я временно поселился в квартире на углу возле того же дома, где жили Ивановы».

Под звон пасхальных колоколов жених еще более приблизился к невесте.

«...был в канцелярии у командира полка, время шло незаметно. На временной моей квартире шла своего рода работа по приготовлению фейерверка, которым занялись Попаленко и Козинец, большие специалисты по «скоропалительным трубкам» и «ракетным станкам»...» —

...напоминавшим дедушке войну и горящие сакли горских аулов.

«Как прошло время с утра 24 апреля в воскресенье до 5 часов вечера, когда надо было ехать в церковь венчаться, не помню; все смешалось у меня в голове».

Время то стояло на месте неподвижно, как бы и вовсе отсутствуя, то лихорадочно мчалось куда-то: то ли вперед, то ли назад.

«В 5 часов, надев парадную форму с эполетами, я пошел к Ивановым, где меня уже ждал Шафиров — мой посаженный отец».

Дедушка стал перед Шафировым по-офицерски на одно колено, и Шафиров, тоже в полной парадной форме, в орденах, в белых перчатках, напомаженный, благословил дедушку иконой, после чего они поцеловались: дедушка почувствовал от усов Шафирова запах духов и бриллиантина и у дедушки в сердце похолодело, как в колодце.

«Получив благословение, поехал я с Шафировым в полковом экипаже в церковь, где уже были мои товарищи офицеры и полковой священник в новенькой золотой ризе отец Тимофей Ковальский с наперсным крестом на алой анненской ленте. Через четверть часа, показавшихся мне бесконечными и тревожными, приехала и невеста, которую встретил я у порога церковного и, предложив ей руку, провел к алтарю. На ней было подвенечное платье со шлейфом, скрывавшим маленькие пухлые ножки в шелковых туфельках, и фата с веточкой воскового флердоранжа, припиленной к затейливой прическе. Ее рука в длинной, по локоть перчатке с морщинками на сгибе дрожала на обшлаге рукава моего новенького мундира».

«Началось венчание, которое шло очень долго. Шаферами были у меня Горбоконь и Попаленко, а у невесты Войков и Козинец».

«Наконец всему делу венец!»

«...и мы, то есть я, невеста и Шафиров, поехали в полковом экипаже домой, где были приняты матерью Шафирова, от которой получили новое благословение, и сели рядом с Машей на диван в гостиной. Нас все поздравляли. Выпили шампанского, чай, затем начались танцы под звуки полкового оркестра и продолжались до 12 часов ночи, когда подали ужин, а за окнами затрещал и застрелял фейерверк — бураки, бенгальские огни, римские свечи, — добавочно освещая плывущими разноцветными огнями и без того ярко освещенную залу, куда с улицы заглядывали любопытные знаменские жители. И мне временами казалось, что где-то совсем рядом горят сакли, зажженные «скоропалительными трубами». Тотчас после ужина опять пошли танцы, а в три часа ночи гости разъехались и мы с Машей, снявшей уже фату и раскрасневшейся от танцев, пошли спать».

«25-го опять поздравления наших шаферов, потом обед по случаю того, что Шафиров выехал в Мелитополь, где на 27-е назначена была свадьба Супруненко и Шафиров был у него, как и у меня, посаженным отцом».

«1 мая, прискакав из Мелитополя со свадьбы Супруненко, Шафиров, неутомимый танцор, устроитель офицерских свадеб, но сам при этом закоренелый холостяк, тут же устроил у себя танцевальный вечер с дамами. Чай в саду при звуках полкового оркестра, и огнях, и треске фейерверка, оставшегося от моей свадьбы, был весьма оживлен. Потом старики засели за карты, а молодежь пошла танцевать».

«Я тоже танцевал кадрили с молодой женой, а в промежутке между танцами ходил с ней под руку по саду, по аллеям среди высоких кустов цветущей сирени при свете теплой майской луны».

«В 12 часов сели за ужин, длившийся час. Смеялись, шутили и... — не забывает отметить дедушка, — вечер прошел незаметно».

Так женился мой дедушка.

Может показаться, что его просто-напросто женили. Возможно. Пусть так. Но не все ли равно, если они полюбили друг друга, в результате чего у меня и моего младшего брата Жени появилась бабушка, хотя матери еще и в помине не было, в чем я вижу одно из доказательств того, что время имеет свойство двигаться также и в обратную сторону.

«Потом наступили хлопоты по устройству лагеря с его солдатскими и офицерскими палатками, клумбами ночной красавицы, обложенными выбеленными кирпичами, линейкой и караулом возле знамени в клеенчатом чехле и зеленого полкового сундука».

«По окончании устройства лагеря, к июлю, начались вольные работы. В некоторых деревнях, где работали наши солдаты, время от времени возникали неудовольствия землевладельцев-помещиков, и Шафиров посылал меня улаживать неприятности и получать деньги».

«К 1 августа полевые работы кончились и роты вернулись в лагерь. Начались учения. Тут 15 августа во 2-м батальоне майора Войткевича, того самого, который на Кавказе послужил причиной смерти унтер-офицера Гольберга, о чем я уже писал, произошла во время учения стычка его с поручиком Горбоконом».

«Учение производилось после Кавказа по новому уставу, офицеры и солдаты часто ошибались. После одной дурно исполненной команды Войткевич остановил учение и грубо сказал:

— Господа офицеры, если будет еще так продолжаться, то я позову на ваше место кашеваров, а вас пошлю на кухню чистить картошку».

«Услышав такие слова, Горбоконь вспыхнул, вложил саблю в ножны и, подойдя к Войткевичу, сказал, изо всех сил сдерживая ярость:

— Господин майор, я болен... Я не могу больше продолжать учение... при подобных оскорблениях».

«Войткевич с презрением повернулся к нему спиной и, ничего не ответив, ушел в свою палатку».

«На другой день у нас была ротная поверка, при коей Горбоконь доложил командиру полка жалобу на Войткевича за грубое обращение».

«Командир полка позвал Войткевича к себе в кабинет. Что они там говорили, неизвестно, но выйдя оттуда, Шафиров сказал Горбоконю:

— Я не имею, поручик, от вас донесения о вчерашнем случае и потому не могу ничего сделать».

«В тот же день Горбоконь подал рапорт, в котором описал все случаи грубого обращения Войткевича с офицерами и нижними чинами, причем упомянул об убийстве Войткевичем на Кавказе унтер-офицера Гольберга».

«Рапорт его был представлен начальнику дивизии. Через дней десять начальник дивизии прислал ответ: подать Горбоконю в отставку, то есть решил, что поступки Войткевича — грубость и убийство — хороши».

Впервые я нашел в записках дедушки подлинное, глубокое чувство возмущения нравами, царящими в армии.

«Вслед за этой бумагой приехал сам начальник дивизии Эйсмонт. Начался смотр. На смотре начальник дивизии старался всячески давить Горбоконя: во фронте кричал, чуть не топтал его конем. После смотра офицеры, собравшись, отправились к Шафирову и просили разрешения пойти к начальнику дивизии просить за Горбоконя. Шафиров, испросив предварительно позволения Эйсмонта и получив согласие, разрешил».

«Офицеры пошли к Эйсмонту и стали его просить оставить Горбоконя в полку как хорошего офицера и товарища».

«Начальник дивизии, услышав такой единодушный отзыв офицеров о Горбоконе, подумал и сказал:

— Это совсем другого рода дело. Хорошо, господа, я согласен, но пусть Горбоконь попросит извинения у Войткевича, а Войткевич у Горбоконя — и делу конец».

«Поблагодарив начальника дивизии, офицеры отправились прежде всего к Горбоконю, передали ему все бывшее у Эйсмонта и просили согласиться. Подумав, Горбоконь сказал:

— Благодарю вас, господа. Вашу просьбу я исполню нынче же вечером».

«Тогда офицеры пошли в палатку к Войткевичу, передав ему слова начальника дивизии и Горбоконя.

— Хорошо, — сказал Войткевич, — я согласен».

«После обеда был смотр, строевые учения. Все прошло отлично. Подали экипаж. В экипаж сел Эйсмонт и посадил с собой Шафирова, а затем пригласил в экипаж полкового адъютанта Иванова и меня. Мы сели и поехали домой».

«Между тем в лагере произошло следующее».

«Горбоконь, пригласив в свидетели офицеров стрелковой роты, пошел к Войткевичу, который ходил взад-вперед возле своей палатки, заложив руки за спину».

«Обратившись к Войткевичу, Горбоконь взял под козырек и сказал:

— Господин майор, в своем рапорте я позволил себе выразиться резко и потому прошу у вас извинения».

«Войткевич, осмотревшись, сказал:

— Отлично. Но, к сожалению, здесь нет моих офицеров, которые могли бы быть свидетелями моего извинения».

«С этими словами он послал своего адъютанта за офицерами. Адъютант их позвал. Они пришли и стали против офицеров — свидетелей Горбоконя».

«Все было весьма формально, чин чином».

«— Господа, — четко и резко сказал Войткевич, обратившись к офицерам. — На учении в июле я, погорячившись, позволил себе довольно резко выразиться, а потому извините меня».

«Он сделал некоторую паузу, вынул из тесного кармана рейтуз серебряный портсигар со множеством золотых монограмм и оранжевым запальным шнуром, закурил папироску, немного подпускал из ноздрей дыма, а затем, небрежно поворотившись в сторону Горбоконя, так же четко и резко заметил:

— А перед вами, поручик, заметьте это себе, я не извиняюсь!»

«Он сильно нажал на слово не — и повернулся спиной к Горбоконю».

«Горбоконь был ошеломлен».

«— Почему же? — сказал он, побледнев. — Я обиделся вашими словами в июле на ученье и затеял дело. Теперь же по приказанию начальника дивизии мы с вами должны извиниться друг перед другом и кончить это дело. Я извинился перед вами, а вы?»

— Я вам отвечать не намерен. Про то знает полковой командир, — сказал Войткевич.

— Но почему же? — сорванным голосом воскликнул Горбоконь, еще более побледнев.

— Повторяю, — отчеканил Войткевич, — я вам отвечать не намерен».

«Судорога отчаяния пробежала по лицу Горбоконя. Из мертвенно-белого оно вдруг стало багровым. Он уже не владел собой».

«— А! — закричал он, задрожав всем телом. — Так ты не батальонный командир, а подлец!»

«И с этими словами, размахнувшись, Горбоконь ударил Войткевича правой рукой по левой щеке, а затем повторил удар, но уже левой рукой по правой щеке».

«Не удержавшись на ногах, Войткевич упал на палатку, закричав:

— Лошадей мне! — желая немедленно ехать к начальнику дивизии».

«Все стояли, пораженные ужасом».

«Один из офицеров сказал:

— Зачем, Горбоконь, ты это сделал? Если бы мы это знали, мы бы не пошли с тобой».

«Горбоконь, снова побледневший как смерть, посмотрел на своих товарищей странным взглядом и произнес с еще более странной, блуждающей улыбкой:

— Не бойтесь, господа. Ничего вам не будет».

«С этими словами он пошел к себе в палатку, где, бросив на кровать скинутый поспешно сюртук и саблю, бывшую на нем, взял заряженный револьвер, вставил дуло между двумя пальцами руки, которую положил на белый жилет против сердца, и произвел выстрел, окончив таким образом свою печальную жизнь».

А что еще оставалось делать ему, молодому, самолюбивому, горячему, обесчещенному офицеру?

«Итак, вместо жалобы Войткевич привез начальнику дивизиона известие, что Горбоконь застрелился. Начальник дивизии Эйсмонт, сильно испугавшись, закричал, чтобы ему сейчас же дали лошадей ехать домой, а Шафирову приказал разобрать дело и донести».

«Шафиров послал ординарца за полковым адъютантом, у которого в это время был в гостях. Ординарец явился к Ивановым, сказав, что Горбоконь застрелился. Услыхав это, Иванов пошел к командиру полка, а я без шапки побежал в лагерь».

«За селом меня догнал экипаж, в котором мчался Шафиров со своим адъютантом Ивановым. Меня окликнули. Я отозвался и был приглашен командиром полка присоединиться к ним. Стоя на подножке накренившегося экипажа, я въехал в лагерь. Вижу такую сцену: офицеры стоят кучками и рассказывают что-то друг другу...»

«Шафиров распорядился некоторых офицеров арестовать до утра под надзором дежурного по полку».

«К палатке, где лежал Горбоконь, приставили часового. Доктору было приказано утром освидетельствовать застрелившегося. Остальным офицерам приказано было идти в свои палатки и не выходить. Сделав эти распоряжения, Шафиров забрал меня и Иванова с собой, и мы поехали обратно в деревню».

Застрелившийся Горбоконь был ближайшим другом дедушки, его боевым товарищем и шафером у него на свадьбе. Однако в своих записках дедушка ни словом не обмолвился о том, как отнеслась бабушка к ужасному происшествию.

Вообще после свадьбы дедушка редко упоминает о бабушке. Вероятно, он так привык жить исключительно интересами службы, что молодая прелестная жена как бы вовсе выпадала из поля его зрения, а вернее, существовала для него в каком-то другом измерении, что совсем не противоречило тому, что он очень ее любил всю свою жизнь.

«Утром на другой день, часов в семь, я отправился пешком в лагерь. Доктор и дежурный по полку вошли в палатку, где всю ночь лежал мертвый Горбоконь, я и несколько других офицеров пошли с ними».

«Доктор, осмотрев, сказал, что нечего тормозить мертвого, так как и без того все ясно. Надо просто написать, что застрелился в припадке острого сумасшествия».

«Услышав это, я запротестовал и стал требовать подробного вскрытия, заявляя, что Горбоконь никогда не был сумасшедшим и застрелился в полном уме, так как не мог снести нанесенного ему оскорбления. Другие офицеры меня поддержали. Доктор, видя, что делать нечего, вскрыл голову Горбоконя; оказалось в полном порядке; вскрыл сердце, живот — все нормально; только, видно, человек был возбужден».

«Затем труп был отдан мне для погребения, так как самоубийца лишен был погребения со священником. Я заказал у полкового столяра гроб, который был через два часа готов».

«Доктор зашил голову Горбоконя, грудь и живот. На него мы с доктором не без труда надели мундир, застегнули и положили в гроб. Трудней всего было сложить ему руки на груди: они уже окоченели. Но все же мы их сложили».

Дедушка не пишет, каков был Горбоконь в гробу, но я вижу его ясно: горбоносое казачье молодое лицо (может быть, горбоносое по ассоциации с фамилией). Русый волнистый чуб, прилипший к высокому красивому лбу. Чуть заметные усики, слегка вьющиеся. Запавшие, закрытые глаза и черта предсмертного мучения, искривившая обескров-

ленные сиреневые губы... И восковой подбородок, подпертый твердым воротником армейского мундира с поднятыми эполетами.

«В первом часу дня при пасмурном небе мы, человек двадцать офицеров 1-й стрелковой роты, подняли гроб на свои плечи и понесли по передней линейке лагеря».

«Дежурные барабанщики били дробь».

«Солдаты, выходя из палаток на переднюю линейку, крестились и кланялись гробу».

«Пронеся таким образом гроб с телом Горбоконя вдоль всего лагеря, мы отправились на дорогу, которая вела из села, где возвышалась башня над могилой какого-то ранее, несколько лет тому назад, застрелившегося доктора».

Как видно, в то время люди часто стрелялись.

«Прибыв к заранее приготовленной могиле, мы прочли молитву, по очереди поцеловали застрелившегося товарища в ледяной лоб, покрыли гроб крышкой, забили крышку гвоздями и спустили в могилу».

«Так умер человек молодой, полный сил и ума, ценимый всеми его знавшими. Мир праху твоему, благородный человек!»

«После похорон началось следствие. Опрошенные офицеры единогласно показали, что Горбоконь согласно приказанию начальника дивизии попросил извинения у Войткевича и у своих офицеров, а Войткевич отказался извиниться в свою очередь перед Горбоконом, к чему его обязывало приказание начальника дивизии, чем поставил Горбоконя в унижительное положение; Горбоконь вспылал, сказав Войткевичу: «Ты не батальонный командир, а подлец!» — и ударил его в левую щеку, а затем в правую, отчего Войткевич упал на палатку, закричав: «Лошадей мне!»

И так далее, о чем здесь уже было писано.

«Из произведенного следствия начальство увидело всю вину Войткевича и, не удовлетворившись этим, прислало из Одессы своего следователя, который еще больше выяснил поступок Войткевича».

«Надо сказать, что на другой день после смерти Горбоконя Войткевич как ни в чем не бывало вывел свой батальон на учение и начал командовать. Но Шафиров, узнав об этом, послал сказать ему, чтобы он сдал батальон и тотчас явился к нему. Сдав батальон, Войткевич пошел на квартиру командира полка и, поговорив с ним, подал рапорт о болезни».

«По представлении материалов следствия корпусному командиру генерал-адъютанту Врангелю, старому кавказцу, Войткевич был уволен в отставку с пенсией майора 320 рублей в год и поступил управляющим в имение к ротмистру Попову».

«Во время этого дела я получил письмо от сестры Горбоконя, которая просила меня продать оставшиеся после его смерти вещи и поставить памятник на могиле. Вещи я продал с аукциона офицерам. Шубу енотовую и пистолет, из которого Горбоконь застрелился, купил Кульчицкий, взяв деньги в долг, с тем чтобы расплатиться по частям».

«На вырученные деньги я принялся строить над могилой Горбоконя памятник из камня, обитого железом, покрытого темно-синей масляной краской, с крестом и надписью на фронте. В памятник была вделана лампада».

В 1861—1862 годах наш полк стоял в том же лагере. Отправляясь на учебу, мы всегда проходили из села мимо памятника, служившего воспоминанием об умершем, о недавно закончившейся кавказской кам-

пании и о стихотворении поручика Лермонтова, напечатанном в альманахе «Утренняя заря» и ходившем по рукам в армии, в особенности среди бывших кавказских офицеров».

«...«Ура!» — и смолкло. «Вон кинжалы, в приклады!» — и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть... (и зной и битва утомили меня), но мутная волна была теплая, была красна... Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму порохом...»

«А там вдали грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной тянулись горы — и Казбек сверкал главой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он — зачем?»

Лампадка на могиле Горбоконя теплилась так мирно, так кротко... Но ангел смерти, видно, летал над этой степной местностью, ища новых жертв:

«По моему назначению офицер Кульчицкий был командирован в Херсон получить для полка порох, разные учебные припасы и денег 800 рублей. Зная слабость Кульчицкого, я написал было в Херсон, чтобы деньги выслали по почте, но командир полка Шафиров, найдя это недоверием к офицеру, приказал переписать бумагу и выдать деньги Кульчицкому под расписку. Кульчицкий поехал, получил все припасы, порох и деньги, но последние проиграл и написал мне слезное письмо, прося его выручить».

«Припасы и порох прибыли своевременно. Вслед за ними приехал Кульчицкий, но, не имея денег, по начальству не явился. Я захлопотал, стал собирать у себя офицеров, чтобы как-нибудь выручить Кульчицкого: составил подписной лист, лично подписался на 25 рублей».

«Между тем Шафиров, узнав о прибытии пороха и припасов и о приезде Кульчицкого и видя мое смущение и суетливое поведение, призвал меня к себе.

— Отчего Кульчицкий не является? — спросил он, поставивши меня своим вопросом в крайне затруднительное положение».

«Я некоторое время находился в нерешительности, но наконец сказал:

— Петр Васильевич, вам как человеку я могу ответить на ваш вопрос, а как начальнику я промолчу.

— Говорите мне как человеку, — ответил он».

«Услышав эти слова, я рассказал ему все что знал».

« — Пусть Кульчицкий явится ко мне сейчас, — сказал Шафиров, — скажите ему, что я денег не потребую».

«Я тотчас побежал к Кульчицкому и послал его к Шафирову. Кульчицкий пошел. Командир полка его «выпудрил», чем дело и кончилось».

«Через месяц после сего Шафиров назначил Кульчицкого командиром 3-й стрелковой роты, думая этим дать ему «поправиться». Получив роту, Кульчицкий закутил, сильно пошла в ход картежная игра. На все мои предостережения Кульчицкий не обращал внимания».

«В феврале 1861 года по случаю прибытия в полк старшего по чину, чем Кульчицкий, офицера отдан был приказ Кульчицкому сдать роту. Это сильно его обескуражило. Накануне сдачи денежного ящика с ротными суммами он был у меня. Шафиров тоже был. Видя Кульчицкого в таком ужасном состоянии, Шафиров сказал:

— Что это молодой офицер так печалится? Не печальтесь! Пройдет месяц — и я опять вам дам роту, чтобы вы могли поправиться».

«Но эти обнадеживающие слова мало подействовали на Кульчицкого. Видно, его денежные дела были непоправимо запущены. Он чуть ли не со слезами выпросил у меня часть недостающих денег, уверяя, что сейчас же их пошлет по почте в Алешки, место стоянки его бывшей роты. Я дал. Он уехал. Но не в роту, а в Каменку, где стал опять играть в карты и проигрался в пух».

«На рассвете, когда я с женою еще спал, он вдруг явился к нам — страшный, взъерошенный, с красными глазами, — попросил у моего человека рюмку водки, выпил, махнул рукой и поехал в роту. Там Кульчицкий — видимо, уже совсем не владея собой, — написал донос на Шафирова, что тот будто бы притесняет его по службе, отправил этот донос со своим братом на почту, а сам заперся в комнате, взял и застрелился из того же самого пистолета, из которого застрелился Горбоконь».

«Все были оскорблены таким поступком Кульчицкого, зная, что вопреки его доносу Шафиров был к нему всегда внимательно-добр».

«Произвели поверку сумм — оказалось, как и следовало ожидать, большая недостача, не говоря уж, что и у меня взял».

«Насколько смерть Горбоконя была сожальтельна, настолько смерть Кульчицкого была осудительна».

«Приехал следователь от корпусного командира; все офицеры показали за Шафирова, против Кульчицкого. Получив дело, корпусной прислал Шафирову извинительное письмо. Дело кончилось без всяких последствий».

Представляю себе самоубийство Кульчицкого: раннее утро, низкое солнце, еще розовое, в как бы ночной комнате на полу косяки утреннего света, беспорядок, трагически разбросанные вещи, чернильница, ручка с пером, обрывки бумаги — черновики доноса. И Кульчицкий без сюртука, в подтяжках, в несвежей сорочке, с опухшим лицом, злыми, воспаленными, как бы светящимися глазами. А сюртук — валяется на железной кровати нечищенный уже по крайней мере неделю, с пухом на сукне. Посередине комнаты на полу штилеты с засохшей грязью. Может быть, Кульчицкий даже не присел к столу. У него под ногами валялись разорванные игральные карты. Кульчицкому все еще представлялся зеленый ломберный стол с сукном, дымящимся от стертого мела, щеточки, шандалы, окурки, белые колонки цифр. Сумбур последних дней. Кружила голову последняя рюмка водки, выпитая в передней у дедушки, который, обняв пухлые плечи молодой жены, спал сладким утренним сном, слегка похрапывая.

Очень длинные, почти бесконечные тени на розовой пустынной улице большого таврического села. Ранние воробьи.

Я думаю, Кульчицкий, рыжеватый, взъерошенный, с белым лицом подлеца, со скрюченной рукой, просто присел боком на шаткий стул перед столом, с выражением отвращения на лице зажмурился и выстрелил себе в открытый рот, на один миг ощутив на языке гальванический вкус пистолетного дула и успев подумать, что это пистолет покойного Горбоконя, после чего перестал существовать. А енотовая шуба, которую дедушка в своих воспоминаниях писал «янотовая», висела на гвозде, вбитом в дверь, такая же запущенная, как и ее теперешний хозяин.

Шуба двух самоубийц.

С разможенным изнутри затылком, откуда наружу хлынула кровь, залив всю комнату, Кульчицкий упал лицом на стол и так и остался до тех пор, пока не явился полковой доктор и не совершил всех формальностей.

Дедушка ничего не пишет о похоронах. Вероятно, Кульчицкого похоронили, как самоубийцу, без духовенства, где-нибудь за околицей или перед оградой сельского кладбища при звуках ротных барабанов, сыпавших зловещую траурную дробь. И солдаты выходили из казармы, крестились и кланялись, тревожно косясь на мертвый профиль Кульчицкого и на его сложенные на груди руки.

Может быть, кто-нибудь поставил на могиле Кульчицкого крест или камень.

И все о нем забыли.

А ведь у него, наверное, была мать старушка, и сестра, и брат, для которых он был самым дорогим человеком.

Таким образом, в таврической степи появилась третья могила самоубийцы.

Могилы самоубийц в пустынной степи — какое щемящее душу зрелище!

Сколько раз еще потом мимо этих могил проходили в XIX и XX веках самые различные войска: русские, немецкие, красные, белогвардейские, советские, фашистские, — и, проходя мимо, никто из них уже не знал, что это за надгробия, как они сюда попали, в эти сухие, горькие полынные просторы на подступах к Крымскому полуострову, твердыни России на Черном море.

«Роту Кульчицкого принял поручик Пригара 1-й, славный офицер, произведенный из саперов. Прошло время лагеря, опять на том самом месте, где он был в прошлом году. После лагеря — работы на полях землевладельцев. Поездки к помещикам за деньгами. Все как в прошлом году».

«Время мелькало, — автоматически отмечает дедушка, — пришел август, собрались обратно с полевых работ в лагерь. Прошли слухи, что идем в Керчь. Даже один раз вдруг в то время, когда я принимал провиант в магазине, потребовали меня к Шафирову, говоря, что — поход. Я бегом направился к нему. Оказалось, что недавно сформированный окружной штаб потребовал какие-то сведения о тяжестях полка».

«В этом же году, — вскользь прибавляет дедушка, — у меня родилась дочь Надя, хорошая девочка».

«Лето прошло незаметно, а затем и зима... Настал 1862 год. Встретили его по обыкновению у Шафинова весело, шумно, не зная, что принесет будущее».

«Пришла весна, яснее стали говорить о походе в Керчь. Собрались пѳка в лагерь, ожидая приказа, которое пришло к июлю. Стали готовиться к выступлению. Закипела работа, которая скоро была закончена. Предстояло тяжести отправить сухим путем на Арабатскую стрелку, а батальоны идут на Бердянск, где сядут на пароходы Русского общества пароходства и торговли — РОПИТ. Десятидневный сухарный провиант повезут на казенных лошадях. Но как быть с вещами на подъемных лошадях, которых всех не имелось? Это крепко заботило Шафинова и командира 1-го батальона Шверина».

«Оба думали, что я как молодоженатый поеду вместе с женой на Арабатскую стрелку, а не вместе с батальонами».

«Узнав это, я решительно объявил командиру полка, что пока я на службе, я вижу сперва интересы полка, а потом уже свои личные, семейные: если он прикажет мне идти с первым эшелонном, то я и пойду, а жену с ребенком отправлю в экипаже через стрелку».

Вот какой оказался дедушка службист-молодец!

«Услыхав мое решение, Шафиров и Шверин очень обрадовались и благодарили меня. Шафиров сказал, что он все сделает для моей семьи».

«Собравшись в половине июля, я выступил с 1-м батальоном, а жену с ребенком приготовил на другой день к поездке в коляске на паре своих лошадей в сопровождении фургона с другой парой лошадей — для следования в Керчь через Геническ».

«Поход мой был хорош, без задержки. Я брал подводы по числу, сказанному в открытом листе, причем если не было лошадей, запрягал в повозки паруволowie как пару лошадей».

Из этой не вполне ясной фразы можно заключить, что в тех местах вместо лошадей главным образом запрягались волы.

«Паруволowie» — пара волов, спаренных деревянным ярмом.

«Все шло хорошо. Шверин не имел никаких хлопот. Все лежало на мне. Так дошли на волах до Бердянска. Я остановился в гостинице и сделал распоряжение о посадке на пароход Русского общества».

«Проведя в Бердянке два дня, был в театре: играли актеры довольно плохо, но по распоряжению Шафирова в оркестре играла даром наша полковая музыка, что скрашивало скверное впечатление о спектакле. На другой день был в городском саду. Играла тоже наша полковая музыка».

«Народу и интеллигентной публики масса!»

«На следующий день после обеда была посадка на пароход, а ночью пошли в Керчь, куда и прибыли в 11 часов следующего дня. Сперва высадили людей, а с ними вышли и сами».

«Вместе с женой, встретившей меня на пристани, сели на дрожки и отправились на квартиру, нанятую ею накануне (жена приехала в город ранее моего прибытия). Квартира довольно хорошая, из четырех комнат. Хозяин и хозяйка с Дону. Часть мебели жена приобрела у ранее квартировавшего тут подполковника Виленского полка».

Бабушка моя, несмотря на свою молодость — ей в ту пору было лет девятнадцать, от силы двадцать — почти девочка! — оказалась энергичной, расторопной, вполне самостоятельной, как, впрочем, и полагалось быть заправской полковой даме.

Вижу, как тащилась молодая офицерша с севера на юг по Арабатской стрелке в полковом экипаже, запряженном парой собственных лошадей, с кучером-солдатом на козлах и денщиком рядом с ним, с казенной фурманкой позади, нагруженной домашним скарбом, которым уже успели обзавестись бабушка и дедушка.

Бабушка в холщовом пылевике и в полотняном дорожном капоре, из которого выглядывало, как из будки, ее румяное, как яблочко, лицо; она держала на коленях годовалую круглолицую девочку, одетую точно так же, как и ее мама, в холщовый пылевичок и серый дорожный чепчик с рюшами. У девочки от жары потрескались губки, и бабушка время от времени доставала из баула рожок со сладкой водой и поила ребенка, вытирая ей ротик и щечки батистовым «приданным» платком.

Повертывая круглую головку, девочка смотрела уже почти осмысленными глазками вокруг себя на утомительно-медленно движущийся

мир солончаков Арабатской стрелки, опрокинутых над горизонтом зеркальных миражей, выжженной таврической степи, кувыркающихся поперек дороги шаров высохшего перекати-поля, подгоняемого знойным ветром...

...Бывшие и будущие поля сражений...

Именно где-то здесь в отдаленном будущем была найдена в вонючем рассоле Сиваша та позеленевшая, забитая солью медная гильза от трехлинейного винтовочного патрона — память о гражданской войне, о взятии Красной Армией Перекопа, которую некогда подарил мне на память товарищ Корк, начальник штаба Фрунзе. Помню, как блеснули стекла его пенсне без оправы. Подтянутый, стройный, доброжелательный...

...не чувствуя, что дни его уже сочтены...

Эта гильза долго лежала у меня в столе и пропала во время второй мировой войны... Но тогда ничего этого еще не было, и моя будущая бабушка тряслась в полковом экипаже в Керчь. В экипаже с потрескавшимися кожаными крыльями, в которых мутно, но ослепительно отражалось крымское солнце.

«Город Керчь, как приморский, населенный разными иностранцами, преимущественно греками, довольно по тому времени хороший, имеет мужскую гимназию, женский институт, клуб, где зимою четыре раза в месяц бывают семейные танцевальные вечера».

«Перезнакомившись в городе, мы зажили веселее, чем в Знаменке».

«Перед Рождеством я по делам службы собрался второй раз в Одессу. Зима была очень суровая, и мне пришлось испытать всю ее суровость».

«Брата Александра нашел я на прежней квартире на углу Почтовой и Ришельевской. Исполнив все служебные поручения, я купил жене часы в магазине Баржанского, большой платок, набрал на платье и выехал опять на стрелку, чтобы ехать в Керчь».

«Дорога была ужасная: лишь на шестой день к вечеру я добрался домой. Жена сильно беспокоилась, потому что несколькими днями ранее под Керчью погиб пароход Русского общества, шедший из Одессы».

Бабушка боялась, что дедушка находился на этом пароходе.

Дикий норд-ост нес над морем тучи снега. Зеленые волны с зубчатыми белогривыми гребнями, такие зловещие под черными низкими тучами, точно их написал своей быстрой кистью сам феодосийский житель знаменитый Айвазовский, обрушивались на потерявший управление пароход, из высокой трубы которого валил черный дым и на сломанной мачте трепался флаг бедствия.

Бабушка, кутаясь в бурнус, в зимнем капоре с развевающимися лентами, прибежала, задыхаясь, на пристань и, ломая пухлые ручки, следила вместе с онемевшей толпой за ужасным зрелищем взбаламученного моря, среди которого на глазах у всех погибал пароход...

О, как громко и радостно она закричала, когда вдруг уже поздним вечером услышала в передней нетерпеливое дилиньканье колокольчика и голос дедушки, сбрасывающего на руки денщика свою обледеневшую походную бекешу!

Перебивая друг друга вопросами и ответами, с поцелуями, слезами и объятиями, с молодым веселым смехом, бабушка и дедушка стали разворачивать гостинцы.

Только и слышались бабушкины восклицания:

— Ах, какая прелесть! — Голос ее был почти совсем девичий, с южными придыханиями. — Какая роскошь! Какая прелесть!

Она так часто повторяла слова «какая прелесть», что они впоследствии перешли ко всем ее многочисленным дочерям и сделались как бы семейным выражением восторга.

Когда значительно позже появился на свет и я, то помню, как меня, маленького мальчика, тормошили бабушка и все незамужние екатеринославские тетки, подбрасывали меня к потолку, тискали, целовали, миловали, причем то и дело слышались выражения фамильного восторга: «Ах, какая прелесть!»

Я был «ах, какая прелесть», и все вокруг меня в том мире, который только еще начинал познавать, все было «ах, какая прелесть».

И моя мама тоже довольно часто произносила эту всеобъемлющую фразу.

— Посмотри, Пьер, — восклицала она, обращаясь к моему папе, — на это облако над морем, не правда ли, какая прелесть!

Я так привык к этому восклицанию, что когда в первый раз выпил из большой серебряной ложки рыбий жир, то воскликнул:

— Ах, какая прелесть!.. — Но сейчас же опомнился, скривил рот и поправился: — Вот гадость!

Но тогда, в те незапамятные и для меня легендарные дни в Керчи, поздним вечером на дворе бесился норд-ост, а в четырехкомнатной квартирке, только что оклеенной бумажными шпалерами, было так тихо, так тепло, так уютно.

Столовая с висячей олеиновой лампой под белым абажуром; дедушкин кабинет: письменный стол с парафиновыми свечами под зеленым козырьком, кавказский ковер на стене с кавказской шашкой, кинжалами и двумя пистолетами; спальня с горкой подушек на двупальной кровати, покрытой стеганым одеялом, а наверху пирамиды из подушек — совсем маленькая подушечка в кружевной наволочке — думка, — которую обычно бабушка подкладывала себе под щеку; детская комната, где в колыбельке, разметавшись, спала годовалая девочка Надя, а рядом на сундуке, расставив толстые ноги в шерстяных чулках, сидела заспанная няня.

Натопленные печи и кухня, откуда потягивало запахом солдатских сапог и сквознячком из-под двери, ведущей во двор.

Всюду в педантичном порядке была расставлена старая и новая, по случаю приобретенная мебель.

По-вечернему все было темно, но уютно освещено и очень нравилось дедушке, который впервые чувствовал себя настоящим, зрелым, женатым мужчиной, обладателем молоденькой жены Маши, отцом семейства, владеющим такой прекрасной четырехкомнатной квартирой, что когда бы еще ко всему этому фортепиано, то в пору хоть штаб-офицеру.

Денщик успел стащить с дедушки мокрые сапоги, и дедушка ходил из комнаты в комнату по своей прекрасной квартире в удобных штиблетах на резинках, с ушками.

Штиблеты легко поскрипывали, вполне по штаб-офицерски.

Вручение подарков происходило в столовой со специально припущенным по этому поводу фитилем. Мягкий свет заливал обеденный стол. Стараясь не торопиться, дедушка выкладывал один за другим свертки и пакеты перед счастливой, раскрасневшейся бабушкой. Бумажные свертки были плоские, элегантные, сделанные опытными руками одесских приказчиков мануфактурных и галантерейных магазинов на углу Дерибасовской и Преображенской, против кафедрального собора и памятника Воронцову.

Впоследствии на этом углу был выстроен знаменитый одесский пассаж, несколько не уступающий парижским пассажирам на Больших бульварах.

Одесский пассаж несколько раз горел, что дало местным острякам сочинить на этот случай довольно глупые куплеты:

«По дешевой распродаже продается все в пассаже, по копейке, по грошу, покупателей прошу».

Одесские магазины имели вполне европейский вид, а приказчики в визитках и полосатых штучных брюках, в высоких стоячих воротничках, с напомаженными проборами от лба до затылка на английский манер, и с закрученными усами на немецкий манер, и с бородками а ля Наполеон III на французский манер, с перстнями на хорошо вымытых руках представлялись наимоднейшими европейцами.

Дедушка разворачивал пакеты, извлекал из них набранные для бабушки отрезы легкой шерстяной материи или тяжелого лионского бархата, причем на углу каждого отреза висел маленький бумажный сверточек в виде треугольника, где находилась свинцовая пломба — свидетельство того, что товар настоящий заграничный и прошел через таможню.

Бабушка прикладывала на себя материи, смотрела в зеркало кокетливыми глазами. Она была такая хорошенькая «таракуцка», что ее несколько не портила довольно заметная беременность, сделавшая ее отчасти похожей на грошу.

Особенный восторг вызвал платок, то есть вернее сказать, большая кашемировая шаль с турецким рисунком огурчиками и густой бахромой. Эта шаль была так велика, что бабушка закуталась в нее с головы до ног и вертелась перед дедушкой, лицо которого сияло счастьем.

Не была забыта и нянька: ей досталось пять аршин бумазеи на платье с таким простеньким, но вместе с тем миленьким рисунком, что на миг у бабушки даже мелькнула мысль, не взять ли этот отрез бумазеи себе на халатик. Но доброе сердце победило искушение и бумазея была отдана няньке.

Самый главный подарок дедушка приберег на конец. Он извлек из заднего кармана дорожного сюртука коробочку и торжественно вручил ее бабушке.

Она открыла и ахнула.

В коробочке в розовой вате лежали, как птенчик в гнезде, маленькие дамские часики с эмалью.

— Настоящие швейцарские, от Баржанского! — не без гордости провозгласил дедушка, произнеся фамилию Баржанский с таким видом, точно это было имя какого-то знаменитого полковода, причем самодовольно разгладил свои уже порядочно отросшие бакенбарды.

Баржанский был владельцем одного из лучших часовых магазинов на юге России, однако не самого лучшего: лучшим считался магазин Пурица и К^о, у которого можно было приобрести неслыханной красоты дамские часики чистого золота и даже усыпанные алмазиками.

Говоря правду, бабушка втайне мечтала о золотых часиках от Пурица и К^о. Но дедушка не заметил мгновенного разочарования бабушки, а бабушке не стоило большого труда так же мгновенно полюбить часики от Баржанского, и дело кончилось традиционным семейным восклицанием:

— Ах, какая прелесть!

Сейчас я неясно помню эти бабушкины часики «от Баржанского», которые заводились по-старинному, ключиком, и которые я однажды, гостя в Екатеринославе и оставшись один в бабушкиной комнате, стал

заводить и, конечно, перекрутил пружину, так что часики пришлось отдавать в починку. За это я получил по рукам, но не слишком больно, потому что у бабушки были добрые, пухлые руки.

Зато турецкую шаль помню очень хорошо.

Эта шаль была так связана с представлением о бабушке, что бабушку и шаль было трудно отделить друг от друга: бабушка никогда не расставалась с этой шалью.

Бабушка и шаль старели на моих глазах, хотя я познакомился с ними, когда они были уже и не столь молоды.

С течением времени у бабушки на глазу появилось сначала еще не очень заметное бельмо, а шаль потерлась, но все же еще производила впечатление богатой вещи.

Последний раз я видел бабушку в самый разгар гражданской войны и военного коммунизма, летом 1919 года в Екатеринославе (который тогда еще не был переименован в Днепропетровск), где моя батарея по дороге на фронт пополнялась патронами.

Белые наступали на нас от Ростова на Лозовую, узловую станцию, имевшую решающее тактическое значение, и мы очень торопились поспеть туда вовремя.

Все же я решил съездить в город для того, чтобы хоть на десять минут повидаться с бабушкой, предчувствуя, что это будет наша последняя встреча, тем более что она, эта встреча, была как бы predetermined самой судьбой: наш эшелон мотался по местам, связанным с молодостью бабушки и дедушки.

Мы проезжали по стране дедушкиной молодости, где он служил после кавказской войны, о чем уже здесь упоминалось.

Мы проезжали через Мелитополь, Пятихатку, Бирзулу, Знаменку, ту самую Знаменку, где была свадьба дедушки и бабушки, пока нас наконец не занесло на запасные пути Екатеринослава, где мы должны были дожидаться боеприпасов.

В Екатеринославе закончил свою службу и вышел в отставку дедушка, туда меня возили из Одессы, когда я был совсем ребенком, там дедушка умер в первом году XX века, так и не дописав своих мемуаров.

Я сел в реквизированный экипаж, который моя батарея возила с собой в эшелоне, и на паре чесоточных лошадей, с босым красноармейцем на козлах поехал по городу, за несколько дней до этого разграбленному бандой батьки Махно.

Поднимаясь в гору по некогда нарядному тенистому бульвару, по которому в пору моего детства с жужжанием и звоном бегали вагончики первого на юге России электрического трамвая, а теперь рельсы поросли травой, я с трудом узнавал улицы, разбитые окна, выломанные металлические шторы магазинов, грязные вывески, тротуары, некогда такие чистенькие и политые из шлангов, а теперь усыпанные сухим мусором и битым стеклом, нестерпимо резко блестящим под лучами яростного и вместе с тем какого-то как бы пьяного июньского солнца.

Всюду было пусто, безлюдно, как будто город опустошила чума.

Долго не мог я найти бабушкин дом.

Я с трудом узнал знаменитый Потемкинский парк на высоком берегу Днепра, знакомый мне с детства своими вековыми дубами, а теперь наполовину вырубленный.

Черные бархатные бабочки со сложенными крыльями сидели на громадных древесных пнях.

Перед Археологическим музеем, на пустыре, потонувши в разросшемся бурьяне, стояли знакомые мне каменные плосколицые скифские бабы, провожающие меня еле намеченными глазами.

Далеко внизу, отливая оловом, струился широкий Днепр.

Появление моего экипажа посреди пустынной улицы у крыльца знакомого дома вызвало переполох: в окнах замечались женские фигуры. Мне долго не открывали. Наконец после звяканья каких-то многочисленных крючков и засовов упала последняя цепочка, дверь отворилась, и я увидел перед собой сильно постаревшую бабушку, завернутую в потертую турецкую шаль, так хорошо мне знакомую, но забытую.

Завидев меня, бабушка сначала испугалась и даже несколько отпрянула, но тут же узнала меня и радостно вскрикнула, и я бросился в ее мягкие объятия, прижавшись лицом к кашемировой турецкой шали, пропахшей множеством семейных, бачеевских, екатеринославских запахов.

Бабушка отвела меня от себя на расстояние вытянутых рук и, продолжая крепко сжимать пальцами мои предплечья и не отпуская меня от себя, почти с ужасом смотрела на мой френч со споротыми погонами, на фуражку, где вместо выпуклой офицерской кокарды краснела плоская пятиконечная звездочка, на цейсовский полевой бинокль, болтающийся у меня на груди.

— Боже мой, ты служишь у красных! — воскликнула она.

— Да, я командир батареи.

Видимо, это понравилось бабушке, которая привыкла уважать воинские должности, и даже ей немного польстило, что ее внук, несмотря на свою молодость, уже командует батареей, что в переводе с артиллерийского на пехотный означало, что я батальонный командир.

Меня окружили сбежавшиеся изо всех комнат тетки, мамыны сестры, проживавшие все вместе в своем екатеринославском гнезде.

Они не столько ужаснулись, сколько были поражены тем, что я, их племянник, офицер русской армии, внук генерала — участника покорения Кавказа и правнук героя Отечественной войны 1812 года капитана Нейшлотского полка Елисея Бачея, служу в Красной Армии.

Впрочем, времени для объяснений не было. В моем распоряжении оставалось не более десяти минут, и мой кучер-красноармеец уже несколько раз подозрительно заглядывал в окна и стучал в стекла кнутом.

Я перецеловался со всеми тетками, которые, узнав, что моя батарея скоро идет в бой, стали меня крестить и благословлять.

В знакомых комнатах было неуютно, незнакомо, беспорядочно. На постаревших обоих я увидел увеличенный портрет покойной дедушки в генеральском мундире, с бакенбардами, как у Александра II.

Общий разговор был сумбурный, отрывистый. Бабушке хотелось напоить меня чаем с клубничным вареньем, сохранившимся в кладовке от лучших времен, ей хотелось рассказать мне о своей жизни, о моей покойной маме, о дедушке, о его записках, которые она предполагала отдать мне вместе с замшевым портфелем, где хранились также записки моего прадеда, хотелось узнать о папе, о брате Жене, но время мое было на исходе.

Кучер снова постучал в окно.

Я вышел на крыльцо, как бы покрытое кружевной тенью цветущей белой акации. За мной следом бежала бабушка в домашнем капоте, поверх которого была накинута упомянутая турецкая шаль. Бабушка переваливалась, как утка, своим отяжелевшим телом. Слезы катились по ее пухлому лицу с бельмом на глазу, что делало ее похожей на Кутузова, и она, стоя на крыльце, еще долго крестила удаляющийся батарейный экипаж, кожаные крылья которого сухо блестели на солнце.

...И вот наш эшелон уже на всех парах мчался в сторону Лозовой, не останавливаясь на станциях и разъездах, и на открытых площадках со стуком подпрыгивали на стыках наспех закрепленные трехдюймовки

и зарядные ящики, возле которых сидели часовые, опустив ноги в черных обмотках за борт платформы, и в теплушках ржали и били копытами батарейные лошади, а вокруг сколько хватало глаз расстилались необъятные южные поля густой спелой пшеницы, стекловидно желтевшей под раскаленным солнцем; из мотающегося в хвосте эшелона почтового вагона, обклеенного революционными плакатами и портретами Ленина, два политработника в толстовках выбрасывали на полустанках пачки листовок, летающих в воздухе, как стаи чаек; а на горизонте в мучительно безоблачном небе уже то и дело вспыхивали, разрываясь, чернотельные облачка шрапнели, и сквозь грохот летящего поезда доносились звуки артиллерийской пальбы.

Это на Лозовую с Дона наступали денкинцы.

...товарищи, мы в огненном кольце!..

Скоро все улеглись спать, но в доме все еще царил дорогой запах импортной мануфактуры, а на кухне в углу за плитой лежала гора смятой оберточной бумаги.

«На другой день пошел в канцелярию, и все пошло своим порядком», — замечает дедушка со свойственным ему философским педантизмом.

«В Керчи была превосходная итальянская опера Корона. Мы посещали театр не менее трех раз в месяц, а иногда и чаще. Ложа стоила 4 рубля. Перед Пасхой у меня явилась еще одна маленькая дочь, Александра, таким образом, стало налицо их две: Наденька и Сашенька».

«Пасха довольно поздняя и потому очень теплая».

Ах, как, наверное, хороша была эта южная степная причерноморская поздняя весна среди холмов и развалин древних греческих и генуэзских городов и крепостей, подтверждавших догадки ученых, что Черное море есть всего лишь залив Средиземного.

Этой мирной весной еще сравнительно молодой дедушка сразу как-то возмужал, стал солидным семьянином с отличным служебным положением и хорошими видами на будущее. Дела его шли прекрасно, он успешно продвигался по службе, начальство его любило, и материально он был недурно обеспечен: помимо офицерского жалованья, различного рода суточных, прогонов, кормовых, командировочных денег, дедушка получил кое-что от своей матери: от продажи скулянского имения. Правда, наследство это делилось на несколько частей, но все же дедушке, по видимому, кое-что перепало.

Чувствуя себя хозяином хорошей квартиры, счастливым мужем и отцом, дедушка захотел упрочить свое общественное положение, устроив у себя для гостей богатый пасхальный стол, что должно было как бы утвердить его положение в гарнизоне. А может быть, он просто хотел слегка похвастать своими достатками.

«Помню, — пишет дедушка, — как хлопотала жена, готовя вместе с кухаркой и денщиком множество всякого пасхального печенья. Однако когда начали накрывать раздвинутый на три доски обеденный стол, оказался недостаток некоторой посуды. Пришлось послать к Ивановым просить одолжить, но получили отказ. Это очень меня задело».

«Несмотря на довольно позднее время — было уже часов 8 вечера страстной субботы, — я, чтобы успокоить жену, сам отправился в лавки и купил недостающие тарелки и большое блюдо для жареного поросенка».

«Когда я, до подбородка нагруженный покупками, шел домой, повстречалась мне компания молодых женщин и стала со мной разговаривать, заигрывать. Но, само собой разумеется, я молчал. Это их задело, и они, сказав:

— Это всегда так с женатыми. Толку с них мало,— отошли от меня прочь, а я спокойно пошел домой».

По всей вероятности, это небольшое уличное происшествие произвело на дедушку довольно сильное впечатление, иначе с какой бы стати он вспомнил о нем на старости лет и внес в свои записки?

Судя по всему, время было позднее, на улице южного города в таинственной сладострастной тени уже распустившихся акаций стоял теплый, сладостный запах молодых листьев, над городом еще плыл великопостный колокольный звон, к божьим храмам тянулись богомолки святить куличи, завязанные в салфетки, и во всем уже чувствовалось раздражающее нервы, какое-то любовное волнение, предчувствие того таинственного мига, когда вдруг в церквях как по волшебству траурные ризы священников превращаются в золотые, розовые, сверкающие, пасхальные, тысячи свечей, зажженные пороховым шнуром, вспыхивают в люстрах, открываются настежь царские врата — и грянет разноголосое ликующее «Христос воскрес» как весть того, что жизнь восторжествовала над смертью и теперь под трезвон пасхальных колоколов всем надо любить друг друга, и целоваться, и обмениваться пунцовыми крашенками.

В эту пасхальную ночь по обычаю южнорусских городов на улицу вышли искательницы приключений, веселые керченские полукровки — полухохлушки-полугречанки в нарядных шляпках в надежде подцепить на всю пасхальную ночь красивого кавалера и всласть с ним нахристосоваться где-нибудь в укромном уголке городского сада или на кладбище в кустах сирени.

Очень может быть, что солидный женатый дедушка, нагруженный до подбородка пакетами с посудой, при виде керченских мессалин пожалел, что он не холостяк, и вспомнил свои былые поездки к Пухинихе и веселые посиделки в ее хате. Но холостая жизнь для него навсегда прошла со всеми ее соблазнами; он был озабочен судьбой своего пасхального стола и торопился к ожидающей его нежно любимой супруге...

Как ни старались ночные феи соблазнить весьма недурного собой офицера, как ни уговаривали его своим колдовским шепотом пойти с ними сначала в церковь, а потом на кладбище христосоваться, но дедушка проявил похвальную твердость характера.

...Может быть, если бы не посуда...

— Ну что, на самом деле,— шептали феи.— Ей-богу, паныч, пидемо с нами, не пожалеете.

Но дедушка оставался непреклонным, хотя, правду сказать, и испытывал некоторый соблазн.

И феи наконец от него отстали, сообразив, что это «пустой номер».

— Да вы, наверное, уже обкручены. Жаль, что такой пиковый офицерик и уже, наверное, женатый. Идите себе с богом домой, христосуйтесь со своей жинькой!

Супружеская верность восторжествовала, и заливной поросенок с зеленой петрушкой в оскаленных зубках был водружен на большое новое блюдо между окороком с задранной кожей и перламутровой костью и высокими пасхами с сахарными барашками на белоснежных куполах.

А в квартире было жарко, духовито, пахло горячей сдобой, шафраном, ванилью, кардамоном, и на кухне сохли только что выкрашенные пунцовые, лиловые, зеленые, алые яйца, разложенные на тарелке вокруг горки с проросшей чечевицей.

Разговены прошли на славу, так что даже сестре бабушки мадам Ивановой, той самой, которая отказала в посуде, пришлось позавидо-

вать, а командир полка Шафиров, известный кавалер, дамский угодник и бонвиван, в тесном парадном мундире отличного сукна, с высоким воротником, прищемившим ему кожу под подбородком, расплостраняя вокруг запахи цветочного одеколona и бриллиантина, похристовался с бабушкой и дедушкой, выпил рюмку рябиновки и закусил ломтем сочной ветчины, предварительно намазав его таким толстым слоем нежной горчицы, что слезы выступили у него на глазах.

«23 апреля, в день св. Георгия, весьма чтимого греками, весь город собрался с утра в греческий монастырь. Мы с женой и маленькой Надей тоже отправились туда в экипаже».

«Народу масса. Пробыться в церковь и думать нечего. Сели на траву под большим деревом. Отличный вид на окрестности. Посидели час, наслаждаясь солнцем, воздухом, весной, до тех пор, пока кончилась служба. Из церкви до нас доносились только звуки хора, которые делали все вокруг еще более прекрасным, торжественным, праздничным».

«Потом поехали домой».

«Надя очень милый ребенок. Ей полтора года и она уже ходит. Всю дорогу она нас веселила своим лепетанием».

(Наверное, девочка, повторяя вслед за родителями, любующимися античными окрестностями Керчи, восклицала: «Кука пьелесть!»)

А дома еще лежала в колыбельке грудная Сашенька.

«В мае месяце по вечерам мы проводили время в саду Китлера в двух верстах за городом, куда выезжали в экипаже, что еще более увеличивало наше удовольствие от прогулки».

«Наступила зима. Тут уже пошла езда на тройках, на розвальнях, крытых коврами. Это доставляло нам немалое развлечение: вспоминалась та незабвенная масляная неделя в Знаменке, когда мы с Машей впервые мчались на санях в облаках снежной пыли; у Маши только одни глазки блестели из-за муфты. А теперь мы уже давно муж и жена, у нас две девочки, дом — полная чаша, вокруг мир и благоволение, никакой войны, живи — не хочу!»

«6 декабря, на Николу Зимнего, Шафиров по обыкновению давал обед, а потом танцевальный вечер с ужином».

Эти свои светские привычки неугомонный Шафиров протащил с собою всю войну, по всему кавказскому фронту, кажется, даже умудрился устроить танцевальную вечеринку во время очередной осады какой-то крепости.

«Таким же образом встретили и Новый год: с полковым оркестром, танцами и пробками цимлянского в потолок. Все шло радостно, печали не было. Словом, окончательно втянулись в мирную жизнь. Теперь можно было подвести кое-какие итоги минувшей кампании».

Впрочем, дедушка об этом мало думал; во всяком случае, ничего об этом не писал. Приходится заполнить этот пробел.

Вот что я вычитал в «Истории XIX века»:

«...в момент, когда вспыхнула Крымская война, русское владычество прочно утвердилось только на юге Кавказа, между Черным и Каспийским морями, в долине, отделяющей Армянский горный массив от Кавказского. В последнем направо и налево от Дарьяльской военной дороги (ныне Военно-Грузинская) горцы были почти независимы: на востоке Шамиль и его мюриды были хозяевами Дагестана; на западе абхазцы и черкесы, жившие на протяжении трехсот километров вдоль Черного

моря, хотя и признавали номинально русское верховенство, однако свободно сносились с Турцией, обменивали там рабов на оружие и боевые припасы, которыми они большей частью пользовались против пограничных кубанских казаков. Восстание всех этих народов во время Крымской войны подвергло бы Россию более значительной опасности, чем падение Севастополя. К счастью для нее, союзники не предприняли ничего серьезного в этом направлении».

Прибавлю от себя, что и дедушка там воевал неплохо.

«...в сущности, несмотря на свои высокомерные заявления, русское правительство желало мира; истощение России делало этот мир с каждым днем все более необходимым, но нельзя было сложить оружие до решающих военных действий. «Сначала возьмите Севастополь», — говорил в Вене князь Горчаков представителям держав. Севастополь был взят. Но несколькими неделями позже успех русских — взятие Карса — дал возможность удовлетворить их самолюбие и облегчить переговоры. Мир был заключен. Окончив войну, русское правительство поспешило покончить с опасностью, которой ему удалось избежать почти чудом».

«Русские войска (...и дедушка в их числе...), продвигаясь со всех сторон вперед, проводя дороги, устраивая форты при всех выходах из долин, покоряя одни племена за другими, принудили Шамиля запереться в Гунибе, почти недоступном ауле, который был взят приступом после ожесточенной борьбы...»

Это был, в сущности, всего лишь небольшой, хотя и важный эпизод, в конечном итоге связанный с многовековой историей борьбы России с Османской империей за выход к Черному морю.

То, что в свое время не удалось Петру, то удалось его потомкам; в том числе моему прадеду и моему деду.

...Они не зря проливали кровь на полях многих сражений...

«Наступил 1863 год. 1 мая мы переехали на другую квартиру, заняв теперь целый особняк. Поездки за город в сад Китлера, вечера у Шафирова, работа в канцелярии... Дни шли незаметно...»

«Но тут подошло польское восстание, которое разделило общество нашего полка. Русские и поляки стали держаться отдельно, питая друг к другу неудовольствие».

«6 декабря, в день полкового праздника, за обедом у Шафирова я предложил послать телеграмму Муравьеву в Вильно. Русские офицеры поддержали меня. Шафиров согласился тоже, поручив мне написать ее. Я тут же составил и прочел. Все русские офицеры одобрили. Шафиров подписал. И я тотчас сам отвез ее на телеграф на станцию. Вот ее содержание:

«Литовский егерский полк, празднуя сегодня день своего полкового праздника, не мог пройти молчанием Ваше имя, столь дорогое для каждого русского, преданного государю, престолу и отечеству. Пьем за здоровье Ваше, за дела Ваши! Подписал от лица офицеров полковник Шафиров».

«Через два дня позвал меня Шафиров и дает прочесть полученный ответ, в котором Муравьев благодарит за приветствие и шлет свой привет полку из усмирной Литвы».

«— Вы, — сказал мне Шафиров, — виновник этой телеграммы. Отдайте ее в приказе по полку и сохраните у себя на память».

Мне крайне неприятно приводить эти строки из дедушкиных записок. Но что делать — из песни слова не выкинешь...

События в Польше раскололи на две части все русское общество, даже, как мы видим, офицерство.

Историки говорят, что в 1863 году в восставшей Польше и Литве было, по-видимому, не больше 6 или 8 тысяч инсургентов, разделенных на большое количество мелких отрядов. Они вообще не могли держаться против русских ввиду численного превосходства последних, но спасались от их преследования благодаря густым лесам, содействию местного населения и служащих, уроженцев страны. Чтобы покончить с восстанием, понадобилась армия в 200 тысяч человек и военная диктатура. Генералы Берг в Варшаве и Муравьев в Вильно, облеченные всей полнотой власти, расправлялись с диким произволом, поддержанные консервативным русским общественным мнением.

Характеризуя позицию, занятую русскими «либералами» по отношению к восставшей Польше, Ленин подчеркивал, что подлинные демократические элементы русского общества держались совершенно иной позиции.

Увы, дедушка не был не только «подлинно демократическим элементом», но даже не был простым «либералом», хотя бы и в кавычках. Он был заурядным армейским офицером, прошедшим суровую школу кавказской кампании по усмирению горских племен. Для него восстание поляков было нечто вроде восстания Шамиля. Он мало разбирался в политике. Он был всего лишь исправным служакой, готовым положить свой живот за веру, царя и отечество.

«Наступил 1864 год. Все шло по-прежнему. К 1 мая мы переехали на новую квартиру в доме грека, отставного чиновника, на Николаевской улице. Во дворе во флигеле жил сам грек со своею семьею, а на углу, в фасадном доме, — я. Пять комнат и крытая галерея за 240 рублей в год, с конюшней и сараем для экипажей, которых у меня было уже два: коляска и дрожки, а еще крашеный немецкий фургон».

«Жилось хорошо и весело».

«В сентябре наш знакомый доктор Сохраничев женился на мадемуазель Штурба. Мы были на свадьбе, а потом часто навещали молодых, живших также на Николаевской улице. Через месяц Сохраничевы уехали по переводу мужа в артиллерию Московского военного округа».

«Наступил 1865 год. Собрание офицеров полка у меня в доме продолжалось как и прежде».

По-видимому, дедушка и бабушка жили зажиточно, может быть, даже богато; у них был открытый дом, и своим хлебосольством они уже начинали соперничать с самим Шафировым.

Дедушка отпустил бакенбарды и стал походить лицом на императора Александра II, а бабушка еще более расцвела, раздобрела и как полковая дама, хозяйка открытого дома, затмила свою старшую сестру мадам Иванову, жену адъютанта.

«Прошла масленая, наступил великий пост, а затем и святая Пасха. Все шло как прежде».

«В июне произошел казус, о котором не могу не вспомнить»:

«Офицер полка подпоручик с курьезной фамилией Пехота, из фельдфебелей 17-й дивизии, произведенный в наш полк пять лет тому назад, был большим любителем рюмки водки».

«В июне, будучи в лагере дежурным по батальону и захотев выпить на чужой счет, отправился он в землянку женатых солдат проведать, нет ли у солдаток продажной водки. В 4-й и 5-й ротах ему дали выпить по шкалику даром, и он уходил оттуда молча. Но в 6-й роте одна старая

солдатка возмутилась столь незаконным требованием даровой выпивки и не пустила подпоручика Пехоту в землянку, куда он рвался, чтобы поискать спрятанную водку».

«Будучи уже изрядно пьян, подпоручик Пехота пришел от этого сопротивления в ярость, ворвался в землянку и с криком стал все перевертывать вверх дном».

«Баба, возмущившись таким поведением пьяного офицера, стала его бранить. Пехота ударил ее по лицу. От этого баба еще больше разъярилась, начала в свою очередь бить Пехоту по лицу, сорвала с него погоны и с бранью вытолкала его вон».

«Пехота, будучи пьян, от такого приема упал за хатой и уснул. Дали знать дежурному по полку. Дежурный по полку велел поднять подпоручика Пехоту и перенести в палатку. Назначив другого дежурного по батальону, дежурный по полку о поступке Пехоты донес рапортом командиру полка».

«Все офицеры были возмущены Пехотою. Я, как член суда чести офицеров, стал говорить, что это подлый, постыдный поступок».

«Командир полка, получив рапорт дежурного, отдал приказание суду чести разобрать все дело. Мы — то есть суд — потребовали сведения от офицеров, знающих дело, опросили солдат, бывших дневальными и дежурными по роте, видевших все происшествие. Как офицеры, так и солдаты все показали одно: что Пехота в мундире ходил по землянкам и требовал показать ему, где спрятана водка, и что хозяева подносили ему по шкалику, которые он тут же выпивал, а затем уходил в другие землянки, пока не попал в землянку женатого солдата 6-й роты, где встретил сопротивление опытной солдатки-шинкарки и, будучи уже совершенно пьян, ударил бабу по лицу; та в свою очередь дала ему сдачи, порвала на нем мундир и выставила за дверь, после чего он упал и уснул».

«Прочитав все показания, я стал требовать, чтобы Пехоту удалили из полка, предоставив ему подать в отставку. Все члены согласились со мной за исключением председателя суда чести подполковника Соколова, который полагал спросить сперва мнения командира полка. Я говорил, что поступок Пехоты так грязен, что Пехота не может оставаться в полку».

«На другой день утром Соколов доложил обо всем Шафирову, причем присовокупил, что я в особенности требую и настаиваю на удалении Пехоты из полка».

«Шафиров потребовал меня к себе. Когда я прибыл, он с пеной у рта набросился на меня: как я смею требовать удаления Пехоты из полка, когда командир полка он, Шафиров, и что это его дело — увольнять офицера из полка или не увольнять. Я стал возражать, говоря, что нас зачем-то избрали судом чести и он сам приказал нам разобрать это дело».

«Шафиров накричал на меня, что это не мое дело, потом, повернувшись быстро спиной ко мне, убежал в соседнюю комнату, а я, выйдя вон, сейчас же написал телеграмму брату в Одессу, прося его посодествовать в штабе округа о назначении меня в юнкерское училище, так как я больше в полку служить не хочу».

«Через две недели была получена бумага из окружного штаба через дивизию о неимении препятствий о назначении меня в Одесское юнкерское училище. А еще через две недели последовал приказ по округу о назначении меня адъютантом-казначеем училища».

«После первой телеграммы Шафиров, встретившись со мной в садике, где было гулянье, подозвал меня и ласково спросил:

— Зачем вы оставляете полк?»

«Я ответил, что после происшедшего относительно подпоручика Пехоты мне невозможно оставаться в полку».

«Шафиров, пожурив меня, ласково простился и ушел».

«По получении приказа по округу Шафиров спросил меня, не могу ли я порекомендовать кого-нибудь на место себя. Я указал на прапорщика Щербака как хорошего офицера. Шафиров, собрав батальонных командиров, поручил мне переговорить с офицерами относительно избрания Щербака. Батальонные командиры переговорили со своими офицерами, которые согласились на кандидатуру Щербака. По докладе Шафирову тот отдал приказ относительно избрания. Выборы состоялись, избирательные листы подписаны, и Щербак в три дня принял от меня должность».

(Какая это была должность, дедушка не упоминает. Вероятно, какая-нибудь штабная, может быть казначея или чего-нибудь вроде. Видимо, после войны дедушка не занимал строевых должностей.)

История с подпоручиком Пехотой, столь неожиданно кончившаяся для дедушки, отчасти проливает свет на порядки русской армии того времени. Была какая-то демократия, выборность, но все это имело чисто показной характер. Выборность была при обязательном единоличном утверждении вышестоящим начальником, в данном случае командиром полка — полномочным хозяином своей части.

Комический случай с Пехотой дает возможность сопоставить два человеческих характера, весьма, я думаю, распространённых в дореволюционной русской армии, два офицерских типа: тип дедушки и тип Шафирова, тип идеалиста и тип практика. Оба хотя и дворяне, белая кость, но очень отличаются друг от друга.

Дедушка — молодой офицер, трезвенник, аккуратист, блюститель офицерской чести.

Шафиров — немолодой полковой командир, холостяк, весельчак, любитель всяческих танцевальных вечеров, банкетов и полковых праздников, дамский угодник, обаятельный кавалер, что не мешало ему отлично воевать и быть хорошим командиром, любимцем как офицеров, так и нижних чинов.

Дедушка, будучи членом полкового суда чести, подошел к поступку подпоручика Пехоты неумолимо строго и потребовал удаления Пехоты из полка, что по всем понятиям об офицерской чести было справедливо.

Однако Шафиров не только с дедушкой в этом вопросе не согласился, но даже был, как пишет дедушка, «разъярен» тем, что дедушка потребовал изгнания Пехоты из полка в отставку.

Шафиров подошел к делу не с высоты своего дворянства, а очень просто, по-хозяйски, прекрасно понимая характер провинившегося подпоручика Пехоты, который, будучи произведен в офицеры из нижних чинов за образцовую строевую службу, в сущности, продолжал оставаться все тем же солдатом. Ему захотелось выпить — и он, как человек простой, не пошел к офицерам, а пошел шарить по семейным солдатским землянкам, прекрасно зная, что у своего брата солдата или у солдатской женки-шинкарки всегда найдется для него шкалик водки и соленый огурец — и все будет шито-крыто. Свой брат солдат его не выдаст. Таким образом он очутился в землянке старой солдатки, промышлявшей шинкарством. Баба не захотела ему дать водки даром, и они простецки подрались: она разодрала на нем мундир, сорвала погоны, подбила глаз, а он устроил в землянке дебош, за что и был вытолкан в шею на свежий воздух, после чего мирно заснул на земле, по-детски сопя и чмокая губами под рожими мокрыми усами.

Подобные истории случались с ним частенько, и дело это, собственно, не стоило выеденного яйца: ну, пьяный мужик подрался со сварливой бабой, с кем не бывает.

Посадить его на десять суток на гауптвахту — и дело с концом.

А тут раздули целое дело: товарищеский суд, офицерская честь и тому подобный вздор.

Шафиров же правильно понял все это происшествие. Ему вовсе не хотелось как рачительному хозяину полка из-за пустяков терять опытного офицера «из простых», то есть человека, знающего в совершенстве солдатскую душу. Таким офицерам цены нету!

А дедушка-чистюля этого не понял, и Шафиров чуть было не лишился такого в высшей степени полезного офицера, как Пехота, по сравнению с которым все эти франтики вроде дедушки немногочисленны, ибо армия держится именно на таких сверхсрочных унтер-офицерах и фельдфебелях, из каких выбился в офицеры Пехота.

Разумеется, Шафиров вызвал к себе Пехоту и втихую дал ему хорошую взбучку, может быть, даже раза два съездил по уху, даром что Пехота был господин офицер.

Дело это обошлось как нельзя лучше, келейно. И подпоручик Пехота остался доволен, что его не турнули из полка, и Шафиров не потерял нужного человека.

А дедушке пришлось перевестись из полка в штаб округа.

«15 сентября 1865 года Шафиров дал мне прощальный обед с собранием всех офицеров. За шампанским Шафиров, а потом и офицеры говорили речи и выражали свое удовольствие за мою службу и сохранение их интересов. В свою очередь, я благодарил их за внимание и доверие, которое они мне оказывали».

Видимо, дедушка исполнял в полку какую-то общественно-выборную должность, может быть, ведал кассой взаимопомощи.

«Я забыл сказать, — пишет дедушка, — что в сентябре 1864 года заболевшая сильно маленькая дочь моя Саша умерла. Похоронив ее рядом с Надей, остался безутешным, но ожидал через месяц прибыли новой, которая завершилась 26 октября 1864 года рождением дочери Клеопатры, то есть попросту Клёни. Крестины были спустя месяц после рождения. Шафиров был крестным отцом, а мадам Метемиллю крестной матерью».

Эту маленькую девочку я хорошо помню как старшую мамину сестру — Клеопатру Ивановну, «тетю Клёню». В детстве она казалась мне уже старухой с лицом Пиковой дамы. Она дожила до советской власти и умерла в двадцатых годах в Екатеринославе, через год или два после того, как я в последний раз виделся с бабушкой по дороге на фронт, о чем здесь упомянуто.

Помню, до революции тетя Клёня служила в Контроле, и это слово было в моем представлении тесно связано с ее именем Клёня. Слова «контроль» и «Клёня» слились в некое единое звукосочетание, напоминающее также щелканье подков по мостовой, звук звонка конки, на которой тетя Клёня ездила служить в Контроль в то время, когда в Екатеринославе еще не было электрического трамвая. Впрочем, трамвайные звонки тоже напоминали слово «Клёня».

«16 сентября 1865 года я поехал с прощальными визитами, которые длились до позднего вечера, а на другой день утром, часов в 11, поехал на пароходе в Одессу».

Дедушка ничего не пишет о том, что он испытывал, покидая Керчь.

Худой тридцатилетний офицер в летней шинели внакидку, он стоял на палубе парохода и смотрел на удаляющуюся пристань, где в толпе провожающих стояла его Маша, а рядом с ней — мамка-кормилица, держа на руках недавно родившуюся девочку Клёню. Маша была в шляпе и махала платочком. Дедушка снял фуражку с громадным, еще «севастопольским» кожаным козырьком и помахал ей в ответ.

Знакомые очертания керченских окрестностей потонули в угольном дыму, валившем из паровой трубы. Позади виднелись голубые очертания исчезающего кавказского берега, вызывая воспоминания о минувшей войне, спереди приближались очертания Крыма.

Сентябрьское солнце сияло еще довольно ярко, спокойное море растянулось до самого горизонта, подернутого осенней дымкой, летали чайки, несколько дельфинов, обгонявших пароход, показали из воды свои спины с треугольными плавниками...

Привыкший к размеренной полковой и семейной суете и вдруг теперь оставшийся наедине с самим собой среди праздной красоты осеннего моря, дедушка почувствовал щемящее одиночество. В голову стали приходить печальные мысли о двух маленьких девочках — Наденьке и Сашеньке, — чьи могилки остались позади, на каменистой земле керченского кладбища.

Странно, что о смерти Наденьки, которая некогда так забавляла дедушку и бабушку своим прелестным лепетом, дедушка в своих записках даже прямо не упомянул!

Стоя на палубе, дедушка думал о своей жизни, половина которой прошла как-то совсем незаметно, бездумно, даже не прошла, а бессмысленно пролетела...

«...Средь этой пошлости таинственной...»

Но больше всего душевной боли причиняли ему мысли о том, что Россия не только потеряла свой черноморский флот, потопленный в Севастополе, не только пережила горечь поражения во время несчастной крымской кампании, но подписала унижительный мир, по которому не имела права иметь на Черном море ни военного флота, ни арсеналов, то есть по-теперешнему военных баз. Еще слава богу, что кавказская армия взяла Карс, что дало возможность обменять его на Севастополь, а то бы и Севастополя лишились.

Сгоревший дотла, превращенный в груды развалин, Севастополь был кровоточащей раной в сердце каждого русского человека того времени.

Стоя на спардеке и приложив ладонь к козырьку фуражки, дедушка оглядывал пустынный черноморский горизонт, не надеясь увидеть многоярусные паруса русских военных кораблей. Их не было и быть не могло. Лишь изредка появлялся скромный парус русской торговой шхуны, дубка или турецкой бригантини.

«В 5 часов вечера того же дня прибыли в Феодосию и стали на рейде. Взяв лодку, я сошел на берег и отправился навестить Карташовых. Пробыв у них час, напившись чаю, уехал обратно на пароход, который уже давал третий гудок».

Ночью прошли мимо херсонесского маяка. Поднимался крепкий ветер. Развалин Севастополя не было видно в кромешной тьме, но мысли о нем продолжали мучить.

«Сердитый вал к нам в люки бьет, — писал примерно в то же время Полонский, — фонарь скрипит над головой; и тяжело стонет пароход, как умирающий больной... Едва ли, впрочем, этот Крым, и этот гул, и этот дым, и эти кучи смрадных тел забудешь ты когда-нибудь, куда бы ты ни полетел душой и телом отдохнуть...»

«Гром и шум. Корабль качает; море темное кипит; ветер парус обрывает и в снастях свистит. Помрачился свод небесный, и, вверяясь кораблю, я дремлю в каюте тесной... Закачало — сплю. Просыпаюсь... Что случилось? Что такое? Новый шквал? — Плохо. Стеньга обломилась. Рулевой упал».

«Что же делать? Что могу я? И, вверяясь кораблю, вновь я лег и вновь дремлю я...»

«Закачало — сплю».

«Снится мне: я свеж и молод, я влюблен, мечты кипят... От зари роскошный холод проникает в сад...»

Не думаю, чтобы дедушка знал эти стихи Полонского, но, несомненно, нечто подобное он испытывал ночью, когда пароход по обыкновению здорово потрянуло под Тарханкутом.

(Тогда на пароходах иногда ставили парус, чаще всего кливер.)

Утром ветер утих, море успокоилось, началась мертвая зыбь.

«В 11 часов утра приехали в Одессу».

Дальше дедушка со свойственной ему педантичностью сообщает, как он сначала поехал к брату, а на другой день являлся начальству юнкерского училища, а потом делал визиты офицерам, в том числе ротному командиру штабс-капитану Ивану Васильевичу Банову, «милому, любезному человеку — холостяку».

Дедушка почему-то всегда имел обыкновение отмечать семейное положение человека — холостяк ли он, или женатый, или вдовец.

«Училище помещалось на Канатной улице, в Сабанских казармах, во второй их половине; передняя часть была занята стрелковым батальоном».

Один из ротных командиров юнкерского училища был поручик Андреевский, дедушкин товарищ по гимназии.

Так прошли первые дни пребывания дедушки в Одессе. Все здесь было ему знакомо с юных лет. Сабанские казармы — одна из достопримечательностей города — каменное громоздкое здание, некогда принадлежавшее Каролине Собаньской, несметно богатой польской аристократке, у которой бывал во время своего пребывания в Одессе Адам Мицкевич, кажется, бывал и Пушкин; затем полукруглая белокаменная колоннада возле Воронцовского дворца, как бы повисшая в голубом воздухе над раскинувшейся глубоко внизу торговой гаванью, над мачтами парусников и трубами пароходов, которые еще недавно назывались «пироскафами»; гимназия, откуда дедушка отправился волонтером в действующую кавказскую армию; знаменитая лестница; памятник дюку де Ришелье, символически простершему свою античную руку в сторону Стамбула; пушка с потопленного английского фрегата «Тигр»; бульвар, его пятнистые платаны; городской театр; Ришельевский лицей...

Все это имело для дедушки особый смысл: здесь он был гимназистом, мальчиком, а теперь вернулся тридцатилетним отцом семейства, героем кавказской войны.

«Остальные дни недели я был занят приисканием квартиры, которую нашел на углу Ришельевской и Базарной улиц в доме Чижевича. В ожидании приезда жены прикупил некоторую мебель».

«Скоро приехала жена, которую я встретил на пристани. Она привезла остальные вещи и двух человек солдат; один из них был наш денщик Иван, другой временно дан из полка как вестовой сопровождать жену».

Вместе с бабушкой приехала и маленькая Клёня, которую держали на руках.

Веселая, энергичная, добрая бабушка, тогда еще совсем молодая женщина, сразу же разогнала меланхолию дедушки. Весь мир вокруг него как бы озарился ласковым южным светом.

Бабушка бегала по новой квартире среди узлов и неразобранных корзин, баулов, портпледов и чемоданов, то и дело цепляясь шлейфом за мебель.

Она хвалила квартиру, время от времени обнимала и целовала дедушку в бакенбарды, немножко с ним вальсировала, мысленно размещала обстановку и определяла назначение каждой комнаты, в то время как нянька варила на спиртовке кашку для маленькой Клёни.

В голые окна, еще не одетые занавесками, светило золотое сентябрьское солнце, проникавшее с улицы сквозь мелкую зелень еще не пожелтевших акаций, а с Ришельевской улицы долетали звонки конок, щелканье подков по гранитной мостовой, дробный стук дрожек, крики разносчиков и старьевщиков — беспорядочный уличный гам.

«В 3 часа, после того как брат вернулся из банка, мы отправились к нему. Я познакомил его с моей Машей. Мы поговорили о том о сем и через два часа пошли домой».

Как читатель уже знает, старший брат дедушки Александр Елисеич, крупный одесский банковский служащий, один из столпов местного общества, обладавший большими связями, что видно хотя бы из того, с какой легкостью он устроил перевод дедушки из Керчи в Одессу, не одобрял женитьбы дедушки на хорошенькой бесприданнице. Однако дедушка его поставил перед совершившимся фактом. Неизвестно, понравилась ли старшему брату жена младшего. Судя по сухому замечанию дедушки «мы поговорили о том о сем и через два часа пошли домой», старший брат не вполне примирился с выбором младшего брата. Но делать было нечего. Неохотно, но все же он признал свою бель-сер, и, таким образом, с этого дня бабушка вошла в одесское общество.

«Из дома пошли мы с Машей по лавкам покупать что нужно для обстановки. Купили мебель, зеркала, швейную машинку, пианино и все прочее, что нужно».

...Они уже не были молодоженами, но совместная покупка новой мебели и прочих предметов домашнего обихода всегда возвращает супружескую пару к первым дням совместной жизни. Устройство нового гнезда еще больше их сблизило, возвратив весь пыл слегка остывшей страсти.

Бабушка, по рождению одесситка, уехавшая некогда из родного города молоденькой девушкой, вернулась обратно женой офицера, матерью семейства, полковой дамой.

Со свойственной ей энергией она ходила быстрым мелким шагом под руку со своим мужем по магазинам, выбирая необходимые вещи. Она с детских лет знала, где что можно дешево купить. Они обошли Ришельевскую, Дерибасовскую, Екатерининскую, Преображенскую, заходя в магазины и выбирая вещи.

...Теперь уже война отступила в такую глубокую даль, что дедушка едва мог представить, что все это — и рубка леса, и пылающие сакли и горные аулы среди каменных нагромождений, и снежные вершины, и древняя небольшая крепость, выстроенная некогда на возвышенности посредине Гори против турок, и самоубийство Горбоконя, и убийство унтер-офицера Гольберга, и набеги горцев, и отрубленные головы, катящиеся по окровавленной каменистой почве, — все это было на самом деле, а не приснилось.

Да и захолустная полковая жизнь в Знаменке казалась временами никогда не бывшей.

Начиналась новая жизнь в большом портовом, вполне европейском каменном городе.

Бабушка и дедушка, сделав покупки и распорядившись о доставке их на новую квартиру, веселые и довольные, напоследок отправились в Пале-Рояль — маленькую изящную копию парижского Пале-Рояля — и там, сев за круглый железный столик под сенью платанов, съели в кондитерской две порции пунша-гляссе, которым славилась эта кондитерская не только на всю Одессу, но и на весь юг Новороссии.

Пунш-гляссе представлял из себя полупрозрачное банановое мороженое в металлическом бокале. Посередине горки мороженого была сделана ямка, наполненная ямайским ромом, распространявшим тонкий опьяняющий запах, особенно волнующий в садике, пронизанным жаркими лучами сентябрьского солнца и слегка грустным ароматом подсыхающих платановых листьев.

Читатель еще прочтет в этой книге нечто о ямайском роме.

...Приподняв с хорошенького носика вуаль с мушками, бабушка облизывала маленькую ложечку розовым язычком. Ложечка была покрыта морозным туманом, и язык прилипал к ней...

Вечером на углу Ришельевской и Базарной возле ворот дома Чижевича остановились две пароконные открытые площадки, называемые в просторечии «платформы». Они были нагружены мебелью из магазина братьев Тонет, зеркалами из магазина Зусмана и пианино из депо музыкальных инструментов Рауша, обернутыми пахучей рогожей.

Вскоре все эти вещи были внесены в квартиру, расставлены по своим местам, и бабушка села на крутящийся на винте табурет перед пианино, открыла лакированную крышку и сыграла несколько зажигательно-веселых полечек своими проворными пальцами, а дедушка между тем искал место, где бы поставить ломберный стол. Определив его наконец между двумя окнами, он с удовольствием смотрел на его новенькое зеленое сукно, еще не запачканное карточными записями, сделанными особыми мелками, а потом стертými специальными круглыми щеточками.

Дедушка разложил на ломберном столе колоду нераспечатанных карт, круглые щеточки, поставил медные шандалы с необожженными стеариновыми свечами и долго любовался всем этим картежным хозяйством, воображая, как он будет иногда устраивать для своих сослуживцев-офицеров вечеринки под пианино, легким ужином и карточной игрой по маленькой с пуншиком.

«Начали устраиваться. Через неделю я отправил вестового обратно в полк».

Началась новая жизнь, совсем не похожая на старую.

«В училище все надо было устраивать заново, все заводить сначала. 1 октября начался курс. Собственно говоря, со 2-го, так как 1-го было молебствие и освящение помещений. Первое время начальник училища Ордынский ходил в казначейство со мною вместе и полученные деньги брал к себе. Я ничего на это не возражал, думая про себя: так лучше, меньше ответственности. Ордынский скоро убедился на деле, что возиться с деньгами не так легко, как думается».

«Месяц прошел».

«Ордынский, запутавшись и приплатившись, бросил это дело и деньги дал мне — получать; выдавать и вести счета, говоря:

— Ну их к черту, эти деньги, делайте все сами, в конце концов, это ваше дело».

«С тех пор я вступил вполне в обязанности казначея, кроме того, исполнял также и должность адъютанта».

«Моя канцелярия помещалась в нижнем этаже возле ворот, с левой стороны входа; тут же в нижнем этаже были столовая и гимнастический зал».

«С первого времени письменных занятий было много, переписка большая, так что я приходил в 8 утра и работал до 3-х. Затем уходил домой обедать, через два часа возвращался и засиживался до 8 вечера. Однако через полгода переписка уменьшилась и занятия были только днем, до обеда».

«На Рождество и Новый год делал визиты Ордынскому и своим офицерам. Мало-помалу перезнакомился с одними, с другими, и жизнь пошла, как в полку, — дружно, со взаимным доверием и уважением друг к другу».

«На Рождество и масленую устраивались у нас в училище спектакли или танцевальные вечера, на которых юнкера и начальствующие плясали до света».

Можно себе представить эти спектакли на самодеятельной сцене, сколоченной юнкерскими плотниками, среди декораций, написанных местными малярами, освещенных рампой, состоящей из ряда олеиновых ламп с рефлекторами, и рубчатой раковины суфлерской будки, по сторонам которой горело две свечи: переодетые в театральные костюмы юнкера-любители в париках, наклеенных усах, с подмазанными глазами, в женских юбках и кофточках, говорящие неестественными голосами, разыгрывали «Женитьбу» Гоголя, и публика на скамейках и стульях умирала от хохота, когда Подколесин прыгал в трясущееся полотняное окно, в то время как из суфлерской будки доносился все время зловещий шепот суфлера.

А потом — танцы до утра под звуки юнкерского духового оркестра, до утра, до упаду.

Юнкера в парадных мундирах с ярко начищенными медными пуговицами и бляхами поясов, в сапогах первого срока.

Дамы — приглашенные епархиалки и институтки, приведенные сюда парами под наблюдением классных дам, в своих грубых форменных платьях, белых фартуках и козловых башмаках с ушками, с волосами в черных сетках, но такие юные, такие хорошенькие, смущенные, румяные, с вспотевшими подмышками...

...Они летали в упоительной мазурке по паркету, сотрясенному топотом юнкерских каблуков, а стекла высоких казенных окон дрожали от ударов турецкого барабана, да и не только стекла! Казалось, самые стены Сабанских казарм, непомерно толстые, старинной кладки, мрачные, холодные, плохо освещенные коридоры и закоулки, пропитанные запахом светильного газа, солдатского сукна, щей, самоварной мази, которую юнкера начищали пуговицы своих мундиров, — все содрогалось от мазурки...

...Тех самых Сабанских казарм, выходящих на четыре стороны одного из кварталов Канатной улицы, выстроенных в тяжелом стиле русского ампира богачом Собаньским, крупнейшим хлеботорговцем, который держал здесь запасы зерна, приготовленного на вывоз за границу, и откуда из верхних окон было видно яркое море с белым Воронцовским маяком...

...Сами Собаньские занимали парадные апартаменты в этом, по существу, торговом заведении, складском здании, связанном с легендой о романе Собаньской с Адамом Мицкевичем и о романе Собаньского с женой известного итальянского негодяя мадам Ризнич, в которую в то же время был влюблен Пушкин, посвятивший ей божественные стихи «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой; в час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой...» — и т. д.

Но, видимо, в ее глазах нищему опальному поэту нечего было тягаться с миллионером Собаньским!

Судьба Мицкевича была более счастливой.

Впрочем, быть может, все это лишь пустая легенда, плод воображения экзальтированных одесситов.

«Начальник училища Ордынский раз в неделю по вечерам читал лекции по истории или русской литературе, весьма интересные, и я тоже бывал на них, интересуясь его рассказами».

Из этого я заключаю, что в офицерской среде уже начиналось некое просветление после ужасной кавказской кампании и тягостной Крымской войны. В армии появился дух просвещения. Нашлись офицеры-просветители. К их числу принадлежал и начальник юнкерского училища Ордынский.

Дедушка не пишет, о чем «рассказывал» в своих лекциях этот полковник, так не похожий на бывшего начальника дедушки полковника Шафирова.

Можно предположить, что в области литературы Ордынский говорил, конечно, о Пушкине, о Лермонтове с его «Героем нашего времени» и, уж наверное, о Белинском, а может быть, и о Чернышевском с его «Очерками гоголевского периода...», и о Добролюбовском «Луче света в темном царстве».

Как ни странно, но в иных случаях в то время армия в лице передовых офицеров была более свободна в своих суждениях, более широка в литературных вкусах, более независима и даже «либеральна», чем гражданское чиновное общество.

Быть может, тут сказалась горечь крымской катастрофы, в которой был виноват Николай I со своей невежественно-грубой политикой и глупой самонадеянностью посредственного монарха, возмнившего себя гением, чуть ли не владыкой мира, что довело несчастную Россию до полного отупения и упадка, приведших к несчастной Крымской войне, к севастопольской катастрофе.

Офицерские круги яснее других понимали причины военных неудач и стремились поднять армию на высоту современных требований, сделать русское офицерство культурнее и умнее. Может быть, это были какие-то далекие, слабые отблески декабризма.

Появились образованные, честные офицеры вроде Ордынского, которые несли в военную среду свет образования: лекции, театр, музыку.

Дедушка, будучи по природе службистом и «аккуратистом», видимо, поддавался новому веянию и увлекся лекциями Ордынского, ради которых отказывался от вечеров в семейном кругу в уютной квартире на углу Базарной и Ришельевской, от полек и вальсов, которые бабушка разыгрывала на новом, еще резко звучащем пианино, в то время как маленькая Клёня, сидя у него на руках, вертелась и тарасила черные глазенки на пламя стеариновых свечей, отражавшихся в черном лаке инструмента.

В особенности дедушка увлекался историческими лекциями Ордынского.

Плотный, несколько тучный, в сюртуке с выпуклым значком Академии генерального штаба, Ордынский сидел за особым столиком перед слушателями — офицерами и юнкерами и, наклонив над тетрадкой круглую, коротко остриженную ежиком серебряную голову, блестя золотыми очками, читал несколько грубоватым, но проникновенным голосом свои замечания по истории выхода Российского государства к Черному морю.

...Петр прорубил окно в Европу на Балтийском море, но ему не удалось сделать то же самое на Черном. Прутский поход кончился поражением...

Дедушка живо представлял себе военную обстановку того времени. Как писал в своих записках бригадир Моро-де-Бразе о походе Петра 1711 года, в котором Моро-де-Бразе участвовал на стороне русских, это было ужасное поражение, из которого, впрочем, Петр выпутался, сохранив военную честь, отступив за Прут со знаменами, в полном порядке и с музыкой.

«При совершенном наступлении ночи, — пишет Моро-де-Бразе, — его царское величество велел остановиться батальону-каре. Мы выстроились как можно исправнее. Мы расположились на биваках. Ночлег был краток, и ночь чрезвычайно дождлива...»

Тут галантный француз-бригадир делает следующее отступление, обращаясь к своей читательнице:

«Не правда ли, что вы находите меня нечувствительным в отношении к вашему полу, ибо до сих пор не говорил я вам о всем, что претерпели дамы, находившиеся в нашей армии?»

«Вообразите их себе, милостивая государыня, посреди ужасов четырехдневного сражения; подверженных тем же опасностям, как и мы; кареты их прострелены были пулями, разбиты пушечными ядрами; и эти милые дамы должны были попасться в плен, если не погибнуть в нечаянном нападении, коего мы только и опасались. Не знаю, более ли они страдали во время битвы, нежели радовались о своем избавлении; но знаю, что генерал-майорша Буш три недели после не могла еще оправиться от страха, ею претерпенного в те четыре дня, как мы имели дело с турками...» — и т. д.

И все это — турецкие атаки, пушечная пальба, горящие кареты полковых дам — было на берегу Прута, возле родных Скулян. А в войсках Петра, может быть, дрался с турками прадедушка дедушки, какой-нибудь лихой кавалерист, выходец из Запорожской Сечи.

Впервые за время своей военной службы дедушка со всей ясностью понял свою причастность к тому длительному периоду русской истории, в течение которого русское государство с невероятными трудами и усилиями распространялось на юг, к Черному морю, где до сих пор хозяйничали турки.

Турки запирали России путь в Средиземное море, а стало быть, и в мировой океан. Это была постоянная война за укрепление российских границ на юго-западе и юго-востоке.

Свобода плавания по Черному морю и через проливы была насущной необходимостью русского государства. Несколько веков длилась эта борьба, не одно поколение русских людей проливало кровь на полях сражений в дунайских княжествах, на Черноморском побережье Кавказа, в Малой Азии на границе Турции и России, на громадном пространстве, примыкавшем к Черному морю.

Через сто лет после прутского похода Петра в этих же местах воевал отец дедушки, а отвоевавшись, занялся сельским хозяйством в своем обширном имении в Скулянах, о чем уже было здесь говорено.

Дедушка представлял себе неизмеримо громадную Россию, ведущую борьбу за выход к Черному морю, видел Скуляны, старую петровскую церковь и кладбище с могилой своего отца, видел сухую полынь, по которой бежал горячий ветер, слышал звон кладбищенского колокола.

Дедушка внимал строгому голосу полковника Ордынского, видел блеск его золотых очков при свете газовых рожков и чувствовал себя уже не легкомысленным молодым офицером, а слугой попавшего в беду отечества.

Дедушка испытывал, как все русские люди того времени, чувство оскорбленного национального достоинства, унижения и вместе с тем верил в будущее России, ради которого надо не жалея сил трудиться, укрепляя армию.

«Это было на второй год со времени моего прибытия в училище. В 1867 году я был произведен в капитаны за отличие по службе».

Дедушка сравнился в чине со своим отцом, моим прадедом, капитаном Нейшлотского полка, покоившимся на кладбище в Скулянах.

Но действительно ли «покойшимся»?

Кто знает, в какие отдаленные области прошлого и будущего переносила его та необъяснимая сила, которую мы условно называем временем...

«В 1866 и 1867 годах у меня родились дочери Людмила и Евгения».

Евгении, пятой дочери дедушки, суждено со временем стать моей матерью.

Вспотевшая, осипшая от крика, только что отоспавшаяся бабушка лежала на двуспальной кровати в доме на углу Базарной и Ришельевской, и у нее в ногах лежала новорожденная девочка, твердо спеленатая безрукая куколка. Сестра милосердия из Стурдзовской общины, акушерка, довольно грубо, но уверенно подняла ее на руки и, поддерживая ладонью маленький затылок, вертикально поднесла ребенка дедушке.

Удлиненная головка, напоминающая крошечную дыньку, виднелась из батистового чепчика. Китайский разрез закрытых глазок, треугольный зевающий ротик...

Почему я это так ясно представляю?

Наверное, потому, что шестьдесят восемь лет спустя точно такую же девочку, но только уже мою дочку, тоже Евгению, как и ее бабушка, крошечную Женечку, принесли мне показать в родильном доме в Москве, в освещенной солнцем палате, и я вдруг увидел в ней бачеевские черты своей давно уже покойной матери, то есть той самой пятой дочери дедушки, которую показали ему тогда в Одессе на углу Базарной и Ришельевской.

Дедушка посмотрел на свою пятую дочь и осторожно прикоснулся губами к ее чепчику. А бабушка смотрела на него с вопросительно-виноватой улыбкой, как бы спрашивая, нравится ли ему ее произведение.

Дедушка, конечно, ждал мальчика, а рождались все девочки и девочки. Две первые, Наденька и Сашенька, остались лежать на кладбище в Керчи, две другие, Клёня и годовалая Люда, возились на ковре в детской, а пятая, Женечка, горестно морщилась и зевала треугольным ротиком в руках у акушерки.

А дедушке так хотелось мальчика!

Впрочем, если бы это был мальчик, то он, наверное, был бы убит во время будущей русско-японской войны где-нибудь под Мукденом или Чемульпо.

«Ну да авось следующий будет мальчик», — думал дедушка.

Его лицо с нежно-снисходительной улыбкой обратилось к бабушке.

— Какая прелесть! — сказал он, целуя потную бабушкину руку.

Увы, следующие тоже были девочки, множество девочек: Елизавета, Наташа, Нина, Маргарита — мои тети, ныне давно уже покойные.

Дальше в записках дедушки следуют малоинтересные сведения о частых переменах квартиры и о том, что в январе 1870 года он вместе с семьей наконец нашел хорошую квартиру в доме некоего инженера на Почтовой улице.

«Надо сказать, — пишет затем дедушка, — что в сентябре 1869 года старший адъютант окружного штаба майор князь Горчаков предложил мне быть в штабе его помощником вместо есаула Саф (неразборчиво), который переходил на должность старшего адъютанта в штаб Войска Донского. Я согласился, и в сентябре состоялся высочайший приказ о моем назначении».

Это был крупный шаг вперед в карьере дедушки, ставшего штабным офицером крупного военного округа.

«В этом же году я стал страдать глазами. Два доктора, Винскер и Вагнер, лечили меня без пользы. Что ни делали, ничего не помогало. Говорят: сильная трахома».

«В сентябре приехал из-за границы доктор Шмидт, известный...»

Здесь кончается 4-я тетрадь и начинается тетрадь № 5 с надписью «Мои воспоминания».

«...окулист. Я отправился к нему. Осмотрев вечером мои глаза, он сказал мне прийти еще завтра днем, так как ничего не видит в моих глазах того, что нашли лечившие меня ранее доктора. Я пришел на другой день опять. Шмидт осмотрел мои глаза внимательно — час целый! — и наконец сказал, что ничего нет, кроме воспаления, которое произошло от прижигания и впускания ляписа. Он сказал, что у меня просто близорукость, что глаза мои требуют очков и вместе с тем уменьшения воспаления, для чего ввел в глаза желтую мазь и дал очки. Все это сразу успокоило глаза. В течение месяца боль глаз прошла. Я при занятиях стал носить очки».

Теперь уже дедушка сделался типичным штабным: капитан, много-семейный, в черном сюртуке, в серебряных вогонках, в очках.

На столе — баночка с желтой мазью, и розовые, воспаленные веки.

Так навсегда минула его молодость. Наступила зрелость. А вместе с ней как-то незаметно и пока еще очень неопределенно вдалеке забрезжил конец жизни.

«Занятия в штабе шли усиленно...»

Не пролив пока ни капли крови, не истратив ни одного рубля, Россия уничтожила постыдный Парижский договор в той его части, которая была наиболее оскорбительна для нашего национального самолюбия.

Правда, чтобы добиться этого результата — то есть иметь право снова держать на Черном море военный флот, — Россия согласилась на такое положение Европы, как франко-прусская война.

После уничтожения унижительных статей Парижского договора Россия стала вооружаться так, как до сих пор ей никогда еще не приходилось.

Работа в генеральном штабе кипела, а в Одесском военном округе, наиболее близком к театру будущих возможных военных действий и недавно созданном со специальной целью войны с Турцией за освобождение дунайских княжеств и Добруджи, трудились день и ночь.

Утомленный адской работой в штабе, летом 1870 года дедушка вместе со своей семьей перебрался поближе к морю, на Малофонтанскую дорогу, на дачу, нанятую на лето у итальянского негодника Томазини.

«Купанье, воздух хорошо помогли мне», — пишет дедушка, не упоминая ни о бабушке, ни о своих маленьких дочерях — Клёне, Люде и Евгении.

А я вижу, как эти девочки вместе со своей матерью, в сопровождении денщика с ведром пресной воды, полотенцами и большим полотняным зонтиком, мал мала меньше, в детских шляпках, в накрахмаленных платьицах и длинных кружевных панталончиках, взявшись за руки, топлют по глинистому спуску на морской берег, откуда доносится йодистый запах сухих водорослей.

Трехлетняя девочка с черными бровками и раскосыми глазками — моя будущая мама — с жадным любопытством смотрела на легкие, прозрачные, как бы совсем незаметные морщинки прибоя, с волшебным позваниванием катавшие туда и назад мелкую, обточенную морем гальку и гравий.

Девочка остолбенела от красоты этого полуденного моря, резко горевшего на солнце белым огнем, хотя и не знала, что это красота.

Ее близорукие глазки сделались мечтательными, щеки покраснели. И она как зачарованная смотрела на горизонт, где белел маленький косой парус...

...они поднимались наверх. «Ограды дач еще в живом узоре в тени акаций. Солнце из-за дач глядит в листву. В аллеях блещет море... День будет долог, светел и горяч. И будет сонно, сонно. Черепицы стеклом светиться будут. Промелькнет велосипед бесшумным махом птицы, да прогремит в немецкой фуре лед...»

По пыльной Малофонтанской дороге тащится конка — летний вагон, занавешенный с солнечной стороны полотняной шторой. По обе стороны — виллы одесских богачей: вилла Маврокордато — каменная серая стена, как бы составленная из глухих арок с вазами наверху, за которыми угадывается роскошный южный сад... Против нее вилла Маразли — кованая железная решетка, сквозь которую видна какая-то итальянская растительность — может быть, пинии! — и огромный яркий газон, окруженный каймой алых гераний, а посередине газона отличная, в натуральную величину мраморная копия знаменитой скульптуры «Лаокоон»: отец и два сына, удушаемые змеями, ползущими по их мускулистым телам с напряженными мускулами.

...И еще вдали какие-то мраморные античные статуи, особенно белые на фоне пламенного моря с хвостом темного паровозного дыма...

На всю жизнь все это запечатлелось в сознании маленькой Евгении — Женечки, — моей мамы, передавшей мне по наследству эти свои первые впечатления моря, юга, красоты, чего-то итальянского и белеющего на горизонте паруса.

Дача Томазини, где дедушка снял домик на летнее время, была, конечно, гораздо скромнее. Но все же...

«На этой даче я познакомился с Петром Федосеевичем Алисовым, курским помещиком, женатым на молодой особе. Чудак, взбалмошный человек, богатый, труда не знает. Мы часто спорили с ним о русской истории. Взгляд его слишком вольный и безрассудный. Я не мог с ним согласиться. Это было причиной того, что мы с ним разошлись. Например, он на даче Томазини купил на самом берегу моря десятину земли, выстроил маленький домик, в котором были: гостиная, кабинет, спальня и столовая. При этом под одной крышей, позади столовой — крошечная кухня, где его жена сама готовила и стирала пеленки годовалого ребенка».

«Жена целый день в труде и занятиях, а сам Алисов ничего не делал, ездил в город, ухаживал за хорошенькими».

«Раз как-то после обеда я сидел под навесом, который был шагах ста от дома Алисова; вижу, идет какой-то рабочий купаться в море возле дома. Цепная собака, сорвавшись с привязи, бросилась и начала рвать рабочего. На его крик прибежал дворник из бывших крепостных Алисова, стал гнать собаку, но собака, не слушаясь, продолжала бросаться на рабочего и рвать его. Тогда дворник, взяв хворостину, ударил собаку, которая с воем бросилась прочь».

«На этот шум вышел Алисов и, увидев, что дворник ударил собаку, подскочил к нему и нанес несколько ударов кулаком по лицу, крича и браня его...»

«Эта возмутительная картина до сих пор стоит в глазах моих!..»

«Вечером, встретившись в Алисовым, я стал говорить ему об этом, выражая свое негодование.

Алисов ответил:

— Ну и что ж такое? Дворник — мужик, его можно и даже нужно бить!»

«Какими же глазами я должен был после этого смотреть на такого господина? Только с презрением! Иначе нельзя!»

«Впоследствии в каком-то журнале или газете прочел я, что этот самый курский помещик Алисов, будучи за границей, вел пропаганду. Но из Франции и Германии он был изгнан. Въезд в Россию ему не разрешен. Вот доигрался, и поделом!»

Не совсем понятно, о какой «пропаганде» Алисова пишет дедушка. Вероятно, Алисов выступал за границу против русского правительства и против отмены крепостного права, но, конечно, не с точки зрения революционной, а с точки зрения матерого крепостника: Курская губерния славилась своими помещиками-реакционерами, как их тогда называли, «зубрами».

Вероятно, Алисов принадлежал к их числу.

Во всяком случае, эта история показывает, что Александр II, совершив свою реформу, попал между двух огней: возмущенного и ограбленного крестьянства и возмущенных помещиков-зубров.

Атмосфера в России накалялась.

«В сентябре 1870 года мы перебрались с дачи в дом на Базарной улице, угол Канатной. Комнаты невысокие, но просторные. В марте этого года у меня родилась дочь Елизавета...»

(Та самая тетья Лиля, которая после смерти нашей матери в 1903 году по обещанию, данному ей, воспитала меня и моего младшего брата Евгения.)

«Брат мой Александр,— продолжает дедушка,— отказался быть крестным отцом Елизаветы...»

Тут же на полях тетради рукой деда написано: «Майор 1870». Очевидно, он вдруг вспомнил, что в этом году был произведен в майоры.

«Я пригласил офицера Булича быть крестным отцом новорожденной Елизаветы, а крестной матерью была старшая дочь Клёня».

«В конце сентября жена моя со всеми детьми поехала в Винницу к своей сестре Ивановой. Отлучка продолжалась месяц. Все время погода стояла хорошая, осень была замечательная, наступил 1871 год, казалось, все благополучно...»

«Но пришла Пасха, и все недовольство народа вылилось очень резко».

Оказывается, было недовольство народа, о чем дедушка упоминает впервые.

В Европе бушевал пожар франко-прусской войны, Парижской коммуны. Это не могло не отразиться на настроении в России, где было больше чем достаточно горючего материала.

...Одесса кипела...

...Примерно в это же время в Вятке умирал протоиерей местного кафедрального собора отец Василий..

«Конечно,— пишет дедушка,— этому много помогли разные неблагонадежные лица. На Пасху, на первый день, когда кончилась утренняя, пошли разговоры; часов в десять утра против греческой церкви стали собираться толпы разговевшегося народа. За оградой церкви было несколько десятков греков. Вследствие подстрекательства неблагонадежных личностей народ с улицы стал задевать греков. Греки ответили бранью. С улицы в них полетело несколько камней. Полиция разогнала толпу. Тогда кто-то крикнул:

— Это жида дали знать полиции!»

«Народ расสวิрепел. Бросились на еврейские дома. Полиция была разогнана основательно «разговевшейся» пьяной толпой. Народ побежал во все стороны».

«Была потребована дежурная воинская часть».

«Но и полиции и вытребованных войск оказалось недостаточно для того, чтобы усмирить толпу. Толпа быстро организовалась».

А в это время по всему городу продолжался пасхальный трезвон, над крышами летали стаи голубей, с моря дул нежный ветерок.

«Часа в два стройная толпа, человек тысяча, двигалась по Канатной улице со стороны Сабанских казарм по направлению к нам. На углу Троицкой толпа остановилась и стала громить еврейский кабак. Производилось это чинно, в порядке. Когда двери кабака были высажены, толпа бросилась внутрь».

...Сначала маленькие девочки, майорские дочки, сжав губы, смотрели с балкона вдаль вдоль Канатной улицы, откуда двигалась гро-

мадная молчаливая толпа, подобная грозовой туче. Потом девочек увели...

«Из разбитых окон на улицу полетели бочонки, штофы с водкой. Все это билось, ломалось. Еврейские вещи (так называемые бѣбехи) рвались на части. В полчаса кабак был пуст. Толпа с песнями, свистом, криками двинулась далее; приближаясь к нашему дому против аптеки, и остановилась возле большого дома богатого еврея Красносельского».

«Дом был закрыт, молчалив, обречен, окна затворены. Толпа выстроилась молча. Какие-то мальчишки-греки бросили несколько камней в окна. Брызнули стекла. После этого сигнала вдруг вся толпа схватила камни и стала швырять в окна и в ворота. Ворота держались, но окна со своими внутренними деревянными ставнями распахнулись».

«Толпа ринулась в окна. Затем из первого и второго этажей полетели на улицу разные вещи, посуда, высунулся угол пианино, и оно со струнным звоном разбилось о камни тротуара. Все это ломалось, рвалось на части. Пух из разорванных подушек и перин, как снег, носился в воздухе».

«Я с семьей и несколько интеллигентных лиц стояли на улице возле своего дома, молча, оцепенело смотря на все это безобразие».

«Полицеймейстер граф фон Фитингоф, красивый молодой человек, в сопровождении четырех казаков подъехал и стал уговаривать толпу. Но видя, что это бесполезно, куда-то уехал. Это еще больше ободрило толпу. Разгром пошел гораздо быстрее».

«Через полчаса прибежали человек сорок стрелков 13-го стрелкового батальона с ружьями наперевес и тотчас же, орудуя прикладами, бросились на толпу».

«От каждого удара кто-нибудь из погромщиков летел в сторону с кровавленным лицом».

«Толпа кинулась врассыпную. Стрелки ловко полезли в разбитые окна, и оттуда назад на улицу посыпались все погромщики, успевшие уже забраться в дом и хозяйничающие там».

«В 10 минут никого не стало».

«Стрелки действовали молодцами, энергично. Часа в три в город были выведены из казарм все войска гарнизона».

«Коцебу сам распорядился, уговаривая народ. Ничего не помогало. Погромы вспыхивали то там, то тут по всему городу. Вслед Коцебу из толпы неслись оскорбительные выкрики, насмешки. Вечером беспорядки усилились, а на второй день еще более разгорелись благодаря тому, что, прослышав о погромах, по железной дороге стали прибывать разные неблагонадежные элементы из соседних городов, надеясь поживиться».

«Были и убитые».

«Одного убитого толпа принесла в Воронцовский дворец, положив посреди комнаты. Дежурный адъютант, испугавшись, велел дворцовым служителям отнести труп в полицию...»

«Юнкерское училище — человек двести — поставили поперек дороги из Карантина, откуда вверх по Карантинному спуску из порта бежали в город матросы русских и иностранных судов».

«Столкновение было сильное».

«Более 10 ружей было сломано в рукопашной драке. Толпы разного сброда носились по улицам города, все разрушая и разбивая на своем пути. Более 50 человек было убито. В 12 часов ночи всеобщий разгром стал утихать».

«Войска ночевали на улицах. Горели костры. Город напоминал осажденный лагерь».

Маленькая девочка Женя то и дело просыпалась в своей кровати в детской, освещенной желатиновым синим ночником. Ее сестры тоже не спали. Им мерещились всякие ужасы. Дневные впечатления тревожили детское воображение.

Женя, сжав тонкие губки, наморщив смуглый лобик, открыв свои узкие глазки, смотрела на золотящуюся в потемках икону, на тень пальмовой ветки, которая тянулась наискось через потолок. Девочка крестилась под одеяльцем, моля бога, чтобы он спас их всех от гибели.

Иногда она забывалась тревожным сном, и тогда во сне мимо нее летали лазурные тени черноморских чаек и блестел на солнце прибрежный песок.

«На третий день Пасхи Коцебу вследствие особо полученной телеграммы из Петербурга распорядился иначе».

«Войска были поставлены на площадях. На каждую площадь на армейских фурах были привезены кучи розог. Бунтовщиков стали приводить на середину выстроенного в каре батальона, и полицейские наносили от 25 до 50 ударов, в зависимости от степени участия в погроме».

«Каждый хорошенько выпоротый поспешно застегивал штаны и убегал домой. Это средство отлично действовало и на других погромщиков. Многие из них были арестованы, посажены на баржи и отбуксированы в открытое море».

«К вечеру все умолкло».

Из скурых заметок дедушки можно заключить, что трехдневные события значительно переросли понятие городских беспорядков, связанных с погромами. Это несомненно было нечто большее.

Дедушка, не склонный к историческим обобщениям, воспринимал происшествие как обыкновенный, средний штабной офицер и городской обыватель. Впрочем, к его чести надо заметить, что он не сочувствовал погромщикам, свидетельством чего также является и следующая его заметка, довольно, впрочем, забавная.

«Жена моя подшутила в эти дни над нашим денщиком, который, сбежав со двора, тоже участвовал в погромах. Придя утром третьего дня на кухню, Маша весьма серьезно заявила, что по приказу Коцебу всем тем, «которые били жидов», на городских площадях выдают подарки».

«Наш денщик Нестор, услышав это, тотчас побежал на ближайшую от нас площадь — Куликово поле — и заявил, что он «бил жидов». Его тотчас схватили и тут же не сходя с места высыпали 25 горячих. Получив эту награду, Нестор прибежал домой заплаканный и больше уже во все время событий не отлучался со двора».

Бабушка, так мило подшутившая над денщиком Нестором, по-видимому, не была лишена юмора.

Сколько я помню ее, она была веселая, пухлая, подвижная. Во всяком случае, урок, который она преподавала денщику Нестору в дни своей молодости, характеризует ее не только как женщину остроумную, но также и справедливую.

«В октябре жена с детьми снова поехала в Винницу навестить свою старуху мать и Ивачовых. Я же, будучи вновь при начальнике штаба ге-

нерале Горемыкине (Иван Георгиевич, губернатор Восточной Сибири), остался дома. Таким образом, шли годы жизни в Одессе без изменения... Дочери росли...»

Записки дедушки, которые он делал на старости лет, незадолго до смерти, будучи уже генерал-майором в отставке, проживающим на покое в Екатеринославе, приходят к концу. Почерк дедушки меняется: то мелкий, совсем неразборчивый, то крупный, с жирными росчерками. Иногда дедушка пишет красными чернилами, и это имеет какой-то зловещий оттенок. Память ему все чаще и чаще изменяет. Он повторяется. Путает годы, месяцы, смерть приближается к нему, а он не записал и половины своей жизни.

Ему уже за шестьдесят, у него паралич. Кончается XIX век, а он только дотянул свои воспоминания до конца семидесятых годов.

Маленькой Женечке, как мы уже знаем, в 1870 году минуло три года. У нее уже был жених, о существовании которого ни она, ни кто другой, конечно, не имели понятия: он был на десять лет старше ее и родился где-то недалеко от Перми, на Урале, в городе Глазове, в семье священника Василия Алексеевича Катаева, которая вскоре переехала в Вятку, где отец Василий стал соборным протоиереем и через некоторое время умер.

...Я скончался 6 марта 1871 года в 10 часов вечера в городе Вятке после тяжелой болезни, окруженный своей семьей. Перед тем как умереть, я испытал невыносимые телесные муки.

Сперва я лежал на нашей супружеской двуспальной кровати, покрытой лоскутным одеялом, под образами, потом обмытое теплой водой мое похолодевшее тело переложили в приличный моему сану дубовый гроб, поставленный в гостиной на два ломберных стола.

Мое человеческое сознание давно уже погасло, но взамен его началось новое, вечное, необъяснимое и никогда уже не угасающее сознание, как бы неподвижное, но вместе с тем охватившее весь существующий мир, все его бесконечное движение.

В нем, в этом странном нечеловеческом сознании, заключалось нескончаемое прошлое, настоящее и нескончаемое будущее. В этом мире я продолжал свое ни с чем не сравнимое, вечное существование, в котором так ничтожны должны были казаться отметки времени, например формулярные списки духовной консистории, сохранившиеся в вятском архиве.

Из них следовало, что в 1857 году я был смотрителем Глазовского уездного духовного училища; тогда мне было тридцать семь лет и жизнь моя земная казалась мне бесконечной. Я был сын священника из Вятской губернии и как таковой безвозмездно обучался в Вятской духовной семинарии, а потом в Московской духовной академии, которую и кончил по второму разряду, а в 1844 году получил степень кандидата.

В Глазове состоял я инспектором духовного училища и учителем высшего отделения уездного училища по греческому языку.

В 1847 году я был переведен в Вятку, стал священником при духовном училище, затем вернулся в Глазов и был священником местного собора.

Я хорошо продвигался по служебной лестнице, но какое это теперь имело для меня значение?

Я получал награды.

За препровождение глазовских дружин подвижного ополчения в духе христианского и патриотического усердия, за отличную тщательность в назидании новокрещенных вотяков в вере, за особую старательность по обучению прихожан молитвам и вообще в назидании и утверждении их в истинах и правилах христианства.

В награду за все это получил я в 1850 году скуфью, в 1848 году набедренник, в 1856 году камилавку.

Глазовские ополченцы, воспитанные мною в духе христианства и патриотизма, принимали участие в крымской кампании и проявляли чудеса храбрости на севастопольских бастионах, а также в боях с восставшими горскими племенами на Кавказе.

Я получил за это наперсный крест на анненской ленте, что при жизни вселяло в мою душу гордость и я чувствовал себя как бы причастным к славе русского оружия.

Теперь же все это стало для меня не только безразлично, но вовсе перестало существовать, уничтожившись вместе с моим сознанием.

По углам моего дубового гроба с серебряными кистями душно и неподвижно горели толстые восковые свечи, вставленные в подсвечники, привезенные из кафедрального собора, где я был при жизни протоиереем. Обычно эти пугающе-громадные подсвечники были в холщовых чехлах, перехваченных посередине вышитыми лентами, но теперь чехлы были сняты и в серебре мутно и огненно отражалась картина первой ночной панихиды в нашем тесном зальце с зеркалами, грозно завешанными простынями, с лампадками, иконами, фикусами и филодендронами в зеленых кадках со своими висячими воздушными корнями и громадными дырявыми листьями, которые в представлении моих потомков могли бы показаться похожими на рентгеновские снимки грудной клетки.

Я лежал по диагонали комнаты в лиловой бархатной твердой камиллавке, в траурном облачении, в парчовом набедреннике, с большой бородой, расчесанной моей супругой Павлой Павловной, попадьей, и смазанной душистым елеем.

У меня был хрящеватый нос и склеротические глаза, которые некоторые вятчи, мои прихожане, считали при моей жизни похожими на глаза сатирика Салтыкова-Щедрина, сосланного к нам в Вятку и некоторое время жившего неподалеку от нашего дома.

Теперь же, в гробу, в облачении, с высоко сложенными на груди костлявыми руками, в которые был вложен наперсный крест, с закрытыми глазами, я скорее был похож на некое языческое божество, окруженное облаками росного ладана.

...Я умер от гнилой горячки, провалившись под лед на реке Вятке, которую я переходил зимой с одного берега на другой, в заречную слободку, дабы поспеть к одному из моих умирающих прихожан дать ему последние наставления, исповедать, отпустить грехи и приобщить святых тайн.

Я нес на голове дарохранительницу, покрытую шелковыми воздушками.

Лед на реке был не всюду достаточно крепок. Под моими ногами оказалась полынья. Я провалился сначала по колена, потом по пояс. Я боялся упасть, дабы не уронить святые дары. Одной рукой я поддерживал на голове дарохранительницу, другой опирался о ребро поднявшейся дыбом льдины. Сопровождавший меня псаломщик помог мне выкарабкаться. Но я вымок в ледяной воде по грудь.

Вечерело. Красный закат светился над высоким берегом Вятки, над куполами и колокольнями церквей, над деревянными домиками, как багряное причастное вино кагор.

Моя шуба до половины обледенела, стала тяжелой, как из чугуна. Все же мне удалось перейти через реку и вовремя поспеть к умирающему.

Я возвращался домой почти без сознания, в страшном жару. Кости моих ног болели. Моя попадья напоила меня малиной. Я горел. Сознание

то и дело покидало меня. Я стал заговариваться. Позвали епархиального лекаря, который отворил мне кровь, ударившую из-под его ланцета яркой струей в оловянный таз, подставленный одним из сыновей моих.

Но это не помогло.

Голень воспалилась, посинела, вулканически почернела. Колено стало нарывать. Нечто ужасное. Тогда лекарь решился прибегнуть к крайнему средству: каленому железу.

В кухне на плите раскалили железный шкворень. Фельдшер держал его кузнечными клещами, обернутыми тряпкой, от тряпки шел желтый дым. Мои жена и дети с ужасом смотрели, как железный шкворень, раскаляясь, меняет тона: синий перешел в угрюмо-малиновый, потом в ярко-вишневый, потом в пылающе-оранжевый и наконец, сделавшись ослепительно-белым, как молния, остановился на этом: железо было доведено до белого каления.

Я лежал, откинув бороду, и лекарь выпростал из-под простынь мое раздувшееся колено и безжалостно приложил к нему конец раскаленного добела шкворня. Я на миг потерял сознание. Дым и чад паленого человеческого мяса наполнили спертый воздух.

Попадья, трое моих сыновей и грубиян фельдшер держали меня за руки и за ноги, изо всех сил прижимая мое извивающееся тело к постели.

Лекарь вторично приложил раскаленное железо к моему больному колену.

Страшный крик потряс наш бревенчатый дом от подполья до конька крыши. Это был мой крик. Кровавые слезы текли из моих глаз.

(Библейско-желтые члены старческого человеческого тела среди хаоса простынь, одеял и занавесок, посредине небольшой провинциальной комнаты, оклеенной коричневыми шпалерами, как бы пылали адским заревом.)

Комната была яко печь раскаленная, яко геенна огненная.

Моисеева борода вилась вокруг моего разинутого рта с несколькими недостающими зубами. Ничто уже не могло спасти меня от мук, и я умер, и смерть моя в тот же миг стала подобием какой-то еще неведомой мне жизни — огненной и бесконечной.

Два дня лежал я в гробу дома. На третий меня со всяческими почестями перенесли в кафедральный собор, как бы еще хранивший в своих расписанных сводах мой навеки запечатленный голос.

Посреди похоронного великолепия я лежал высоко воздвигнутый над толпой молящихся обо мне прихожан, и соборный причет отпевал меня, и священнослужители кадили вокруг меня, наполняя кафедральный собор облаками ладана.

Затем мой гроб подняли за металлические ручки, поставили на носилки, покрытые черным сукном, вынесли из собора на плечах родных и близких и поставили возле вырытой могилы, резко черневшей среди мартовского снега.

Надо мною произносили надгробные речи.

— На погребение умершего брата нашего, протоиерея Василия, священнослужителя сего собора, стеклись мы, — сказал, выступив вперед, протоиерей Стефан Кашменский, прижимая к груди бобровую шапку и наклоняясь вперед так, что длинные полы его черной драповой шубы на хорьках касались края могилы.

Он был известный духовный оратор Вятки, и его слово над гробом было знаком великой чести для усопшего.

От его голоса стая галок снялась с купола собора и облетела крест на фоне фиолетовых мартовских туч, откуда скупо сыпался мелкий снег, падая на мое лицо и не тая. Звонил похоронный колокол.

— Так смерть похищает то того, то другого из наших ближних — из сотрудников, родных и знакомых.

Стефан Кашменский строго из-под золотых своих очков оглядел всех предстоящих, влажным взглядом задержавшись на моей семье, на трех моих сыновьях — Николае, Петре, Михаиле — и на моей попадье, такой маленькой, такой беспомощной Павле Павловне, урожденной Бубликовой, с таким белым окаменевшим личиком, что душе моей, еще не окончательно отлетевшей и присутствующей рядом, стало больно и жалко, хотя в последние годы своей земной жизни я как-то утратил чувство жалости и, несмотря на свой сан, перестал жалеть больных, нищих, убогих, сирых...

«Так она заметно и незаметно, но всегда безостановочно приближается к каждому из нас. О, смерть, неожиданная, но неизбежная смерть! — вдруг вскричал высоким голосом Стефан Кашменский и зарыдал. — Иногда мы не хотели бы видеть тебя, не хотели бы и думать о тебе, а ты сама являешься нам со своими жертвами, сама напоминаешь нам о себе. Волею и неволею мы останавливаем свой взор на умерших, и вид смерти заставляет нас так или иначе подумать о ней».

Лежа в открытом гробу на краю могилы, лицом, обращенным к фиолетовым тучам, неподвижный и, вероятно, страшный для окружающих, я был именно тем видом смерти, которая как бы вселилась в мое тело, хотя и не уничтожила моей вселенской жизни, о чем среди всех стоящих вокруг меня знал один только я.

«От земной жизни ты перешел в загробную, — гремел голос оратора, ноздри его округлились, борода вздулась. — Да откроется же там иная для тебя, блаженнейшая деятельность, которая никогда не ослабляет, никогда не изнуряет сил наших, но всегда воодушевляет действующего, всегда радуется ему».

Долго еще говорил Стефан Кашменский. Это была прекрасная речь — надгробное слово, напечатанное впоследствии, как было объявлено, «по желанию читателей покойного» в «отделе духовно-литературном» на нескольких страничках «Вятских епархиальных ведомостей»...

Это были слова прекрасные для живых, но для меня — пустой звук. Они пролетели мимо, не касаясь моего слуха, потому что я уже им не обладал. Ни слухом не обладал, ни зрением, ни осязанием, ничем человеческим я больше не обладал. Но зато моя якобы мертвая плоть не только продолжала существовать, но также продолжала обладать даром отражения окружающего меня мира, притом тысячекратно увеличивала эту способность, по мере того как растворялась во вселенной, раскатилась по всем направлениям пространства и времени.

...я лежал в гробу на высоком берегу реки Вятки, откуда открывался широкий вид на низкое заречье, на лесистые пространства северной России, покрытые волнами великопостного заунывного звона, плывущего из всех церквей прекраснейшего в мире города Вятки...

Покойник был отцом моего отца, и я, пишущий эти строки, последний из оставшихся в живых его внуков, измученный столь естественным в каждом человеке желанием проникнуть в прошлое своего рода, недавно перебирал странички ксерокопии «Слова при погребении», присланные мне доброжелателем из города Кирова (бывшей Вятки).

Сквозь четко по-старинному набранные странички «Слова» до меня как бы доносится голос кладбищенского оратора:

«...будем молиться об усопшем, потому что смерть есть переход к такому состоянию, в котором человек особенно нуждается в молитве о себе — умерший в молитве живых...»

Не думаю, чтобы мой мертвый дед нуждался в молитве живых, так как он сделался уже существом как бы высшим, вездесущим и всеведущим, как бог. Ему были безразличны слова оратора.

«Усопший брат наш был внимателен, благорассудителен, миролюбив, благоговеен; очищал себя долговременным предсмертным страданием; приготавливал себя к смерти таинством церкви, и знаменательно, что он недели за полторы до болезни своей здесь, в храме святителя и чудотворца Николая, свое слово с церковной кафедры заключил так: «...болезни ли постигли тебя, путник земной... всяку радость и имеет, по наставлению Апостола, предавая Христу богу сам себя, «и других, и весь живот свой». Да сподобится же небесной радости дух твой, почивший брат наш. Не о том да радуется он, что прекратились болезни и страдания его тела, а о том, что страдания эти переносились с полной преданностью воле божией и очищали душу, как металл очищается в горниле...»

(...Может быть, как шкворень добела раскалился и потом дочерна прожег коленную чашечку, оттуда потек зеленый гной на смятые простыни...)

«Да удостоится очищавшаяся душа твоя водворения там, и деже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание».

Осиротевшее семейство утирало слезы, и средний сын покойного, мальчик Петя, в шинели духовного училища, стоял без фуражки, с покрасневшими добрыми глазами, такими же самыми, какие были у него в тот страшный день, когда много лет спустя рядом со мной, его старшим сыном, он стоял перед гробом своей жены, той самой девочки Жени, которая родилась в семье моего дедушки Бачея.

А тогда в Вятке черная толпа прихожан и нищих, окружившая могилу другого моего деда, отца Василия Катаева, крестилась, кланялась... Звонили похоронные колокола, синели великопостные тучи, над колокольнями носились стаи галок, на занесенной снегом реке с бревенчатой конторкой пристани и вмерзшим в лед паромом виднелись черные квадратики прорубей, откуда шли бабы в оранжевых тулупах, в темных платках, с ведрами на расписанных коромыслах...

Но вернемся к запискам другого моего дедушки, Ивана Елисеевича Бачея. В этих записках он не успел рассказать о свадьбе своей дочери Евгении, вышедшей замуж девятнадцати лет за учителя Петра Васильевича Катаева, приехавшего из Вятки в Одессу со своей матерью, вдовой протоиерея, поступать в императорский Новороссийский университет, недавно открывшийся в этом городе, где жизнь, по слухам, была дешевле, чем в любом другом университетском городе Российской империи.

Петр Катаев с серебряной медалью кончил университет по историческому отделению историко-филологического факультета, стал преподавателем и женился на Евгении Бачей, моей будущей матери.

«В ноябре,— пишет дедушка Бачей,— была объявлена мобилизация. Распоряжение мы получили 1 ноября после обеда. Я пошел обедать в 2 часа, а пообедав и вернувшись в штаб, застал такую сцену: все тревожилось, суетилось... посылалось множество телеграмм во все места».

Дедушка, по-видимому, был так сильно взволнован нахлынувшими воспоминаниями о приближении русско-турецкой войны, что почерк его с трудом можно было разобрать даже с помощью увеличительного стекла, тем более что он почему-то стал писать красными канцелярскими чернилами, и это придало его воспоминаниям зловещий оттенок.

«Мне как секретарю работы сначала было мало, но со 2 ноября стало приходиться такое множество депеш, что пришлось увеличить аванс дежурного писаря».

Что обозначает это загадочное выражение, не знаю.

«Назначено было дежурство офицеров. Мы, адъютанты, помощники и я — секретарь, — сходяв обедать в 3 часа, приходили на дежурство и были в штабе всю ночь. Важные депеши несли начальнику штаба тотчас, а не экстренные оставляли до утра».

«Так шло время без остановки...»

На этом месте красные чернила вдруг сменяются траурными черными.

«...до апреля 1877 года, когда приехал в Одессу государь Александр II с наследником Александром Александровичем».

Эти воспоминания дедушка вписывал в тощую трехкопеечную школьную тетрадку накануне своей смерти, кажется, в 1901 году.

Он с трудом восстанавливал в слабеющей памяти события двадцатипятилетней давности. Его рука стремительно и криво выводила крошечные букочки, как бы желая убежать от смерти, которая уже стояла за его плечами, согнутыми над письменным столом с двумя парами зажженных свечей под зеленым козырьком в форме утюга. Именно при таком освещении отставные генералы имели обыкновение писать свои мемуары.

Быть может, и сам император Александр II при подобных свечах под зеленым абажуром подписал манифест, несправедливо давший ему титул «царя-освободителя».

«Назначен был смотр всем одесским войскам на Тюремной площади тотчас же по выходе императора из вагона железнодорожного поезда. Великий князь Александр Александрович — будущий император Александр III — был в донской казачьей форме».

«Мы, штабные, были возле вокзала; я видел наследника в пятнадцати шагах от себя, не далее. Он сидел верхом».

Впоследствии скульптор Паоло Трубецкой примерно в таком же виде изобразил его, тогда уже покойного императора Александра III, в грузном памятнике, установленном в Петербурге против Николаевского вокзала.

Это был памятник-кариатура, хорошо замаскированная видимой монументальностью: толстая лошадь, толстый царь в казачьей форме и круглой каракулевой шапочке.

В дореволюционное время об этом памятнике ходила эпиграмма: «Стоит комод, на комодe бегемот, на бегемоте — обормот». Февральская революция началась возле того памятника: черные толпы народа, красные знамена, лиловые тучи, ветер с Невы, остатки снега, надежды, надежды.

Ныне этого памятника на вокзальной площади нет, его куда-то убрали.

«Государь при сходе с подъезда железнодорожной станции распекал градоначальника графа Левашова очень сильно и громко за беспорядки».

в Одессе при окружном суде во время осуждения революционерки Засулич, которую суд оправдал, несмотря на то, что все улики ее вины были налицо...»

«Не дай бог дожить еще до такого времени, как было тогда в Одессе...»

Это последняя строка, написанная дедушкой. Записки прерываются на середине странички; дальше идут уже чистые, пожелтевшие от времени листы...

Возможно, что именно в этот миг и настигла дедушку смерть от удара.

Голова дедушки с бакенбардами, делавшими его, как я уже говорил, похожим на царя-освободителя, упала на зеленое сукно письменного стола, и вбежавшая на шум бабушка увидела уже сползшего на пол дедушку в домашней генеральской тужурке с красными лацканами, с остекленевшими глазами, устремленными в потолок, его худые пальцы продолжали сжимать деревянную обкусанную ручку со стальным пером, откуда на потертый кавказский ковер капали канцелярские чернила.

...а на столе, где продолжали гореть под зеленым абажуром оплывающие свечи, виднелся заветный портфель, завещанный дедушке его отцом, моим прадедушкой Елисеем Алексеевичем Бачеем. В портфеле хранились его записки, через много лет доставшиеся в наследство мне, пишущему эти строки.

Итак, последнее, написанное дедушкой, было то, что император распекал Левашова за беспорядки в Одессе и за то, что суд присяжных оправдал революционерку Засулич.

Тут дедушка что-то напутал, так как известно, что Веру Засулич судил и оправдал суд присяжных в Петербурге. Однако тот факт, что дедушка сопоставил имя известной революционерки Веры Засулич со взбучкой, которую задал Александр II графу Левашову за беспорядки в Одессе, свидетельствует о той грозовой, предреволюционной обстановке, которая уже тогда начинала созреть в России.

Дело Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова, было первым проявлением новых сдвигов в психологии революционно настроенных людей того времени. Наступало время революционных дел, террористических актов...

Хотя дедушка в своих записках, очевидно, что-то и напутал, но в них отразилось настроение русского общества того времени.

Накануне русско-турецкой войны и приезда Александра II в Одессу там был раскрыт «Южнороссийский союз рабочих». Дело слушалось в одесском суде в год приезда императора. Очень возможно, что в этом деле была замешана также и Вера Засулич еще до того, как она стреляла в Трепова: она долгое время жила на юге и была связана с подпольными революционными организациями.

Через год после приезда Александра II в Одессу, в июле, были преданы военному суду пять юношей и три молодые девушки, обвиненные в заговоре и вооруженном сопротивлении властям. Главный из обвиняемых, Ковальский, был приговорен к смертной казни и расстрелян. Спустя два дня начальник тайной полиции (III отделения собственной его императорского величества канцелярии) генерал Мезенцов, получивший предупреждение, что с ним рассчитаются за Ковальского, был заколот кинжалом на Михайловской площади в Петербурге молодым человеком, который немедленно скрылся и, несмотря на все старания, не был разыскан.

Эти события совпали с неудачным для русской дипломатии концом Берлинского конгресса: в широких слоях русского общества открыто негодовали на бездарно «проигранную» в Берлине восточную войну, стоившую таких огромных жертв, как Шипка, Плевна и т. д.

Вскоре после убийства Мезенцова — на этот раз в Киеве — был также заколот кинжалом жандармский офицер Гейкинг.

Так называемая мирная пропаганда отошла в прошлое. Между революционерами и правительством начался смертельный поединок. Во всех губерниях участились аресты и высылки без суда. Скоро некто Фомин был арестован в Харькове за попытку освободить политических заключенных. Он был предан военному суду губернатором князем Кропоткиным, двоюродным братом одного из вождей революционного движения. Тогда во всех значительных городах России Исполнительный комитет объявил о смертном приговоре, вынесенном им харьковскому губернатору Кропоткину, и еще раньше, чем Фомин предстал перед судом, князь Кропоткин при выходе с бала был смертельно ранен выстрелом из револьвера боевиком Гольденбергом.

Через две недели в Одессе пришла очередь жандармского полковника Кнопа. Рядом с его трупом нашли приговор Исполнительного комитета.

23 февраля в Москве был убит агент тайной полиции Рейнштейн. В тот же день в Петербурге произошло покушение на преемника Мезенцова генерала Дрентельна. Вскоре в Киеве стреляли в губернатора, а в Архангельске был убит кинжалом полицеймейстер.

Наконец, 2 апреля некто Соловьев пять раз подряд стрелял из револьвера в императора, который бежал от него как заяц, и пять раз промахнулся: Александр II остался невредим.

Однако грозный и неуловимый Исполнительный комитет (не признавший себя ответственным за покушение Соловьева) прокламацией от 26 августа 1879 года приговорил к смерти императора Александра II. Вскоре под Москвой был взорван возвращавшийся из Крыма императорский поезд. Взрыв разрушил полотно железной дороги, но император проехал предыдущим поездом.

...Пока Александру II везло...

Через год прокламация Исполнительного комитета уведомила императора об условиях, на которых он может быть помилован: объявление свободы совести и печати, учреждение народного представительства. Император не дал на это никакого ответа.

Тогда страшный взрыв потряс здание Зимнего дворца. Было взорвано караульное помещение, находившееся непосредственно под императорской столовой, в шесть часов вечера, именно в тот момент, когда императорская фамилия должна была войти в столовую. Но императорская фамилия замешкалась и Александру II опять повезло. Никто не пострадал.

Главным, если не единственным организатором покушения был Халтурин, столяр, которому Исполнительный комитет выдал динамит. Халтурину удалось наняться на работы, производившиеся в погребах Зимнего дворца под местом расположения императорской столовой. Он жил там в течение нескольких месяцев в постоянном напряжении не только из-за обысков полиции, знавшей о том, что дворцу угрожает опасность, но также из-за неосторожности своих товарищей по работе; спал Халтурин на динамите, стойчески перенося вызываемые им ужасные головные боли.

«...и Халтурину спать не дает динамит...»

Ему удалось скрыться из дворца до взрыва, и когда впоследствии он был арестован в Одессе за участие в другом покушении, власти судили его и приговорили к смертной казни, приведенной в исполнение в двадцать четыре часа, даже не подозревая, что он был организатором взрыва в Зимнем дворце.

Халтурин вместе с Желваковым убил в марте 1882 года прогуливавшегося в Одессе на Николаевском бульваре военного прокурора Стрельникова, прославившегося своей беспощадной жестокостью.

Дедушка, который до сих пор, судя по его запискам, очень мало интересовался политическими событиями и не выходил из круга своей служебной деятельности и семейных дел, вдруг в один прекрасный день ощутил, что он живет в бурную предреволюционную эпоху. Зарево надвигающейся революции уже стояло над Россией.

Для дедушки это было неожиданным открытием, и он ужаснулся. Теперь, перед смертью, как бы заново переживая и переосмысливая события того времени, он не мог вытеснить из своего воображения картину убийства Александра II 1 марта 1881 года. Того самого Александра II, который еще так недавно при выходе из Одесского вокзала на Тюремную площадь распекал графа Левашова.

..Выходя из дверей вокзала, царь — высокий, с узким немецким лицом, с бакенбардами по сторонам голого подбородка, в летней шинели тонкого жемчужно-серого сукна, из-под которой по ступеням волочилась зеркально-блестящая сабля, в фуражке с тулей, приподнятой сзади на прусский манер, — нервно теребил замшевую перчатку, сдернутую с побелевшей руки. Его шпоры звенели, царапая гранитные ступени.

Граф Левашов стоял навытяжку, с рукой под козырек на тротуаре, глядя снизу вверх на разъяренного монарха, изо рта которого — как бы из самых недр августейших бакенбард — вылетала самая грубая, непристойная ругань, особенно зловещая среди торжественной церемониальной тишины выстроенных на площади войск...

И вот теперь этот самый Александр II уже в своей столице Санкт-Петербурге едет из дворца на развод караула. На обратном пути около трех часов пополудни на Екатерининском канале, в темной воде которого так зловеще отражаются желтые пятиэтажные дома, под его карету брошена бомба. Взрыв. Убито и ранено несколько казаков императорского конвоя и кое-кто из прохожих. Но судьба все еще хранит императора. Он цел и невредим. Он стоит среди обломков кареты, среди трупов казаков и лошадей, истекающих кровью, конвульсивно бьющихся на мостовой.

Чудесно уцелевший император делает, шатаясь, несколько шагов в облаке еще не рассеявшегося динамитного вонючего дыма, но в этот самый момент под его ноги брошена вторая бомба. Он падает.

Официальная версия гласила, что, перенесенный во дворец, он в тот же день умер, не произнеся ни слова.

Но все в России — и дедушка в том числе — знали, что царь был разорван в клочья и его августейшее тело собирали по частям с окровавленной гранитной мостовой того чугунно-синего цвета, которым так мрачно отливают в начале марта петербургские мостовые.

Красно-черные клиновидные молнии взрыва пронзили дедушкин мозг и погасили его сознание.

А ведь ему еще предстояло описать в своей тетрадке по крайней мере двадцать лет дальнейшей жизни при новом императоре Александре III, том самом, которого так близко видел дедушка некогда на Тюремной площади, — громадного дородного офицера в казачьей форме, когда еще великого князя, верхом на откормленной лошади из дворцовой конюшни. Дедушка пережил и этого царя и умер уже перед самой русско-японской войной, при последнем русском императоре Николае II. Но об этой эпохе дедушка не оставил никаких записок. Известно только, что после службы в штабе Одесского военного округа он, неуклонно продвигаясь, был воинским начальником в Феодосии, командовал полком в Ново-Московске, где летом в полковой лагерной церкви состоялось венчание его дочери Евгении и преподавателя одесских учебных заведений Петра Васильевича Катаева — моих родителей.

...И так далее, и так далее...

...до тех пор, пока, выйдя в отставку в чине генерал-майора, не поселился в Екатеринославе, где и доживал свои дни в кругу семьи, сочиняя по примеру прочих отставных генералов того времени свои мемуары, скромно названные им записками.

После его смерти записки эти надолго были похоронены среди семейных бумаг, которыми бабушка, кажется, мало интересовалась. Они разделили участь записок дедушкиного отца Елисея Алексеевича Бачея. Наконец они попали в мои руки. Под увеличительным стеклом побежали магически выросшие рукописные строки...

Это не подлинная рукопись прадеда — она утрачена, — а копия с нее, аккуратно сделанная женской рукой. Она озаглавлена так:

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Бачея (1783—1848)».

«Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея Алексеевича Бачея. Среди этих бумаг оказалась небольшая тетрадь старинной желтой бумаги, на первой странице которой рукой нашего отца написано: «Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в которых он сам участвовал». С большим трудом читается написанное старинным почерком, но чем дальше, тем интереснее и живее становится рассказ, обрывающийся, к сожалению, на 1813 году. Сведения о дальнейших военных подвигах деда в кампании 1813 и 1814 годов мы знаем из документов и рассказов покойного отца. Марина Бачей. 18 апреля 1911 г.».

Кто такая Марина Бачей, я не знаю, так как не помню, чтобы кто-нибудь из моих многочисленных теток носил имя Марина. Была среди них Маргарита, самая младшая. Может быть, ее настоящее имя было Марина, а Маргаритой она называлась в семье для красоты? Впрочем, это несущественно. А то, что ее предисловие датировано 1911 годом, легко объяснить: приближалось столетие со дня Отечественной войны 1812 года и потомкам прадеда не хотелось, чтобы его имя как участника этой войны было забыто.

«Замечания о некоторых военных действиях, в которых я сам участвовал».

«Не стану описывать тех походов и действий, которые протекли во время моего служения в унтер-офицерском звании, а опишу только не-

которые из тех, которые произведены мною были в офицерском чине и не дошли до сведения высшего начальства».

Так начинаются «Замечания» моего прадеда; из них можно заключить, что прадед мой был несколько обижен по службе и не получил всех наград и чинов, по его мнению, им заслуженных.

«Предварительно скажу, что я вступил в службу в Переяславский земский суд в 1793 году».

(То есть десяти лет от роду? Что-то мне непонятно. Но, может быть, в то время дворянских детей записывали в службу со дня рождения?)

«Генваря 12 числа бежал из дому и отправился в армию Его Величества 1802 года, генваря 20 дня».

Стало быть, в то время прадеду было уже лет девятнадцать. Впоследствии его сын Иван, как мы уже знаем, с гимназической скамьи бежал из дому воевать на Кавказ — в пятидесятых годах. А я — их правнук и внук — бежал из дому уже в начале XX века, тоже с гимназической скамьи, на первую мировую войну.

В этом было что-то фамильное, бачеевское.

«1809 года, сентября 8-го, — пишет в своих «Замечаниях» мой прадедушка Бачей, — в первом часу пополуночи я послан был Житомирского драгунского полка подполковником Снарским с двумя казаками и двумя драгунами под крепость Браилов. Я проезжал впереди моей команды мимо сада Назир-паши; вдруг лошадь моя испугалась; я тотчас остановил ее, соскочил с оной, отдал ее казаку, а сам в ту же минуту схватил спящего человека в полном вооружении, зажав ему рот, и представил его к подполковнику Снарскому; от него Снарский узнал, что он стоял на часах и что в назирском саду есть команда турецких застрельщиков для того, что как донские казаки в тот сад приезжать будут, то чтобы поймать оных. Снарский тотчас же с тремя эскадронами и сотней казаков окружил сад и, видя открывшуюся перепалку, приказал мне взять 40 спешившихся драгун и занять сад, который я очистил штыками, взяв в плен 18 человек».

Отсюда можно заключить, что прадед мой был хватом, лихим воякой и сражался с турками не за страх, а за совесть.

Город Браилов, упомянутый им, да, впрочем, и весь театр тогдашних военных действий против турок по странному совпадению хорошо мне знакомы. Я воевал в этих самых местах через сто с лишним лет после прадедушки, в 1916 году на Румынском фронте, и, будучи вольноопределяющимся, младшим фейерверкером 64-й артиллерийской бригады, исколесил со своей батареей почти всю Добруджу от Дуная до Базарджика и несколько раз побывал в Браилове, румынском городе, но ни крепости, ни садов Назир-паши не заметил. Их в то время уже, наверное, не было.

Недавно, совершая поездку по Румынии, я опять попал в Браилу, как теперь по-румынски называется Браилов. И мне вспомнилось, как некогда я после отступления нашей армии из Добруджи, потеряв свою батарею и кое-как перебравшись по зыбкому понтонному мосту через Дунай, шел худой и голодный, таща на спине катушку с тремя верстами телефонного провода, спасенного мною в бою под Констанцей. Я разыскивал штаб своей бригады. Была осень. От Дуная тянуло холодным туманом, и в этом тумане тонули купы пожелтевших деревьев, растущих вдоль всего берега этой широкой, разлившейся после осенних дождей

реки, быстро несущей свои оловянные воды с воронками водоворотов к Черному морю.

Теперь мы переправились с правого берега Дуная на левый на пароме, уставленном легковыми автомобилями и грузовиками, нагруженными пчелиными ульями, которые перевозили с места на место.

Был конец июня. Полдень. Беспощадное солнце пекло голову, и я боялся солнечного удара, так как на пароме не было тени, а температура была выше сорока. Я пришел в отчаяние, отдавшись на милость судьбы. Однако посередине реки вдруг подул легкий ветерок и стало легче дышать.

О, как знакома была мне эта речная пресная дунайская свежесть!

Паром миновал длинный остров, заросший серебристыми деревьями, кажется ивами, которые напоминали мне молодость, Румынский фронт. Мимо этих самых серебряных деревьев, как бы вытканых на серо-зеленом гобелене, я плыл на барже, нагруженной пушками, лопатами, кухнями и ящиками с патронами, из Рени в Черноводы, откуда мы наступали на турок и болгар. Победа казалась совсем близка. Наши наблюдатели уже видели в свои бинокли и стереотрубы город Базарджик. Но прошло не больше месяца, и под ударами немецкой армии генерала Макензена мы откатились обратно к гирлу Дуная и в некоторых местах даже перешли на левый берег, чего можно было, собственно, и не делать, но у страха глаза велики.

Потом все пришло в порядок, и мы закрепились на правом берегу, причем один полковник, поддавшийся было инерции отступления и переправивший свою часть на левый берег, тут же получил от армейских остряков прозвище полковник Задунайский.

Все это отрывочно вспомнилось мне на плоту под палящими лучами полуденного солнца, посредине Дуная, пылающего вокруг нас, как расплавленная платина.

...мы выгрузили свою машину на плоском голом берегу, исполосованном автомобильными шинами и истоптанном человеческими следами, что делало его безнадежно скучным...

И я снова вспомнил этот самый берег и тот день поздней осени, когда я, командированный с фронта в военное училище, должен был сесть на пароход, чтобы доплыть на нем до Рени, а оттуда уже на поезде в Одессу.

С позиций я добирался до Браилова частью пешком, частью на путных армейских повозках, частью на случайных румынских каруцах.

Осень уже переходила в зиму, и однажды, ночуя возле длинной скирды соломы и положив под голову свой черный артиллерийский ранец, я проснулся утром и увидел, что все вокруг бело и я сам — вернее сказать, половина меня, укрытая шинелью, — покрыт инеем, и в воздухе уже слышится острая снежная свежесть. Я встал, и отпечаток моего тела резко желтел среди пшеничной соломы, покрытой инеем. За ночь я порядочно промерз, а темный свет позднего ноябрьского рассвета еще более усиливал бивший меня озноб. Однако этот гнилой рассвет, унылые очертания невысоких предгорий Карпат, еле видных в тумане, мокрая дорога со следами многочисленных колес и лошадиных копыт проходивших здесь воинских частей нисколько не отразились на моем настроении; оно было бодрым и прекрасным, как только может быть у девятнадцатилетнего вольноопределяющегося, который после долгого пребывания на фронте отправляется в тыл. Я привел себя в по-

рядок, туго перепоясался, поправил шпоры и быстро зашагал в Браилов, до которого оставалось совсем немного. По дороге меня подобрал санитарный фургон с двумя веселыми румынскими военными медиками и быстро довез до пристани, где уже дымил готовый к отплытию пароход. Я предъявил у трапа свое командировочное удостоверение и очутился на нижней палубе нарядного дунайского пароходика. Откуда-то из недр, из машинного отделения, дуло горячим ветром, пропитанным запахом пара, отшлифованной стали и минерального масла.

Пароход отчалил. Браилов поплыл назад, потонул в холодном тумане. Пошел дождь. Я продрог до костей. Мне захотелось тепла, уюта, выпить чего-нибудь горяченького. В кают-компании горели электрические бра.

Я переступил через высокий порог, отковырнув несколькими сидящим здесь офицерам, и подошел к стойке, за которой буфетчик-румын в белой куртке разливал чай.

Внутренний голос сказал мне, что нижний чин не имеет права находиться в этом прекрасно освещенном, красивом, теплом помещении, пропитанном запахами папиросного дыма, круто заваренного чая, кофе и еще чего-то пряно-колониального. Но другой внутренний голос ответил на это, что я хотя и считаюсь по уставу нижним чином, но являюсь вольноопределяющимся, младшим фейерверкером, у меня на шинели нашта георгиевская ленточка, а на рукаве — тесемочка за отравление газам, я еду поступать в военное училище и скоро стану офицером, наконец — на мне прекрасное новое обмундирование, отличные хромовые сапоги со шпорами (правда, грязноватые), у меня молодое интеллигентное лицо, я состою в любовной переписке с хорошенькой дочкой генерал-майора, командира нашей бригады, так что вполне могу находиться в этом привилегированном месте, среди офицеров.

В нагрудном карманчике моей суконной гимнастерки вместе с командировочным удостоверением имелось несколько румынских бумажных лей, полученных в канцелярии бригады в виде суточных, кормовых и приварочных за четыре дня.

Чай подавался в больших толстых фаянсовых чашках с синим вензелем пароходства. Я заказал себе — на ужасном французском языке — чаю покрепче и погорячее, а так как я заметил на полке массивную бутылку ямайского рома с головой негра, то я попросил буфетчика положить в чай побольше сахара и долить чашку ромом.

Наступила минута, о которой я мечтал всю жизнь: я уже вполне взрослый, самостоятельный человек, обстрелянный в боях солдат. Я захожусь на корабле; у меня в кармане кредитные билеты; я весел, независим, и я небрежно заказываю стюарду большую чашку горячего чая с красным ямайским ромом, то есть, по сути дела, пунш.

Буфетчик поставил передо мной чашку, и тотчас в воздухе распространился запах ямайского рома. Я потрогал чашку пальцами: она была горячей, почти огненной. Я предвкушал блаженство первого глотка. Но для того, чтобы оттянуть минуту наслаждения, продлить миг ожидания, я сначала расплатился с буфетчиком, щедро оставив ему всю сдачу на чай, а потом осторожно лизнул языком край чашки, ощутив спиртуозное испарение обжигающего напитка. Еще минута — и я буду с жадной медлительностью пить чай, чувствуя тепло, разливающееся по моему продрогшему телу.

Но как раз в этот миг за моей спиной раздался повелительный голос:

— Вольноопределяющийся!

Я обернулся и увидел офицера с кожаным портсигаром на ремешке через плечо, развалившегося на бархатном диване. Он поманил меня пальцем. Я быстро поправил фуражку и с рукой под козырек подошел к нему строевым шагом, остановился как вкопанный по уставу за четыре шага и брякнул шпорами.

— Кэк вы смээте нэходиться в эфицерской кэют-кэмпании! — крикнул он гвардейским тенором, от которого мурашки побежали по моей спине и в голодном желудке еще больше похолодело. — Вон этсюда нэ пэлубу, и чтобы я вас здесь больше не видел! Рэспустились!

Я хотел объяснить ему, что я интеллигентный молодой человек, еду с фронта поступать в военное училище, очень озяб и хочу выпить чашку горячего чая с ромом, но язык не слушался меня и я пролепетал какую-то чепуху.

— Кр-ру-гом! — загремел офицерский голос. — И нэ пэлубу шэгом эррш!

Продолжая держать руку под козырек, я повернулся на каблуках и строевым шагом вышел из кают-компании на палубу мимо стойки, где медленно испарялась чашка моего чая, распространяя вокруг божественный аромат красного ямайского рома.

На палубе было холодно, ветер нес порывами над оловянными волнами Дуная полосы мелкого ледяного дождя, возле люка машинного отделения, сидя на своих вещевых мешках, грелись несколько раненых солдат-пехотинцев, едущих, по-видимому, в тыл; я подсел к ним, они посунулись, давая мне место, и угостили меня шепоткой махорки «тройка» и клочком бумаги, вырванным из румынской газеты «Адаверул», и я довольно ловко скрутил сигарку и затянулся горьким, сытным солдатским дымком, в то время как перед моим умственным взором как бы плыла в сыром воздухе большая фаянсовая чашка чая с ромом. Я чуть не плакал от обиды и огорчения, но не показывал виду и выпускал из ноздрей крепкий махорочный дым.

Вот уж верно говорится: по усам текло, а в рот не попало.

Я думаю, что пушкинский Руслан испытывал нечто подобное, когда из его объятий выскользнула и бесследно пропала Людмила, унесенная Черномором. С той лишь разницей, что Руслан в конце концов нашел свою «минутную супругу» и выпил чашу брачных наслаждений до дна, в то время как моя чашка горячего чая с ромом была потеряна навеки и ее образ преследовал меня всю жизнь как неудовлетворенное желание, хотя в своей жизни впоследствии я выпил много чашек чая с ямайским ромом, но это уже было не то, совсем не то. А та единственная, неповторимая чашка осталась навсегда как первая неразделенная любовь, и, если сказать правду, ее образ преследует меня до сих пор; я так ясно ее вижу: толстую, фаянсовую, белую, с синей монограммой румынского дунайского пароходства, распространяющую вокруг колониальный запах красного ямайского рома.

...А между тем кончался уже шестнадцатый год, последний год старрой, царской России...

«...того же года и месяца 12 числа, — продолжает описывать свои подвиги прадедушка, — тоже ночью были поиски под крепостью Браиловом; подполковник Снарский послал меня с 24 драгунами и 30 казаками, велел затем секретно выйти от крепости Браилова по Галацкой дороге, где и находится до восхождения солнца, секретно на-

блюдая за действием неприятеля, но отнюдь не начинать никаких действий, а он, Снарский, с батальоном егерей, четырьмя эскадронами драгун, тремя сотнями казаков и двумя орудиями, под командой есаула Суворина состоящими, оставался под горой. При восхождении солнца заметив турецкий отряд, я тотчас, спрятав свою команду в большой бурьян на месте разоренной деревни, дал знать подполковнику Снарскому, но когда увидел, что турки в числе 20 человек, не заметив меня, возвращались обратно к крепости, то я, не дождавшись приказания г. Снарского, пустился вслед за ними, схватил 8 человек в плен на том самом месте, где во время несчастного штурма Браилова стоял лагерь фельдмаршала Прозоровского».

«После сего я, заметив, что турки начали выскакивать из крепости, повел с ними перепалку в надежде той, что г. Снарский придет ко мне в сикурс капитана Рейнгольфа и с оным более ста человек драгун и казаков, но капитан Рейнгольф, видя перепалку, остановился в дальнейшем от меня расстоянии; я послал 8-го полка урядника Житнева спросить г. Рейнгольфа, что прикажет мне делать, и получил в ответ, что ему велено открыть Галацкую дорогу, идущую из Браилова к Серету, а потому чтобы я с командою к нему присоединился».

«Хотя такое распоряжение было для меня неприятно, но я принужден был исполнить оное».

«Прикрыв отступление г. Рейнгольфа своею командою, я начал было спускаться с горы тропою вниз, в большие камыши, к Серету, но в то время я заметил идущий эскадрон напротив турок, остановил свою команду, а вместе с оной осталось несколько отличных охотников из партии егерей, так что моя партия простиралась до 80 человек; тогда я велел людям встать с лошадей, дать оным отдохнуть, а сам замечал за действием наших и неприятельских войск; между тем я узнал, что эскадроном, который уже вступил в бой с турками, командует бывший адъютант генерала Олсуфьева лейб-гвардии финляндского батальона капитан Г. (что ныне генерал от инфантерии). Он заметил, что с левой стороны прибыл к нему эскадрон драгун под командою майора К. и что из отряда Снарского также есть подкрепление; но турки усилились так, что начали наших теснить в Браиле».

«Тогда я со своей партией выскочил из-за горы и поскакал в отрез туркам, а как в то время была сушь, то в пыли турки не могли заметить хозяйничания моей партии, а увидя впереди идущее подкрепление с артиллерией, бросились бежать до крепости, потеряв немалое количество людей».

Прадед мой, по-видимому, не отличался особой скромностью, что было в духе того далекого времени, когда военные являлись если не единственной, то, во всяком случае, одной из главнейших опор государства.

Быть героем считалось непременно условием каждого военного, и прадедушка мой, несмотря на свои скромные чины, не являлся исключением.

...высокий густой бурьян, знойное сентябрьское солнце; тучи белой пыли на дорогах, по которым двигались войска; черные рыбацкие челны в густых камышах; турецкая крепость, окруженная пыльными садами Назир-паши; ржанье казачьих лошадей, пики, султаны кавалеристов; скрип фурштадтских повозок; палатки, белеющие по склонам холмов — последних отрогов Карпат; пушечная пальба; хлопающие выстрелы карабинов; развернутые знамена; крики военной команды; трубы горнистов; скачущие адъютанты...

Как все это было не похоже на ту войну, в которой я участвовал более ста лет спустя. Дунай был рекой моей военной молодости, рекой наступлений и отступлений, как бы рубеж, разделивший юг России на дореволюционный и революционный.

До революции весь этот театр военных действий против турок, болгар, немцев и венгров назывался Румынским фронтом, или, в штабном сокращении, Румфронтом. После революции Румфронт превратился в Румчерод.

Февральская революция совершилась, но война еще продолжалась.

В последний раз, уже во времена Керенского, я дважды пересек реку Прут по железнодорожному мосту над древесными зарослями широкой поймы этой реки, так тесно связанной с судьбами моей семьи: один раз туда, когда, уже будучи прапорщиком, я вез свою маршевую роту на фронт, переместившийся из Добруджи на север, в район румынского города Бакэу, куда, перевалив через Карпаты, наступал Макензен, а другой раз через месяц, раненный во время нашего летнего наступления, уже обратно в санитарном поезде, в жару, в бреду, качаясь на полотняной койке, окруженный странными видениями, ночью, я снова пересек заросшую лесом пойму реки Прут между Яссами и Унгенами и снова погрузился в непознанный мною еще тогда мир моих предков. В моем бреду участвовали зловеще-черные ветряные мельницы, сады, виноградники, кладбище, заросшее сухой полынью, и старая церковь петровских времен, наполовину каменная, наполовину деревянная...

...и горящие кареты, и турецкая конница, и Петр в треугольной шляпе, едущий рядом с Кантемиром среди прыгающих ядер и свистящих пуль, осененный рваными знаменами...

Во времена военной молодости моего прадеда обстановка на турецком театре военных действий, если не врут историки, что бывает частенько, сложилась примерно таким образом.

К апрелю 1809 года, то есть с того года, с которого прадедушка мой начал свои записки, силы русской и турецкой армий были примерно равны: тысяч 80 и у тех и у других. Однако русские войска были изрядно закалены во многих сражениях, сравнительно хорошо снаряжены, а также имели таких незаурядных боевых командиров, как Кутузов, Милорадович, Платов, знаменитый французский эмигрант Ланжерон, находившихся под общим начальством главнокомандующего Прозоровского.

Турецкая же армия за небольшим исключением представляла какой-то сброд, а начальствующий над нею великий визирь Юсуф, известный главным образом по тем поражениям, которые нанес ему Бонапарт в Египте, был уже восьмидесятилетним стариком.

Александр I дал приказ скорей перейти Дунай и закрепить за собой румынские области. 5 апреля армия, в которой служил мой прадедушка, не дожидаясь ответа на свой ультиматум туркам, тронулась тремя колоннами: она заняла без труда Фокшаны, затем, как теперь говорится — с ходу, захватила крепость Слободзею, но потерпела неудачу при штурме Журжева. Затем она приступила к осаде крепости Браилов. Штурм русских с 1 на 2 мая был отбит, причем потери равнялись 5 тысячам человек.

Легенда гласит, что известием об этом поражении главнокомандующий Прозоровский был так расстроен, что даже заплакал.

Присутствовавший же при этом будущий герой Отечественной войны 1812 года, победитель Наполеона Кутузов будто бы сказал Прозоровскому в утешение:

— Ваше высокопревосходительство, стоит ли расстраиваться? Я проиграл Аустерлицкое сражение, от которого зависела судьба Европы, и то не плакал.

Каков характер Кутузова!

После двойной неудачи под Журжевом и Браиловом император Александр I приказал не тратить сил на штурмы турецких крепостей, а идти прямо на Константинополь.

Прадедушка продолжает:

«1810 года июня с 25 на 26 заложена была под крепостью Шумла батарея, близ Цареградских Ворот, расстоянием от крепости не далее 150 сажень. Здесь на работе и для прикрытия было несколько батальонов, в том числе батальон пехотного Нейшлотского полка. (В сем полку я сам служил подпоручиком.)».

Стало быть, за год наши войска прошли всю Добруджу, что при тогдашней технике можно считать сроком довольно коротким.

Сто лет спустя я сам прошел со своей батареей почти всю Добруджу, не подозревая, что иду по следам своего прадеда, однако до подступов к Константинополю мне дойти не пришлось, в чем я сильно отстал от моего предка, которого занесло под самую Шумлу, к Цареградским Воротам!

«Путру 26 числа, — продолжает прадед, — после развода караулов, я просил шефа полка полковника Баллу позволения осмотреть новостроящуюся батарею, равно и батальон Нейшлотского полка, там находящегося, и хотя г. Балла с неудовольствием сказал мне:

— Наверное, хочешь ты что-нибудь напроказничать с турками, — но отпустил».

«...я приехал к последнему бикету, отдал лошадь казаку и взошел на батарею; я увидел оную в худом положении, ибо каменная почва не позволила в одну ночь даже прикрыть бруствер, а только один фас прикрыт землею».

«Здесь стоял полковник Белокопытов с 28-м егерским полком. Заметивши, что на правом фланге батареи, на турецком кладбище, стоит того же полка бикет под командованием унтер-офицера, пошел к оному и, видя, что турки, нуждаясь в траве для своих лошадей, выходят из крепости и режут серпами траву около крепостной канавы, взял у егеря ружье и выстрелил по турку; он отвечал мне; с сего завязалась перепалка».

«Г. Белокопытов, видя усиливающихся турок, прислал еще с унтер-офицером сикурс. Я принял над сим отрядом команду и, заметя, что у турок показалось два знамени, велел людям приготовиться в случае чего принять неприятеля в штыки...»

«...как вдруг турки закричали:

— Алла! Алла!

И бросились на наших людей, из которых малая часть храбрых осталась на месте жертвою».

«Стрелки, оставив меня, бежали. Тут, признаюсь, я уже не кричал, чтобы остановить бегущих моих людей, а сам бежал за ними. Но когда какой-то турок наскочил на меня с саблею, то я ударил его в бок штыком и бросил в него ружье. Он упал на землю, а сам я, обнажив саблю, колот моих бегущих егерей, изранив некоторых саблею и тем самым остановивши оных».

«С помощью подоспевших конных орудий роты подполковника Бушуева на штыках опрокинул я со своими людьми турок и взял из них четырех человек в плен».

«Тогда, заметивши, что вся наша армия, стоявшая под командою графа Каменского 2-го, пришла в движение, я поспешил взять свою лошадь и хотел ехать в лагерь, как вдруг увидел, что Нейшлотский полк прошел с левой стороны батареи и стал впереди в прикрытие оной. Тогда я явился к шефу полка полковнику Балле, который с неудовольствием сказал мне сии неприятные слова:

— Это твоя работа! Ступай в стрелки, смени штабс-капитана Мавжинова да потешься, коли тебе так нравится проказничать!»

Видно, прадедушка был порядочный «проказник».

«Я тот же час сменил Мавжинова, принял 120 храбрых стрелков, кои были расположены в худой позиции; из них некоторые уже были ранены. Я тотчас переместил позицию, расположил оных по выгодным местам в две линии».

«Тут люди, ободренные нашим прибытием, повели убийственный огонь противу шанцев, прикрывавших Цареградские Ворота, и, видя меня, расхаживающего между ними, промеж себя говорили:

— Его пуля не берет, он знает, как ее заговаривать».

«После сего я заметил, что шанцы, прикрывавшие Цареградские Ворота, усилены войсками, в коих показались 9 знамен, и что турки начали уже выходить даже со знаменами перед шанцы».

«Положение наше было таково: с правой моей стороны ручей, выходящий из Шумлинской канавы и текущий вниз, к Иски-Стамбулу, выше Ени-Базара, а левый мой фланг по-над крепостной канавой, которой вал возвышен так, что моим стрелкам пушки не могли нанести вреда».

«Я послал к полковнику Балле фельдфебеля Гатова доложить, чтобы мне еще привели подкрепление. Через четверть часа 100 человек стрелков и поручик Семенов, остановя оных позади, прибыл ко мне спросить распоряжения. Но так как Семенов был старше меня чином, то я спросил его, что, быть может, мне велено состоять под его распоряжением, и, узнав, что он должен составить только резерв, мною сделаны были ему некоторые наставления. Но в тот же самый миг Семенов был турецкою пулей повержен на землю».

«Я приказал отнести его на ружьях в полк и принял его команду в свое ведение. Заметив, что турки пошли вышеописанным ручьем с намерением обойти наш левый фланг, я тотчас приказал подпоручику Окилову взять 40 человек охотников, дабы отрезать турок».

«Окилович исполнил свое дело со всей точностью. Молодец!»

«Между тем прибыл на батарею генерал Уваров. Заметив мое действие, спросил, которого я полка, и прислал мне 100 человек егерей 28-го полка; немного спустя прислал мне ординарца сказать, что эскадрон Александрийского гусарского полка будет идти в атаку на шанцы турок и чтобы я прикрыл фланги эскадрона стрелками. Я исполнил приказание и, увидя, что эскадронный командир убит и гусар много пало, приказал им поспешно отступить».

«Тогда, сомкнув стрелков, на плечах неприятеля вскочил я в шанцы, переколов штыками значительное число турок, отбив 4 знамени, 15 снарядных ящиков с патронами, которые тут же и затопил в протоке».

«Будучи от самых Цареградских Ворот не далее 40 саженей и видя, что в оных стояло несколько тысяч турок и уже закатившееся солнце, велел я ударить отмарш».

По-видимому, отмарш — это по-теперешнему отбой.

«Тут гренадер Сидоров сказал мне сии достопамятные слова:

— Что вы, ваше благородие, делаете? Вот Ворота уже почти в наших руках, а вы велите отступать!..»

«...но роковое ядро из корпуса графа Каменского 1-го разорвало Сидорова надвое...»

«Итак, сей храбрый гренадер пал жертвою оттого, что наших пушек не подвинули ближе или, по крайней мере, не подняли стволами вверх».

«Но за всем тем я отступил, оставя неприятельские шанцы, к своему полку уже в сумерках и, когда взошел на возвышенность, тут из крепостной артиллерии покрыт был жестоким огнем и контужен ядром так тяжело, что через несколько дней пришел в чувство уже в ени-базарском госпитале. Там я узнал, что генерал Уваров и главнокомандующий Каменский были довольны моими действиями. Потом я узнал, что взятые мною 4 турецких знамени представлены главнокомандующему, а о 15 снарядных ящиках, мною потопленных, только слух носился, но без меня, так как я лежал без сознания в госпитале и некому было объяснить начальству, что это сделал я».

«Итак, за мое дело многие были награждены орденами, в том числе поручик Семенов награжден орденом святой Анны 3-го класса, а мои награды...»

«...мои награды пролетели мимо меня вместе с теми пулями, которые в меня не попали...»

Этими горькими словами заканчиваются записки прадедушки, относящиеся к его участию в турецкой кампании.

Читая и перечитывая эти записки, я все время не только ощущал как бы свое присутствие при описанных событиях, но даже причастность к ним, личное участие в них.

Иногда мне даже кажется, что в меня вселилась душа моего прадеда и что все это происходило со мной: и штурм Цареградских Ворот, и так несвоевременно заходящее солнце, и горькие слова гренадера Сидорова, и вынужденное отступление в тот самый миг, когда, казалось, победа была так близка, и купола и минареты стамбульских мечетей, среди которых так ясно виделась мне Айя-София с крестом вместо полумесяца, голубели на фоне бледно-фосфорического неба восточного горизонта, может быть, не далее чем на расстоянии пушечного выстрела.

Но то, что прадедушке и гренадеру Сидорову казалось такой горькой случайностью, на самом деле было следствием крупного поворота исторических событий, о чем в то время в армии никто даже и не подозревал.

...Весной 1811 года, пишет историк, русская армия усилилась на 20 000 человек. Смелым маршем на Балканы Каменский двинулся на Константинополь. Вдруг Каменский получил из Петербурга приказание, совершенно его удивившее: ему велено было отправить пять дивизий на Днестр (это уже было началом отлива русских военных сил к бу-

душему северному театру военных действий, то есть приближение Отечественной войны 1812 года).

Каменский заболел и был заменен Кутузовым. Кутузов, который еще во времена Екатерины и Суворова был свидетелем битв при Ларге, Кагуле, Мачине, понял, что всякая надежда форсировать дорогу на Константинополь должна быть оставлена. Назревала новая, страшная война с Наполеоном. И Кутузову выпал жребий стать героем этой войны, победителем Наполеона.

Прадедушка еще некоторое время, вплоть до заключения мира с турками, на котором настоял император Александр I, воевал в Добрудже.

Ах, Добруджа, Добруджа!.. Иногда ты снишься мне.

В то время, когда в середине 1916 года наша артиллерийская бригада, внезапно переброшенная из-под Сморгони, где в течение нескольких месяцев мы сдерживали натиск немцев и отвлекали их силы от Вердена, в придунайский город Рени, расположилась лагерем со всеми своими трехдвоймовками, обозами и парком среди пыльных сливовых садов и огородов и ждала, когда Румыния наконец вступит в войну против немцев на нашей стороне и мы переправимся через Дунай на театр военных действий, я получил кратковременный отпуск в Одессу и болтался там, разыгрывая из себя перед знакомыми барышнями героя знаменитых боев под Сморгонью, шеголяя новыми хромовыми сапогами и медными пушечками на погонах вольноопределяющегося.

Однако мне не пришлось долго валандаться в тылу: Румыния объявила войну Германии, я поспешил в свою часть и через сутки уже был в опустевшем Рени. Мне пришлось догонять свою батарею, пристроившись на одну из барж, которая везла вверх по Дунаю продовольствие, фураж и боеприпасы для действующей армии.

Не стану описывать свое плавание на барже, которую тащил за собой маленький, но могучий катерок, красоту широко разлившегося Дуная, мутно-голубые отроги Карпат, таинственно видневшиеся вдалеке, на румынской стороне.

Иногда навстречу нам шли катера или мониторы, откуда нас приветствовали гудками и флагами.

Не помню уже, сколько времени продолжалось путешествие на барже, но вскоре мы достигли города Черновода, откуда я должен был согласно предписанию военного коменданта Рени следовать дальше по железной дороге до города Меджидие, где, по его предположению, должны были находиться тылы нашей бригады, ведущей наступление на Базарджик.

Высадившись на берег, я очутился на немощеной площади, сплошь истыканной лошадиными копытами и заваленной пачками прессованного сена. Посреди площади находилась кофейня, имевшая вид дощатого сарая, со столиками, расставленными под открытым небом на черной земле. Возле кофейни возвышался высокий шест с пучком соломы, что, по-видимому, являлось как бы вывеской этого заведения, а на крыше висел румынский национальный флаг, говоривший, что я уже нахожусь за границей.

За столиками сидели румынские простолюдины в высоких бараньих шапках, бараньих жилетах и пили из маленьких чашечек черный турецкий кофе, заедая его вишневым вареньем из таких же маленьких блюдец и запивая свежей водой, которую каждые пять минут меняла хорошенькая румынка в красной юбке и черном корсете, но босая.

У меня не было денег, и я мог лишь полюбоваться видом кофейных чашечек и блюдец с красной вишенкой посередине.

Кое-как я добрался до станции железной дороги и узнал, что поезд на Меджидие отправляется лишь в семь часов утра, а так как розовое августовское солнце еще только собиралось опуститься за пыльные фруктовые сады, длинные скирды свежей ярко-желтой соломы и черепичные крыши хорошеньких мещанских домиков с угловыми балконами и колодцем против каждого ворот, то я с грустью понял, что мне не останется ничего другого, как устроиться на длинной лавке под станционным навесом и кое-как переночевать, положив под голову ранец, набитый всякой всячиной, которую я вез из тыла в подарок своим товарищам по орудию.

На станционной площадке не было ни души. Я уже собирался расположиться на лавке, как вдруг...

...мое внимание привлекла женская фигура, появившаяся на платформе...

Она несколько раз медленно прошла мимо меня, но лица ее я не мог разглядеть, так как оно было закрыто кисейной чадрой, выкрашенной в мутно-голубой цвет домашним способом. Чадра эта опускалась ниже колен, почти до самой земли.

По-видимому, это была молоденькая девушка.

Весь ее стройный стан, невинная худоба рук, легкая походка говорили, что ей лет семнадцать. Меня взяла досада, что я не мог рассмотреть ее лица, но длинные волосы льняного цвета, почти белые, заплетенные в две косы, давали понять, что она если и не красива, то, во всяком случае, очень мила.

В то незабвенное время я еще придавал слишком большое значение красоте женского лица.

Мне показалось, что сквозь голубую кисею я увидел робкую улыбку, явно относящуюся ко мне. Мне даже показалось, что в этой улыбке проскользнуло что-то грешное. «Чем черт не шутит», — подумал я.

Судя по ее недорогой обуви, можно было заключить, что она принадлежит к невысокому классу черноводского общества, и это еще более воспламенило меня. «Доступная мещаночка», — подумал я и прошел быстро мимо нее, сделав ей то, что тогда называлось «глазки».

Ветер на миг откинул ее вуаль, и я увидел белое личико, усыпанное золотистыми веснушками, которые, впрочем, ничуть его не портили.

Я уже собрался шелкнуть шпорами, откозырять и предложить познакомиться, но в решительный момент робость одолела меня: в свои девятнадцать лет я еще не был достаточно испорчен. Я покраснел и удалился на свою скамейку, делая вид, что поправляю ранец.

К своему удивлению, я заметил, что моя незнакомка снова еще более медленным шагом прошла мимо меня, а потом остановилась, как бы ожидая, что я подойду к ней.

Преодолевая смущение и делая вид завязатого армейского волокиты, я подошел к ней и приложил руку к козырьку потрепанной в боях фуражки. Она благосклонно мне поклонилась.

Трудность положения заключалась в том, что у нас не было общего языка. Я попытался сказать ей комплимент по-французски, который я еще совсем недавно изучал в гимназии. Она ничего не поняла, но вдруг сказала мне какую-то фразу на незнакомом языке, но не на румынском, а на каком-то другом, напоминающем один из древних славянских диалектов. Из ее фразы я смутно понял, что она рада нашему знакомству и называет меня «господин офицер».

Скорее знаками, чем словами, я объяснил ей, что я не офицер, а всего лишь вольноопределяющийся, волонтер, показал ей на свои погоны со скрещенными пушечками и сделал губами звук «бум-бум». Она поняла и ласковым голосом произнесла слова:

— Храбрый воин, солдатик.

Мне показалось, что я ей понравился, и в моем воображении сразу же возникла картина мимолетной любовной интрижки странствующего артиллериста и обольстительной туземки, обещавшей прекрасную ночь.

Сделав над собой известное усилие, я взял ее под руку.

Она смутилась, но руки не отняла. Мы некоторое время погуляли туда и назад по станционной платформе, причем я старался как бы незначай прижать ее тонкий стан к себе.

Оказалось, она, как я и предполагал, не румынка, а принадлежит к так называемым русинам, народу, населяющему некоторые придунайские области.

...Вскоре мы стали довольно хорошо понимать друг друга...

Солнце уже закатилось, но на небе еще долго держалось его зарево. Потом и оно исчезло. Наступили сумерки.

Девушка, взглянув на меня тайнственно из-под вуали, нежным голосом произнесла довольно длинную фразу на своем неясном славянском наречии. Слов ее я не понял, но ее жесты были понятны: она приглашает меня к себе. Для меня не было ни малейшего сомнения в значении этого приглашения на пороге ночи, и я еще крепче прижал к своему боку ее худенький локоть. Это ее, очевидно, несколько смутило, так как она сделала слабую попытку высвободить руку, но я был настойчив и не выпустил ее из плена.

Я взвалил на плечи ранец, и мы отправились вниз по немощеной полудеревенской улице, состоящей из двух рядов хорошеньких домиков-хаток с палисадниками, где в потемках все еще ярко рдели крупные георгины, источавшие волнующий запах растительного тления.

Девушка пропустила меня в одну из калиток и, взяв за руку, ввела через угловую террасу в дом, показавшийся мне безлюдным.

Боже мой, какими глупостями занимался я в эти страшные дни, быть может, на пороге смерти, когда вокруг бушевала мировая бойня... А мне даже и в голову не приходило, что завтра меня, может быть, уже убьют на позициях нового Румынского фронта и отец, сняв пенсне, будет плакать над роковым извещением и брат мой, гимназист Женя, придет в гимназию с траурным крепом на рукаве...

В большой низкой комнате, обставленной по-мещански, с рукодельным шерстяным ковром на стене, стояли друг против друга две кровати под вышитыми покрывалами.

Я привлек к себе девушку и, не теряя золотого времени, сделал попытку ее поцеловать, но она вежливо отвернулась и, тайнственно прижав пальчик к губам, сказала на своем странном языке нечто, понятное мною как просьба не торопиться. Она показала мне на одну из кроватей. Я понял, что эта кровать предназначена мне. Затем она снова вывела меня на улицу и показала знаками, что, когда настанет ночь и взойдет луна, она придет ко мне в этот дом, заставила меня запомнить номер, написанный на воротах, и быстро ушла, оставив меня одного.

В ожидании ночи я стал бродить по Черноводам, напоминавшим скорее большое село, чем город.

Наконец настала ночь.

Я нашел знакомые ворота, пробрался в палисадник и через сени, стараясь не скрипеть сапогами, вошел в комнату.

Сначала, не зажигая огня, я долго сидел впотьмах на подвернувшемся мне стуле, нетерпеливо ожидая появления девушки, но потом лег на кровать и решил немного вздремнуть, свесив наружу ноги в сапогах, чтобы не запачкать покрывала.

Но, как известно, стоит только солдату прилечь, как он тут же и заснет крепчайшим сном.

Я проснулся среди ночи. Яркая луна изо всех сил светила в окошки с кружевными занавесками. Где-то лаяли собаки. Черные тени деревьев виднелись в окнах.

Придя в себя после сна, крепкого как обморок, я вдруг вспомнил про девушку, прислушался и услышал дыхание на противоположной кровати.

Я понял, что, пока я дрыхнул, пришла девушка и, не желая меня будить, прилегла на свободную кровать. Я прислушался к ее ровному дыханию, и кровь закипела во мне.

Скинув сапоги, я приблизился к ее кровати вкрадчивой походкой графа Нулина. Протянув в потемках руку, я тронул похолодевшими пальцами укрытое одеялом плечо. Девушка не пошевелилась. Я потряс ее плечо посильнее.

Она пошевелилась, раздался глухой грубый кашель, мычание, чья-то рука потянулась к стулу, на котором стоял подсвечник, чиркнула серная спичка, и при свете загоревшейся свечи я увидел громадного, как медведь, мужчину с лицом разбойника и вьющейся бородой, иссиня-черной, как ежевика.

Разбойник посмотрел на меня с добродушной улыбкой и произнес несколько слов, из которых я понял лишь:

— Рус, молодец. Надо спать.

При этом он показал волосатой рукой на мою кровать, задул свечу и тут же страшным образом захрапел.

Испуганный до смерти, я отступил к своему ложу, положил на всякий случай под подушку заряженный наган, вынул его из кобуры, и решил больше не спать, так как был уверен, что меня заманили в разбойничий притон и собираются ограбить и убить. Я проклинал себя за легкомысленное знакомство и со страхом прислушивался к несомненно притворному храпу разбойника.

Однако сон сморил меня, я опять крепко заснул, сунув руку под подушку, а когда открыл глаза, то увидел, что уже совсем рассвело, в комнате нет никого, кроме меня, а на комод, покрытом вязаной попонкой и уставленном какими-то гипсовыми фигурками и морскими раковинами, стоит глиняный кувшин с молоком, покрытый большим ломтем желтого пшеничного хлеба с примесью кукурузной муки.

Хотя я чувствовал себя обманутым и обиженным, но голод не тетка, и я быстро опустошил кувшин с холодным жирным молоком, заев его удивительно вкусным хлебом.

...На дворе уже кричали третьи петухи...

Я обулся, сунул руки влямки своего ранца, надел его и, отбиваясь ногами от преследующей меня дворовой собаки, спущенной на ночь с цепи, вышел за калитку.

Каково же было мое удивление, когда у ворот я увидел свою девушку и услышал ее странный голос, желавший мне на своем русинском языке доброго утра; она показывала рукой в сторону железнодорожной станции. Я понял, что она боится, как бы я не опоздал на поезд.

Она довела меня до станции. Мы успели как раз вовремя: через пять минут маленький румынский поезд с вагонами на европейский лад (множество дверей, выходящих из купе прямо на платформу) дал свисток и тронулся в путь.

Я смотрел в окно вагона на девушку, которая посылала мне социальные поцелуи, махала накрахмаленным платочком и крестила меня своей худенькой цыплячьей ручкой.

— Храни тебя бог!..

...или нечто вроде этого крикнула она вслед моему уходящему поезду...

Тут я наконец понял, что произошло: добрая молоденькая русинка, увидев на станции одинокого русского военного, отправляющегося на позиции и не имеющего крова, решила отвести его в знакомый дом, где бы он мог переночевать по-человечески.

Это было традиционное внимание к солдату — союзнику, другу, единомерцу, защитнику отечества.

Я ехал в купе румынского пассажирского узкоколейного поезда. Меня окружали румыны в фетровых шляпах, некоторые в бараньих жилетах — пассажиры, едущие в Меджидие. Некоторые читали румынские газеты, громко обсуждали начавшиеся военные действия и закусывали, доставая еду из дорожных корзинки.

Я оказался в центре внимания. Еще бы: русский военный, отправляющийся на фронт. Пассажиры рассматривали мою амуницию, угощали виноградом и брынзой, ласково на меня смотрели, заговаривали со мной по-румынски, часто употребляя слово «рэзбой», что обозначало, как я вскоре догадался, «война». Тогда же я узнал, что хлеб называется «пыне», вода — «апэ», кукуруза — «полушой», а сыр — «кашкавал», что меня в глубине души несколько сместило.

Пассажиры видели во мне боевого русского солдата, артиллериста, и я пытался рассказать им по-французски, как наша батарея воевала под Сморгонью и как я был отравлен удушающими газами. При этом я для убедительности даже немного покашлял, и румыны стали горестно вздыхать, повторяя на все лады:

— Рэзбой!.. Рэзбой!..

Вскоре поезд прибыл в Меджидие, где возле живописного восточного базара белели минареты старой турецкой мечети, реквизированной нашими войсками под штаб корпуса.

В прохладном сводчатом помещении вместо слов корана раздавался стук штабных пишущих машинок, поставленных на пустые ящики от снарядов. Я отыскивал дежурного офицера. Он указал мне расположение нашей батареи. Я поспешил отправиться сначала пешком по узкому, но аккуратному шоссе среди сжатых полей непривычно желтой пшеницы и плантаций поспевающей кукурузы с бунчуками подсохших соцветий, в которых было что-то турецкое. Потом меня подвезла полковая фурманка, нагруженная цинковыми ящиками с патронами. В отдалении уже слышались звуки пушек, которые всегда напоминали мне выбивание ковров. Я почувствовал себя на фронте. Душа моя незаметно сжалась, внимание обострилось.

День был жарок, безоблачен и ангельски-прекрасен, но тень смерти уже мерещилась мне на закатном горизонте.

Низко над нами откуда ни возьмись пролетела эскадрилья немецких аэропланов «таубе» с загнутыми назад концами крыльев, и наши лошади вздернули дышла и шархнулись в кукурузу. Но «таубе» уже скрылись из глаз.

Наконец я увидел коновязь с нашими батарейными лошадьми, потом передки, спрятанные в пологой балке, и наконец свою родную батарею с «точкой отметки» в виде высокого шеста с фонариком.

Оказалось, что немецкие летчики только что кинули несколько небольших бомб на нашу батарею, и хотя кое-где виднелись свежие воронки, но батарея наша нисколько не пострадала.

Солдаты — канониры, бомбардиры и фейерверкеры, мои товарищи по оружию, окружили меня, и я не теряя времени сразу же стал раздавать им привезенные из тыла гостинцы, но тут из своего окопчика выскочил телефонист и прокричал только что принятую команду:

— Передки на батарею!

...что значило, что батарея снимается с позиции.

Вскоре наши изрядно-таки потрепанные еще под Сморгонью трехдюймовки, прицепленные к передкам, и сдвоенные зарядные ящики, нагруженные ранцами и вещевыми мешками, двинулись на юго-запад, догоняя части нашей и сербской пехоты в еще неизвестных мне шапочкахахи (типа нынешних пилоток), которые смяли противника и по пятам турок и болгар наступали на Базарджик.

Тут уже как бы начинался мир военной молодости моего прадеда. Хотя техника была другая, но пейзаж вокруг оставался все тем же древним, турецким, с брошенными турецкими поселениями, полуразрушенными деревенскими минаретами, с отравленными колодцами и зловещими крючконосными старухами, посылающими вслед нам проклятия на непонятном нам языке. Иногда в стороне открывалось Черное море, но это было уже совсем другое море, не похожее на то, которое я привык видеть с детства на Ланжероне, в Отраде и на Малом Фонтане, а пустынное, дикое, видневшееся темно-индиговой полосой над обрывами, поросшими мелкой серебристой полынью и богородичной травкой, среди которых иногда белели мраморные остатки античных колоний. А впереди мое воображение рисовало исторические картины столетней давности: сражение возле Цареградских Ворот, взятие Эски-Стамбула, Шумла, Марица... Граф Каменский, скачущий в облаках пыли, окруженный казачьим конвоем. Турецкие знамена. Русские знамена. Заходящее солнце. Дым пожарищ. Крест на святой Софии и башни Константинополя... Все смешалось в моем воображении...

Мы наступали. Сербы сражались как львы. Наши наблюдатели уверяли, что видят в бинокль Базарджик... Впервые я испытал радость наступления.

Так началась наша румынская кампания, которая, впрочем, кончилась тем, что мы едва не попали в мешок к появившимся немцам и корпус генерала Макензена гнал нас обратно почти до самого Дуная, что сильно отличалось от победоносной кампании моего прадеда в этих же местах.

Но ведь то было время Суворова, Кутузова, Милорадовича, Ланжерона, Каменского, даже Чичагова...

«По замирению с турками, — пишет прадед мой под особым заголовком «Достопамятный 1812 год», — Нейшлотский полк из Белграда, что в Сербии, форсированным маршем под командованием графа Орурка (никогда не слышал о таком графе, не напутал ли чего-нибудь прадедушка или, быть может, описался?) следовал к реке Березине, а после, будучи уже под командой генерала Рудзевича, вдруг получил повеление следовать обратно во Владимир-Волынский...»

Так, с известным опозданием, обусловленным исторической и военной обстановкой, о которой тут уже говорено, для прадедушки началось участие в Отечественной войне 1812 года, которым все семейство Бачей очень гордилось.

«Прибытием нашим вопреки желанию поляков сей город спасен от вторичного занятия неприятельского, то есть армии Наполеона».

«На сем пункте, задерживая набеги неприятельские, полк наш оставался несколько времени под командой генерала Решикалова 1-го, где в ноябре ночью, перейдя реку Буг, нашел я неприятельские посты в городе Грубешове. Тут были взяты в плен полковник Зубрицкий, несколько офицеров и множество нижних чинов».

(Речь, очевидно, идет о поляках, служивших в войсках Наполеона.)

«Повыше города, в лесу, я заметил, что немалое количество неприятельских войск бросилось на лед, чтобы переправиться через реку. Тотчас схватив неприятельские ружья со штыками и двух казаков Турчинова 2-го полка, я поспешил к неприятельским войскам, которые, пришедши в робость, соединились в кучу, провалились и пошли под лед, а оставшиеся 12 человек я захватил в плен и представил генералу».

Этот подвиг тоже остался неизвестен высшему начальству, и награда опять пролетела мимо прадедушки, чего он не мог забыть до самой своей смерти в Скулянах, с чего я и начал эту мою книгу.

А что, не назвать ли ее семейной хроникой или даже романом-хроникой?

Надо подумать.

Будучи неожиданно переброшен со своим Нейшлотским полком с турецкого фронта на север, прадедушка, родившийся в Молдавии или на Украине, что мне в точности неизвестно, но, во всяком случае, привыкший к южной степной природе, к особому причерноморскому миру сухих новороссийских просторов, к скифским курганам, польни, суховеям, к полосе Черного моря, которая сопровождала его во время турецкой кампании, к Дунаю, к быстрому Пруту, к Серету, где через сто лет пролилось столько русской крови, к очертаниям турецких крепостей, — вдруг попал на север, в густые хвойные леса левого фланга русской армии, которая уже приступила к окончательному разгрому наполеоновских дивизий.

Прадедушка опоздал к Бородину и пожару Москвы, к Тарутину, к Малоярославу...

Когда он со своим Нейшлотским полком появился на театре военных действий Отечественной войны, то центр армии Наполеона, или так называемая Великая Армия, Grande Armée, был уже почти разгромлен и Наполеон начал свое ужасное отступление.

В ноябре в Полесье наступили холода, речки замерзли, что дало возможность прадедушке потопить неприятельский отряд, провалившийся под лед: как бы некое преддверие Березины.

Через сто с лишним лет после прадедушки нечто подобное повторилось со мной с той лишь разницей, что я начал свою войну, попавши с юга на север, а закончил ее на юге, на Румынском фронте, в предгорьях Карпат, на походных носилках, с бедром, пробитым навывлет осколком немецкой бризантной гранаты, а прадедушка начал свою войну на юге, потом попал на север и в конце концов получил под Гамбургом четырнадцать ранений. Если же к этому столетию прибавить еще лет шестьдесят до сего дня, когда я на старости лет взялся за свою семейную хронику, то получится лет полтора, если не больше, цифра

настолько почтенная, что ничего нет удивительного в том, что я принужден пренебречь всякой хронологией, а писать по завету Льва Толстого — «как вспомнится», или даже еще лучше по-своему — «как представится».

Сейчас, когда я пишу и переписываю эти строки, мне представляются глухие белорусские леса, куда я попал в крещенские морозы мальчишккой-вольноопределяющимся, в чем-то повторив молодость своих деда и прадеда.

Красота еще никогда не виданной мною русской северной природы, ее сверкающей зимы, запах смолистых елей, заваленных высокими сугробами, имеющих вид как бы одетых в тулупы, несказанно восхитили меня, я чувствовал себя в некотором сказочном царстве, и на поздней утренней заре, когда в апельсинном снизу, но все еще темном вверху небе гаснут последние звезды, а по мелколесью хрустально потрескивает двадцатиградусный мороз, и первые дымы встают столбами над трубами белорусских халуп, и в лиловом зените тает осколок ледяного месяца, а я, выскочив без шинели, в одних валенках, умываюсь жестким снегом, — то в эти минуты жизнь казалась мне одинокой и прекрасной до слез, и ни до какой войны не было мне дела, хотя за горизонтом и слышались уже привычные звуки как бы где-то далеко выбиваемых ковров.

Это был ближний тыл. А потом я увидел и передовые позиции: едкий бальзамический дым еловых костров, глубокие землянки-блиндажи в три или даже четыре наката едреных сосновых бревен, истекающих прозрачной смолой, и в печурке трещат ловко наколотые дрова, а земляные нары, на которых спал наш орудийный расчет, были застланы душистым лапушником и можжевельником с мутно-синими ягодками.

Несмотря на масляную копилку и отблески горячей печурки, в землянке нашей было так темно, что, выбравшись из глубины наверх по земляным ступеням, обшитым свежим тесом, я бывал почти до обморока ослеплен дневным светом независимо от того, светило ли солнце или небо было покрыто темными тучами.

Рядом с землянкой, наполовину вкопанное в землю, стояло наше орудие — скорострельная трехдюймовка. Таких орудий в батарее было шесть, и они были выстроены в ряд, по линейке, так называемым параллельным веером.

Наше орудие на первый взгляд немногим отличалось от тех пушек, какие были во времена дедушки и прадедушки: хобот, колеса, зарядный ящик. Но если присмотреться, в нем было много нового и даже новейшего: масляный компрессор, передний щит, защищающий орудийную прислугу от пуль и осколков, разные поворотные и подъемные механизмы, но главное — оптический прибор прицельного приспособления, или, как его называли, панорама, бережно хранимая, как микроскоп, в особом стальном ящичке, приделанном к станине орудия, и во время стрельбы вставлявшаяся в гнездо рядом с местом первого номера, то есть наводчика.

Затвор был поршневым и на вид очень массивный и тяжелый, стальной. Но он очень легко открывался — стоило лишь нажать и потянуть на себя рукоятку на пружинке. Тогда открывалась казенная часть ствола, и туда, в зеркально отшлифованное отверстие, надо было вогнать снаряд, который назывался у нас унитарным патроном, так как составлял как бы одно целое с медной гильзой. Потом затвор так же легко закрывался, защелкивался, и для того, чтобы произвести выстрел, следовало дернуть за короткую цепочку, обшитую кожей, что делало ее похожей на сосиску.

Никогда не забуду свой первый выстрел!

Бомбардир-наводчик Ковалев навел орудие, «отметившись» по отдельному дереву в полосе дальнего леса, я открыл затвор черной вороненой стали, вложил в казенную часть длинный и довольно тяжелый унитарный патрон с головкой, поставленной «на удар», достав его предварительно из особого лотка, а потом плавно захлопнул затвор.

Орудийный фейерверкер проверил верность прицела, приложив глаз к окуляру оптического прибора, и дал мне предварительную команду:

— По цели номер семнадцать гранатой — огонь!

Но это еще не значило, что я должен тянуть за сосиску, я должен был дожидаться окончательной команды «первое».

— Первое! — крикнул орудийный фейерверкер, записывая что-то в записную книжку в клеенчатом переплете.

«Первое» — это был номер нашего орудия.

Со страхом, даже с ужасом я взялся за кожаную сосиску спускового устройства и, зажмурившись, изо всех сил дернул. В тот же миг из дула вылетел лоскут красного огня, но звук оказался не столь оглушительным, как я представлял: не басовитый, барабанный, а скорее какой-то струнно-сорванный. Одновременно с этим орудие подпрыгнуло и ствол отскочил назад, чуть не ударив замком мою руку. Потом масляный компрессор не торопясь, как бы на салазках накатил его на прежнее место. А звук вылетевшего снаряда шарахнул метлой по верхушкам роши и унесся вдаль, к немецким позициям, все утихая и утихая.

Мои товарищи солдаты, стоявшие вокруг, с добродушным смехом поздравили меня с боевым крещением... а звук снаряда все еще слабо слышался, пока совсем не заглох, и лишь через минуту или две откуда-то издалека, из-за синих белорусских лесов, донесся слабый звук разорвавшейся гранаты.

Оказалось, что «мой снаряд» хотя, в общем, и попал по цели номер семнадцать, но в это время там не было «скопления неприятеля» и он разорвался впустую, о чем нам тут же сообщил телефонист, высунувшись из своего окопчика, связанного проводом с наблюдательным пунктом.

Помню мое огорчение по этому поводу. Тогда я не отдавал себе отчета о последствиях попадания моего снаряда «по скоплению неприятеля».

Только сейчас, через шестьдесят лет, мне вдруг однажды бессонной ночью представилось, что было бы, если бы наш снаряд попал куда надо.

...Толпа немецких солдат в серо-синих шинелях и касках в суконных чехлах, стоящих с алюминиевыми манерками возле походной кухни, — и вдруг раздается резкий свист и в самой середине этой толпы разрывается граната, которую я только что держал в руках: во все стороны летят оторванные ноги в сапогах, руки, котелки, окровавленное тряпье, искорверканные каски, и черное облако вонючего мелинитового дыма застилает всю эту ужасную картину массового убийства, совершенного девятнадцатилетним сентиментальным мальчишкой, поэтом и фантазером, потянувшим за кожаную колбаску за пять верст оттуда.

Сейчас от одной мысли об этом у меня сжимается сердце и чудный солнечный лесной сентябрьский пейзаж меркнет в моих глазах.

А тогда — ничего...

...и война, с которой я начал свою сознательную молодую жизнь, представлялась мне лишь скоплением, как я теперь понимаю, различных незначительных мелочей, казавшихся мне тогда самыми важными

в жизни: оловянные колпачки на боевых головках наших снарядов, которые, перед тем как зарядить орудие, следовало снять, потому что они охраняли дистанционную трубку, поставленную на картечь с красной печатной буквой «к.»; серповидный особый ключ с двумя шпеньками для установки кольца дистанционной трубки на заданное расстояние; стреляная гильза, которая после выстрела выползала из казенной части орудия, горячая, дымящаяся, покрытая зеленоватым маслом, и падала на землю с музыкальным бронзовым звоном; оптический прибор прицела, повернутый назад и отражающий в своем зеркале синеющий вдалеке лес... Меня радовали новые сапоги, полученные у капитанармуса в обозе второго разряда, и гречневая каша, специально оставленная от обеда, которую мы подогревали на ужин, накрошив в нее лук и кусочки мясных порций, сбереженных от того же обеда. А как радовали меня письма от знакомых барышень, каким влюбленным героем казался я тогда сам себе. А как я гордился большим кинжалом, так называемым бегутом — непременной принадлежностью каждого артиллерийского канонира, — а также тяжелым солдатским наганом в кожаной кобуре...

Все вокруг волновало и радовало меня и было в то же время как бы подернуто легкой, прелестной, беспричинной грустью молодости. Что же касается снарядов, которые время от времени выпускала наша батарея куда-то в неведомую даль, то это меня беспокоило меньше всего, если даже оказывалось, что стрельба была удачной и наши гранаты разрывались в немецких окопах или наши шрапнели, разрываясь в воздухе, косили на марше немецкие колонны, не успевшие укрыться от нашего беглого огня.

Я не представлял себе немецкие трупы на снегу, так же как, вероятно, мой молодой лихой прадед, сто лет назад где-то в этих местах пустив под лед скопление французов, не представлял себе всего значения того, что он наделал, а видел только живописную картину: ставшие дыбом льдины с сапфирно-синими изломами, крики ужаса, французские кивера, плывущие по черной воде, смятение, серое низкое небо над замерзшими лесами...

...все это, я думаю, прошло, как-то не затронув воображения прадедушки. Душа его ликовала, когда он гнал пленных представлять их генералу в надежде получить за свой подвиг Георгия. Однако его надежды не сбылись. Ему не везло на ордена. Только это, может быть, по-настоящему огорчало его. А то, что живые люди, хотя и французы, пошли под лед и захлебывались в черной зимней воде среди течения, которое куда-то волокло их мертвые тела с обвисшими усами и сиреневыми лицами утопленников, — это, наверное, тогда пролетало мимо его сознания, в чем и заключался весь ужас войны, который я стал понимать лишь сравнительно недавно.

Может быть, и прадед, умирая в Скулянах, понял весь ужас того, что он делал...

...Можно ли примириться с ужасами войны, которая ни на один день не прекращается на земном шаре — то в одном месте, то в другом, то почти незаметно, тлея, как подземный пожар, то вдруг вставая багровыми облаками до самых звезд...

А в молодости — что? Смерть? Ну и черт с ней! Какая чепуха. Не стоит внимания.

«22 декабря корпус наш состоял под командой генерала Мусина-Пушкина, который имел квартиру во Владимире-Волынском, — про-

должает прадедушка свои записки. — Генерал отрядил полковника Баллу с Нейшлотским, Пензенским, Саратовским пехотными полками, 43-й егерской батареей ротой полковника Х. и легкой при полках артиллерией, двумя донскими и частью Переяславского конно-егерского полка за границу».

Это уже был полный разгром Наполеона. Не повезло прадеду: он едва поспел к шапочному разбору. А то, что он до этого не за страх, а за совесть воевал с турками, при звуках победных фанфар Двенадцатого года было забыто, и награды опять пролетели мимо.

Приходилось всего лишь добивать разрозненные части бегущего неприятеля.

И все это происходило примерно в тех же самых местах, где в 1916 году воевал с немцами я.

Дух прадеда моего как бы носился еще среди этих дремучих лесов на стыке Белоруссии, Литвы и Польши, где на перекрестках еще можно было увидеть распятие, а в хвойной чаще вдруг на поляне показывалась то «рыбья косточка костела, то православной церкви профора».

...И почту еще, как при деде и прадеде, возили в этих глухих местах на тройках с колокольчиком почтальоны в тулупах, вооруженные против разбойников саблями и пистолетами...

Сидя по вечерам в глубине своей землянки, орудийцы нередко вспоминали давно бытующие в народе рассказы о нашествии Наполеона в достославном 1812 году. Наши позиции между Минском и Вильно, под Сморгонью как раз находились близ того самого тракта, по которому на легких саночках, окруженный конным конвоем, завернувшись в меховой плащ, и уже не в знаменитой своей треуголке, а в собольей шапке с опущенными ушами бежал из России властелин полумира и где его чуть не захватили в плен казаки.

Мне даже не надо было представлять себе ту далекую зиму и то шоссе. Я видел его каждый день: громадные березы, синеющие в дыму метелей, и густой ельник, в снежной чаще которого мерещились мне оранжевые тулупы партизан, их самодельные копья, косы и вилы и кудлатая голова сизовато-красного курносого Дениса Давыдова, тоже в мужицком тулупе, с образом Христа-спасителя на груди.

Часто мы пели хором известную песню «Шумел, горел пожар московский», с особенным чувством упирая на горькие слова Наполеона: «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках?»

И при малюсеньком огоньке коптилки мы представляли Бородинский бой, московский пожар, кремлевскую стену, где среди дыма и пламени стояла маленькая фигурка в белом жилете и сером сюртуке, и гибель Великой Армии среди бесконечных снегов и тех самых лесов, которые окружали нас.

На мотив все той же «Шумел, горел пожар московский» наши орудийцы пели также неизвестно кем сложенную песню: «Шумел, горел лес Августовский; то было дело в сентябре; мы шли из Пруссии восточной, за нами герман по пятам».

Это были горькие воспоминания о страшном поражении царской армии в Мазурских болотах, о гибели двух корпусов — Самсонова и Рененкампа.

В песне этой упоминалось также о подвиге, совершенном нашим полубатарейным командиром поручиком Тесленко, щуплым офицером с веснушчатым незначительным личиком — «из простых», — пользовавшимся огромной любовью у солдат: «Поручик храбрый наш Тесленко сказал: «Не сдамся никогда!»...» — и т. д.

В чем заключался его подвиг во время отступления через Августовские леса, я не знал, так как прибыл в часть после этого отступления, когда наша армия уже остановилась и заняла прочные позиции.

В этих местах наша батарея стояла, лишь изредка меняя позиции, всю бесконечно длинную зиму, а потом прелестную белорусскую весну с ее мартовскими туманами, капелью, падающей дождем с длинных ветвей берез, и березовым соком, который мы, просверлив столетние, «кутузовские» бело-черные стволы и вставив бузиновые трубочки, собирали в котелки и с наслаждением пили эту свежую, прозрачную, как слеза, слегка душистую и чуть-чуть сладковатую воду.

Все березы были обвешаны солдатскими котелками.

Стояли мы здесь также почти все лето, незабываемое «лето под Сморгонью», когда спокойная зимняя жизнь с редкими перестрелками кончилась и несколько раз нам пришлось участвовать в тяжелых боях.

...Глухая ночь. Далеко вправо бой. Еловый лес пылает, как солома. Ночная тишь разбужена пальбой, похожей на далекий рокот грома. Ночной пожар зловещий отблеск льет. И в шуме боя, четкий и печальный, стучит, как швейная машинка, пулемет и строчит саван погребальный...

...Ночь прошла тревожно и тоскливо, где-то справа за холмом гремело, а наутро луг, и лес, и нива — все в росе курилось и блестело. Бой умок, но старые березы, наклоняясь длинными ветвями, у дороги проливали слезы над простыми серыми крестами...

Были кресты не только прошлогодние, серые, но также и совсем новые, желтевшие свежей древесиной. Но были также и совсем древние, каменные, замшелые, сохранившиеся, вероятно, еще с прадедовских времен.

Выходя иногда на свет божий из землянки, если было затишье, любил я бродить вдоль «кутузовских» берез в молодом ельнике, и мне казалось, что в это время в меня вселяется душа моих предков Бачеев — деда, прадеда — русских офицеров, в течение нескольких столетий и в разных местах сражавшихся за Россию, за ее целостность, за ее славу, за Черное море, за Кавказ...

...как странно движется время, если только оно действительно существует, в чем я иногда и сомневаюсь, — в разные стороны!

А ведь был еще и прапрадед, отец прадедушки Бачея, о котором не осталось никаких сведений, кроме того, что его звали Алексеем и он был полтавским дворянином. Но следов его жизни мне не удалось найти.

Как я уже упоминал, по семейным преданиям и судя по фамилии и по историческим обстоятельствам того времени в Малороссии, прапрадед мой был запорожцем, одним из полковников славной Запорожской Сечи, охранявшей границы нашей родины на юге и на западе от польской шляхты, от турок и от крымских татар, о чем уже написано историками.

Когда Запорожская Сечь была уничтожена Екатериной, то запорожские полковники получили земли и стали оседлыми помещиками. Вполне вероятно, что отец моего прадеда, прапрадед Алексей Бачей, по какой-то причине переселился из Полтавской губернии в Молдавию и приобрел там обширные земли по реке Прут. А так как граница госу-

дарства Российского в этом месте часто изменялась, то земли прапрадеда время от времени переходили то во владычество Османской империи, то в состав молдавских княжеств, то возвращались обратно под скипетр русских царей.

Во всяком случае, мой прапрадед Алексей Бачей не принадлежал к тем сечевикам, которые после уничтожения Сечи бежали за Дунай и отложились от России, а остался верен своей родине.

Все Бачей были военные.

Не следует забывать, что я Бачей лишь с материнской стороны. Со стороны отцовской я происхожу из вятского духовного сословия. Таким образом, во мне странным образом соединилось южное и северное, вятское и скулянское, военное и духовное, даже запорожское и новгородское, так как вятские Катаевы были выходцами из Новгорода, а их предки по преданию принадлежали к ушкуйникам. Все это странным образом соединилось во мне и наложило отпечаток на весь мой характер.

Впрочем, в дореволюционное время и священники зачастую участвовали в войнах и даже были награждаемы боевыми наградами — наперсными крестами на орденских лентах. У папы в комод я видел два подобных наперсных креста, принадлежавших один моему вятскому дедушке, а другой, по-видимому, его отцу, то есть моему прадедушке, тоже священнику, который, видимо, участвовал в одной из турецких кампаний в качестве полкового священника.

Теперь, подобно своему деду и прадеду, я считаю вполне уместным предаться своим военным воспоминаниям.

У нас на батарее под Сморгонью служил бомбардир-наводчик Ковалев. Это был молодой исправный солдат родом из Таврической губернии, по-крымски смуглый, с карими, девичьи-нежными глазами и черными, закрученными вверх усиками. Он был ласковый, добрый и славился на всю бригаду как один из лучших наводчиков, содержа себя и свое орудие в образцовой чистоте и порядке; товарищи его любили, и даже наш строгий пожилой фельдфебель подпрапорщик Ткаченко, который никому не давал спуска и смотрел на своих подчиненных волком, — даже он изредка выказывал Ковалеву некоторую начальственную благосклонность: подойдет, бывало, к Ковалеву, похлопает ладонью по погону и спросит:

— А скажи мне, Ковалев Ваня, какой губернский город, например, в Херсонской губернии?

— Херсон, господин подпрапорщик.

— Верно. Молодец. А в Екатеринославской?

— Екатеринослав, господин подпрапорщик.

— Так. А в Полтавской?

— Полтава, господин подпрапорщик.

— Опять молодец, Ваня. А теперь скажи мне, какой ты сам губернии?

— Таврической, господин подпрапорщик.

— Хорошо. А какой в вашей Таврической губернии губернский город?

— Симферополь, господин подпрапорщик.

— Мне это очень странно, Ковалев: губерния Таврическая, а губернский город — Симферополь?

— Так точно, господин подпрапорщик.

— Вот тебе и раз! У всех губерний как у губерний, а у тебя губерния Таврическая, а город — Симферополь?

Ковалев густо краснел, переминяясь с ногу на ногу, но продолжал держать руки по швам и молчал.

— Куда ж ты свой губернский город девал? Профукал? Не похваляю я тебя, Ковалев, за это. Слышите, друзья? — обращался Ткаченко к присутствовавшим при сем батарейцам, сановно поглаживая себя по довольно большому животу. — Оказывается, наш Ковалев профукал свой губернский город.

Видя, что начальство в хорошем настроении, солдаты охотно поддерживали его шутку и со своей стороны начинали донимать Ковалева расспросами, каким образом ему удалось профукать свой родной губернский город.

Читатель, конечно, догадывается, что вместо слова «профукал» было употреблено другое слово из «неисчерпаемых запасов великого, свободного русского языка».

С течением времени за Ковалевым утвердилась слава как за человеком, профукавшим свой губернский город.

На пасху я уезжал в отпуск на неделю, и, как водится, мои товарищи по оружию надавали мне разных поручений — привезти из тыла кому четверку легкого табачку, кому курительной бумаги, кому чернильный карандаш и т. д.

Перед тем как я собрался влезть в батарейную двуколку, чтобы ехать на станцию Залесье, ко мне смущенно подошел как-то боком Ковалев и, отведя меня в сторону, попросил привезти ему «одну вещь»... он несколько помялся, а именно: медаль за трехсотлетие дома Романовых. Я был удивлен, так как до сих пор не знал о существовании такой медали: у нас в армии ее никто не носил. Заметив мое удивление, Ковалев тихим, ласковым голосом объяснил мне, что все солдаты, проходившие действительную службу в 1913 году, имеют право носить юбилейную медаль и что эти медали продаются везде и стоят семьдесят пять копеек штука вместе с колодкой и ленточкой.

— Сделайте мне такое одолжение, — умоляющим голосом просил Ковалев, заливаясь девичьим румянцем. — Не откажите, Валентин!

На батарее меня впервые в жизни называли по имени-отчеству Валентином Петровичем или, более официально, господином вольноопределяющимся, но в минуты особого расположения просто Валентином.

Ковалев даже полез в узкий карман своих черных артиллерийских шаровар за кошельком, но я его пристыдил и влез в телефонную двуколку, а через неделю вернулся и вручил Ковалеву небольшой сверточек, завернутый в розовую папиросную бумагу, который он проворно спрятал в нагрудный карманчик своей аккуратной гимнастерки так, чтобы никто не заметил. Несмотря на всю свою радость, он все же был чем-то смущен.

Я никак не предполагал, что, при всей его скромности, у Ковалева есть тайная страстишка к наградам!

Впрочем, его можно было понять. Он был одним из лучших наводчиков, воевал с первых дней войны, совершил вместе со своим орудием легендарное отступление с тяжелыми боями через Августовский лес, но до сих пор еще почему-то не был награжден Георгиевским крестом, хотя несколько наших наводчиков уже носили на груди этот такой скромный и вместе с тем такой значительный крестик из литого серебра, на черно-оранжевой ленточке, дающий солдату, кроме славы, еще три рубля ежемесячной пенсии, что также имело немалое значение.

В один прекрасный день Ковалев, покопавшись в углу землянки, вылез наверх на солнышко к своему оружию для того, чтобы проверить, все

ли брезентовые чехлы на затворе и на конце оружейного ствола в порядке. На его груди блестела позолоченная юбилейная медаль на оранжевой романовской ленточке. На лице Ковалева было написано скромное удовольствие с оттенком легкой тревоги.

Орудийцы, гревшиеся на весеннем солнышке возле своей трехдюймовки, так и ахнули.

— А что, хороша штучка? — хвастливо сказал Ковалев, подбрасывая ладонью медаль, где на одной стороне был изображен первый Романов, Михаил, в большой шапке Мономаха, из-под которой виднелось маленькое, почти детское личико, а на другой — профиль ныне царствующего государя императора Николая II, тоже Романова, но, как вскоре оказалось, последнего.

Сначала орудийцы как бы онемели, не отрывая глаз от груди Ковалева. Затем они стали переглядываться и перемигиваться, и во время этого молчаливого переглядывания и перемигивания как бы сложилось общественное мнение относительно этого чрезвычайного события.

Тот, кто побывал на военной службе и жил среди солдат, тот знает, что значит солдатское общественное мнение и что значит сделаться в глазах солдат посмешищем, мишенью простодушных шуток, иносказаний и подковырок.

В один миг Ковалев стал посмешищем батареи. А это — не дай бог! Ковалев никак не ожидал, что его невинное честолюбие вызовет столь бурный отклик у товарищей. Он не принял в расчет, что почти все орудийцы были его «годками», то есть одного призывного возраста, и проходили действительную службу в злополучном 1913 юбилейном году, а стало быть, так же, как и Ковалев, имели право на романовскую медаль, однако почему-то не воспользовались этим правом.

Не стану описывать всех мук, которые претерпел Ковалев, выслушивая замечания своих товарищей.

Даже самый близкий друг Ковалева бомбардир Прокоша Колыхаев, бывший рыбак с Голой Пристани в Херсоне, повернулся к Ковалеву спиной, нагнулся и непристойно хлопнул себя по задку как бы в виде салюта в честь юбилейной медали.

Что касается фельдфебеля Ткаченко, то он дипломатично делал вид, что не замечает медали, но при этом не без ехидства шевелил своими фельдфебельскими усами и от сдерживаемого смеха наливался кровью, отчего его щеки приобретали каленый цвет медных пятаков.

— Скажи мне, Ваня, ты и до ветру теперь будешь ходить в таком виде?

Эта пытка продолжалась несколько дней и кончилась тем, что однажды на рассвете, когда все орудийцы еще спали и лишь один я с обнаженным бебутом выстаивал свое ночное дежурство у зачехленного орудия, Ковалев босиком выбрался из землянки и прокрался к новому колодцу, который так отлично соорудили для нас дивизионные саперы недалеко от матчи, где еще светился зажженный на ночь фонарик «точки отметки».

Солнце уже чувствовалось за горизонтом, разгоня ночные тени, и огонек фонарика почти полностью был поглощен приливающим светом весенней зари.

Я прикорнул на лафете и видел, как Ковалев наклонился над колодцем и бросил в него медаль, которая, блеснув в первом луче восходящего солнца, канула в темную глубину, унося с собой двух русских царей Романовых — первого и последнего, с аккуратным косым пробормом, выпуклым затылком и небольшой окладистой бородкой под усами, со странной, непонятной полуусмешкой.

Вот что произошло через сто лет после того, как в этих же местах воевал мой прадед...

«...сей отряд, — продолжает он свои записки, — без всякого сопротивления неприятельского занял город Грубешов, где я, будучи поручиком и полковым адъютантом, исправлял должность плац-адъютанта, квартирмейстера для всего отряда и заведовал всеми передовыми постами, резервами и нарядами, не упуская также наблюдения за неприятельским движением, имея на то шпионами проворнейших местечковых жидочков с выплатою им хорошего жалованья из контрибуционной суммы...»

Значит, сверх всего прадед занимался тем, что в наше время называется агентурной разведкой или даже контрразведкой, расплачиваясь со своими шпионами, как он деликатно выражался, из «контрибуционных сумм», то есть из денег, взятых в казначействах неприятеля.

Представляю себе нечто гоголевское: местечковый житель Янкель, в лайсердаке, в белых носках наружу, с рыжими пейсами, ни жив ни мертв стоит перед лихим поручиком с раздутыми от гнева ноздрями, который, стуча ручкой пистолета по столу, чеканит ему сквозь стиснутые зубы:

— Так вот что я тебе скажу: или ты мне за одну ночь разведешь и доложишь, где ночует французский арьергард, и тогда получишь в звонкой монете сотню польских золотых, или я тебя вздерну на первой сосне. Понял, что я себе сказал?

— Понял, пан офицер... зачем же не понял? Еще и солнышко на небо не взойдет, как я вашему высокому благородию шановному пану коменданту доложу всю диспозицию.

— Ну так ступай. И помни, я не шучу. Пшел!

«Посредством сих шпионов я, открыв движение неприятельских войск от Красного на правый наш фланг, доложил о сем шефу полка г. Балле: посему сделано распоряжение подвинуть войска от Красного для занятия Грубешова; с прочими войсками и 24 орудиями г. Балла с 8 на 9 генваря 1813 года двинулся к местечку Уханы, послав подполковника Турчанинова 2-го с казачьими полками с правой стороны, а меня с сотней казаков по прямой дороге, имея наблюдение впереди левого нашего фланга; на дороге я встретил неприятельский бикет и взял в плен одного офицера и семь человек рядовых близ местечка Уханы. Узнав от пленных, что неприятельские силы под командованием полковника Жувье с 12 орудиями в местечке Вусковичи, то есть в 8 верстах от нас, я дал о сем знать Балле, просив его как можно скорее поспешить с отрядом к м. Уханы. До прибытия его я оставил преследование бегущих бикетов неприятеля и подвигался скрытно к м. Уханы, оставив при отряде Платова 5-го полка хорунжего Карпова для того, чтобы на рассвете он дал мне знать, в коль далеком расстоянии будет находиться мой отряд на марше не далее от меня двух верст. Я схватил еще двух пленных и вторично послал Карпова доложить г. Балле, что силы неприятельские весьма слабы и чтобы он, сдвинув все войска в густую колонну, поспешно следовал прямо в местечко, предваряя, что именем его, г. Баллы, я послал приказание Турчанинову обойти скрытно м. Уханы и стать с фланга, дабы действовать напротив неприятеля. Сам я решил на рассвете открыть силы неприятельские».

«Видя впереди местечка неприятельскую кавалерию, я повел перепалку в надежде, что Турчанинов, отрезав неприятеля, нанесет ему решительный удар, но вместо этого вышло противное: г. Балла позади меня в полуверсте развернул из густой колонны фронт, открыл канонг-

ду с батарейных орудий; неприятель, увидя наши силы, тотчас пошел ретироваться...»

«Я, будучи в недоумении, послал Карпова доложить Балле сими словами:

— Уж нечего трусить. Неприятель бежал».

«...а видя в местечке суматоху и горя неудовольствием, сам поехал к отряду, застал его еще на месте и лично повторил Балле прямо в лицо вышеизложенные слова и получил в ответ:

— Стыдно, срамец, в публице это говорить!»

«За всем тем я просил послать стрелков из егерей бегом в местечко, что и было исполнено; сам же я с сотнею казаков ударил на неприятельскую кавалерию, схватил в плен 13 человек, а прочие присоединились к ретирующей пехоте; между тем я, услышав с левой стороны залп, а потом батальный огонь, поспешил на место — и что же? 43-го егерского полка штабс-капитан Михайловский с его ротой егерей наступил было неприятеля, выходящего из местечка, и когда неприятель сделал по нем залп и повел батальный огонь, то сей храбрый офицер с своею ротою лег на косогоре. В таком положении я, заставши его, пристыдил и сам поскакал вперед на открытое место, где, глядя во все стороны на пять верст, увидел весьма много побросанных вещей и экипажей и ретирующегося неприятеля по глубокому снегу в двух густых колоннах числом до четырех тысяч; не видя нигде Турчанинова, я послал моего бесменного вестового Платова 5-го полка храброго казака Полякова, с тем чтобы отыскать Турчанинова, велел ему повести на изнуренного неприятеля атаку или, по крайней мере, показаться бы из леса и так привести неприятеля в большую робость».

«Тут полковник Балла со всем отрядом и артиллерией вышел из местечка. Увидя неприятеля в вышеописанном положении за три версты впереди и меня с сотней казаков, преследующего одного, прислал 43-го егерского полка поручика Н. сказать мне, чтобы я как можно старался не допустить неприятеля в лес. Я в ответ просил офицера доложить Балле, что пусть он сам уже удерживает тогда, когда по трусости выпустил неприятеля из местечка».

«Но за всем тем я с моею сотнею бросился на тех и отрезал 24 человека».

«Итак, я довольствовался тем, что, не видя Турчанинова с кавалерией, преследовал неприятеля по следам его в глубоком снегу, а видя, что неприятель начал скрываться в лес, я уверил моих казаков, что у неприятеля ружья не заряжены, и повел их в атаку с тыла. Тут неприятель начал передо мною стлаться по снегу, как будто по белым пуховикам; здесь я взял более 100 человек в плен...»

«...и вдруг из леса последовал залп, от которого я потерял два человека убитыми и несколько ранеными; тогда я отправил пленных к отряду, сам выскочил на дорогу к Красному, где, увидя французского уланского офицера, сбил ему кивер pistolетной пулей, а потом плетью через лоб сбил с лошади и взял в плен...»

«Как военную добычу я снял с него богатую лядунку и надел на себя, а его самого отправил к отряду».

«Когда уже не видно было нигде неприятеля, я, собравши еще некоторых пленных, при заходе солнца прибыл в местечко Уханы. Здесь заседал г. Балла и прочие штаб и обер, а вместе с ними и пленные офицеры, при закуске».

Вероятно, и «при выпивке».

«Тут французский уланский офицер увидел на мне свою лядунку. Так как я был в легкой крестьянской шубе, то он принял меня за простого казака и просил г. Баллу, чтобы я отдал ему лядунку. Хотя

г. Балла и согласился на то, но я ответил, что военная добыча никогда не возвращается, а всегда остается победителю».

«Тут начали меня спрашивать, каким образом я его ранил в лоб, да так, что только снял кожу, тогда как он уверял, что был ранен пулею. Но когда узнали, что я ранил его плетью, оказали к нему презрение, и даже его товарищи французские офицеры сожалели, что он объявил себя раненым, утруждая медиков, ходя на перевязки...»

...встает довольно яркая картина последних дней так называемой Великой Армии Наполеона, едва уносившей ноги по глубоким январским снегам недалеко от местечка Уханы и Красного, то есть примерно там же, где сто лет спустя довелось и мне воевать с немцами. Но какая громадная разница была между войной, описанной прадедом, и войной моей!..

Только то и было общего, что один и тот же неизменный пейзаж: дремучие хвойные леса, поляны, небольшие поля, давно уже заброшенные, заросшие бурьяном, васильками, да кое-где на этих маленьких делянках среди засоренной каменьями земли — стальные чушки неразорвавшихся снарядов и воронки от бомб.

Во времена прадеда война была маневренная, подвижная, с кавалерийскими атаками, засадами, взятием в плен, сикурсами, военной добычей, густыми колоннами батальонов, дневными переходами, ночными биваками...

...казацьи разъезды с пиками, меховые шапки, кивера, ментики, много лошадей, кареты генералов. Природа вокруг, хорошо известная по «Войне и миру». Местами как будто даже нечто вроде ремарок из «Бориса Годунова», например — «корчма на литовской границе»...

Все вокруг меня дышало русской историей. Но люди в мое время были уже другие: тоже русские, тоже воины (ратные люди), но не такие нарядные, заметные, шумные, как в прадедовское время.

Не воины, а просто солдаты.

Да и характеры совсем другие. Такого забияку, рубаку, скандалиста, как мой блаженной памяти прадед, я в армии никогда и не видел. Офицеры скромные, незаметные, с ног до головы в хаки. Солдаты тоже в защитном: зимой в серых папахах из искусственной нитяной мерлушки. Разве только и выделяются оранжевые револьверные шнуры на шеях артиллерийской прислуги. Войск почти нигде не видно, а их вокруг миллионы: все спрятано, скрыто, замаскировано, зарылось в землю. Даже батарею в двух шагах от себя не заметить, так она умело закидана словыми ветками, заставлена срубленными сосенками.

Такое впечатление, что вокруг безлюдье и никакой войны нет.

А война себе идет да идет, позиционная, нудная, все на одном месте — против дальнего леса, за которым где-то, невидимые, тоже окопались немцы со своими гаубицами, пулеметами, газовыми командами. Между нами и немцами «ничья земля» — разбитый вдребезги город Сморгонь с рыбьей косточкой разрушенного костела. Зимой Сморгонь занесена глубокими снегами, летом — сплошь лиловая от разросшейся, местами одичавшей махровой сирени, которую наши батареицы ползаят ломать, чтобы громадными букетами, вставленными в стреляные гильзы, украсить свои глубокие темные норы.

Война позиционная. Она может длиться таким образом — от боя до боя — месяцами, годами.

Долгая жизнь в одной землянке превратила нас, орудийную прислугу первого орудия, в дружную семью со своими горестями, радостями, ссорами, примирениями и «разными случаями».

Например, история с Зайцевым.

Он был одним из наших батарейцев, и хотя служил с первого дня войны, то есть уже почти два года, и побывал во многих боях, в том числе в знаменитом отступлении через Августовский лес, но не дослужился даже до бомбардирской лычки и снискал себе известность как один из самых ледащих, ничего не стоящих батарейцев.

Нередко фамилия каким-то странным образом определяет наружность человека. Зайцев не принадлежал к числу таких людей. В нем ничего не было заячьего, кроме разве толстеньких щек. Во всем же остальном он принадлежал к типу довольно плотных красивых русаков с несколько ленивыми глазами и медлительными движениями. Вопреки репутации «последнего человека» он был хорошо грамотен, одевался чисто, исправно умывался и даже чистил зубы, для чего носил за голенищем вместе с обкусанной деревянной ложкой костяную зубную щетку.

Иногда мне казалось, что лентяйство не врожденное чувство Зайцева, а скорее сознательное поведение, имеющее даже как бы характер скрытого протеста против военной службы.

Лентяйничал он чрезвычайно ловко, умело, тайно, так что поймать его на этом было почти невозможно. Он прямым образом не отлынивал от службы, но исполнял ее с особой, виртуозно спрятанной медлительностью, которую трудно было обнаружить.

Дрова по наряду рубил он с неуловимой оттяжкой, патроны подносил к орудию в самом жарком бою не слишком торопясь, во время чистки орудия, когда орудийные номера, взявшись дружно за длинный банник, с усилием вводили круглую щетку, густо смазанную орудийным салом, в канал ствола, Зайцев хотя и держался за банник, но лишь делал вид, что прилагает усилия.

В конце концов его возненавидел фельдфебель и хотя не мог поймать его с поличным, но при каждом подходящем случае посылал на штрафные работы.

Однажды он послал Зайцева копать землянку для нового наблюдательного пункта. Зайцев взял шанцевый инструмент и вместе с двумя плотниками и тремя телефонистами-наблюдателями поплелся к месту работы за три версты от батареи, совсем близко от немцев.

Как он там работал, неизвестно, но среди дня на батарею позвонили с нового наблюдательного пункта и телефонист, выскочив на свет божий из своего маленького окопчика, сообщил новость, что Зайцев ранен шальной немецкой пулей.

Через некоторое время на батарее появился Зайцев, которого вел батальонный плотник. Рука его была замотана бинтом из индивидуального пакета и висела на поясе, надетом на шею.

Орудийцы окружили Зайцева, но ничего особенного в нем не нашли, лицо его побледнело и выражало нечто вроде высокомерия или, во всяком случае, гордости.

Никаких подробностей относительно обстоятельств ранения от Зайцева добиться было нельзя, так как на все вопросы он отвечал лениво:

— Прилетела и пробила руку.

А появившийся фельдшер добавлял:

— Неизвестно еще, задета кость или не задета.

На батарею приехала санитарная двуколка, и фельдшер увез Зайцева в бригадный околоток, причем фельдфебель Ткаченко не удержался, чтобы не сказать:

— Доигрался!

К вечеру из околотка сообщили, что кобь не задета. А через два дня, к общему удивлению, на батарею пришел своим ходом Зайцев с перевязанной рукой, спустился в землянку и улегся на свое место, пожив под голову вещею мешок.

Фельдфебель, обдумав положение, позвал Зайцева к себе и сказал:

— Ну что же, друг, можно тебя поздравить: походишь дня четыре в околоток на перевязку, а потом, как положено по ранению, поедешь с богом на четырнадцать дней в отпуск. Можно только позавидовать. Скажи спасибо немецкой дуре пуле:

— Никак нет, — сказал Зайцев. — От законного отпуска отказываюсь, а желаю остаться в строю.

У фельдфебеля Ткаченко округлились ястребиные глаза и еще больше побагровели сизые щеки.

— Это еще что за фокусы? — спросил он, нахмурившись.

— Никак нет, господин подпрапорщик, — ответил Зайцев, глядя прямо в лицо фельдфебелю. — Хотя я и ранен в боевой обстановке, но желаю остаться в строю.

Для человека непосвященного отказ Зайцева от законного отпуска должен был показаться по меньшей мере необъяснимым: попасть с фронта в тыл хотя бы на одну недельку было заветной мечтой любого солдата. Но фельдфебель Ткаченко, опытный службист, сразу раскуси Зайцева и еще более нахмурился:

— Ты что же это задумал? — грозно сказал он, напирая на Зайцева своим обширным животом, перетянутым широким офицерским поясом. — Выбрось из головы подобную глупость, а то знаешь... я таких шуток не люблю...

— Никак нет, — упрямо сказал Зайцев. — Будучи ранен, желаю остаться в строю. Имею на это право.

И тут вся батарея поняла замысел Зайцева: каждый раненый нижний чин, оставшийся в строю, награждался знаком военного ордена четвертой степени, то есть солдатским Георгиевским крестом, что, в свою очередь, влекло за собой повышение в воинском звании на одну лычку. Стало быть, Зайцев одним махом получал на грудь крестик, а на погоны бомбардирскую нашивку и из самого ледащего солдата превращался в уважаемую личность, георгиевского кавалера, что помимо всего давало еще ту привилегию, что в случае посадки на гауптвахту его, как георгиевского кавалера, должны были туда вести в сопровождении оркестра военной музыки.

Откуда батарейцы узнали о таком правиле, неизвестно, но в этом все были уверены. Кроме того, среди солдат считалось, что георгиевский кавалер имеет право посещать женские бани.

В этом духе батарея и обрушилась на Зайцева своими шутками и остротами.

Никто не думал всерьез, что Зайцев метит на георгиевского кавалера.

Были уверены, что Зайцев в конце концов получит отпуск и съездит в тыл, на чем дело и кончится. Однако Зайцев уперся. Встревоженный фельдфебель отправился в офицерский блиндаж, где доложил о положении дел командиру батареи. Тот удивился, пожал плечами и позвонил по телефону Эриксона командиру дивизиона. Командир дивизиона удивился еще больше и позвонил командиру бригады. Командир бригады подумал, потер свою круглую, ежом стриженную седоватую голову и сказал, что если раненый воин желает остаться в строю, то это совсем неплохо, так как показывает боевой дух артиллеристов вверенной ему бригады, и что канонир Зайцев молодец.

Таким образом, судьба Зайцева круто изменилась. Из последнего, самого никудышного солдата он вдруг превратился в героя, и через некоторое время перед выстроенной батареей сам генерал — командир бригады — пришил к груди Зайцева литой серебряный крестик на черно-желтой полосатой репсовой ленточке, один лишь цвет которой сразу же придал Зайцеву боевой, молодцеватый вид, а желтая бомбардирская лычка поперек погона со скрещенными пушечками сделала его как бы еще более обстрелянным солдатом, побывавшим во многих сражениях, что, собственно говоря, вполне соответствовало истине.

Как сейчас вижу складную фигуру Зайцева, его гладко заправленную под пояс гимнастерку и на ней знак военного ордена четвертой степени, а невдалеке густой еловый лес, шоссе со столетними березами, пожелтевшими от удушающих газов, которые недавно на нашем участке пускал немец. Было такое впечатление, что березы эти облиты серной кислотой.

...и потом целый день по шоссе вдоль этих изуродованных берез одна за другой тянулись повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами убитых фосгеном солдат Аккерманского полка, стоявшего перед нашей батареей на передовой...

Может быть, именно где-то тут содрал прадедушка с французского офицера нарядную дорогую лядунку с золотой французской буквой «N», окруженной золотым лавровым венком, — вензель Наполеона.

На этой истории с трофейной лядункой обрываются записки моего прадеда: то ли ему надоело писать, то ли как раз в этот миг пришла смерть, подобно тому как она таким же образом впоследствии прервала записки его сына Вани, моего деда, отставного генерал-майора Бачея, отца моей матери.

К запискам прадеда приложена выписка из его формулярного списка:

«1813 года генваря 9 числа участвовал в сражении с польскими войсками под местечком Уханы и Вуйсловичем при разбитии и совершенном истреблении оных. Февраля 12-го близ крепости Новое Замостье послан был с казаками для открытия неприятеля и нашел оного в селении Плоскинев в числе 4 компаний пехоты, которую истребил и взял в плен 64 человека; марта 7-го при блокаде крепости Замостье на разных перестрелках был; того же марта 23-го при штурме неприятельской батареи в сражении и прогнании оной и за оказанные отличия 4 раза рекомендован начальству, но как и за прежние два раза, так равно и за сии не получил никакого награждения».

Понятно, почему прадедушке так не везло с наградами. У него был неуживчивый, заносчивый нрав. Он всем насолил и порядочно надоед начальству. По-видимому, это наследственное: по себе знаю.

«...того же года августа с 19-го в Пруссии, сентября с 9-го в австрийском владении, через Богемию 26-го, в Саксонии 27-го, в сражении при местечке Дале и в селении Гайтнахе со стрелками; октября 5, 13, 14, 17 чисел при городе Дрездене против французских войск и с того 17-го и по декабрь при блокаде и покорении того же города, а оттоль через Мекленбургские, Голштинские владения и голландские владения через Ганноверию декабря с 13-го в Дацком королевстве, при блокаде и до покорения города Гамбурга находился, где 1814 года генваря 1-го

по 28 число был в действительных сражениях и при занятии неприятельских укреплений и за оказанные отличия награжден орденом Владимира 4 степени с бантом...»

Наконец-то!

«...а оттоль того же года декабря с 10-го обратно через Ганноверию, Мекленбургию и герцогство Варшавское 1815 года февраля по 21-е, а с 21-го — в пределы России...»

«1818 года февраля в 10 день по Высочайшему Его Императорского Величества приказу за ранения уволен от службы капитаном с мундиром».

В заветном особом портфеле, в котором хранились записки как прадеда, так и деда, имелась еще записка, сделанная рукою одной из моих теток, сестер матери:

«Во многих сражениях он и раньше бывал ранен и контужен, но раны, полученные им под Гамбургом, оказались настолько серьезны, что продолжать военную службу уже не мог и должен был выйти в отставку. В то время как наши войска совершали свое победное шествие к самому сердцу Франции, дед, мучимый тяжкими ранами (их было 14), лежал в доме гамбургского пастора Крегера, где за ним самоотверженно ухаживала юная дочь пастора Марихен. Через несколько месяцев дед оправился и 10 декабря 1814 года выехал в Россию, в свое имение в Скулянах, с молодой женой».

На этом кончается все, что мне известно о моем прадеде с материнской стороны.

Возможно, что на том самом месте в Скулянах, где в прошлом веке стоял ныне давно уже не существующий большой дом прадедушки, теперь построен скромный, молдавского типа деревенский домик, где помещается управление процветающего скулянского совхоза, обставленное по фасаду статистическими диаграммами, лозунгом «Миру — мир!» и на двух столах большим панно, на котором кистью неизвестного скулянского живописца изображены охрой три громадных лица — Маркса, Энгельса и Ленина.

Здесь мы попрощались с молодым человеком, директором совхоза, выразившим сожаление, что мы не нашли никаких следов бывшего имения прадедушки — ни барского дома, ни пяти фруктовых садов, ни пруда, ни ветряных мельниц, сгоревших при наступлении советских войск на Яссы во время Великой Отечественной войны, ровно ничего, кроме, как я уже упоминал, чудом сохранившейся еще с петровских времен церковки и кладбища вокруг нее, где среди изъеденных временем и глубоко ушедших в землю, заросших мхом, полынью и бессмертниками могильных плит со стертыми, почерневшими надписями на русском, древнеславянском, латинском, молдавском и еще каком-то непонятном языках есть и могила моего прадеда, отставного капитана Елисея Алексеевича Бачея, разыскивая которую я еще неясно и первоначально представил в своем воображении все то, что написано в этой книге.

...и чашку крепкого сладкого чая с красным ямайским ромом...

1973—1975 гг.
Переделкино.



ЮВАН ШЕСТАЛОВ



СКАЗКА В СИНИЙ ПОЛДЕНЬ

С манси

Поэма

Синий полдень. Белая река. Звонкое небо.
Синими стрелами летят утки. Белыми лебедями плывут льдины.
Высокое небо поет, лепечет, смеется, горланит голосами гусей, чаек, куликов, журавлей.

...Хал-хал, тень-тень... Чья это песня? Неужели гусиная?

...Халэв лах-лах-лах! — смеется во весь голос чайка Халева, паря над бурлящими берегами.

...Вет-лю! Вет-лю! Вет-лю!.. Это куличок. Тонконогий и невзрачный.
А распелся на весь песчаный берег, где всюду бегут, снуют ручьи.

...Кай-вос-юв! Кай-вос-юв! Утка свизь. Зовет свою подругу на весеннюю игру.

Синее свидание. Синяя свадьба. Синяя весна. Синий полдень...

Мне кажется, все поет, лепечет, говорит.

Вот высокая лиственница, пристроившаяся каким-то чудом над самым обрывом, вытянув корявые ветви к небу, будто что-то нашептывает. Из-под ее корней, местами повисших над желтым обрывом, брызжет ручеек, на лету рассыпаясь на сияющие звонкие капли. Точно это чьи-то слезы.

Если присмотреться к этому крутому обрыву, то можно заметить, что земля движется. То скатится случайно сорвавшаяся песчинка, то глыба целая с шумом летит в пучину бурлящей внизу реки. То весь обрыв приходит в движение, будто с криком выходит из-под земли замурованный в сказку мамонт. И я слышу его исповедь:

Я — мамонт.
Послушайте мою исповедь.
Меня поглотила земля.
И вам той участи не миновать.
Я был велик,
Слыл властелином тайги,
Преодо мной мельтешили
рогатые и безрогие,
зубастые и беззубые,
ершистые и гладкие...
Гневались боги —
грозились громами.

Ломались молнии.
Шипела молва.
И звери на меня рычали,
будто у них я отнял кусок.
Великаны затоптать пытались,
словно я ходить по земле им мешал
Но не от них погиб я.
Боги лишь грозятся.
Великаны велики лишь на вид.
Меня поглотила
молчаливая земля.
Ах, если б я знал,
что в ее молчании
таится не только моя смерть!..

Смерть?! Какая может быть смерть, когда вокруг все искрится, звенит, клокочет! Это глупая сказка. Послушайте лучше, о чем на опушке леса кукует кукушка:

— Ку-ку! Ку-ку! —
О чем ты кукуешь, кукушка?
— Ку-ку! Ку-ку! —
Что ты считаешь, кукушка?
— Ку-ку! Ку-ку!
Я говорю вам:
весна пришла!
Зеленая весна
на землю снизошла!
Ку-ку! Ку-ку!
Слышите, растаял голос мой.
И больше никогда
язык мой не примерзнет!
Ку-ку! Ку-ку!
Синий полдень плывет над землей.
А если ночь наступит —
то белая ночь.
В белой сказке поплывут озера,
кедры, цветы, лягушки...
А черная ночь,
промоглая ночь
сгинула.
Никогда больше не будет
и холодных годов,
черных веков!
Ку-ку! Ку-ку!
Не бойтесь: я не их считаю!
Ку-ку! Ку-ку!
Я новым светлым дням
веду волшебный счет.
Пусть дни света
выльются в годы, века!
Лягушки,
медведи,
люди,
слушайте мое волшебное ку-ку!
Я буду куковать.
А вы живите, не бойтесь!

Не считайте
свои волшебные дни!
Ку-ку! Ку-ку!
Хороша весна!..

Весна-то хороша. Да только она капризна. Прийти бы ей сразу на всю землю да одарить ее своим живительным дыханием! Да нет! Если на одном конце земли колдует пробуждение весны, то на другом конце земли царствует осень. А где-то трещит мороз, лютует смерть, ходит голод. Велика земля. Кругла. Ничем ее не удивить. Но если до вашего слуха дойдет крик медвежонка, прислушайтесь. Ведь и у маленьких детей бывают большие открытия. Однажды мне довелось услышать крик такого медвежонка. Выбежав из темных зарослей черемухи на светлую поляну, черноглазый малыш кричал на весь мир:

Братцы мои, братцы!
Поосторожнее бегайте!
В черемушье гриве,
оказывается,
есть не только сладость
черноглазых ягод.
Красногрудый шиповник,
оказывается,
колючий...
Ой, какой колючий!..

А медведь, не выходя из дремучей тени деревьев, бормотал в лад легкому шелесту ветра:

Я иду по черемушье гриве.
Меж кустами смородины брожу.
И удивляюсь:
почему не смотрят
из-под зеленых листьев
черноглазые ягоды?
Неужели на землю милую
вновь пришел скупой и голодный день?
Неужели ослабеет пояс мой
И лишь душа останется в желудке?
Почему не уродились ягоды?
Ведь кусты смородины живые.
И черемуха шелестит листвою.
Видно, кормит их земля как прежде.
Почему они меня не кормят?
Может быть, не стало солнце щедрым?
Почему оно тогда кружилось,
как и прежде ослепляя светом?
Неужели это лишь для вида?
Я не верю!
Но желудок пуст мой.
В нем шумит моя голодная душа.
Она кричит и просит сочных ягод,
отвергая сладость сочных слов.

А для меня важны теперь и сочные слова.
Я — Человек... Перед именем этим
быть мне пожизненно в строгом ответе!..

* *
*

Мой синий полдень,
сказка золотая.
Выслушай мою
человечью исповедь.
Иду я по земле.
Ветер надо мной качается.
И трава ковром
стелется под ногами.
И вроде крепок я,
как сибирский кедр.
И мой крылатый олень
как никогда крылат.
И летаю я
за семью морями,
семь частей света
мерю глазами.
И земля мне чары
свои щедро дарит:
красотою ослепляет,
пышной речью оглушает,
в пляске буйной меня кружит,
солнцем греет,
вьюгой вьюжит...
Это мои плечи
в костях так широки,
или страна моя
так сильна, могуча?!
Мой синий полдень,
сказка золотая...

* *
*

О чем взгрустнулось мне?
Что приснилось мне?
Вроде крепок я,
как сибирский кедр.
И мой крылатый олень
как никогда крылат...
Может быть, в отцовском краю
загудела белая ночь
и пьянит она братьев моих
белым-белым черемушым медом,
сожалея, что я в стороне?
А может быть, застонал мой лебедь,
белый-белый мансийский мой лебедь,
пряча горячую рану
в мягкие перья свои?
А может, половодьем буйным
разыгралась великая Обь
и струи ее уносят
остатки холодной зимы?
А может, проклюнулось счастье
робким, бескрылым орленком,
чтоб в небе синем парить
ширококрылым орлом?

Мы растем, как кедры,
 растем долго-долго.
 Мы цветем черемухой,
 быстро отцветая.
 Ранят нас, как лебедей.
 Мы раны свои прячем.
 Не уйти нам лишь от снов
 волшебной колыбели детства.
 В колыбели качаются сны.
 Снами мучаются сыны.
 Кому белая ночь
 и река под окном,
 кому нефти фонтан,
 кому космодром...
 Но родная волна
 во сне зажурчит —
 и сердце, как лодку, качнет.
 И мой крылатый олень
 в отчий уголок летит.
 И сказки земли, как женщины,
 вновь чаруют меня...

* *
*

Белая женщина — нежная белая рыба.
 Как за большой добычей
 я за тобою плыву.
 Ах, рыба, рыба, рыба...
 Рыба красавица, нельма,
 шевельни серебристой талией,
 разволнуй-ка ты заводь мою.
 А заводь моя — мое сердце.
 В нем кружатся струи живые,
 как в большой, настоящей реке.
 Выплыви из мутной заводи —
 в струях кристальных побудь.

Белая, белая женщина...
 Может, меня ты дразнишь?
 Руки твои неприкрытые
 Двумя муксунами плавают.
 Ноги твои — две нельмы —
 от глаз уплыть не спешат.
 Пальцы твои — десять стерлядей
 С острыми головками...
 Ах, женщина, белая женщина,
 почему ты мне кажешься рыбой?
 Может, в реке моей стало
 мало серебряной нельмы?
 Неужели хвост красной рыбы
 свивается в звуки загадки?
 И уха золотая, стерляжья,
 лишь в сказке туманной дымится?..

Женщина, белая женщина,
 спасибо хотя бы за то,
 что ты, как белая рыба,
 от меня навсегда не уходишь!..

* * *

Брат мой, бригадир гослова, подарил мне метрового осетра. А в лодке у него сверкали серебряной чешуей и важные нельмы, и нежные муксуны, и язи золотились на большом летнем солнце, и стерляди, одетые в зубчатую броню, копиями остроносими торчали меж большими рыбами.

— Большая нынче рыба пошла, — говорил брат мне. — Никогда не было столько белой рыбы.

Лишь теперь стал доходить до меня смысл слов брата, когда он говорил о лимите вылова и о стройке, которая развернулась рядом с родным мне селом Ванзетур. Там строят дома, возводят плотину, которая перегородит таежную речку моего детства. В последнее мое прикосновение к земле предков отец мой сокрушался:

— Все! Негде будет больше старику промыслять, негде отводить душу!

— Как негде? — удивлялся я. — Так широка Сосьва, сверкающая перед твоим домом. А рядом Обь с ее бесчисленными рукавами, излучинами, протоками. И таежных речек не счесть!

— То — другое, — отвечал он, вздыхая. — А здесь, в этой таежной речке, твой дед и прадед испокон веков промыслили. Помнишь лесную избушку? Помнишь, как рыба плескалась, как соболю скакал, оставляя на белом снегу узоры следов?

— Как не помнить! — говорил я. — Только ты, отец, не сокрушайся. Разве плохо, когда в реке будет много сосьвинской селедки? Для того и строят рыбопроизводный завод. Мальки, взлелеянные здесь, заплещутся по всей тысячекилометровой Сосьве!

— Хорошо, когда играет рыба, — отвечал он. — Только почему они выбрали именно эту речку? Большая ведь река Сосьва.

— Но лучшего места, наверно, нет. Ученые ведь долго искали...

— Все ничего. Только вот что поделаешь со старикинской памятью? И спел он такую песню:

...Душа моя там ходит юными ногами.
 Пред нею стелются узкие лесные тропинки,
 заметные лишь моему глазу. Если медведь
 выходит на зеленый берег — то это душа
 моего отца разгуливает среди высоких кедров,
 вспоминая светлые человечьи дни.
 Ведь он был из медвежьего рода. Если на широком плесе
 нашей таежной речки
 звонкой утренней песней выплывет белый лебедь —
 то это душа моей кровной матери прикоснулась
 к живым и трепетным струям
 своей человечьей молодости. Ведь она была
 из крылатого лебяжьего рода. И вот подумай, сынок:
 если речку вечной души моих предков
 загородят плотиной каменной, если остановят
 вечно живую воду на одном уровне, если изломают
 извивы зеленых берегов —
 негде будет гулять медведю
 и лебединая песня, может быть, замрет.
 И поломается память предков...

Я слушал древнюю песню отца и думал. Сказывают, слушай поучения отца, но и своим помыслам давай дорогу, слушай трогательную песню матери, но иди своей мужской дорогой к вершине, к которой родители

лям уже не подняться. Цени и оберегай обычаи предков, но и о будущем не забывай...

— Отец мой! — воскликнул я. — Для будущего, светлого и богатого, нужно строить! И плотину, и газопровод, и нефтепромыслы!

— Будущее? Это хорошо! Я за ваше счастливое будущее! Только моя душа ведь здесь играла. Я о том ведь только и пел. Моя мудрость и уменье на берегу этой речки остались. Моя мудрость и блеск в волнах этой речки плескались. А где ваши силы развернутся — скажет время. Только скажу тебе, сын мой, еще вот что:

Не тревожься даже в самом дремучем лесу.
 Нашел ручей — иди по течению.
 Ручей к реке приведет.
 У реки — люди.
 У людей — сердца.
 Сердце человека, что солнце в небе, светит, греет.
 Не тревожься в дремучем лесу.
 Нашел ручей — иди.
 Не тревожься, что далеко:
 пойдешь — доберешься!
 Не тревожься, что тяжело:
 станешь поднимать — поднимешь.
 Ноги для того, чтобы идти.
 Голова — чтобы видеть будущее.
 Пусть светлой будет твоя голова!

Я слушал отца, но думал о своем. В большой реке детства и сегодня играет большая рыба. Рядом с братом моим, потомственным рыбаком, появились и ученый-ихтиолог и строитель. Может, это и называется научно организованным промыслом? А чего же я тогда распелся про нежную рыбу, как про белую женщину, которая будто исчезла?

Не испугала ли нефть? По стальным артериям нефтепроводов потекла кровь моей земли — черное золото, которое жаждут иметь во всех концах планеты. Неужели добычу черного золота нельзя сделать строго научной, стерильно-чистой? Наверно, и это возможно!

А отец пел:

Состарившись, взойду я на вершину человеческой жизни.
 Сказывают, входящему на последнюю вершину
 дают долгое слово.
 Прощающийся со своей последней вершиной
 говорит главное слово. Мое главное слово
 еще впереди. Сегодня же слушай вот что.
 Тело человека, как падающая звезда, появится, исчезнет.
 Доброе имя человека остается надолго.
 Заслужи, сын мой, на земле доброе имя.
 Хотелось бы, чтобы у вас, у наших сыновей,
 были длинными не только волосы, но и мысли.
 Пусть колеблются мысли ваши,
 подобно струям глубокой и могучей реки.
 Да, вы сильны! Можете разломать, раскрошить
 камни и скалы! И воду живую, клокочущую
 можете остановить.
 Добудете черное золото, создадите и рыбу
 большую. Знаю. Верю! Белая рыба, нежная-нежная сказка,
 конечно же, будет плескаться в струях

прозрачных рек... А вот женщина иногда
от мужчины уходит. Будьте чуткими к женщине,
как и к нежной белой рыбе!..

А я будто снова услышал медвежонка. Только теперь он кричал:

Братцы мои, братцы!
Поосторожнее...
с белой женщиной!..

А солнце играло в небе. Искрилась вода. Качался ветерок. Мой синий полдень, сказка золотая... Камни, казалось, и те пели. В этом шуме многозвучном я услышал признания сороки:

Щар! Щар! Щар!
Это я, сорока, пою.
Щар! Щар! Щар!
Это я, голосистая, трещу:
щар! щар! щар!
О чем моя песня?
О чем мое вещанье?
Щар! Щар! Щар!
Вы тоже попусту трещите.
И с меня вы не взыщите.
Щар! Щар! Щар!
У меня пустая песня?
А у вас?
Огонь из глаз?
Откровение святое
в звуках ваших звонких слов?
Прозрение века
в ваших гимнах?
Щар! Щар! Щар!
Смешно!
Щар! Щар! Щар!
Вы такие же трещалки,
как и я,
длиннохвостая сорока!..

А на зеленом мысу у самой воды стоял лось, точно о чем-то размышляя.

Высоко поднятая голова. Навостренные уши, как антенны. Ветвистые рога, словно могучие руки. Это они, казалось, держали и высокое небо и сияющее солнце. Мой синий полдень, сказка золотая... Под легкий шелест листьев я слышу монолог лося:

Просыпается заря —
уплывает сон мой.
И мир бросается в мои глаза.
Смотрят на меня деревья, птицы, травы
и спрашивают:
— Кто ты такой?
— Я сын земли,— отвечаю, не опуская
рогатой головы.— Что вы качаетесь?
Что вы удивляетесь?
Я такой же, как и вы,
сын многоликой земли.
Круглые у меня глаза?

Разве виноват я,
что так прекрасно лицо реки
при восходе золотого солнца!
Ноги у меня длинные?
Разве мог бы я догнать
мою любимую в миг состязания в любви!
Без этих ног я не узнал бы и землю.
Носят меня мои ноги
по лесам, полям, болотам.
Я перешагиваю ручьи болтливые,
плыву по рекам шипящим,
брожу по травянистому берегу
молчаливого озера.
Почему стоят мои уши?
Люди разные.
Если уши опущу —
услышу шаги коварных.
А носом чутким чую
за тридевять земель
ваше доброе иль злобное дыхание.
Да, копыта мои тяжелы.
Но что бы стоил я
перед самим медведем,
если б не удар
моих каменных копыт!
И все же косолапый
порою
сдирает с меня шкуру.
Притаившись в хвое
над тропой моей заповедной,
летит он с ветки
на широкую спину
и вырывает жилы
из гордой моей шеи.
Может, в том виновата
дремучесть еще дикого леса,
а может, спина моя широкая
всему тому виной?
У меня голова большая?
Как бы мог носить я
корону ветвисторогую,
где бы я рождал
свои вечерние думы?
Рога — для врага,
думы — для друзей.
Просыпается заря —
уплывает сон мой.
Я поднимаю рога
и высоко несу
голову.

Я иду по земле. Смотрю, слушаю, думаю... Этот многозвучный мир
растет во мне, поет. Я иду по земле. Время во мне качается... Мой синий
полдень, сказка золотая...

Перевел автор.



О ЧЕ Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

АНАТОЛИЙ КОНГРО



ЗЕМЛЯ-МАТЬ

Все здесь выглядит так, как на плакатах изображают образцово-показательное будущее села.

Если взять микрорайон столичного города и перенести его на опушку елового бора, прибавив к этому тишину, прозрачный воздух с запахом хвои, родники с ключевой водой, вольный посвист лесных пичуг да иногда рогатую голову лося, что, любопытствуя, выглядывает из леса, — все это сегодня совхоза «Пашский».

Словно бы для пушего контраста оставлена близ бывшая деревенька. Домишки теснятся по косогору. В них нет примет убогости — добротные срубы и палисады, — но в сравнении с городским кварталом их дочерневшие от времени бревна, узкие окна и колодцы кажутся печальным вчерашним днем.

Из кабины самолета сельскохозяйственной авиации совхоз видится пока множеством таких деревенок, разбросанных чуть ли не на сотню километров. 58 населенных пунктов. Местный житель уточнит, что «было 58». Больших, и малых, и вовсе маленьких, из полдюжины домиков, нынче оставленных людьми. Крупные узловыя селения, как магниты, собирают, впитывают в себя жителей. Типичный процесс миграции, как говорят социологи. Что важно — процесс естественный. Притягивают, сливают людей лучшие условия быта, жизни, работы. Как и в городе, на работу теперь ездят в автобусах, правда бесплатных, своих.

Рассказывают об одном упрямом старикане. Он остался один в своей деревеньке. Как мог боролся против этой самой миграции и централизации. Несколько последних лет маялся там сам-друг с телевизором. Приезжая в гости к сыну и внукам или просто за чем-то в универмаг, расхваливал свое житье-бытье, прелести рыбалки и грибных промыслов... Года четыре крепился этот последний мюгикан, но и он наконец не выдержал одиночества, «мигрировал» в центр.

Совхоз «Пашский» назван по имени реки. Паша в переводе с языка аборигенов, вепсов, означает Великая. Она действительно широкая, полноводная... Да и всю местность можно назвать Великая вода. По берегам Ладоги — низины, болота, торфяники, жилистые кустарники, мелколесье. Изредка сосна примостится на клочке вроде бы твердой почвы, запустит корни и побежит вверх. Наливается, толстеет, матерет сосна. И вдруг удар ветра. Она бы устояла, будь под ней в самом деле твердая почва. Но под ней — болото. И выворотило сосну всю, с корнями. Ствол упал в осоки, кустарники, его не видно. Лишь корни торпорицатся, будто стоит по пояс в траве многоногое, многорукое чудище. Ночью такого идолица до смерти испугаться можно.

Скоростной «Икарус» мягко стелется по шоссе Ленинград — Петрозаводск. И в зеркальных окнах то и дело болота, топи и хляби, деревья с вывороченными корнями. Ленинградская земля. Нечерноземная зона. Бедные фермы и урожай, скудные запасы кормов и сена, накошенного с полян и пригорков.

Небогатые, а то и убыточные совхозы. Борьба за скудный достаток от зари до зари. Только-только разгонит на небе хмарь, выходят косить траву. К вечеру опять заволокло тучами, и сеется день за днем мелкий и нудный дождь. Выглянет на денек солнце, подвялит сено — и опять дождь. Снова с утра до вечера с граблями в поле — переворачивай, раскидывай сено, чтоб не сгнило...

В домах от мокрой одежды прелый, тяжелый дух.

Много ли прокормит животных такая земля, земля-мачеха? Много ли даст молока корова от таких кормов? Много ли даст привеса мясное стадо? Пробовали разводить свиней: дескать, животное неприхотливое, сожрет и прелый картофель, спасибо скажет, к тому же грязелюбивое... Но и грязь не шла впрок свинье.

Случилось так, что мне повезло присутствовать при кончине последних подобных ферм в «Пашском».

На планерке у директора в семь утра было упомянуто, что не все идет, как надо бы, в реконструкции старых ферм. Секретарь парткома сказал, что завтра будет бюро по фермам. А сегодня в десять все заинтересованные лица соберутся там. И я напросился ехать с секретарем. Зовут его обычно по имени — Николай, без отчества. Николаю Аникину двадцать восемь лет.

Когда Аникин неловко, задним ходом разворачивал парткомовский «Москвич» на довольно просторной дороге, то казалось, что за рулем новичок. Вроде бы совсем недавно получил права и теперь изредка заменяет шофера. Может, из удовольствия посидеть за рулем, а может, иногда по нужде, когда у шофера выходной или кончилась смена, а дело зовет на дальнюю ферму, в поле или деревню. Однако на ночных дождливых шоссе или скользких проселках он виртуозно держал всю возможную скорость. Оказалось, что за рулем он чуть ли не десять лет. Получил права еще в школе. Так сложилось в семье, что он, как старший сын, рано пошел работать. Днем учился, вечером зарабатывал, помогал матери поднять младших. И эта неловкость при разворотах странна на первый взгляд. Просто малолитражка ему «мала». Когда привыкаешь к тяжелой, грузной машине, то рефлексy остаются довольно долго. Разворачиваешься чересчур осторожно, подаешь слишком сильно газ, мотор аж вибрирует, но ты удерживаешь сцепление и машина медленно пятится; все чудится, что под тобой длиннющая махина, которая вот-вот влезет задним мостом в кювет.

Хлебнул мальчишкой, наверно, лиха... И потому в двадцать восемь такая самостоятельность, внутренняя уверенность, и намекa нет на рисовку.

Будь совхоз богаче лет десять назад, то, может, и не пришлось Николаю так рано идти работать... Но каким бы тогда он стал? Принято думать: если человек прошел трудную школу жизни, то и характер его тверже, яснее, человечнее, что ли...

Мне давно не дает покоя этот вопрос: становится ли человек лучше — отзывчивее, добрее, — если живет не в нужде, а в достатке?

Не надо ему рыскать в поисках куска хлеба — утолить голод, вязанки дров — обогреться, лишней копейки на самую простенькую одежонку. Появляется у него досуг, чтоб поразмыслить о жизни, чтоб вчитаться в добрые и честные книги, просветлеть душой... Однако и другое подмечено испокон веку: если ты голоден, холоден, наг и бос, стучись в самый что ни есть бедный дом — там тебя накормят, обогреют, приветят «чем бог послал». А в богатые двери не достучишься. Но, быть может, тот дом ветхий и бедный именно потому, что голодного и холодного всегда кормили и привечали, не жали копейку к копейке... «Копейка рубль бережет» — есть такая жадная присказка. И дом другой, тот, что полная чаша, оттого богатый, что копейку к копейке складывал в рубли. Люди там такие скопидомные от природы, а не оттого, что живут в достатке.

Дело, стало быть, не в достатке, а в человеке?

У многих я допытывался, кто что думает об этом. Чтоб понять самому, не из книжной мудрости, а по-житейски, попросту и сложить в ответ.

Здесь, в совхозе, особенно интересный случай. Ведь забогател совхоз последние пять — десять лет. И не один какой-то дом, а всем обществом. Средний заработок, не

без гордости говорил директор, 165 рублей. Да в конце года получают механизаторы на круг 2—2,5 тысячи. Какими люди становятся? Заметно ли по ним что-нибудь?..

— А поговори ты с Александрой Николаевной Малиновской,— посоветовал Николай Аникин.— Она всех знает в нашей округе. И всякий знает ее. Шурка-избачка — такое за ней прикрепилося прозвище издавна.

Я хотел записывать было адрес.

— Зачем? — сказал Николай.— Сегодня в клубе мероприятие, называется вечер солдатских матерей, она там непременно будет. Даже не представляю наш клуб без нее, и вообще она душа любого нашего вечера.

На том и порешили.

«Москвич» бежит высоко над водой по бетонной долгой струне. Так издали видится мост через реку. Цвет воды особенный — густо-коричневый, от взвеси торфа. Это общий цвет рек северных районов Ленинградской области — и Тосно, и Волхова, и вот этой, Паши. Даже окуни и красноперки, что здесь ловятся, кажется, отливают золотистой охрой.

Выше по течению видна вполне стационарная пристань. Раньше, пока не было моста, ходил паром. И само место — село, совхоз — называлось от этого со значением Пашский перевоз. Сейчас у пристани пришвартован нарядный прогулочный теплоходик. Многие деревни расположены вдоль реки до самой Ладоги, поясняет Аникин, удобное средство передвижения. А мне еще, честно говоря, подумалось, что не захотели речники запросто сдавать свои позиции и капитулировать из-за моста. Видел я у пристани этого деда, «речного волка» в фуражке с крабом, гордого своим теплоходом и самим собой.

Под колесами «Москвича» мягко пружинит асфальтовая дорога. Асфальтовая дорога — к фермам. А где ее еще нет, прокладывают; по обочинам громоздятся груды щебня, трамбовки, катки.

— Деревня только тогда настоящая деревня, если в ней асфальтовые дороги,— говорил мне самый первый житель Паши, с которым я познакомился.

Я остановил его спросить о дороге и нарвался на горячего патриота. Это было точно так же, как в Ленинграде. Если ленинградец почувствует в вас приезжего, то через пять минут вы перестанете ломать голову, какой самый лучший город в мире.

— Сейчас машина пролетит на четвертой скорости, вы ее не заметите,— говорил прохожий.— А раньше на этом самом месте была грязь по колено, машины на днище садились и буксовали. Гарь бензина, вой двигателей, а летом такая пыль, что деревья и окна серые, а сады или огороды пропадали, пыль съедала. Дышать нечем было, слава одна, что деревенский воздух... А сейчас природа какая! — продолжал он.— Чистота, зелень. Волки и те предпочитают по шоссе бегать.

— Уж и волки,— засомневался я.

Тут его и прорвало. Он доказал мне и про волков, которых было всех уничтожили, а потом спохватились, что лоси и прочая живность стали хиреть. Поведал байку, как заяц, спасаясь от лисы, сиганул прямо в кабину трактора. Расписал чудеса про глухаринные токовища и несметные стаи уток. Я даже поверил про шестерых медведей, которые прошлым летом забрались в овсы и лакомились молочным зерном. И человека перестали бояться, восторженно говорил он, ведь понимают, что на них охота запрещена, и не боятся. Он радовался и изумлялся одновременно такой понятливости зверей. И хотел, чтоб приезжий проницая его радостью и любовью к родному краю.

Он сказал про те, бывшие дороги: за полгода ухабы так укутают автомобиль, хоть списывай в металлолом. Не успел я его спросить: а сейчас? Да и потом специально не спрашивал. Но случайно знаю, что какой-то грузовик вот уже пять с лишним лет ходит без капитального ремонта. Директор как-то отнекивался по телефону: не поедет он в город... ну, побавняется городского движения... и свою машину никому не доверит... однажды пришлось послать с другим шофером, так он всю дорогу рядом сидел, переживал, извелся весь... пять лет без ремонта ездит.

Смешно доказывать преимущества асфальта перед грунтовой дорогой. Нелепо вроде бы говорить, что белое есть белое, а черное — черное. Но асфальт доброт. И когда он

еще окупится! Рассуждают так иногда. И не только по поводу асфальта. Иной раз верх берут побуждения сиюминутной выгоды. Но есть выгода и «выгода». И к этой проблеме попытаемся приоткрыться на примере хотя бы совхоза «Пашский».

Последние десять метров «Москвич» кидало: мы свернули с шоссе. Машина остановилась на площадке перед тем, что называют, по-видимому, старыми фермами. Я ожидал встретить деревянные кособокие сараи, в которых гуляет ветер. Отнюдь. Внешне это вполне пристойные длинные каменные строения с аккуратными окнами и дверьми. И тут впервые проснулся у меня неподдельный интерес: что же тогда называют в совхозе новыми фермами, а точнее — промышленным животноводческим комплексом?

Аникина поджидали некоторые из заинтересованных лиц.

— Обратите внимание на дверцы! — с места в карьер возмущалась женщина лет пятидесяти, главный зоотехник Клавдия Николаевна Лапчикова. — Дверцы в перегородках перекосило, а треть запоров вообще не работает...

Николай, конечно, обратил, когда вошел внутрь. Все помещение разделено загородками для скота, на полу лежали свежеструганные доски. Она открывала и закрывала дверцы меж загородками, проверяла трубчатые засовы. Один, другой... сначала выборочно, потом подряд. Засовы сопротивлялись своему назначению. Николай начал хмуриться.

— А доски, кто так кладет?! — доносился из глубины голос главного зоотехника. — Теленок, он же глупый. Если я на них оступилась, то теленок наверняка ногу сломает!

И по тону ее было ясно: если теленок глупый, то человек, который настилал пол, должен быть умнее все-таки, чем теленок.

Минут через тридцать подошли к противоположному торцу фермы. Стали думать-рядить, как устроить сюда дорогу. Прямо в стены плескалось навозное болото. Оно охватывало ферму подковой — ни пройти, ни проехать. Любой трактор утонул бы здесь целиком.

Вспомнились слова Николая, что самой трудной проблемой в совхозе является навоз. Тогда они прошли мимо уха. Тоже мне проблема! А тут воспринял по-другому. Целое озеро коричневой жижи. И все-таки в тот момент оно не произвело на меня сильного впечатления. Ну болото, ну жижа... Может быть, так испокон веку? Ведь ферма, скотный двор — грязь и навоз. Ничего не понимал еще я в этот момент, ни-че-го! Не с чем было сравнить. Будто все так и надо.

Потом пойму, побывав на комплексе, что самое трудное — взглянуть на привычное, обыденное новыми глазами — и ужаснуться.

...Аникин поотстал от общей группы, и я кивнул на белобрысого паренька, который то отставал, то как-то нервно перегонял всех, изо всех сил хмурил брови на круглом розовато-детском лице. Припомнилось, что видел я его на планерке утром. Он вошел в кабинет без спросу, без стука, сунул на стол директору бумажонку... Я еще подумал, что плохо парня воспитывали, если он, ничтоже сумняшеся, мешает деловым заботам взрослых.

— Начальник отделения совхоза, — объяснил про парнишку Аникин. — Все эти фермы у него в подчинении.

Я присвистнул: молодо-зелено?

— Это хорошо, что слишком молод. Меньше консерватизма в деле, меньше привычек к старому. Другой специалист и голков и более опытен, да обвыкся с «нормой». Себя преодолеть труднее всего.

Мы вернулись на двор перед фермами. Парнишка что-то замельтешил и воскликнул растерянно:

— Куда же они сгружают?

У одного из строений громоздились кучи щебенки, и очередной самосвал, натужно воя и задирая кузов, пятился к этим гудам.

— Нам же надо свиней перед отправкой взвешивать, а они весовую щебенкой загородили...

— Ты хозяин, ты и распорядись, чтоб сгружали в другое место, — сказала Лапчикова с некой долей педагогической укоризны.

— Но руководит монтажом другой... — Парнишка колебался.

— Ты, ты хозяин! — сказала зоотехник.

И мне послышалось в ее голосе легкое раздражение. Дескать, назначили тебя, дитя, начальником целого отделения, так уж изволь, не торчи без толку во дворе. Мало того что дверцы и загородки для моих телят плохо сделаны — даже шоферу приказать не можешь. Эх, молодо-зелено!

Самосвал тем временем поднял кузов и щебенка потекла, посыпалась куда не надо, усугубляя незавидное положение начальника отделения. Он, что называется, менялся в лице: краснел, бледнел, бисерины пота выступили на лбу.

Шоферы народ грубоватый. Вдруг на приказ сгружать в другое место еще отсбачит при всем честном народе! Стыд и срам. Надо думать, в этот момент представлялось парню, как потом о нем скажут: не умеет руководить, побаивается людей, авторитета нет ни на грош... Он испытывал явное облегчение, когда высокая комиссия возвращалась к автомобилям.

И снова асфальт под колесами. Мы едем на следующие фермы. Справа меж соев проглядывает река. Берег здесь высок и сухие поля чередуются с еловыми и сосновыми перелесками. Изредка у дороги груды корней — знакомая примета торфоразработок. После того как по полю пройдут корчеватели, остаются корни самых причудливых очертаний. Корни берез светлы, сосновые — красноватого цвета. После дождей, отмытые от земли, они становятся первозданно чисты и такой гладкости, будто специально полировались. В странности их изгибов и невиданности форм есть какое-то удовольствие зрению. Глаз научается постепенно искать в их причудливых извилах знакомые образы птиц, животных, людей. Потом требовательность воображения повышается. Уже ищешь не знакомые образы, а стараешься оживлять в них странные и невозможные существа. На долгие часы может увести к себе этот фантастический мир.

Через несколько километров — такие же длинные строения ферм. Одна из них еще заселена свиньями. Николай останавливается у входа. Внутренний вид напоминает картину, которую и ожидаешь увидеть при слове «свиноводство». Загородки из деревянных кривых жердей, а сами животные лоснятся черно и салюно.

— Какая вонь, а! — с отвращением сказал Аникин.

— Нормальная, — чуть не падая от запаха, отозвался я. Не хотелось мне прослыть пижоном и белоручкой.

Аникин укоризненно на меня посмотрел. Если бы, мол, всем это казалось нормальным, то еще сто лет работали в таких условиях. И он сказал с удовольствием:

— Последняя такая ферма «нормальная». Этим свиней отправим — и баста, на реконструкцию!

Из здания рядом жилыцы уже были выселены и полным ходом шел монтаж оборудования: загородки, кормушки, транспортеры... Загородки сварены аккуратно, заборы клеток точно подогнаны. Литые бетонные желоба (кормушки) состыкованы меж собой точно, торец к торцу, и представляли как бы единый желоб, в котором движется цепь с поперечными планками: так доставляется корм животным. Здесь работали строители из подрядной организации. Такие бригады называются ныне ПМК — передвижные механизированные колонны. Они как десантники прибывают на место, делают заказанную работу и отбывают дальше. Метод ПМК себя, конечно, оправдывает — есть возможность концентрировать силы специалистов и направлять туда, где возникает нужда в большом объеме работ. Но иной раз страдает качество работ... И вроде бы никто не виноват. Как раз здесь, на ферме, сложилась ситуация, которую я называю про себя «нет виновных».

Главный зоотехник Лапчикова стояла у самой длинной бетонной кормушки и у нее «не было слов».

— Теленок не достанет из такой кормушки. Эти кормушки для взрослых бычков. Кормушки должны быть гораздо ниже!

А надо сказать, что бетонные желоба были уже установлены стационарно, на фигурных стальных кронштейнах. Опускать эти уже готовые кормушки значило взламывать цемент под кронштейнами или резать их автогеном, убирая лишнее, и снова сваривать. Уйма работы. Лишней, ненужной работы.

— Я четыре раза говорила прорабу, а они продолжают делать! — сообщила Лапчикова.

Мне показалось, что я чего-то не понял. Как же так: сюда должны привезти телят, телятам кормушка высока, телята останутся голодные? Зоотехник объясняет это прорабу четыре раза русским языком, а монтажники в ус не дуют, продолжают делать — аккуратно, быстро — заведомо пропашную работу?

— Именно, именно так! — энергично закивала Лапчикова.

Быть может, прораб за что-то зол на телят? Или прибыл со специальным заданием уморить телят голодом? Ситуация была столь нелепа, что любое идиотское предположение казалось вполне возможным.

Дайте, дайте взглянуть на эту фельетонную, сатирическую фигуру прораба. Дайте взглянуть в лицо, услышать наяву голос!

Он шел навстречу — парень лет тридцати, в куртке, джинсах и сапогах, с энергичным лицом.

— Кормушки слишком высоко, телятам не достать, — сказала Лапчикова, — а вы их продолжаете делать на той же высоте.

— А что я могу? — вскричал прораб. — Мне заказано на этой высоте делать, я делаю. У меня сроки, у меня план. Вы который раз приезжаете и говорите мне. Скажите начальнику, пусть распорядится Капустин.

— Но телятам все равно не достать, распорядится он или нет, — все еще ошалело сказал я. Мне хотелось себя ушипнуть.

Парень опять вскричал чуть ли уже не с болью:

— Я разве не понимаю? Почему же сначала не оговорили высоту кормушек? Почему мне чертеж не дали?

— И вашему Капустину уже говорили. — Теперь защищалась Лапчикова.

— Мне документ, документ нужен! Сделайте его, сделайте! — почти взмолился он.

Вот тебе и сатирическая фигура! То есть вполне сатирическая, если видеть только голые факты. А если попытаться поставить себя на его место? Мне стало даже жаль прораба. С одной стороны, совхозные специалисты и здравый смысл, с другой — начальство и тот же самый здравый смысл. И никто не выдаст ему сейчас индульгенцию для начальства, сделай он эти кормушки ниже. Ему же и нагорит: «Кто распорядился изменять проект? Сколько тысяч стоит ваше самоуправство?»

Меня корбит не меньше, чем всякого-каждого, когда дело идет шиворот-навыворот, а виновных нет. Сердце плачет! Сколько человеческого труда пропадает зря. Сколько денег тратится на ничто. 20 тысяч на переделку, сказала Лапчикова. 20 тысяч!

Будь эти деньги личные какого-нибудь бестолкового администратора, он бы их истратил однажды зря, на ничто — другой раз и тратить нечего. Чтоб затеять новую глупость, работай лет двадцать руками, откладывая каждую копейку...

Мечтал я вроде Манилова. Такого бы хозяйственника, который «не сообразил, не предусмотрел, недодумал», изловчиться бы нам держать вдальке от дела.

— Вот вы опять поговорили и уходите! — горестно вскричал вслед прораб. — А мне что делать? Не могу я работу остановить!

— Надо непременно вызвать Капустина на партком, — проговорил секретарь Аникин. — Черт знает что! Сам не приедет, я в горьком позвоню, заставят приехать...

Через несколько дней мне ответили: монтаж прекратили, начали исправлять, опускают кормушки.

Да, на фоне многочисленных строек этот случай кажется досадной мелочью. Может быть, той самой мелочью, которая не бережет рубль...

Странное на первый взгляд сочетание слов «строительство земли». Можно строить дома, самолеты, метро и даже дороги (хотя их скорее прокладывают). Но строить землю?

Есть привычный термин «мелиорация». Но в совхозе привилось «мы строим землю» у тех же самых мелиораторов.

Ясное небо с утра предвещало теплый весенний день. Вчера уже было очень тепло, но все оделись по инерции и целый день парились в свитерах и фуфайках. «Жаркий денек, жара, настоящее лето», — приговаривали при встречах, и каждый про себя думал: на кой ляд на мне эта теплая амуниция?

В совхозе небольшая бригада мелиораторов. Иногда они сами ведут работы небольшие по площади, но они скорее эксплуатационники. Основной упор по тому же принципу концентрации на ПМК.

Сегодня у совхозных мелиораторов очередная поездка на поля. Ее можно назвать инспекционной: как чувствуют себя земли после зимы и весенних ливней, что взять на заметку, что исправить. Есть и конкретная цель — насосная станция, там что-то случилось.

Грузовичок и трое парней. Одеты налегке, приветливы, деловиты. Один из них, шофер, пристраивает в кабине длинный, в брезентовом чехле сверток. Он чертовски смахивает на складные рыболовные удилища. Другой — Сергей Аникин, брат Николая Аникина. Тот всегда зовет брата по фамилии. Для официальности, наверно. Брат братом, а дело делом. Кстати, есть еще один младший брат и сестра-трактористка. Вся семья Аникиных коренная, пашская; работают все в совхозе. Третий мелиоратор — Гена. В свои двадцать три года успел закончить сельхозтехникум, отслужить в армии, поработать в ПМК, жениться. В совхозе предложили квартиру (что было кстати для молодоженов), он и переехал с женой в совхоз.

Вот такая собралась оперативная механизированная группа мелиораторов.

Грузовичок катит в сторону деревушки Карпино, там самый большой массив «построенной» земли. В кузове чуть дребезжит доска, на которой мы сидим с Геней. Она зацеплена скобами за борта машины. Встречный ветерок трепещет у щеки, и оттого, что мы едем быстро, заметно меняются оттенки запахов — то свежей пахотной землей, то сосновой стружкой или дымком. Высоко в синеве появились и ярко светятся белизной округлые облака. Неизвестно, когда они появились, неизвестно откуда: весь круг горизонта чист. Геннадий вспоминает, как начиналась работа здесь, в «Пашском». Сначала прокладывали траншеи в топкой глинистой почве, чтоб в них стекала вода, и все. Отбирали так у болот поляны, делянки... Стоило это не очень дорого, вроде выгодно. Но человеческие старания перебарывала буйная и цепкая болотная растительность, а каналы все время затягивались илом и глиной. Их приходилось регулярно чистить, окашивать осот, вереск... Небольшие начальные затраты требовали новых и новых затрат. И все равно чуть дальше от траншей стояла та же болотистая вода. Стоило зарядить дождям — и урожай, бывало, вымокал и здесь. Если же траншеи делать ближе друг к другу, то во что превратится поле? Как его пахать, сеять, какими машинами? Не руками же... Новые мощные трактора не научены прыгать через траншеи.

Вон они! Несколько новеньких оранжевых тракторов повернуло с дороги и, перевалив насыпь, сбежало к кузне. Эти трактора отличались от прежних даже не размерами или новизной конструкции, сразу и не уловить чем... Изяществом, легкостью... Так, к примеру, породистая стать рысака отличает его от ломовой лошади. Вкруг кузни собралась широкие дисковые бороны, плуги, сеялки и прочая железная сила; ждали лечащих рук кузнеца. Такой технике простор нужен, ширь полей... В сумеречной глубине кузни — сполохи стальных брызг и особенный звон, который, раз услышав, не спутаешь ни с каким другим: чистая нота «кре» — молота и наковальни.

В просветах меж деревьями и домами двигался силуэт пашского теплоходика. Он деловито подгробал к своей очередной пристани Карпино.

Карпино — малая деревушка, всего-то десяток домов. Пока! Раньше здесь не жились, потому что большому числу людей было бы не прокормиться. И место вроде хорошее, у реки, приподнятое, сухое... Зато окрест сотни гектаров болот и гнилых осинников.

За «строительство земель» взялись по-настоящему с семьдесят первого. Это было похоже на трудное наступление против сильно укрепленной долговременной обороны противника. В авангарде шли экскаваторы и прокладывали осушительные каналы; «пионерская сеть каналов» — называют первый этап работ. Были разные случаи. Однажды экскаватор увяз в болоте весь, рассказывает Гена, даже стрелы не видно. Пришлось на помощь звать другой экскаватор. Тот стал подбираться к первому и сам увяз. Восемь суток откапывали их. Несколько тракторов впрягли, когда тащили. Из кабин экскаваторов лягушки прыгают, успели там поселиться...

Следом за экскаваторами идут гусеничные трактора «Т-100», вооруженные корчевателями и ножами. Они запускают свои клешни в заросли кустарников и мелколесья,

вламываются в чашобы, иногда застревая и просаживаясь в болото по радиатор. Тучи комаров вызывают свое недовольство вторжением.

После корчевателей остаются груды корней. Их собирают в длинные валы и перетряхивают, чтоб не пропало ни крошки здесь особенно ценного гумуса, живой плодородной почвы.

Когда сделана грубая планировка почвы, выходит на поле дренажный экскаватор. С этого момента и начинается коренное отличие от старой мелиорации. Дренажный экскаватор тоже прокладывает траншеи, но теперь такие траншеи не самоцель. Эти трассы, как говорят специалисты, нивелируются, чтобы задать уклон для стока воды, и в них укладываются дренажные трубки. Или, как их еще называют, гончарные трубки. Эти цилиндры бывают разной длины и диаметра, радостного ярко-оранжевого цвета. Они легки в руке, звонки, аккуратны. Если проехать по области, то теперь нередко увидишь в полях яркие штабеля дренажных трубок. Их кладут бережно и точно, торец к торцу, а места стыков обертывают стекловатой или стеклотканью. Весь трубопровод как бы дышит. Стекловата легко пропускает воду в пазы меж трубками, но задерживает ил, поэтому трубки не засоряются. Они заполняются водой и начинают свою вечную работу. Теперь эту траншею с трубками можно засыпать ровень с полем и заровнять. И не осталось на поле никаких канав, никаких шрамов: сотни гектаров ровной и сухой почвы.

Дорого стоит один гектар такого закрытого дренажа: от 900 до 1200—1400 рублей. Но это как раз та дорогая вещь, которая гораздо выгоднее дешевой.

Грузовичок миновал последние карпинские дома, и слева распахнулась ширь и гладь просторного поля насколько хватало глаз. Да, есть где приложить работающую силу новой техники и даже такому великану и скороходу, как «Кировец».

Машина свернула с дороги, вскарабкалась на дамбу и покатила по насыпи к далекому кубу насосной станции. Скорость сразу упала. Вначале, я думал, по причине естественной — грунтовая дорога, но причина была в другом. И Сергей и Геннадий внимательно изучали свое хозяйство. По обеим сторонам насыпи тянулись искусственные каналы. Скоро и я научился различать в покатых стенах каналов выводы дренажных труб. Из иных вода шла ровной сильной струей, из других сочилась с трудом, замедленно. И ребята помечали их для себя, чтоб прочистить...

Ветер стал уже налетать порывами. Не осталось следа от декоративной красоты облаков. Небо превратилось в серую водянистую пелену. Типичны превращения нашей северной погоды-оборотня.

Неровными частыми взмахами крыльев прошелестела над головами утка. Мы ей обрадовались, как всегда радуется человек редким своим гостям. Потом увидели сразу трех и еще, и еще... Через несколько километров стало понятно, куда они торопились. Вдалеке в поле проблескивало стеклянными извилами озерцо. И целая стая диких уток шла туда на посадку. Всю пилотажную фигуру захода на посадку можно было увидеть сразу — так длинно растянулась стая в вытянутую спираль. Первые утки, наверно вожак, передумали в самый последний момент и пошли вверх. Все остальные, повторяя их маневр, шли следом, и фигура стала напоминать восьмерку. Там, где они кружили, в единственном месте на огромном бескрайнем поле, оставалась вода.

Комаров, у которых отняли болото, мне, честно сказать, не жаль. А вот уток и прочую живность... Где им теперь селиться, где выводить птенцов?

Прилетели сюда кормиться, сказал Геннадий, из заповедника. Недалеко отсюда специально оставили заповедник, естественные условия; там дикие утки, бобры, ондатры...

Постепенно кубик насосной станции увеличивался в размерах и превратился в двухэтажное здание. У его стен машина остановилась. Только что нас трясло на засохшей первобытной глине, колеса разъезжались в скользких колеях дамбы, дикие утки шелестели над головой, а тут стационарно и прочно стоял что ни на есть нормальный заводской цех. Сработанный не кое-как, лишь бы укрыть насосы, а добротно, на долгие годы чистой, теплой и удобной для людей работы. Высокий двухсветный зал машинного отделения, электродвигатели выше человеческого роста, а вдоль стен панели управления с таким количеством циферблатов, кнопок и рычагов, что твоя ЭВМ. Сергей пояснил, что предусмотрен программный, автоматический режим управления, но сейчас капризы погоды заставляют держать станцию на полуавтоматическом, с участием человека. По мере накопления в каналах воды перекачивать ее в реку.

Небольшая речушка проходила от станции всего в двух десятках метров. Между речкой и станцией у глубокой ямы приткнулся экскаватор. На дне ямы стояла вода, и сквозь нее просматривалась округлость толстой трубы. Сергей спустился туда и, устроившись на какой-то приступочке, закатал рукава и, чуть не по плечо опустив в воду руку, прощупывал нижнюю часть трубы. Точно, трещина, сказал он, старая трещина, скалтурили здесь монтажники.

Геннадий и Сергей детально обсудили и составили план ремонта трубы так, чтоб не нарушать график работы насосной станции, проверили двигатели, механизмы. Можно было ехать обратно. И тут эти серьезные, солидные специалисты превратились на двадцать минут в мальчишек. Бегом спустились с бугра к речке. В глазах азарт рыболовов:

— Здесь клюет?

— Еще как! Во-от такого налима вынул в прошлом году!

Шофер уже был там, снял чехол со свертка. В нем точно оказались удочки.

— Клюет?

— Не-а...

— Дай-ка я! Дальше, дальше закидывай! Омут там как раз...

— Клюет! Клюет! Да подсекай ты!

— Тише, распугаешь рыбу!

— Э-эх, зацеп...

Поплавок танцевал на частой мелкой волнишке, подпрыгивал от порывов совсем уже холодного ветра, и первые крупные капли ударили по рукам. Но ненастье не замечалось. Хотелось закидывать и тащить, нервно ждать поклевки, подсекать и вываживать во-от такого налима с русалочьим гибким хвостом. Но налима, видно, спрятался от дождя под свою корягу. Даже плотва и та не клевала. Не погода, решили ребята, клевать сегодня не будет. И снова превратились в серьезных специалистов-мелиораторов. А дождь уже зарядил вовсю! Над дамбой двигались нам навстречу отряды совсем уже темных туч. И наша легкомысленная одежда превращалась в липкие пронизывающие компрессы. У машины произошла короткая заминка.

— Полезай в кабину,— сказал мне Геннадий.

— Садись, садись,— ждал у открытой дверцы Сергей.

Но в кабине было только два места. Кто-то должен был ехать в кузове. И Гена остался со мной в кузове из солидарности.

«Промышленный животноводческий комплекс». Так гласит рекламный щит у перекрестка шоссе. От жилого микрорайона до комплекса километра три, дорога идет под прямым углом. По гипотенузе ближе, через лес и поле.

Сразу за домами начинается сумеречный утренний лес. Ни птичьего голоса, ни ветерка — тишина. Мох мягко пружинит, булькает под сапогами и отпускает ногу с чавкающим звуком. Подо мхом вода. Елочные иголки в капельных брызгах. Заденешь ветку — она бесшумно брызнет и, освободившись от тяжести, качнется вверх, задевая другие ветки. И пойдет на тебя настоящий дождь, если, конечно, стоять под елкой и ждать, пока весь промокнешь.

Там, где лес реже и легче просматривается, вдаль угадывается кисея сырого тумана. Зато в этой всеобщей мокрости легче уклониться от паутины. Она конденсирует на себя влагу и становится похожа на белые шерстяные нитки. Ярko обозначены даже отдельные паутины, натянутые от дерева к дереву. Всмотревшись, обнаруживаешь микроскопические капли воды, как бусы нанизанные на прозрачную нить.

Пенек березы сочится весенним соком на срезе. За многие дни на торце образовался густой наплыв, сок загустел и оплесневел. Это единственное место в лесу, где вьются несколько тощих, почти бестелесных комаров. Мне всегда казалось, что комарье предпочитает упитанных дачников. Но похоже, что здесь и они перевоспитались в вежливый гетарянцев. От потеков пахнет кисловатым винным душиком. Может быть, комары «прикладываются» по утрам к пню?..

Шел я не торопясь, чтоб подгадать к девяти утра, когда у начальника Юрия Павловича Лапина обход хозяйства. И опять было странно после лесной тиши и дремотности выйти вдруг к панельному административному зданию с зеркальными окнами, к

сквозной, из сетки ограде, за которой виднелся асфальт территории, геометрия дорожек и корпусов, кирпичных башен и эстакад. У ворот остановился автомобиль и дежурный ходил вокруг него со шангом в руке. Упругая струя кипятка с треском разбивается о протекторы, дезинфицирует машину.

Интерьер вестибюля оформлен в стиле модерн от цветного пластика на полу до деревянных панелей, которыми украшены стены.

Почти при каждом новом знакомстве в «Пашском» ко мне приходило чувство, что я знаю этого человека. Начальник комплекса был похож на киевского моего коллегу. Тот всегда открыт сердцем, любит видеть во всем и находить добро. Он устроен, если этот термин применить к людям, по закону сообщающихся сосудов. Он открыт для вашей обиды, горечи; уровень ее внутри вас от этого уменьшается. И в то же время свои огорчения он прячет в себе. Он бодр и светел для всех. И в свои тридцать имеет частые пряди седых волос. Есть люди, которым легко живется, а есть такие, с которыми жить легко остальным.

Наблюдая за отношениями с людьми начальника комплекса, я в душе немного гордился, что не ошибся с первых минут знакомства.

В дверь раза два просунулась веснушчатая физиономия парнишки. На третий раз он был замечен и позван войти.

— Вот я пишу курсовую работу в техникуме,— сказал он, немного робея.— Электротранспортеры на животноводческом комплексе. И вот нет ли чертежей?.. Мне бы надо чертежи посмотреть...

Юрий Павлович встал, открыл книжный шкаф, извлек оттуда несколько переплетенных альбомов. Выбрал нужный, помог парнишке отыскать страницы. Сказал доверительно:

— Это проектная документация комплекса, очень важная. Не потеряешь?

— Да что вы! — вспыхнул мальчишка.— Я тут рядом, в зале.

Немного погодя я мельком заглянул в зал. Там было просторно, светло, уютно — для отдыха, для встреч,— бильярд, приемник, кресла. Парнишка что-то старательно перечерчивал из альбома.

При выходе на территорию комплекса — санитарные строгости. У двери, как коврик, лежат в коробке опилки, пропитанные специальным составом. Дежурный подал белые халаты.

Геометрическая четкость планировки строений и даже яблоневых аллей. Яблоньки молодые: комплексу всего три года.

И еще несколько цифр. Подобных комплексов по Союзу 7. В Ленинградской области этот первый. 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Каждые сутки привес мяса около 12 тонн. Себестоимость одного центнера 116 рублей 90 копеек.

С некоторой опаской входил я в первый корпус, памятуя о едучем зловонии старых ферм. Но здесь вкусно пахло травяной мукой, сеном, молоком и живым теплом, как от чистюли лошади, когда ее искупаешь в речке. В светлых просторных залах бродили, лежали, стояли телята. Так называемое беспривязное содержание скота. Негромко гудели вентиляторы, и слышался плеск воды, как на берегу быстрой речки. Самая давняя и мучительная проблема очистки помещений решена на комплексе просто и остроумно: все полы здесь из узких планок, а между планками оставлены зазоры-щели; под этим полом второй пол, бетонный, по которому постоянно бежит вода и все смывает. Мы шли по длинному широкому коридору из зала в зал и везде воздух был чист и свеж. Даже больше, сказал Юрий Павлович, во всех помещениях постоянная температура, влажность воздуха. Микроклимат, за которым следят и который регулируют приборы автоматически.

Изредка встречались люди в таких же, как наши, белых халатах. Именно изредка: на 400 голов скота здесь достаточно двух человек. Их называют операторами, как на любом современном промышленном предприятии. В сущности, все обязанности человека сводятся к наблюдению и контролю. В трубопроводах шуршат корма — сено, силос, травяная мука, сенаж: рацион меняется для телят от возраста к возрасту. Корма эти в разных пропорциях поступают в бункер, тот автоматически взвешивает их и опускает на ленту транспортера. И вот уже рацион в кормушках. Бычки не заставляют себя упрощать, с великим удовольствием уписывают научные нормы завтрака, обеда, ужина.

Существует и расписание, которое больше всего напоминает распорядок дня в пионерском лагере. 8.00—8.15 осмотр, профилактика, выявление слабых; 8.15—10.15 приготовление регенерированного молока (то есть из порошка), раздача; 11.30—12.00 контроль за микроклиматом; и так далее...

Поилки напоминают обычную обеденную тарелку. Захотелось пить, ткнулся в тарелку мордой, сработала автоматика — и побежала вода в тарелку. Поднял голову — струйка остановилась.

Мы заглянули и в кормоцех, одну из многоэтажных кирпичных башен. На первом этаже машина рыхлила зеленую прессованную массу, превращая ее в груды аппетитной травы. От нее остро пахло огуречным рассолом. Это сенаж. Трава сохраняется в свежем виде всю зиму. Не гниет, не плесневеет; прессованная масса не пропускает воздух. Ежедневно берут пробы в лаборатории комплекса. Сохранились в сенаже все витамины и питательность, сказала женщина-лаборант. Больше того, в этой зеленой массе развиваются молочно-кислые бактерии, которые еще больше повышают кормовую ценность.

Машина рыхлила траву, включались и сами выключались транспортеры, и ни одного человека не было видно в кормоцехе.

И уже оглядываясь назад, на старце фермы, понимаешь, сколь они кустарны и архаичны.

19 миллионов рублей — стоимость комплекса и жилого микрорайона для его работников. Дорого. Много дороже, чем те же старые фермы и деревни из деревянных изб. Но это та самая дорогая вещь, которая много выгоднее дешевой. Чисто экономически комплекс себя оправдал за два с половиной года. А за семьдесят четвертый год прибыль совхоза — более 6 миллионов рублей. И львиная доля этих денег приходится на долю комплекса.

Много можно распространяться о техническом совершенстве комплекса. Хотя ничего особенного в смысле техники сегодняшнего дня там нет. Не это главное. На любом современном заводе можно увидеть те же конвейеры, поточные линии, автоматику. Главное в том, что эта промышленная технология осуществляется в сельском хозяйстве. А это куда труднее, чем автоматизировать завод или фабрику: соединение механизмов и живых существ с их физиологией, нравами, повадками. Симбиоз живого и неживого.

Это качественное отличие важно иметь в виду проектировщикам и конструкторам, думая о завтрашнем дне животноводства. Чтоб сделать хороший коровник или телятник, надо поработать месяц-другой в хлеву, чтоб досконально узнать повадки животного. Неплохо бы и для студентов — будущих проектировщиков ввести подобную практику. Не только в конструкторских бюро, чтоб набраться практического умения, но и в совхозе, на фермах, чтоб набраться понимания, знания животных. Мало сходить в библиотеку, почитать зоологов, натуралистов и ветеринарные книжки. Мне запомнилась такая деталь на комплексе. Совсем маленьким телятам подается молоко в индивидуальных пластиковых ведерках. Они установлены на тележке штук по пятнадцать в ряд. Телята опрометью кидаются завтракать, слышно аппетитное чавканье, и только уши шевелятся над краями ведер. Вдруг что-то щелкает — и вся шеренга ведер становится на ребро. Первая мысль — сорвалась какая-нибудь зашелка. Нет. Не сорвалась, а сработала. Как только телята уткнулись носами в днища, она сработала, ведерки откинулись на ребро, наклонились к едокам: из углубления быстрее и легче вылакать остатки. И чтобы продумать это и рассчитать, мало пройти экскурсией по ферме; это вообще не придет в голову, если сам не походишь с ведерком, не услышишь рукой, как тянет ведерко книзу, и не сможешь телку допить все молоко, подав ведро под углом. Пустяковое вроде приспособление. Можно и так: сливать остатки. И руки не отсохнут, как говорится. Но это лишняя работа, лишняя и ненужная, если заранее поработать головой.

Из отсутствия таких лишних работ, можно сказать, и складывается комплекс. Вот почему возможны такие цифры: на 400 самых трудных, молочных телят — 2 человека. Есть такая единица измерения — человеко-час. Чтоб получить здесь один центнер мяса (100 килограммов), затрачивается всего 4,5 человеко-часа. За смену, следовательно, около 200 килограммов. Отработал восемь часов — и на весь год себя обеспечил мясом.

...Тем временем утренний обход хозяйства заканчивался. До сих пор все шло ладно и гладко. Изредка встречались операторы, инженеры, дежурные. Лапин здоровался, с удовольствием расспрашивал, как идут дела. Хорошо, нормально, в порядке — отвечали ему обычно. Как вдруг навстречу вышла женщина-оператор и атаковала Лапина:

— А вы знаете, что моим телятам не хватает легких кормов? Компрессор не берет, испортился. С утра дежурного вызывают — и до сих пор нет как нет!

Надо было видеть возмущение этой женщины! Каких-то два-три года назад возили эти самые корма вручную, а теперь неполадки в автоматике уже ЧП. «Я психую с этой кормушкой!» — заявила она.

Следующей заботой Лапина были трубы. Вдоль одной из аллей земля оказалась взрытой.

— За два года коррозия съела трубы, которые подают горячую воду, — сказал Юрий Павлович, — будем теперь прокладывать над землей, на кронштейнах.

Это снова была знакомая ситуация, когда работа пошла насадку, а «виновных нет». Сделали когда-то траншею, облицевали, как полагается, бетонными стенками, положили трубопровод. Забыли, правда, один «пустяк» из школьного курса химии. Трубы полагалось обернуть стекловатой для теплозащиты, а ее, наверно, не оказалось, обернули шлаковатой. Вроде бы все равно. Но не здесь, где в почве столько воды. Вода попала в бетонный желоб, пропитала шлаковату, а дальше может предсказать ученик первого курса ПТУ. В шлаковате большой процент серы. Произошла химическая реакция: стальная труба + сера + вода + температура. Сталь за два года превратилась в ржавчину.

На обратном пути нам встретился инженер по автоматике.

— Да проверяли мы уже компрессор, — сказал он Лапину. — Работает вроде нормально. Проверю второй раз схему.

Я вспомнил — на стене рядом с распорядком дня висели условия соревнования работников комплекса, критерии оценок труда. Стоит, наверно, привести хоть один из пунктов: «1. За среднесуточный привес молодняка: 1000 граммов — 5 баллов, 950 — 4 балла, 900 — 3 балла. 2. За сохранность механизмов и оборудования — 5 баллов. 3. Сохранность поголовья: 97,8% — 5 баллов, 96,0% — 4 балла...» И так далее. Пять разных пунктов по 5 баллов в каждом. Набралшему 25 баллов — премия 90 рублей, 20 баллов — 60... Дзюм основным операторам, закончившим производственный цикл и выполнившим сообразительности за год, занявшим первое место, вручается ценный подарок на сумму 100 рублей, а также переходящий вымпел. Дальше перечисляются поощрения за второе, третье места, ветеринарным специалистам, шоферам и другим работникам комплекса. Система подобных критериев логична и понятна каждому. А сколько она эффективна, можно судить хотя бы по эпизоду с компрессором.

Оставался у меня еще один вопрос. Может быть, самый трудный. Вокруг старых ферм плескалась навозная жижа, отравляя природу, воздух... А там животных насчитывались десятки, на комплексе счет на тысячи. Самая жгучая проблема современности — загрязнение окружающей среды. Признаюсь, ответ я ждал с опаской. Жаль было разрушать удовольствие от знакомства с таким хозяйством. Не каждый день попадаешь в место, которое так придется по сердцу. Но что поделаешь. Проблема, как говорил Аникин, одна из самых сложных в совхозе. Как она решается здесь, в одном из семи самых крупных комплексов, какими затратами, каким умением и даже с каким желанием?

— Действительно проблема, — сказал Лапин и задумался.

Позже я понял эту заминку. С чего начать? За одним вопросом возникает множество новых. Они касаются целого круга тем, казалось бы, таких далеких, как мелиорация, растениеводство, тракторы «К-701»...

— Начать с того, что нас проверяют Чистоту окружающей среды. И главный санитарный врач Ленинграда приезжал, и Рыбная инспекция проверяет, и Управление по регулированию вод, и Бассейновая инспекция, и СЭС...

— СЭС?

— Санитарно-эпидемиологическая станция.

— И как часто они бывают?

— Как часто! — в тон повторил Лапин и вздохнул. — Каждый месяц, а то и чаще. Из Ленинграда, из Волхова, из Новой Ладоги...

И тут, как в самом что ни на есть детективе, раздался энергичный стук в дверь.

— Разрешите?

И в дверь уже входила целая группа лиц. Двое мужчин, три женщины. Первый представился:

— Я из СЭС, эти товарищи из инспекции, из Ленинграда...

Лапин повернулся ко мне, как бы желая сказать: «Вот видите», с таким видом, какой только может быть у человека, у которого сбылись (все-таки!) худшие предположения. Как тут было не улыбнуться народной присказке «легки на помине». Но Юрий Павлович не произнес ее вслух. Это значило бы вызвать ответные улыбки, как бы напрашиваться на дружелюбие. А симпатия уже вроде бы сковывала прибывших в их суровом принципиальном долге. Инспекция. И Лапин, по-моему, это тонко почувствовал, не стал затруднять дотошной придирчивости и въедливости официальных лиц. Наши полуулыбки и переглядки были примечены врачом из СЭС и расценены как тайный умысел что-то скрыть. Он еще более посуровел.

— Как распределимся? — обратился врач к коллегам так, чтоб нам стало ясно: скоро будет вам не до смеха.

Они посоветовались. Врач резюмировал:

— Двое из нас поедут брать пробы воды в реке, в водопроводе жилых домов, пробы воздуха в поселке и вокруг комплекса, один проверит лабораторию, возьмет анализы, один останется здесь проверять очистные сооружения и прочее. Вы согласны? — обратился он к Лапину. — Очень хорошо. Вы согласны. Так и сделаем, если все согласны.

Скоро я понял, что это его манера: делать вывод или приводить довод и переспрашивать официально «вы согласны?» или «почему вы не согласны? какие у вас аргументы?», как бы анатомируя факты, выявляя их бесспорность для обеих сторон.

Инспектировать комплекс остался именно этот врач. Он взглянул на часы.

— Еще один предварительный вопрос. Мы договорились по телефону с Новоладжской СЭС, что будет их представитель. Где он? — И оглядел кабинет с таким видом, будто этого представителя упрятали в книжный шкаф, связав предварительно и заткнув кляпом рот. — Не прибыл еще? Хорошо. Тогда начнем пока без него. По пунктам. Такого-то числа было решение Леноблисполкома по охране окружающей среды вокруг вашего комплекса. Экземпляр документа у вас есть? Хорошо. Я зачитываю по пунктам.

И началась великая инспекторская сеча.

— «Пункт первый, — читал врач СЭС (Швецов Леонид Михайлович). — Прекратить сток вод в лес». Выполняется?

— Выполняется, — отвечал Лапин. — Мы вообще не выпускаем сточные воды за пределы комплекса. Вся жидкая фракция поступает в очистные сооружения и пруды-накопители.

— Та-ак, хорошо. Это проверяется сейчас. Товарищи берут пробы воды и воздуха вокруг комплекса. Дальше. Обеспечить вывоз сточных вод из прудов-накопителей?

— Девять бочек ежедневно вывозим.

— Та-ак. Значит, сегодня тоже? Хорошо. Потом мы пройдем посмотрим...

Я вспомнил, что встретил однажды такую «бочку». Трактор вез на прицепе громадную цистерну. Она занимала чуть ли не всю ширину моста, и машины столпились у въезда, ожидая, пока ее провезут.

— Следующий пункт. Подыскать площадку под пруд-накопитель?

— Есть. Уже строится пруд биологической очистки. Аэрационные установки изготавливаются в Волхове.

— У вас есть документация? Хорошо. Пруд посмотреть сейчас можно? Грязно? Ничего, что грязно...

Лапин с сомнением посмотрел на ботинки инспектора, не очень новые, но тщательно вычищенные, может быть «выходные», но промолчал. Не имел морального права проявлять заботу в данной ситуации.

— Цех по обезвоживанию навозной жижи? — продолжал врач.

— Цех построен. Вчера испытывали установку.

— Уже работает?

— Сегодня еще не работает. Мелкая неисправность...

— Значит, идут наладочные работы? Это понятие растяжимое. К какому сроку закончите?

— Уже все закончено, — пояснил Лапин. — Вчера установка работала. Неисправность в электропроводке.

— Это мы посмотрим. Вы согласны? Хорошо. Дальше...

И так все шестнадцать пунктов.

Мне кажется, что имеет смысл более подробно остановиться на таких малопоэтических вещах, как очистные сооружения и утилизация навоза. Ведь именно от них зависят прекрасный чистый воздух, вода и прочие поэтические прелести природы. Во всем мире сейчас создаются промышленные животноводческие хозяйства. И везде самый острый вопрос — очистные сооружения. Нигде еще не решена кардинально проблема очистки. Мне говорили специалисты, что в Америке, например, для одного подобного промышленного хозяйства выбрано возвышенное место. И отходы попросту выводят на склон горы. У нас в стране проектируются новые мощные комплексы. И опыт совхоза «Пашский» может быть полезен другим хозяйствам.

Оригинальна идея шелевых полов в секциях для животных, прекрасно действует система смыва навоза, но любая медаль имеет обратную сторону. 700—800 тонн «жидкой фракции», как это здесь называют, появляются каждые сутки. Как от этих тонн избавляться? Были предусмотрены стандартные очистные сооружения. Но их мощности на пределе. Что же делается еще? Что представляют на сегодня очистные сооружения?

Бетонные аквариумы величиной с добрый плавательный бассейн называют «карты». Сюда качают насосы жидкую фракцию, здесь происходит первый этап очистки — биологический. На втором этапе включается аэрация жидкости, то есть продувание кислородом и разделение смеси на «твердую фракцию», то бишь навоз, и воду, которую можно использовать для орошения земель.

Всем, наверно, известно, как ценны для плодородия почвы органические удобрения. Но по существующим строгим правилам жидкой фракцией можно удобрять культуры, которые идут только на корм скоту. И сначала очистные сооружения не рассчитывали на извлечение собственно навоза. Считалось, что после биологической очистки этой жидкостью можно будет орошать поля вокруг комплекса. Именно здесь проблема с утилизацией отходов соприкасается с мелиорацией земель. Однако вокруг комплекса очень сложные земли, не земли суть, а сплошная глина. Их действительно требуется «строить»: завозить гумус, торф, насыпать слоями — работать и работать, чтоб эти земли могли дать пищу животным. И первые годы за них не брались, строили земли более отдаленные, где мелиорация обходилась бы не так дорого. Так возникла проблема жидкой фракции.

— Нас штрафовали, — говорил Лапин, — стоял вопрос чуть ли не о закрытии комплекса.

— Вас штрафовали? — переспросил я. Есть такая манера штрафовать предприятия: из одного государственного кармана в другой.

— Штрафовали лично меня, штрафовали директора совхоза, — понял мой вопрос Лапин, — на сто, на семьдесят пять рублей... Вот как стоял вопрос: либо качественная очистка, либо закрывать комплекс.

В срочном порядке один из ленинградских заводов изготовил специальные емкости на шасси для вывоза жидкой фракции, Леноблисполком принял решение предоставить совхозу пять тракторов «К-700» для транспортировки таких громадных цистерн. Но это еще половина дела. В самые слякотные периоды — осенью и весной, — когда земля становится вроде жидкого творога, никакой трактор не пройдет в поле. Что еще сделано, какие приняты меры? — допытывался санитарный врач. Не зря, похоже, инспекция прибыла в самое критическое время, когда, как говорится, дороги встали.

По скользкой земле и глине, развороченной колесами и гусеницами, вслед за начальником комплекса пробирался Швецов в своих городских ботинках. Сначала он еще пытался как-то сохранить их, потом махнул рукой и шагал напрямки по самым топям и хлябям, чтоб проверить «личными глазами» тепункты постановления, которые зачитывал в кабинете.

— Отсюда уже виден котлован, — говорил жалеючи Лапин. — Это строится новый пруд-накопитель, резерв для сточных вод комплекса.

— Давайте все-таки подойдем, — дотошно возражал Швецов. — На какую глубину вырыт котлован, как идет работа, что сделано на сегодня?

И ходил вокруг котлована, время от времени доставая документацию и сверяя ее с реальностью.

Никогда бы не поверил, что такие черты человека, как дотошность, придирчивость, которые никогда не считал самыми привлекательными, могут вызывать во мне самую горячую поддержку.

Другая идея для решения проблемы очистки заключалась в извлечении навоза из жидкой фракции. Специальных агрегатов для этой цели промышленность еще не выпускала. Пришлось ломать голову, чем их можно заменить, какие существуют аналогичные процессы в промышленности. Один бог ведает, сколько разной технической информации пришлось переработать для этой цели. И нашли-таки «аналогичный» процесс — изготовление вина, а сама машина называлась алкоголоидно-винный пресс. Директор совхоза установил, что занимаются подобными конструкциями в рижском СКБ, сам куда ездил, договорился. Рижане взялись за странный проект — научить винный пресс извлекать навоз.

— Давайте посмотрим, что получилось, — говорил Швецов, и начальник комплекса вел его к свежей кирпичной постройке.

Внутри громоздилась загадочная машина, хитроумное изобретение рижан. У потолка расположен приемный бункер, это еще понятно, а дальше шли трубы, сетчатые лотки, транспортеры. Всего два агрегата, пояснил Лапин, виброгрохот и винный пресс.

— Так, хорошо, — кивал головой инспектор. — А почему же машина не работает? Оборудование установлено, я вижу. А вот на какой оно стадии: наладка? испытания? переделки?

Лапин указал на лоток, который спускался к отверстию в стене, и там, за стеной, виднелась пирамида чистого и сухого навоза.

— Завтра начнет работать на всю мощность, — сказал Лапин.

На следующий день я специально зашел на комплекс — агрегат работал.

Они еще немного поспорили по поводу терминологии. Что считать наладкой, пусковыми работами, доделками... Собственно, они не спорили в полном смысле этого слова. Лапин, когда был уверен в своей правоте, возражал мягко и убедительно. Швецов приводил свои всевозможные контрдоводы. И только полностью исчерпав их запас, соглашался с начальником комплекса. И тогда чувствовалось: врач доволен, когда прав оказывался Лапин. Значит, выигрывало дело. А надо сказать, что запас придирчивости инспектора был поистине неисчерпаем. Он буквально все осмотрел и ощупал собственными руками.

Теперь предстояла весьма щекотливая церемония — подписание акта. Что выполнено из решений облисполкома, что выполнено частично, что не выполнено совсем и по чьей вине. И, как говорится, «всем сестрам по серьгам».

К этому кульминационному моменту к обеим сторонам прибыло подкрепление. У административного корпуса затормозил вездеход с синим крестом — врач из Новой Ладogi. Вернулись и те, которые уезжали за пробами воздуха и воды. Совхоз выслал подкрепление в лице инженера-строителя с документацией. Я уже знал немного этого немногословного парня. Строитель Силин — так его называют в совхозе. И к моменту составления акта ожидали еще директора совхоза.

Дважды за этот день я обошел весь комплекс. Как шутят в таких случаях, треть его раза не миновать. А пока на правах старожилы повел этого замечательного въедливого придиру-врача к горячей воде, где моют автомобили. Его башмаки нуждались в капитальной чистке.

Недалеко от ворот околачивался будто бесцельно давешний парнишка, что брал у Лапина документацию. Он тотчас сделал вокруг меня пару кругов и остановился вблизи, но как бы сам по себе. И выдал пристрелочную фразу:

— Хорошо у вас на комплексе.

С этим я согласился: действительно неплохо...

— У вас здесь работают шайбовые транспортеры, — сказал он, — а мы их даже не проходили. И в учебниках про них ничего не сказано.

Пришлось из педагогических соображений уклониться от обсуждения качества их учебников, но при этом не потерять с мальчишкой контакта. Мне стало уже интересно, куда он клонит. Было ясно, что неспроста затеял он разговор — комплименты комплексу.

— А я вот скоро техникум оканчиваю, — тут же и расшифровался он. — Распределение скоро... У меня специальность — электромеханик...

Вот из-за чего он ко мне подъехал.

— Ну что ж, неплохо,— «не понимая», ответил я.— Хорошая специальность, современная.

Парнишка посмотрел на меня такими просительными глазами, что будь я начальником комплекса... Взгляд прямо-таки говорил: неужели вам не понятно — я хочу здесь работать. Увы, дорогой, не туда ты забросил удочку с наживкой из комплиментов. Мне оставалось только дружелюбно улыбаться ему. Прямо просить он не мог. Что он, маленький, что ли? Самолюбие не позволяло. Знаю я этот тип мальчишек. И он решился на самое большое, что гордость могла позволить:

— Трудно попасть к вам на комплекс.— И ожидающе уставился на меня. Тут уж было сказано все.

— Откуда ты знаешь, что трудно? Пробовал?

— Да уж знаю. — И он махнул рукой.

«Не клюнуло в этот раз»,— понял он. Ну ничего, я своего добьюсь, буду здесь работать — выражали его укоризненные глаза.

На стоянку в этот момент зарулил вездеход директора. Он сам сидел за рулем. Мальчишка мигом сообразил траекторию движения директора и «нечаянно» оказался между левой дверцей машины и крыльцом комплекса.

— Здравствуй, здравствуй,— сказал директор и крепко тряхнул паренька за руку.

Парнишка было расцвел: он — знакомый директора. Но закинуть удочку на сей раз не удалось. Тот вошел в здание. Я с крыльца оглянулся. Паренек продолжал свои дипломатические круги... Похоже, он своего добьется.

Как тут было не вспомниться милым романтическим литературным и киногероям недавнего прошлого. Поэтические девушки бредили о работе в свинарниках и на фермах, выпускники-активисты скопом просили послать их на работу в хлев. Не надо! Не надо было всей этой мишуры, обливаний слезами и оркестра пожарников на вокзале. Не следовало авторам утомляться. Надо всего-то было — подумать. Как создать нормальные условия для работы, условия быта и отдыха. И отпала необходимость заманивать молодежь в село, рисуя прельстительные картинки. Не было прелести в скотном дворе или даже на ферме. Не было. А ныне здесь даже сами слова «хлев», «свинарник», «скотный двор» вышли из употребления. Появились «комплекс», «секция», «оператор».

13.00—14.00. В кабинете начальника комплекса к этому времени собралось довольно много народа. И с той и с другой стороны. Еще бы — такое щекотливое дело, как формулировка выводов областной комиссии.

Директор совхоза Лев Константинович Павловский даже не скинул пальто, так и присел в углу. Он сначала молчал и казался в своем выдавшем виде пальтишке человеком случайным. Ему около сорока пяти, крупные черты лица, грузноватая фигура. Довольно высок, но кажется выше своего роста. Есть такие люди, которые кажутся выше своего роста.

Врач Швецов снова в который раз зачитывал пункты из постановления облисполкома. Затем комментировал свои наблюдения, складывал с мнениями коллег, превращая их в точные и краткие формулировки. Он отчетливо произносил их и, убедившись в согласии всех сторон, заносил в акт.

— Э-э нет! — вдруг возразил директор.— Мы тоже научились писать...

Речь шла о том, что прекращен вывоз жидкого удобрения на поля.

— Вы формулируете «не вывозят». Получается «не хотят». А правильнее звучит «в связи с весенней распутицей и закрытием дорог в Ленинградской области». Трактор сегодня не прошел в поле. Зачем мы будем сливать удобрения вдоль асфальта?

Это была правда, истина. И поправку приняли. Факты формулировать здесь уже научились. Следующий пункт был гораздо принципиальнее: строительство мелиоративных земель непосредственно вокруг комплекса. Павловский помрачнел.

— Пока восемьсот семьдесят гектаров. Мелиораторы тянут волюнку. Казенная переписка, долгие хлопоты. Привезли экскаватор. Один. И все!

— Значит, так: все начальники свои визы ставили на постановлении, обязались выполнить, а теперь — один экскаватор? — резюмировал Швецов. Нет, он не просто подводил итог с бухгалтерской сухостью. Мелиорация здесь, в совхозе, была и его кровным делом.

— Все, все-е свои визы ставили,— с веселой злостью подтвердил директор. Он говорил, иногда растягивая слова, вроде с некоторой ленцой, но незаметно брал в свои руки инициативу: — Дальше — пруд-накопитель. Геологические изыскания провели, проект готов. Объем — двести метров на пятьдесят и глубина два. А вот строят медленно. Это во-первых. А во-вторых — защитная пленка. Ее требуется уложить два слоя. На дно, затем полметра песка и еще слой пленки. По сей день не решен вопрос с поставками полиэтилена. Областное управление совхозов отфутболило вопрос в Невское объединение, оно, в свою очередь, отфутболило еще дальше.

— А какой трест ведет работы?

— Трест 34-й.

— Сколько мы с ним сталкивались!

— Вчера только в горькоме сталкивались,— усмехнулся директор такому «странно-му» совпадению.— Со стороны совхоза все решения выполняются. Пусть и другие организации выполняют постановление.

— Что мы можем предложить, следовательно? — спросил Швецов.

— А что предлагать? В постановлении все сформулировано ясно. Выполнять всем это решение. Выполнять обязательства, под которыми стоит твоя подпись. И еще довести до сведения зампреда Леноблисполкома о положении дел на сегодня.

— И еще последний вопрос,— сказал врач.— Что нам надо требовать, когда мы подписываем запуск новых комплексов?

Павловский ответил твердо, как о давно обдуманном:

— Не следует запускать комплексы, пока не будет вокруг полей орошения. В нашем проекте значились такие условия, как близкая река и дорога. Этого мало. Нужны поля орошения. Строить земли одновременно с комплексом.

Через несколько дней при оказии я спросил у директора: значит, то, что запустили ваш комплекс, не построив земли вокруг, было ошибкой? Нет, ответил он, в данном случае нет. Наш комплекс строился в два этапа. Почти сразу начал давать продукцию. Следовательно, требовалось большое количество кормов. В этом случае оптимальным решением было строить земли более простые и дешевые для мелиорации.

Тем временем акт проверки отдали на машинку. Официальная часть закончилась. А директор снова повел всех на комплекс. Из удовольствия показать, «похвастаться». Как гид он отличался от Лапина. В каждом новом месте он как бы отождествлял себя с теми, кто там работал, рассказывал от их лица, эмоционально передавал их состояние. Зайдя, например, в санпропускник, где прибывших телят ожидает душ, он рассказывал так:

— Телята-малыши ночь тряслись в дороге, холодно, боязно... И так, они почти в состоянии стресса. Вот сюда сначала — душ, теплое помещение, они все грязные. Их надо быстрее мыть и сразу в сухую простыню, вытираем, сушим. Теплового молока — и спать...

Гордился Павловский комплексом, откровенно гордился. Но в этом не хвалебная себе нога, а гордость сделанным. Как гордится мастеровой делом рук своих — отменно выточенной деталью, оригинальным проектом — конструктор, удачной картиной — художник. А какое же без этого удовольствие создавать, делать, думать... Должно человеку ждать удовольствия результатом и помнить об этой радости, затевая новое трудное дело.

На мой вопрос, не нашелся ли в совхозе досужий математик, который бы подсчитал, сколько человек может прокормить комплекс, Павловский тотчас ответил:

— Подсчитано. Мы можем полностью обеспечить мясом весь Ленинград в течение семи дней в году.

Сейчас перед сельским хозяйством Ленинградской области стоит задача полностью обеспечить город собственной продукцией. На примере этого промышленного животноводческого хозяйства виден путь решения этой задачи. И если при первом знакомстве с комплексом вызывают уважение его размеры, обширные залы для животных, высокие кормовые цехи, то теперь я удивился обратному — как он невелик, компактен при такой высокой отдаче.

7.00—8.30. Собственно, рабочий день директора начинается еще раньше. К семи он приходит в свой кабинет, успевая заглянуть в механические мастерские, гараж или ремонтный цех.

Из близкого леса еще тянет утренней сыростью. Только-только откричал картово-реликтовый здесь петух. Погасли обычные городские фонари вдоль дорог. В столичном микрорайоне Потанино фырчит автобус, ожидая трактористов, полеводов, механизаторов.

Кабинет Льва Константиновича уже пуст. «Уже» пуст. Пальто и берет на вешалке свидетельствовали о его приходе. Дверь в кабинет распахнута. Постепенно небольшой двухэтажный дом управления заполняли звуки: скрип половиц, голоса, клацанье ключей. Просторная приемная со шкафами, полными специальной литературы по животноводству, агротехнике, мелиорации, служит скорее данью регламенту, статусу директора, чем обычной своей цели — карантина для посетителей. Ибо всяк шагал в отворенную дверь кабинета и садился на что подвернется. В понятиях нынешнего дизайнера, кабинет был слишком загроможден столами и стульями, а пара красных глубоких кресел и вовсе не вязалась со стилем комнаты. Правда, несколько позже я бы не поручился, что они здесь стоят без умысла. Может, они предназначены для бесед с нужными совхозу людьми — поставщиками, строителями... Замечено, что в шибко мягком кресле человек скорее созревает на уговоры, чем на жесткости табурета. С кресла лень выбираться, что дает активной стороне лишнее время на аргументы.

В семь с минутами появился директор, окруженный, видимо, теми, кто применил тактику ожидания в коридоре. Он на ходу здоровался, пожимал руки, пошучивал. Я ни разу не видел его строго официальным, внешне серьезным, «облеченным властью».

Директора тоже я как бы знал раньше — тон, манеру общения, — но не мог окончательно вспомнить, кого он напоминал. Что-то мешало... Сбивало с толку несоответствие — одновременно неторопливость и поворотливость, неспешность речи и быстрота реакций в решениях.

Все вошедшие, все сидящие заговорили чуть ли не разом. Можно было подумать, что у каждого что-то срочное, архиважное... Трам-тарарам, гром и молния. Все на пределе, накалены. И не было, наверно, лучшего средства утихомирить страсти, чем его безмятежная прибаутка вроде и «не по делу». И вообще великое дело — шутка, особенно в острые, напряженные моменты. Самые что ни на есть конфликтные ситуации не выносят юмора. Это как в едкую кислоту влить щелочь. Гомон поутих. К столу проскользнул парнишка со своим неотложным трактором. Никогда не подумаешь, что в его возрасте доверят руководить отделением совхоза. Тот самый парнишка. Павловский безобидно отреагировал:

— Ты что, по трактору ориентируешься или по земле? Влагу упустишь, тогда кранты!

И уже другой голос отчитывался по запчастям:

— На двадцать четыре тысячи рублей. Сколько удалось выбить. Скребки, шаговые искатели, тросы с гайками... Оборудование через главк — дезинфицирующие установки — не удалось! Всего десять в страну получили. Ах, какие это были установки! Выхватили последнюю из-под носа...

Павловского заметно огорчило, что его боевому коммивояжеру не повезло. Как он отреагирует? Ругнет недотепу? И отпустит с чувством вины? Но если тот старался изо всех сил? Тогда не вина, а обида. Обида — чувство двуличное. Иной раз вообще не будешь стараться, из кожи лезть. «Хоть не зря отругают, не обидно будет». Директор отреагировал по-другому: ругнул в сердцах тех, кто «увел с-под носу». Возник заместитель с отчетами, согласовать «тонкости»:

— Как покажем — такое количество говядины или с припеком?

— Такое.

— А обеспечение по кормам девяносто три процента?

— Да, девяносто три.

— Скажут, комплекс существует два года, а кормами не обеспечить.

— Мелиорация отстает, пусть знают.

Выступила полная дама:

— Самолет! Даны все телеграммы, а самолета, черт побери, нет!

— Я в горьком скажу. Сделай простыню.

Вклинился мужчина среднего возраста, недовольного вида:

— Насчет этого самого, общественного огорода. Возни много, зачем?

— Чтоб были свои редька, петрушка, сельдерюшка... Пару пенсионеров настроить на это дело. Будут в столовой ранние овощи. Под пленкой быстро созреют. Огурчики чтоб...

— И насчет рыбы. В местных водоемах ловить. Кто дает разрешение? — вклинил еще один из присутствующих.

Директор пометил что-то себе в календарь. Одобрительно отозвался:

— Вот-вот. Это в рыбинспекцию. Паша — река рыбная. И Ладога рядом...

У его стола уже стояла с какой-то бумагой женщина. Павловский взял лист из рук, мельком взглянул.

— Это на платье для хора, — просительно сказала она.

— Небось длинные, модные? На работу, говорят, носите...

— Уж вы скажете!

На очереди с бумагами возникла еще одна, завстоловой. Принесла меню.

— Цены должны быть ниже, — сказал Павловский.

— Куда уж ниже! За комплексный обед тридцать копеек... Мы с такими ценами в трубу вылетаем.

Был я в этой столовой, обедал. На первое полная миска ярких наваристых щей, что ложка торчком стояла. Из такой порции в иной столовой умудрились бы сделать три. И котлеты пышные, сочные... Передо мной у кассы стояли двое механизаторов, судя по запаху солярки. Один подбрасывал на ладони полтинник и с удовольствием балагурил, что за эту монету можно пообедать, поужинать и еще на завтрак останется.

— Обеды должны быть такие, — сказал директор, — чтоб у человека сила игр-рала, энергия! И доставлять обеды прямо в поле...

Возник повторно «коммивояжер», затараторил с детским восторгом:

— Вот достал! Один хороший знакомый достал. Пять подшипников достал дефицитнейших. И вообще бы хорошо, конечно, ему... Ведь такие подшипники! Надо бы помочь ему...

— Достал? — с этакой понимающей улыбочкой переспросил Павловский. — А может, украл он эти подшипники? А?

— Что вы, Лев Константинович. Вы скажете! Чтоб он...

Экспедитор с каждой фразой брал тоном ниже, пятясь к дверям. И будто его и не было.

— Ишь, сразу сробел и ступешался, — сказал Павловский.

Все, кто оставался в кабинете, смеялись. С удовольствием улыбался директор. И снова пошли бумаги и просьбы, вопросы и реплики без всякого порядка и череды. При первом удобном случае я спросил Павловского об этом узаконенном беспорядке. Такая возможность спокойно поговорить выдалась через несколько дней, при поездке в Волховский горком партии.

14.45—15.30. Директорский вездеход мчался по дождливому шоссе. За рулем сидел пожилой шофер, видимо мастер своего дела. Не очень любопытный, не очень разговорчивый. Есть такой тип водителей, которые всю жизнь возят начальство. Начальство меняется. Он остается. Так недолго стать и философом.

При скорости, с которой мы шли, шины шипели, свистели, как сало на сковородке. Дождь превратился в струю из брандспойта, летящую нам навстречу. Дворники едва успевали делать на ветровом стекле прозрачные секторы. По ногам шло тепло от печки, а сбоку студено дуло в прореху брезентового верха «газика». Неотвязной мыслью при разговоре было не прикусить язык. Не зря называют «козлом» этот тип машин.

— А как же иначе? — прокричал Павловский на мой вопрос. — Совхоз у нас большой! Может быть, человек приехал километров за шестьдесят! С ерундой в такую даль не поедешь! Значит, дело важное! Ему дороги и минуты!..

— А вас не сбивает, что несколько дел приходится решать одновременно: и говорить, и подписывать, и по селектору отвечать?

Павловский посмотрел на меня, не шучу ли я. И потом, бывало, он реагировал с удивлением на некоторые вопросы. А их у меня накопилось довольно много. К тому же я уже понял, что более удобного случая, чем в пути, для разговора с директором не найти. Никто не войдет, никто не вызовет по селектору.

— А скажите, Лев Константинович, какие качества вам самому кажутся главными... — тут меня садануло под брезентовый потолок машины, — какие качества главные для руководителя?

Директор укрепился более основательно — плечом в спинку сиденья, мускулистой рукой за боковую скобу и мог еще жестикулировать свободной рукой. Сжал ее в кулак, словно по столу стукнув.

— Главное — быть человеком!

Он сказал ЧЕЛОВЕКОМ вот так, из заглавных букв. Повторил:

— Человеком, а не...

Последних слов я не расслышал в шуме движения. Можно только догадываться по его энергичной жестикуляции.

Мне уже потом придет в голову, что, возможно, случился в жизни Павловского худой начальник. Нехороший человек, как говорят дети. И осталась по сегодня активная к нему антипатия. Не быть такой сволочью — уже дело чести. Или, наоборот, был замечательный человек. Через несколько дней в пустом субботнем кабинете Лев Константинович прервет мои предположения именно в этом месте.

— Вот-вот! Был замечательный человек. Мой учитель, токарь. Я пришел пацаном на завод в Ленинграде. И вот он стал моим наставником, как теперь называют таких рабочих. Конец войны, сорок пятый год. Он всю войну на заводе. Старенький. А с завода не уходил. Уже стоять долго не мог у станка, сидел на высоком табурете. Я даже отчества его не помню. Звал его дядя Вася. Все его звали так... Пашков. Василий... Степанович. Вот — Степанович. Дядя Вася. Он это семья, главное в жизни, и заронил в меня... Чтоб было по человечности...

И бывший ученик Василия Степановича опечалился. И помолчал строго. Как молчат в минуту молчания.

...Дождь рванул еще крупнее и гуще и даже заглушал гул двигателя, треща по натянутому брезенту.

Теперь я вспомнил, кого мне напоминал Павловский. И речью и манерой общения. Настоящего питерского рабочего. Крепкая оказалась закалка. Эту нравственную закалку имеют в виду, когда говорят «рабочая психология». Он вкладывал в понятие «быть человеком» то, что вкладывает рабочий, когда говорит о своем товарище или начальнике: «Этот — человек». И все понимают, что он имеет в виду. Значит, понимающий, толковый, не зряшний, за пустяк не придерется, всегда войдет в положение, не устроит звону, поступает всегда по совести. И люди его уважают: это — человек!

— А все остальное? — допытывался я. — Другие качества?

— Существует три типа руководителя. Мне так кажется. Ну, можно назвать их демократ, либерал и... — Павловский сжал свою увесистую ладонь будто у кого-то на горле. — И самодур. Если надо решить сложный вопрос, то демократ посоветуется с народом, соберет всех, выслушает мнения и принимает наиболее удачное решение. У либерала политика другая. Он ни во что не вмешивается. Все идет как идет. И сам ничего не делает, и никто вокруг ничего не делает. А этот (снова сжалась ладонь) — «я хочу, и точка, давай делай без разговорчиков!». Дров при таком самодурстве может быть наломано!.. Это упрощенное, конечно, разделение на три типа.

— А сами вы какого придерживаетесь стиля? — спросил я.

Павловский помедлил с ответом.

— Первого, демократического, — сказал Николай Аникин.

Он тоже ехал в горком. К беседе прислушивался вполуха, пытаясь читать. Но какое уже чтение при такой езде! Еще в первые дни я спрашивал Аникина о молодых специалистах, удивлялся, что есть совсем уж молодые начальники, как тот же белобрый парень, начальник отделения. Да и самому Аникину всего двадцать восемь лет. Тогда Николай развил целую теорию про обыкаемость людей, про потолок поколений. Про психологию людей, которые этого потолка достигли и успокоились. Про их стремление удержать статус-кво от изменения даже в лучшую сторону. Об инерции мышления, которая тормозит прогресс. Хотя есть люди любого возраста с автоматически поднимающимся потолком задач. Что директор из их числа. Его, мол, любимый лозунг: главное — не останавливаться на достигнутом, вперед!

Отом же самом мне хотелось спросить и директора. Как, например, доверили бело-брысому пареньку целое отделение? Почему именно ему? Чем он отличился перед другими?

— Присматривались,— ответил Павловский.— Ко многим присматриваемся. Закончил техникум хорошо. Поставили на бригаду. Справился молодцом. Большой плюс, что молод.

Мне вспомнились эпизоды на старых фермах, которые входили в хозяйство этого паренька. Неделки, его растерянность...

— Скинуть недолго, есть у него проколы,— перекрывая шум, растолковывал директор.— Подмахнуть приказ, толкушкой пристукнуть не фокус. Пусть пока ошибается, а мы поправим! Скинешь — он уж всю жизнь будет всего бояться. Травма на всю жизнь.

— А у вас самого как складывалась жизнь? Как попали в село?

— Был токарем на заводе в Ленинграде. Парторгом в своем цеху. Цех был на неплохом счету. А как попал в село?... — Лев Константинович озорно подмигнул.— Много критиковал сельское хозяйство. То не так, это не так... Вот и послали. Сам, дескать, попробуй сделай! Попал я в захудалый совхоз. Парторгом. Зарплата во семьдесят три рэ. У директора была сто двадцать, но он их никогда не получал. В те времена вообще все работники совхозов получали семьдесят процентов своей зарплаты и только к концу года, если выполнен план, остальные тридцать. Но план было никак не выполнить. Каждый год добавляли столько, что никак. Очень важным был для нас мартовский Пленум шестьдесят пятого года. Новая аграрная политика, новое планирование. Уже на всю пятилетку. План, конечно, увеличивается каждый год, но на определенный процент, реальный. А когда есть реальная возможность выполнить план, то работает совсем по-другому. С этого времени, можно сказать, и пошли в гору наши совхозы, уровень жизни на селе... До шестьдесят пятого года животноводство в целом приносило хозяйствам одни убытки, а ныне его рентабельность выросла до четырнадцати процентов. В последние десять лет на мелиоративные и ирригационные мероприятия выделено более тридцати трех миллиардов рублей! Это по всей стране, конечно. Теперь вот комплекс построили. Мой шофер не верил в комплекс. И вообще не верил и в то, что построим за какой-то год.

Шофер, не отрываясь от скользкой ленты шоссе, приподнял плечи. Понимай как хочешь. Может, не верил, может, верил, но брюзжал.

— Нет, ты ответь,— настаивал шутливо Павловский.— Ведь не верил, так?

— Ну не очень чтоб. Было... Да,— неохотно подтвердил тот. И начал щелкать переключателем, протирать изнутри стекло, чтоб больше не приставали; и философы ошибаются.

19.30—22.00. Дом культуры. На афише красиво выведено название: «Вечер солдатских матерей». В воздухе еще сохранялось дневное тепло и сухость. Постепенно собирались люди, самые разные. В одиночку, семьями, выходили из автобусов, подъезжали в ярких малолитражках. Вообще здесь модно прогуливаться по улицам в собственных «Жигулях», ну примерно так же, как в начале века выходили покрасоваться в га-лошах и «при часах».

Внутри пока не заходят, пересматриваются, пережидают, чтоб войти всем миром. Вся в нервном движении, волнуется хозяйка Дома культуры «Шурка-избачка», Александра Николаевна Малиновская.

На крыльце, при медалях, переговариваются два ветерана, оспаривают друг друга, горячатся. Увидели Павловского. Тот подходит к ДК с женой и дочерью. Пешком пришли, уважительно.

— Константиныч, рассуди, кто прав?

И ветераны излагают ему предмет. Про какой-то орден, так или нет изобразил художник. Павловский рассудил и про орден.

— Что я тебе говорил! — победоносно радуется один.

Второй сконфужен, но уже не спорит. Если уж Константиныч сказал, так оно и есть.

Шурка-избачка обнимает седую женщину в темном траурном платье. Та вытирает слезы концом платка, отрицательно качает головой.

— Ты всего несколько слов скажи, милая. А и заплачешь — пусть. Выйди на минутку на сцену, ну не скажешь ничего — и ладно.

И, обнимая ее за плечи, повела в глубь вестибюля, к лестнице, в свою рабочую комнату. Сын этой женщины повторил во время Великой Отечественной войны подвиг Александра Матросова.

Здесь сегодня матери всех солдат. И тех, кто погиб во время войны, и тех, кто служит сегодня в армии, и тех, кого только сегодня призывают. Молодые ребята собрались в зале отдельной группой, еще в гражданском. Среди этих ребят младший брат Николая Аникина — Андрей. Сейчас весел, глядит орлом, как быть положено служивому человеку. Но я видел его часа два назад сосредоточенным, грустноватым. Мы заехали с Николаем в одну из маленьких деревенок, в «родовое гнездо» Аникиных, как он пошутил. В избе чаевничали. Пахло самоваром, чисто выскобленными полами, теплой сухостью печи. За прощальным столом сидели Мария Ивановна, мать Аникиных, младший брат и юная его жена. Время от времени их младенец заливался ревом в соседней комнатке. Ждали соседскую девочку, чтоб присмотрела за малышом, пока Аникины будут в клубе. Пушистый пес дворняжкой породы коротко поскуливал у крыльца. Собаки чувят разлуку, это я знаю точно по детской своей собаке. Николай подбадривал всех, шутил. Я знал, что он торопится в клуб пораньше, порепетировать, он вел вечер; но не торопил церемонию расставания. Хотя гнал по проселкам на углу парткомовском «Москвиче» как на вездеходе-амфибии.

На обратной дороге мать сидела рядом со старшим сыном сосредоточенно-горделивая. Это и для нее вечер солдатских матерей. Показать «на люди» своей жизнью, своей семьей. Вот какие у нее сыны, вырастила, учила жить праведно и по совести. Люди их уважают. В этом сейчас и ее материнская доля. На заднем сиденье, сцепив молчаливо руки, младший Аникин и его жена никого и ничего, наверно, не видели вокруг себя.

Вечер получился очень домашним, таким сердечным, так не похожим на «мероприятие»... Земляков, погибших в войну, помянули так, словно за общим семейным столом, вспоминали родных и близких. На экране возникали их мальчишеские лица — ровесников нынешних новобранцев. Иные успели прислать домой фотографии в солдатской форме, иные не успели... «Погиб в 1941-м при защите Ленинграда...», «Погиб на Курской дуге...», «Закрыв своим телом амбразуру дота...» Молчаливые слезы в зале. Приглушенные слезы музыки... И если выступал земляк-генерал, то он не «выступал». С какой стати? Знают его тут, был сорванец не приведи господь! Так и держался старенький боевой генерал: «Вот помню однажды с Митькой...»

Аникин зачитывал письма от командиров, под началом которых служат нынешние солдаты. Тоже пришлось, наверно, повозиться: узнать адреса, имена и звания, написать в части. И те, кто сегодня идет служить, понимают, что в один из дней вот так же соберутся их земляки, их отцы и матери, будут слушать со сцены письмо от их командира части. И где-то в заднем ряду, словно пришли от нечего делать, наострив ушки, запоминают каждое слово их любимые девушки. И завтра им не преминется услышать: «А твой Володька ишь, отличился-то на учениях...» «Вот еще! Какой же он мой», — фыркнет его подруга и покраснеет от удовольствия.

Сказал ребятам напутствие и директор в своей обычной манере: всерьез, но с шуткой. Припомнил байки про флотскую свою службу, опять же с умным для ребят: как себя с первого дня поставишь, таким и числишься эти годы. И всерьез, без шуток: пусть солдаты не тревожатся о родных, совхоз позаботится об их нуждах — дровишках на зиму, огородах, машину выделит, коль понадобится машина...

За кулисами нервно переживала за всех и каждого Александра Николаевна: запнулся в стихе мальчишка, микрофон что-то хандрит, хор неловно построился, путаясь в длинных платьях... И наконец гора с плеч — удался вечер, удался! — сердечным настроением и такой семейной теплотой. Потом, наверно, в рабочих аппаратах, единственно чему она огорчительно удивится — что самым неловким было выступление артистов-профессионалов. Нет, каждый номер поставлен мастерски, прекрасные голоса и дикция, но что-то не так... выпадали из настроения... может, сердца вкладывали мало?.. Так, бывает, за себя мстит холодный профессионализм.

Александра Николаевна эмоциональна, даже восторженна, может быть, обостренно восприимчива к людям. Знает всех и вся, как говорил Аникин. Она как чуткий барометр

духовного мира своих земляков. Куда колеблется стрелка за последние годы? Становятся люди лучше, добрее, когда к ним приходит достаток?

— А как же! Конечно да! — сразу воскликнула Малиновская. — Это особенно заметно по молодежи, у нас такая славная молодежь. Недавно мы устроили в клубе конкурс «А ну-ка, механизаторы!». Кто точнее ответит на трудный вопрос по специальности, кто быстрее разберет масляный насос, у кого техника в лучшем состоянии, за это тоже ставили баллы. Соревновались механизаторы Потанина и Карпина. Столько было задора, споров! И все это без тени зависти или злости. Хотя одни догадались заслать к соперникам в Карпино лазутчиков, чтоб те высмотрели минусы. Карпинцы уж было одолевали, а им говорят: надо трактора лучше мыть, вон они какие у вас заляпанные! Что тут было! И смех и грех. В жюри — директор, главные специалисты совхоза. Перед ними каждому хочется отличиться. Вечер тогда очень поздно кончился. Не расходились, спорили...

Я спросил нарочно: а в ваше время молодежь была хуже?

— Что вы! — всплеснула руками Шурка-избачка. — Труднее было, да. Первые годы после войны. Темновато, холодно, голодно. А соберемся бригадой, кто баян тащит, кто книги, и айда по деревням культпоходом. Иногда пешком километров тридцать по слякоти. И ничего, весело!

Ну конечно, кто же спрашивает: «А в ваше время?» И холодно и голодно, но молодое — и оттого прекрасно.

— И на стреле работали, а лет десять назад еще по лаве ходили. Не понимаете? — подивилась Малиновская моему невежеству.

— На стреле — на стреляном бензине то есть. Был электродизельный генератор. Только кино начнется, он пых-пых — и умер. Машинист киноустановки бежит разжиться бензином. Тащит половину ведерка. Живем! А если во время танцев, то кричат: «Свету не будет, одевайтесь!»... Лава что такое? Это совсем на памяти: мостики дощатые, чтоб ходить, когда грязь по колено. Дело прошлое, а сейчас... — И с удовольствием стала перечислять: — Два детских сада-яслей построено, магазины, столовые, в Потанине восьмилетняя школа новая и в Паше новый корпус — десятилетка на девятьсот шестьдесят мест, клуб в Потанине, культурный комплекс... Совхоз является участником ВДНХ, двадцать пять человек награждены орденами и медалями за отличный труд, более восьмидесяти человек учатся в техникумах и вузах, стипендиаты совхоза, это о чем-то да говорит! Я думаю, что люди становятся мягче, добрее, отзывчивее друг к другу, когда приходит достаток. Надо только, чтоб он прибывал у всех. Не кому-то за счет других, а во все семьи одновременно...

В фойе уже было полутемно, только дежурный свет. Темным бархатом выделялись четыре знамени — четыре награды совхозу. На крайнем надпись: «Переходящее красное знамя ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ — победителю во всесоюзном социалистическом соревновании».

Наверно, очень напыщенно прозвучит: во всем этом есть вклад директора. Пока не удалось мне этого доказать. Чем он таким отличен от другого руководителя, такого же рачительного хозяина, доброжелательного, работающего? Государство вкладывает в сельское хозяйство миллиарды, особое внимание уделяется оснащению промышленными методами, ирригации и строительству земель... Любой в подобных условиях окажется на гребне волны. И хроника одного дня директора, даже составленная из мозанки, не откроет в характере чего-то важного, решающего, быть может. Я так и не узнал бы о такой черте его, которую можно назвать «административным мужеством» (коль уж есть в ходу «административная трусость»), или расчетливой смелостью, если уместнее так сказать. Это выйдет по чистой случайности, оттого что назавтра я собирался зайти к строителю Силину.

Крыльцо Дома культуры блестело отлакированно, снова моросил дождь. Аникин успел уже отвезти домашних, приютил в кабине двоих до Потанина, где жил и я, сказал:

— Последний автобус уже ушел. Исполняю обязанности дополнительного транспорта.

От Паши до Потанина километров двадцать. Пешком бы топать и топать. Нет, не приукрасила Малиновская внимательность земляков. Точно так же шофер автобуса, что

подобрал нас в дождь с Геней-мелиоратором, сделал большущий крюк, чтобы подбросить другого случайного пассажира, мальчика-первоклашку, к самому его дому. Павловский непременно притормозит, если кто-то голосует на шоссе или путнику в ту же сторону.

— Когда же ты высыпаешься? — спросил я у Николая с чувством неловкости, что причиняю ему лишние хлопоты.

Встал он в пять, и я знал это. А вернется примерно к часу ночи. Не очень-то нас балует в жизни такая вроде нормальная человеческая забота.

— Хватает, — сказал Аникин и отпустил сцепление.

— Он у нас двуужильный, — добавил весело кто-то из пассажиров.

...Я проснулся в обычной квартире обычного городского дома. Горячая и холодная вода, ванна, просторная прихожая и кухня, прочие санудобства. Окна во всю стену. Из одного виднелся микрорайон с точечными домами и современной архитектуры школой, против другого — еловый лес. Силин поправит потом меня: «Квартиры не обычного типа, а улучшенной планировки: проект занял первое место на конкурсе домов для сельской местности».

С Володей Силиным познакомиться довелось в дороге. Он трясся на сиденье везежда с полной невозмутимостью, надвинув на глаза шляпу, что твой ковбой из вестернов. И показался мне таким молчуном, будто специально для него сложили поговорку, что молчание — золото.

В служебной комнате под вывеской «Технадзор», заставленной шкафами с документацией, он сидел за столом в неизменной ковбойской шляпе, все так же надвинутой на глаза. Против него горячился парень:

— Я приехал за процентовой! И без нее не уеду!

— Исправьте свои недоделки — будет процентовка. Не исправите — не сделаю процентовки! — резал Силин.

Стол напоминал дуэльное поле, когда все аргументы исчерпаны и противники взялись за пистолеты.

— А я не уеду без процентовки!

— А я не сделаю!

— Какие недоделки, какие?! — призывал в свидетели небо, стены и заодно меня прораб, что приехал за загадочной процентовой. — Какие именно?! Я за других не буду доделывать, не-ет!

— Течет в квартире по стене — раз! Вспучило линолеум в столовой — два!..

И так насчитал полдюжины, загибая пальцы. Фигурально выражаясь, прораб взвился под потолок:

— Квартал кончается! Ты оставляешь нас без премии! Все равно тебе начальство прикажет!

— Пусть приезжает твое начальство, буду с ним говорить. А прикажет мое начальство — сделаю процентовку. Но Павловский не прикажет, не будет вам по-такать.

— Я сам! Я сейчас же! Личными своими глазами! Какие такие недоделки!..

И прораб исчез проверять. Он не возвратился в ближайшие два часа.

Правильно замечено, что ренегаты — злейшие враги бывших своих коллег. Их на мякине не проведешь. Силин когда-то, впрочем совсем недавно, работал по ту сторону «барьера», в строительном тресте прорабом. Его судьба довольно похожа на путь в совхоз Гены-мелиоратора. Родился, правда, он на Урале. Техникум. Армия. Приехал в Ленинград навестить друга. Тот говорит: строители нужны во как! А хотелось в большое строительство. Так попал работать на комплекс. Когда стройка завершалась, Павловский предложил ему остаться в совхозе. Силин с удовольствием согласился. Он уже слышал многое о директоре в другом совхозе, «Заречье», где тот сначала работал. Поднял совхоз, говорили люди; прошлый директор «довел до ручки», сам жил в Волхове, а в совхоз приезжал «на службу», а Лев Константинович поднял. До сих пор в «Заречье» благодарно помнят о нем. И Силин остался в «Пашском», капитальный ремонт на нем и строительство. Как видим, «случайно» похожи судьбы. Но я знаю и о других подобных.

Нет лучшей оценки руководителю, чем умение подобрать способных и дельных подчиненных. «У нас нет дефицита в специалистах,— говорил Анкин,— мы берем только самых лучших». Вот это и есть одно из решающих качеств руководителей. Мне повезло узнать еще об одном не менее важном.

Володе Силину позвонили с комплекса, и по дороге он пустился в воспоминания о дорогих ему днях большой стройки.

— До семисот монтажников здесь работали одновременно из разных организаций. Съезжались каждый день на автобусах. Два-три студенческих отряда на подсобных работах. Сейчас асфальт, а тогда только и можно в болотных сапогах... Каждую неделю координационный совет собирался. На самом высоком уровне. Заместитель председателя облисполкома курировал эту стройку. Директор совхоза глаз не спускал. Во-он тот домик, санпропускник, по проекту должен быть облицован кафелем... снаружи. Не видишь кафеля? А было бы красиво! Ничего не скажешь. А Павловский настоял, чтоб выложили кафелем стены внутри душевых, где моют телят. И правильно. Меньше сырости, никаких потеков, идеальная чистота... А когда завершили работы на одной половине комплекса, то директор был за то, чтоб запустить готовую часть на четыре тысячи голов, не ждать второй период.

— И что же в этом особенного? — вежливо полюбопытствовал я.

— О! Ты даешь! — сказал ковбой из-под нахмуренной шляпы. — Риск. Вокруг стройка идет. А подхвати телята какую-нибудь инфекцию? Четыре тысячи голов? Конечно, риск не дурацкий. Были продуманы меры санитарной охраны, стеной окружили эту часть комплекса, карантинными строгостями, ну прямо кордон устроили. И все равно санинспекция устраивала засады на наши транспортные машины, проверяла с пристрастием...

Через несколько дней я поступил, быть может, несколько неэтично, спросив Павловского, а случались ли в его жизни рискованные решения. Он отшутился было:

— Ну какие у директора совхоза могут быть рискованные решения! — Помолчал немного. — Впрочем, все-таки одно было... — И стал рассказывать о запуске части комплекса во время стройки.

Я признался, что слышал уже об этом. Павловский развеселился: небольшая проверка? И отмерил мне неловкости ровно столько, сколько отмерил я сам себе по своей шкале наказания. Засим из головы вон, стал объяснять тот шаг стратегически:

— Для совхоза риск был оправдан, даже необходим. Мы завозим телят из других хозяйств. Начать через год, когда будет готов весь комплекс? А как получится? Никто не знал и не мог предсказать, слишком много в уравнении неизвестных. Надо было обкатать это дело, выявить слабые места, чтоб полностью готовый комплекс не спотыкался на ровном месте. И опять же нас поддержал Филимонов, зампредседателя облисполкома, тоже взял на себя ответственность...

— А если бы что случилось? Эпидемия, — сказал я. — Лично для вас?

— Риск был обдуманый, дельный. Ну, а если бы что случилось, то... — И Павловский постучал по шее ребром ладони.

— Да, повезло вам. А вообще вы человек везучий?

Тут он впервые посерьезнел до печальности, повторил не с обидой, такое вообще не в его характере, но слышалось что-то очень похожее на обиду:

— Повезло... Когда я принял совхоз, то удобрения вручную по полям разбрасывали.

И это было единственное, что сказал директор в свою пользу. И то потому, что довели человека до раздражения беззастенчивыми вопросами и необыкновенной легкостью суждений.

— Повезло! — еще раз повторил он. — Мне в том повезло, к примеру, что на комплексе слесарь есть — Ларин Герман Петрович, золотые руки, и вся сложнейшая механика у него работает как часы. Удалось его к нам привлечь из города... А в остальном — труд. Три года комплексу — и на всю катушку! Первый год строили и пускали, параллельно строили земли. Сеяли. Чтoб запаста корма, уменьшали гектары под зерновыми. С трехсот до ста двадцати, а план дали, уже выполнили пятилетку. Селекция, удобрения, уход за посевами... Двадцать шесть центнеров с гектара на наших почвах! Сегодня смотрим вперед: готовь сани с лета, как говорится. В Карпине будет строиться новый,

молочный, комплекс на четыре тысячи коров. Будет первый в СССР. Два научных института дали уже технико-экономическое обоснование. Затеваем переводить отделения совхоза на структуру заводских цехов. Будем ставить на научной основе службу руководства и службу информации. Целый год работали у нас товарищи из ВНИИ НОТ, делали нормы, разработки, предложения. Что-то мы принимаем, что-то нет... Вот висит схема. Уже видно, кое-что не так... Не ради схемы, не ради нового, а ради пользы. Наломать дров легко, а поворачивать надо постепенно, чтоб обвыкались люди...

Многому можно выучиться. И понимать землю рукой, ладонью, как выучился этому бывший питерский токарь. Он, как истый крестьянин, догружает ладони в пахоту, поднимает в горсти, перетирает пальцами: сеять можно! Мне понятно это. А вот руководить людьми... Не возьмешь в ладонь человека, не рассмотришь, как нечто вещественное. Кроме знаний, опыта, что-то важнее требуется, как это ни назови — дар, талант. И мужество иногда... И быть человеком...

Если я зарабатываю меньше директора, гнать меня надо с трактора, говорят совхозные трактористы, и Павловский с удовольствием эти заявочки повторяет.

Я директора видел в разных ситуациях, с самыми разными людьми, он всегда был самим собой. Если я не ошибаюсь в оценке того, как он себя чувствует среди людей, в миру, то ближе всего, мне кажется, кредо жизни, которое выработал для себя человек, открывший явление стресса, известный канадский профессор Селье: «Я не коплю денег, я не коплю власть. Я стараюсь накопить «капитал любви» разных людей. В моем представлении средства для завоевания любви — это добрая воля, уважение, полезность, труд, создание материальных или духовных ценностей, нужных людям, обществу. Такое стремление делает жизнь устойчивой, защищает человека от стрессов».

И это высказывание применимо не только к Павловскому. Если искать самую отчетливую, самую типичную черту в людях совхоза «Пашский», то ею окажется не только северный говор с твердыми гласными и отчетливым, ударным «о» — ею окажется то, что иногда с иронией называют «местный патриотизм». А мне это качество понятно и близко в моих земляках-ленинградцах и так же дорого здесь, в Паше. У них в «Пашском» все «самое-самое», и этого они добились за последние семь — десять лет...

Уже темнело, когда я подходил к дому. Солнце село в тучу, а это по народной примете к плохой погоде. Лес шумел от порывов ветра, но дождя еще не было. На площадке у дома двое мальчишек возились с игрушкой-трактором. Один сидел на ступеньке, держал в руках коробочку с антенной, на расстоянии управляя игрушкой. Вот моделька наткнулась на препятствие и застряла. Меньший братишка хотел ее подтолкнуть рукой.

— Вовка, не подходи! — запретил старший.

Он крутил ручки, щелкал тумблером... Может быть, ему тоже хотелось подтолкнуть игрушку рукой, но честь семилетнего специалиста по автоматике не допускала такой примитивной выручки.

Автоматика, телемеханика — уже обыденность для этих сельских ребятишек. Уже сегодня. И очень значимый признак об их взрослом завтра.

Снова стало накрапывать, и ребятишек позвали домой. Первые крупные капли выбивали пузыри в лужах. Погода не отступала от своих привычек. Прогноз в районной газете обещал, что «ожидается облачная погода. временами дождь, местами значительный». Что само по себе не очень приятно, но уже не страшно для нынешнего земледельца. Земля становится матерью...



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АВЕТИК ИСААКЯН



МЫСЛИ О ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ

*Из записных книжек*¹

Еще Пушкин говорил, что после смерти большого писателя непременно приходит пора, когда для нас представляет интерес каждый клочок бумаги, написанный его рукой, будь то счет от портного или запись повседневных дел.

И конечно же, публикуемые здесь неизвестные страницы из записных книжек классика армянской литературы Аветика Исаакяна, чей столетний юбилей мы отмечаем в эти дни, привлекают к себе внимание не только специалистов, но и широкого круга читателей. В архиве поэта дневники и записные книжки занимают особое место. В течение всей своей жизни начиная с 1890-х годов и до самых последних дней Исаакян не разлучался с записными книжками, число которых превышает несколько десятков. Исаакян заносил в записные книжки отдельные мысли, набрасывал здесь самые первые контуры литературных замыслов. Однако это не записные книжки в буквальном, узко «производственном» смысле слова. Многие их страницы хочется даже определить как исповедь, как конспективное изложение писательского кредо по многим вопросам литературы, философии и искусства. Записная книжка сопровождала Исаакяна в самые трудные минуты жизни. Эти записи Варпет² считал сугубо личными, обращенными лишь к своей душе, понятными лишь ему.

Известно, как требователен был Варпет к своим произведениям: об этом свидетельствует множество неопубликованных стихотворений, сохранившихся в его архиве. Он считал их несовершенными, «написанными левой рукой», а между тем во многих из этих стихотворений есть прекрасные поэтические находки.

Конечно, не только требовательностью можно объяснить тот факт, что при жизни Исаакяном не было опубликовано ни строки из записных книжек. У каждого большого писателя есть некая заповедная область, которую обычно называют творческой лабораторией, где писатель остается наедине с собой, с собственной совестью, со своими планами, неотстоявшимися замыслами, и пока писатель жив, он единственный хозяин в этом мире. Только ей, записной книжке, доверял поэт свои заветные мысли и творческие планы.

Связанные с судьбами народа, человека, с вопросами литературы и искусства, записные книжки Варпета имеют самостоятельное литературное значение, в них слились воедино философское раздумье, лирическая миниатюра, жанровая зарисовка, жизнерадостный юмор. Записные книжки Исаакяна по праву можно назвать скрытым от внешнего наблюдения микромиром писателя, где нашли отражение основные вопросы его творческой и философской систем. Им следовал Варпет на протяжении всей своей жизни. В первую очередь это дума, надежда, связанная с судьбой родного народа.

¹ Из архива Государственного музея литературы и искусства Армянской ССР. Вступление, подготовка текста и примечания Аветика Исаакяна.

² Варпет — мастер. Так звали Исаакяна в Армении.

Записные книжки, словно аккумулятор, накопили в себе молниеносные вспышки творческих прозрений Исаакяна, они как бы являются первичными атомами будущих произведений. И как это свойственно всему творчеству Аветика Исаакяна, художник здесь соседствует с человеком и с философом-мыслителем, оценивающим и объясняющим окружающие явления. Мысль Исаакяна предельно кратка, выкристаллизована, выражена афористически.

И наконец, это записные книжки поэта-лирика, великого влюбленного. Здесь и лирическое воспоминание, и глубоко выношенное признание, незабываемая Шушик, поля Ширака, Ани, приснившийся Уста Каро...

Так записная книжка становится для нас драгоценным первоисточником, объясняющим заветные мысли и чувства писателя.

АРМЕНИЯ

Армянский народ малочисленный, но судьба у него большая, надежды он имеет великие, раны ему были нанесены глубокие.

В Армении богатая природа: снеговые горы, извилистые ущелья, альпийские луга, голые каменные пространства, гигантские скалы, быстротекущие реки, певучие, хрустальные родники, чудесные озера, леса... И древнейшие постройки, развалины крепостей, городов, храмов, дворцов, монастырей... памятники древней культуры.

Существуя с незапамятных времен, страна соединяет в себе древние черты и новую цивилизацию, которая, развиваясь, обновляет силу старого дерева. Крепнет связь между старым и новым, образуется созвучие, которое все время стремится достичь совершенства.

В зангезурских³ горах и ущельях есть что-то космическое.

Армянские горы касаются звезд, а ущелья зияют, как воздушные бездны.

Густой туман обвивает горы, ползет бесчисленными клубами, похожими на сказочных чудовищ. Туманные облака вытягиваются, точно невиданные звери, и повисают своими хвостами, лапами, головами, длинными языками на уступах скал, в расщелинах, сползают с гор на поля, на деревни, заволакивают все на своем пути.

Севан — отколовшийся от неба кусок лазури.

Я люблю миллионные массы армян, страдаю их горем, значит, мое «я» состоит из миллионных частиц.

Крестьянин погоняет волков:

— Ох-хо-хо, милый вол, братец вол, ты волок, голубчик, хо-ха, мой радатель, голубчик, хо-ха...

Мгером овладело отвращение к жизни, и он решил затвориться в пещере. Родителям он сказал:

— Смерти мне нет. Я ей неподвластен, но жить мне невольно, куда деться, уйду от людей.

Отец сказал ему:

— Иди в Агравакар⁴ и оставайся там до тех пор, пока мир не будет разрушен и построен вновь. Тогда выходи оттуда.

Тени облаков скользят по краям полей, словно сновидения.

³ З а н г е з у р — высокогорный район в Армении.

⁴ А г р а в а к а р — легендарная скала, где был добровольно заточен Мгер.

Я подобен орлу: одно крыло на одной горе, другое — на другой.

Армянская архитектура прекрасно гармонирует с армянским пейзажем. Наши монастыри словно сознательно продолжают силуэты наших величавых гор.

ЖИТЕЙСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ

Женщина без семьи — как рыба без воды (армянская поговорка).

Одна мать стоит больше, чем сотня отцов; поле стоит дороже семян (старинные персидские пословицы).

Мать, родившая трусливого сына, не будет оплакивать его смерть (турецкая пословица).

Из пуха крепость строят (испанская поговорка).

Лисы однолюбы, они обманывают весь мир, кроме своих жен.

Если великий человек — море, то маленький человек — щепка. Но море не может утопить щепку, она всегда плавает на его поверхности.

Хороша веревка длинная, а речь короткая (армянская пословица).

Лучше быть слугой умного человека, чем господином дурака.

Прекрасна тишина после песни.

Моя мать говорила: кто чужую семью обездолит, тот добром не кончит.

Бог сотворил деревню, а человек город (американская поговорка).

День уходит, а горе не проходит.

ПРИТЧИ, МИНИАТЮРЫ

В некие времена был один человек. Он дожил до глубокой старости. Всю свою жизнь он провел в ожидании: ему казалось, что с ним должно случиться какое-то необыкновенное происшествие.

Так он шел дорогой жизни, занимаясь повседневными делами, находясь всегда в безмолвном ожидании. С течением времени он понял, что ему не суждено испытать ничего необычного. Он любил женщин, имел достаток, грешил и каялся, завел семью, порою путешествовал, много читал.

Наконец настал день, когда небожитель предстал перед ним.

— Как? Уже смерть! — сказал человек. — Мне рано умирать.

— Ты уже сгорбленный старик, твой час пробил, — последовал ответ,

— Но жизнь прошла мимо меня, — взмолился человек, — я по-настоящему еще не начинал жить, я жду!

— Чего же ты ждешь?

— Годы промчались страшно скоро... промелькнули как сон. И ничего не случилось!

— Чем же ты был занят всю жизнь?

— Работал... знал с людьми... любил... ненавидел... радовался... построил несколько домов... воспитывал детей.

— Это и есть жизнь, — сказал небожитель и унес с собой душу человека.

Лев прогуливался в своих владениях и вышел на берег разлившейся реки. Он хотел перепрыгнуть на другой берег, но не смог. Лев зарычал, и на его зов тотчас сбежались придворные — медведь, осел, буйвол, лиса, заяц, мул, коза, лань, лошадь и другие животные. Лев велел им построить мост через реку.

— А ну-ка принимайтесь за дело. Ты, лиса, хороший архитектор, будешь следить за постройкой моста, а медведь, осел и все вы тащите сюда кирпичи, железо, доски...

Животные повиновались.

Лиса принялась что-то чертить на песке, измеряла, поправляла.

Один только осел не сдвинулся с места, он стоял в глубоком раздумье.

— А ты чего стоишь? — рассердился лев.

— Я думаю думаю, хозяин.

— О чем думаешь?

— Думаю, что лучше: строить мост вдоль реки или поперек?

Армянин из Муша⁵ принял протестантство. Мать постоянно упрекала его за это: «Как жаль, что ты выменял золото на медь!»

Как-то раз отец принимается бранить сына и его веру. И сын, раскаявшись, возвращается в лоно григорианской церкви.

Приходит домой и объявляет матери, что отрекся от протестантской церкви. Мать выражает недоверие: «Если это правда, то ругни отца, тогда я поверю (протестантская религия запрещает ругань)».

Сын выругал отца. Мать сказала: «Ну теперь я верю тебе. Да благословит тебя бог, да святится имя отца твоего».

Ага-Назар⁶ отличался завидным аппетитом. Он наедался до того, что мало-помалу распускал свой пояс и наконец совсем снимал его и бросал на тахту. Жена, пытаясь обрассудить его, доказывала, что много есть вредно, и напоминала слова деда: «Тяжесть не могут выдержать тонкая веревка и толстый человек».

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

Молодость дарит очень многое: силу, свежесть впечатлений, краски мира; зрелость открывает человеку мощь и красоту жизни.

Самая лучшая женщина на свете — это мать. Материнское сердце — символ человечности.

Самое красивое на свете — это глаза матери.

Любовь побеждает смерть; если бы было иначе, то человеческий род прекратил бы существование: любовь — самый сильный, непобедимый инстинкт жизни.

Человек большой души — тот, кто способен любить других. Если ты любишь своих друзей, значит, ты больше самого себя. Если ты любишь народ, значит, ты душевно шире того, кто любит только своих друзей. Любить все человечество значит быть выше того, кто любит только свой народ.

Человек без мечты, без воображения, без фантазии — заурядное, жалкое, беспомощное существо. Способность воображать делает его великим, наполняет душу божественной силой.

⁵ Муш — древний армянский город.

⁶ Ага-Назар — персонаж армянской народной сказки «Храбрый Назар». Исаакян по мотивам этого произведения написал сказку «Ага-Назар».

В саду вприпрыжку бегает мальчик. Глаза у него сияют, он весел и доволен.
— Какой счастливый ребенок, — раздается чей-то голос.
— Не он счастливый, у него возраст счастливый, — слышится в ответ.

В душе у меня три глубоких чувства: любовь к родине, к людям, к литературе.

Основа всего — труд.

Мыслящие люди и в старости сохраняют молодость души. Мысли обладают долголетием.

Кто любил, тот не зря прожил жизнь.

Лучше смерть, чем жизнь без любви.

Любовь — чародейство, которое способно преодолеть любые преграды, даже смерть. Одержатъ победу над любовью может только время.

Если у человека есть воля, то он всегда найдет выход, увидит перспективу.

Встречай людей не с наружной улыбкой, как поступают обычно, а с внутренней. Живи с улыбкой в душе.

Собор Парижской богородицы — это воплощенная в камне музыка. Глядя на него, я слышу звуки величавой музыки и погружаюсь в мечты.

Если ехать поездом или машиной, то увидишь только одну сторону окружающего мира; самолетом — и того меньше; лучше всего путешествовать на лошади, но для того, чтобы по-настоящему узнать жизнь, надо странствовать пешком.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ, ГОРЕ И РАДОСТЬ, ЛЮБОВЬ

Ах, однажды весной я хотел умереть. Я хотел умереть не потому, что почувствовал отвращение к жизни, нет, я любил жизнь... все мое существо было переполнено молодой силой, которая клокотала и бурлила во мне и готова была вылиться наружу... это было состояние какого-то гордого безумия.

Инстинкт подсказывает человеку, что он бессмертен.

В ночь на 14 июля⁷ мне приснилась мать. На лице у нее была обычная грустная улыбка, но мне показалось, что у нее не было обеих рук до самых плеч. Я проснулся с каким-то смутным чувством, которое никогда прежде не испытывал, видя во сне мать (мы давно уже были в разлуке).

Я находился под впечатлением ночного сновидения, когда вскоре, еще лежа в постели, услышал весть о смерти матери.

Удивительное, необъяснимое совпадение.

Истинное горе то, о котором не можешь рассказать другому.

От сердца к сердцу тянется дорога.

Мои родители были примером верной супружеской любви. Они прожили вместе сорок восемь лет.

Умирая, отец сказал моей матери:

— Алмаст, дорогая, я тоскую по тебе.

⁷ Запись 1918 года.

Одному парню, возвратившемуся с чужбины в родную деревню, сказали, что его любимую выдали замуж; он схватил косу, выскочил из дому и, не найдя на месте врага-соперника, бросился бежать в поле. Там он метался из стороны в сторону и, чтобы найти выход тому, что бушевало и кипело в груди, начал косить зеленую траву.

Крестьяне не решались приблизиться к нему, а парень косил до тех пор, пока обессиленный не упал на землю.

На другой день его нашли в поле: вид у него был грустный, покорно-терпеливый, смиренный.

После этого он замкнулся в себе. Больше он подобных выходов не повторял. Всю жизнь был молчаливым, застенчивым, добрым и кротким человеком.

Если бы Данте избрал тему семейной жизни для своей книги, он изобразил бы ее так: сперва рай, потом чистилище, затем ад.

Двое спорили: что лучше — знать день своей смерти или нет. Они не могли убедить друг друга, и спор длился без конца. Наконец решили узнать, что скажут другие. Вышли на улицу и обратились к первому же прохожему.

Тот ответил:

— Я никогда не думал о смерти, никогда не задавал себе подобного вопроса.

В человеке самые отталкивающие черты — жестокость, лицемерие и скупость. Но хуже всего — вероломство характера.

Когда каждый человек станет человеком в полном смысле слова, то мир будет благоухать, как роза.

Один человек признался, что, посещая кладбище, он равнодушно стоит у могилы родителей и уходит оттуда, не испытывая грусти.

О, неужели и наши дети будут такими же равнодушными?!

Жизнь — это веревка, скрученная из разноцветных нитей, которая оплетает человека, пока не захлестнется вокруг шеи и не задушит его.

Человек вздохнул так глубоко, что, казалось, этот вздох дошел до самых недр мира.

Человек велик в той степени, в какой он способен любить других.

Человеку надо быть оптимистом. Бодрость духа, энергия — залог победы.

Содержание человеческой жизни — вся вселенная.

Если мы разлюбили человека, то начинаем сильно преувеличивать его недостатки, точно так же как раньше сильно преувеличивали его достоинства и прощали его слабости.

Сейчас я уже стар, изменилось мое отношение к жизни, изменились и чувства к женщинам. Я безразличен к ним, любовь меня уже не соблазняет. Но если бы вдруг я стал двадцатилетним и очутился рядом с Шушик⁸ в лунную ночь на берегу моря — тогда другое дело. Мои чувства были бы иными.

Я бы хотел умереть, слиться со звездами, со вселенной, но вместе с тем сознавать, что мое «я» существует.

⁸ Шушик Матакян (1877–1944) — первая любовь поэта. Героиня многих его лирических стихотворений.

Ее глаза были подобны темной ночи, в их глубине вспыхивали молнии,

Видеть любимую все равно что лицезреть бога. Любовь — божественное чувство. Рай — символ любви. Желание держать в объятиях любимую породило идею Эдема.

Ты уходила гулять далеко в поля, они сохранили твой аромат.

Мне пока улыбаются глаза женщин.

Как я мог забыть эту девушку! Ведь она жила в моем сознании стихотворной строкой.

Проникнуть в чужую душу так же трудно, как попасть в царские палаты.

Один женатый человек жаловался: «Я до сих пор не знаю, что такое любовь. Женился я потому, что все женятся, но никогда женские руки не обвиняли меня с нежностью, мне не дарили улыбок, меня не называли ласковыми словами, Супружество вызвало у меня лишь отвращение».

Это мгновение принесло радость, но что следует за ним, что готовит грядущее?

Когда он вспомнил похороны жены, его охватила глубокая тоска. Только теперь он по-настоящему ощутил груз прожитых годов и холод одиночества.

У меня на ладони душа Мариам... Она смотрит на меня мертвыми, безумными глазами, и я тихо сжимаю ладонь, отдавшись воспоминаниям. Ее образ как живой встает передо мной.

В тот момент, когда любовь достигает апогея, душа закатывается в пустоту, хочется умереть, уйти в небытие.

Любовь — близкая родня смерти.

Осень... С деревьев падают увядшие, мертвые листья. По саду бредет старик; кривобокий, он с трудом передвигает ноги. На его лице следы прожитой жизни — впалый беззубый рот, возле глаз и на лбу глубокие морщины. Старик идет медленно, мелким шагом, кажется, что если он пойдет быстрее, то скорее пройдет расстояние, отделяющее его от могилы.

В его голове проносятся мысли — это воспоминания, такие же поблекшие, как осенние листья. Он шагает, прислушиваясь к звукам смерти, шуршанью опавшей листвы под ногами.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

- Природа мертва!
- Нет, она живет в моей душе.
- Природа нема!
- Нет, она говорит с моей душой.
- Природа бездумна и равнодушна!
- Нет, она думает и чувствует вместе со мной.

Нет в природе величины даже самой малой, которая не была бы вместе с тем бесконечно большой.

Севан так красив, что человеку хочется утонуть в нем.

Только орлы могут не мигая смотреть на солнце, только орлы.

Я хочу, чтобы моя могила была в долине Арарата, на берегу Араза. Чтобы ветры с Арагаца⁹ и Масиса обдували ее, чтобы роса с Араза увлажняла ее, чтобы солнце играло лучами на могильной плите, чтобы птицы касались ее крылом, чтобы над ней разносились звоны вселенной.

Со всеми голосами бурь и неистовых рек я делил свои скорбь и мучения.

Аист, лишившийся аистихи, которую подстрелил охотник, нахохлившись, сидел в своем гнезде, кормил птенцов, растил их и учил летать. Потом, когда он остался один, к нему часто прилетали другие аисты, курлыкали и улетали прочь. Несколько лет подряд аист жил вдовцом, он не хотел, чтобы другая аистиха поселилась в его гнезде, и каждую весну один прилетал на старое место. Иногда по вечерам раздавалось его грустное курлыканье.

Как-то осенью он улетел и с наступлением весны не вернулся.

Кто знает, где нашел себе приют наш одинокий, грустный аист, постоянный в любви!

Когда в небе появляются журавли, сердце людей охватывает грусть — вот приближается зима. Журавли, курлыча, взлетают с полей, с ущелий, с расселин, собираются в стаи и улетают прочь.

Говорят, что у журавлей плохая память и они не знают своей воздушной дороги. Вожак журавлиной стаи — маленькая черная птица. Добровольно ли журавли подчиняются ей или вынуждены терпеть своего вожака — неизвестно!

А весной, когда журавли возвращаются, курлыча, сердце людей охватывает радость — вот приближается весна.

Я уверен, что природа желала сделать человека бессмертным, но не смогла осуществить это и решила продлить его жизнь в потомках.

Из-за этого личного бессмертия — своего потомства — все живущее вступает в смертельную борьбу с врагом.

У природы слишком расточительный нрав. Она создала исполинские скалы, могучие деревья, бесчисленное множество птиц и цветов, водяные громады и многое другое. Порою ее расточительность граничит с безумием. Например, на Арагаце так много различных цветов и у них такая яркая окраска, что, кажется, природа создала их в момент безумия. Да, творения природы — нередко плод безумия... Но истинные и великие поэты — тоже безумцы. Они плоть от плоти природы, это она их создала такими.

Я долго шел по горной тропе, поднимался все выше и, очутившись на вершине, взглянул на небо... ярко светили звезды, они кружились, гонялись друг за другом, то одна, то другая, вспыхнув ярким светом, проносились по небосклону и гасла. Все это звездное пространство пело песню в моей душе... но небо было безмолвно, и звезды были безмолвны. Они горели ярким светом, кружились, плясали, гасли и молча текли...

Звездное небо пело песню в моей душе.

Не пастух гонит стадо, а стадо ведет пастуха. Где получше выпас, туда и тянется стадо, а пастух идет за стадом. В Турции пастуха привязывают веревкой к овцам, чтобы он не заснул, пока они пасутся.

Курд поет «Ай-гулям», и в его песне слышится горное эхо, рокот речки, шелест трав, звучный рев быков, блеяние овец, коз, ягнят. Песни отражают социальные условия жизни народа. Так, например, в персидской песне о верблюдах слышится мелодия, напоминающая перезвон колокольчиков.

⁹ А р а г а ц, или А л а г е з, — гора в Армении, знаменитая своими альпийскими лугами и многочисленными озерами. Исаакян воспел ее в своих стихах.

Вечером я пошел на озеро, волны бежали мне навстречу, словно приветствовали меня, и бились о берег около ног, о чем-то тихо шелестели. А сверкающее солнце клонилось к закату, освещая золотыми лучами землю и небо, и низко опустилось над водой, будто желая в последний раз окунуться в его прохладу, а уж потом уйти на покой и отдохнуть на материнском лоне неба.

О где ты, моя мать, чтобы я мог, подобно солнцу, склонить свою голову на твою грудь?! Где ты?!

ПУТИ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ

В героях эпоса нация предстает во плоти (Давид ¹⁰; Мгер ¹¹).

Литература — житница, полная благородных, гуманистических, передовых идей.

Поэзия живет и будет жить, пока существуют весна, солнце, цветы, птицы, земные твари, леса, моря, родники, реки, горы.

Поэзия живет и будет жить, пока существуют небо и звезды, пока вселенная полна тайн, пока смерть неизбежна, пока человеческое сердце способно любить, волноваться, страдать, томиться, желать, с чем-то мечтать...

Поэзия живет и будет жить, пока существует человек, его инстинкты, его воля, его страсти, пока ему хочется быть бессмертным, здоровым, красивым, пока он стремится достигнуть совершенства.

Греческие скульптуры — недосыгаемые образцы искусства. Работы Микеланджело и других ваятелей восходят непосредственно к ним.

Поэты — люди беспокойные, чрезмерно впечатлительные, уязвимые. Они легко загораются надеждой и так же легко впадают в отчаяние.

Поэт должен быть подобен ребенку. Так же, как он, мудр и простодушен. Таков мой Уста Каро ¹².

Каждый художественный стиль воссоздает мир заново, видит природу и человека через новое окно.

Мовсес Хоренаци, шараканы, Григор Нарекаци ¹³, Давид Сасунский... в них обрывает телесную жизнь и благоухает душа нашего народа.

Армянское музыкальное искусство имеет два начала: церковное и светское. Они возникли в глубокой древности, происходят одно из другого и в течение веков влияли друг на друга.

¹⁰ Д а в и д — главный герой армянского народного эпоса «Давид Сасунский».

¹¹ М г е р — персонаж эпоса «Давид Сасунский», сын Давида. Трагический образ одинокого борца со злом. По мотивам одной из ветвей эпоса «Давид Сасунский», повествующей о Мгере Младшем, Исаакян создал поэму «Мгер из Сасуна» (1919—1937).

¹² У с т а К а р о (дословно Мастер Каро) — герой одноименного незаконченного романа Исаакяна.

«Уста Каро» — большое эпическое полотно, посвященное жизни армянского народа в конце XIX и начале XX века. Писатель трудился над романом на протяжении почти полувека, с 1910 года и до конца жизни. Роман этот писатель рассматривал как главную книгу своей прозы. Роман и материалы к нему будут опубликованы в академическом издании сочинений Исаакяна, которое готовит Институт литературы и языка имени Абеяна Академии наук Армянской ССР.

¹³ М о в с е с Х о р е н а ц и — армянский историк конца V — начала VI века. Родоначальник исторической науки в Армении. Личность, многократно воспетая в армянской литературе. Г р и г о р Н а р е к а ц и — армянский поэт X века. Автор книги «Скорбные песнопения». Ш а р а к а н ы — сборники древних армянских церковных песен (V—XIV вв.).

Я певец любви, любви к людям, к природе, к вселенной, ко всему живущему. Мне жаль всех обездоленных, гонимых, мучеников, страдальцев, сирот и именно поэтому армян, наиболее сырый, многострадальный народ — пасынок истории.

1910.

В стихотворении «Наши историки и наши гусаны» я выразил свою концепцию армянской истории¹⁴.

НА ТРУДНЫХ ДОРОГАХ ТВОРЧЕСТВА

Чтобы быть художником, надо пить из всех родников культуры.

Какое бы зло ни творилось в мире, я чувствую себя виноватым.

«Мировую скорбь» я постиг через скорбь армянского народа.

Нет искусства без мастерства и нет гения без трудолюбия.

Когда художник творит, образцом для него должно быть произведение гения. Например, при создании драмы — Гамлет, романа — Дон-Кихот, скульптуры — Моисей, картины — Джоконда, проекта здания — Парфенон.

Роман лишь тогда является произведением искусства, когда он насыщен художественной идеей, как морская вода солью.

В романе надо так представить жизненные явления, чтобы была видна их суть. Они должны ожить и заговорить.

Окружающая действительность, жизнь наносят раны сердцу поэта. Он пишет кровью, кровью сердца, она пропитывает его стихи.

Для того чтобы вы почувствовали это, поэт должен проникнуть в тайники человеческого сердца.

В романе или в стихах изображение природы должно быть таким правдивым, естественным, достоверным, чтобы художник мог создать пейзаж на слова поэта.

Скажем, поэт изображает весеннее утро; если перенести это на холст, картина должна выйти подлинной.

Надо писать так, словно разговариваешь сам с собой, ведешь внутренний монолог. Вот тогда рождается искреннее литературное произведение, изображаются ли чувства героев, их мысли или же высказывается автор. Такое произведение не может быть напыщенным, жеманным, неестественным, надуманным.

Раньше говорили, что надо писать так, словно ведешь разговор с собеседником. Однако если следовать этому, то выйдет подделка. В разговоре с собеседником стараешься быть красноречивым, принимаешься ораторствовать.

В стиле писателя — его душа.

Усилия художника должны быть направлены на то, чтобы воспитать в себе вкус и избегать в слогe высокопарности и напыщенности. Надобно быть простым, писать просто, говорить просто.

¹⁴ Стихотворение «Наши историки и наши гусаны» написано Исаакяном в 1939 году в честь тысячелетия эпоса «Давид Сасунский». Г у с а н ы — народные певцы.

Работа над языком — это трудное единоборство со словом. Добиться победы значит победить сопротивление словесного материала.

В жизни мне пришлось немало воевать, порою я побеждал, но горе победителю: казалось, что душа разбита на тысячу осколков и в каждом осколке божественная сила.

НЕТЛЕННЫЕ ИМЕНА

Толстой воплощал в себе черты славянской расы, ее душу, постоянно ищущую идеала.

О Толстом.

Чем больше он старился, тем больше боялся музыки.

«Отец Сергей» — это Толстой сам, внутренний Толстой, непритворный. Повседневно он жил не так, как хотел, но душа его была одарена великой силой и искренностью.

Отец Сергей — лицо не типичное, но реальное, потому что в нем представлен сам Толстой. Он способен был так же, как отец Сергей, пренебречь блестящей карьерой, положением в обществе, связями, отказаться от состояния, уйти от жены, сгинуть, стать монахом, отрубить себе палец.

О себе я могу сказать, что Абул Ала Маари¹⁵ — это мое другое «я».

На протяжении целого века дух Белинского осеняет русскую литературу.

«Фауст» Гёте — микрокосмос. Каждый человек находит в нем прообраз своей личности.

Главное для Гёте не то, чтобы человек был счастливым и преуспевал в жизни. Главное для него — чтобы человек был творцом.

Каждое рубан Омара Хайяма — это судьба человека. В этом их несомненная сила.

Лермонтов — это рана моей души.

В «Кобзаре» нашла отражение тысячелетняя культура украинского народа во всем ее богатстве.

Шопен не столько смотрел на картины, сколько слышал их. На выставке в Вене он, говорят, стоял и слушал голоса картин.

Поэзия Ваана Терьяна¹⁶ — вознесенная любовь, жизнь души.

Сарьян — большой, истинно великий художник. Его самобытная живопись выражает суть Армении. Он постиг душу страны и запечатлел ее тишину, величавость, про-светленность.

В картинах его кисти ощущаешь наш библейский край: легендарные горы, равнины, деревья, буйволы, овцы, пастухи...

Я восхищаюсь Чаренцем. Гениальный поэт, он, на свою беду, громогласно бранил некоторых армянских неучей.

¹⁵ Абул Ала Маари — герой одноименной поэмы Исаакяна, написанной в 1909 году и переведенной на многие языки мира. На русский язык поэму перевел В. Брюсов.

¹⁶ Ваан Терьян (1885—1920) — выдающийся армянский поэт-лирик. Исаакян высоко ценил автора книг «Грезы сумерек» и «Газелы».

В стихах использовал грабар¹⁷ — слова, обороты, грамматические формы.

Говорят, что Бетховен во второй раз пришел в наш мир, поэтому он достиг такого совершенства. Это правильно и в отношении таких гениев, как Гомер, Данте, Гёте.

КОМИТАС¹⁸

Он отшлифовал песни, созданные в крестьянской среде, довел их до совершенства и снова вернул народу. Народную песню он сделал достоянием города, и сегодня она неотделима от духовной жизни нашей страны.

Комитас — величина общенациональная. С его песней наш народ глубже постиг себя, ощутил свою самобытность.

Комитас открыл нашу национальную мелодию. Многие не признавали армянскую песню, предпочитали подражания европейской или восточной музыке.

Комитас доказал оригинальность армянской песни, нашел свои собственные ноты, такие, каких нет ни у кого.

СУТЬ ИСКУССТВА

Литература — это действительность, пропущенная через воображение.

Мы творим искусство? Или искусство творит нас?

Что такое поэзия? Ты сам.

Народ познает себя в искусстве.

Когда Сиаманто спросили, какую из своих поэм он считает самой лучшей, он ответил: разве человек может сказать, какой глаз ему дороже?

Скульптура Моисея. Художник мысленно представил себе его образ и вылепил таким, каким он рисовался его воображению. Глядя сейчас на эту скульптуру, мы не сомневаемся, что Моисей был именно такой. Искусство обладает неотразимой силой воздействия.

Легенды — действительность, созданная воображением народа. В них воплощены его представления о справедливости, добре, благородстве, красоте. Народ создал свою литературу, в которой он говорит о том, какой должна быть жизнь.

Показатель мастерства — чувство меры.

Величие искусства — в его народности.

¹⁷ Грабар — древнеармянский язык.

¹⁸ Комитас (1869—1935) — выдающийся армянский композитор, основоположник школы многоголосой музыки, возродивший в ней народные песенные традиции.

Перевела С. ХИТАРОВА.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 80-летию со дня рождения Сергея Есенина

В. ПЕРЦОВ



ЕСЕНИН В СОВРЕМЕННОСТИ

1

Перелистываю, перечитываю так хорошо знакомые голубые томики, к выходу в свет которых вместе с друзьями поэта и мне пришлось приложить силы. Одно из самых дорогих достояний русской поэзии, родившихся при нас в эпоху революционной перестройки мира. Сергей Есенин. Собрание сочинений в пяти томах. 1961—1962. Государственное издательство художественной литературы...

Как трудно брать в руки скальпель критического анализа, поверять алгеброй рассудка выпевшиеся из самого сердца, трепетные создания поэта, летопись его души, откровенную, без малой утайки исповедь сына века, знаменем которого стала Великая Октябрьская социалистическая революция. Страстно уверовал Есенин в ее правду и мучительно, трагически переживал неудовлетворенность собой, тем, что не может он стать «с веком наравне»...

И как будто слышишь слова Горького, ошеломленного уходом поэта из жизни. В письме к А. П. Чапыгину, когда появился в 1926 году подготовленный еще самим Есениным первый том собрания стихотворений со знаменитыми тремя березками на обложке, Горький писал: «Прочитал я первый том стихов Есенина и чуть не взвыл от горя, от злости. Какой чистый и какой русский поэт. Мне кажется, что его стихи очень многих отрезвят и приведут «в себя»...»

Немало понадобилось лет для того, чтобы предсказанное Горьким сбылось. Глубокое отрезвление в отношении к Есенину пришло. Достойно отмечая сегодня большую памятную дату, мы с гордостью можем повторить вслед за основоположником

советской литературы оказанное им о Есенине: «Какой чистый и какой русский поэт».

Осознание непреложного значения поэзии Есенина по-особому связывается с годами после нашей победы в Великой Отечественной войне. Не могу не припомнить, что в период подготовки первого пятитомного собрания сочинений Есенина — классика советской поэзии среди других тем обсуждения был затронут и вопрос о языке. А. Т. Твардовский, принимавший самое активное участие в работе, обратил внимание на характерные для Есенина отглагольные существительные. Для есенинских изобразительных средств это было так органично: «не жаль души сиреневую цветъ», «в эту серую морозъ и слизь», «только видели березь да цветъ», «цветы людей и в сольнь и в стыть»...

Эти есенинские неологизмы, несомненно, как-то связаны были с общей задачей поэта — «учусь постигнуть в каждом миге Коммуной вздыбленную Русь». Есенин пытался и в «первоэлементе литературы» отразить необычайность новой действительности:

...в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.

И недаром Маяковский со всем своим резко выраженным новаторством в области формы, ставившим его на совершенно особое место в ряду поэтов, высоко оценивал роль Есенина в творчестве языка: «...у народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга подмастерье». Язык таких поэтов советской эпохи, как Маяковский, Есенин и Твардовский, выражая широчайший диапазон русской национальной культуры, отра-

жает и ее исторические периоды, и эстетическое своеобразие разных творческих индивидуальностей.

Заслуживает внимания, что Маяковский среди поэтов-современников именно в Есенине видел того, с кем он мог сопоставить себя, обращаясь к «товарищам потомкам»:

Я к вам приду
не так,
как песенно-есениный
провитязь...
в коммунистическое далеко

Да, «не так», но разве не выражена здесь уверенность Маяковского, что вместе с ним придет и Есенин!

С чем же приходит Есенин к нам сегодня?

С тем прежде всего, что Маяковский с оттенком противопоставления назвал «песенно-есениный провитязь». Есенин утверждает изначальную русскую поэтическую традицию в ее развитии под воздействием Октябрьской революции.

Есенин приходит к нам певцом Руси, ее природы и истории. Нежность и мятежность сочетались в его видении мира и национального характера.

Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить? —

Вот зачин одного из стихотворений совсем еще молодого поэта в канунные годы перед Октябрем. И вот заключающие его строчки, к которым направлено все движение поэтической мысли:

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.

Как не овязать этот сквозной мотив раннего Есенина с традиционными картинами жизни деревни, нашедшими в русской классической поэзии отражение пронзительной силы:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Раздумывая над этими совпадениями грустно-восхищенной любви к родной земле «бедных селений» у Есенина с подобными же хрестоматийными картинами у его великих предшественников в русской поэзии, я никак не могу свести их «похожесть» к литературной преемственности. Чего не было у раннего Есенина, так это поэтизации

«долготерпенья». И хотя называл он любимую Русь «родина кроткая» и даже «покойный уголок» (это в конце 1915 года), но тогда же рядом из самых глубин нежной любви к «сиротливым избам деревень» рождалось затаенно-мятежное сочувствие к людям, не нашедшим себе места в старой постылой жизни, людям с трагической судьбой («как судил им рок»). Возникают, казалось бы, несовместимые по чувствам, противоречащие до прямого взаимоисключения и в то же время полные неотразимого обаяния художественной правды такие строфы:

Я одну мечту, скрывая, нежу,
что я сердцем чист,
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку
Поведут с веревкою на шею
Полобить тоску.

Как тут не вспомнить Василия Шукшина с образами его «Калины красной»...

«Устал я жить в родном краю...» — не просто незабываемая есенинская строчка, но и отталкивание от прожитых лет в поисках выхода (вот только куда?), отразившееся в темных апокалипсических образах ожидания и предчувствия решительных перемен.

Выход дала история, определив направление тому буйственному, разбойному, озорному, что в даровании Есенина было тоже своеобразным выражением любви к «родине кроткой» и, как сказал Горький, «ко всему живому в мире».

Революцию Февральскую поэт встретил восторженно. Он не мог разобраться в буржуазной ограниченности ее социально-политического содержания. Он понял это потом — сердцем — и вполне точно написал в автобиографии: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Важно отметить при этом, что лишь Октябрьская революция (революция, поставившая перед поэтом трудную задачу войти в мир ленинской политики по отношению к среднему крестьянству, преодолев заблуждения на пути к пониманию ленинской мысли, а потом и искренне, беззаветно следовать по ленинскому пути) стала для поэта истинным родником поэтических образов и дала возможность развернуться его дарованию во всю его мощь. Борьба с самим собой в постижении того нового мира, кото-

рый открыла перед ним «Коммуной вздыбленная Русь», — трагедийная тема Есенина, великого лирика советской эпохи.

2

Во всех автобиографиях Есенина первые слова — «я сын крестьянина». А в стихотворении, написанном в середине 1925 года, то есть уже после того, как поэт пронесся почти через всю Европу и Америку, под непосредственным впечатлением поездки в родное Константиново —

Выйду за дорогу, выйду под откосы, —
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?..»

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий.
Память деревни я ль не дорожу?

Да, «памятью деревни» пронизано было все, что было для него родиной, Русью, что стало для него Русью советской, о которой по возвращении из Америки он сказал с гордостью: «Россия... вот это глыба... Лишь бы только Советская власть!..» Через новую Россию он видел теперь весь мир, будущее человечества и, естественно, не любил, когда его называли «крестьянским поэтом». И он был прав, понимая, что эстетическое воздействие его стихов не замкнуто миром деревни, хотя и сознавал всю выстраданность любви к этому миру:

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь...

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

Образы природы, созданные Есениным, говорят сегодня нашему сердцу, может быть, больше, чем раньше, в ту пору, когда они создавались. Есенин, всей душой порываясь к «новому свету» родины и чувствуя свою ответственность перед ней, ответственность поэта, прямо говорил: «Хочу я стальнойю видеть бедную, нищую Русь». Никакого преувеличения не будет, если мы скажем, что ленинскую идею социалистической индустриализации страны Есенин принял как

художник, понимая, что будущее родины может видаться только через «каменное и стальное». Но того «взрыва» любви к природе, которым отмечены наши дни и который все очевидней с развертыванием научно-технической революции, никто тогда не мог предвидеть, и совсем не было заботы о том, что стало ныне огромной задачей, — сберечь природу для всех людей земли.

В творческом наследии Есенина образы русской природы приобретают сегодня особую действенность, воплощая национальную сущность его таланта. И можно сказать, что в русской поэзии до него не было с такой силой выраженного отношения к природе как к живому существу. Вся природа в художественном мышлении Есенина — это живое, всякий злак чувствует и радость и боль совсем как человек. Мне приходилось уже обращать внимание на то, что в художественном мышлении Есенина далеко не все можно объяснить логическим анализом, но именно образ живого раскрывает смысл «Песни о хлебе» — эстетически-программного стихотворения Есенина:

Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как желтый труп.

Характерно, что эпитет «желтый» — радостный для человека, делающего хлеб, когда он видит созревающий колос в поле, — теперь, после жатвы, вызывает у поэта совсем иную ассоциацию: «Режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей». А потом:

...цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес.

Но ведь ради зерна человек растит хлебный колос. Можно ли зерна хлеба назвать костями? Оказывается, для есенинского парадоксального мышления, в котором живое раскрывается как растущее, это возможно и необходимо. Образ колоса, живого существа, с удивительной последовательностью и естественностью пронизывает всю «Песнь о хлебе», причем даже мельница, превращающая выращенное землей зерно в пищу для человека, оказывается... людоедкой:

Никому я в голову не встанет.
Что солома — это тоже плоть!
Людоедке-мельнице — зубами
В рот суют те кости обмолоть,

Для Есенина живое — это растущее, сре-
занный колос с зернами для него уже
«труп», он не страшится реализации мета-
форы:

На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп — овины.
Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

В художественном мире Есенина, в его
поэтической фантазии природа — «разум-
ная плоть», человек готов с ней поменять-
ся местами, слиться с ней: «Хорошо бы, как
ветками ива, опрокинуться в розовость
вод»; или: «Я хочу быть отроком светлым
иль цветком с дуговой межи»; и еще: «Я
хотел бы стоять, как дерево, при дороге на
одной ноге». И, напротив, греза чело-
веческая приписывается деревьям — елям:

Тенькает сивница
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

Он мечтает «прорасти глазами, как эти
листья, в глубину», радуется, «что тот стар-
ый клен головой на меня похож», и ему до-
рога, что

Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

Природа родного края для Есенина зри-
мый образ родины. Высшее для него сча-
стье — раствориться в природе. Он находит
для воплощения образа родины такие кра-
ски, которые может подсказать только все-
поглощающая любовь:

О Русь — малиновое поле
И сивь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Есенинские стихи о природе нельзя на-
зывать деревенскими пейзажами, настолько
сильна в них мысль о единстве человека с
природой, настолько взаимопроникают оду-
шевленные миры «зеленого друга» и чело-
века, перевоплотившегося в «равнины и ку-
сты», в «холмы плешивые и слипшийся пе-
сок», в «небо словно вымя»...

Последнее сравнение напоминает нам, ка-
кое значение в эстетике Есенина занимали
образы животного мира, то, что он назы-
вал «неизреченностью животной». Есенин

писал о животных, выражая свой беспре-
дельный гуманизм, то чувство любви ко
всему живому в мире, которое так поразило
Горького в поэте. В животных он видел
таких друзей, с которыми рождался иногда
больше, чем с людьми: «Сестры — суки и
братья — кобели, вы, как я, у людей в
загоне». Если бы собака, у которой отняли
и бросили в реку семерых щенят, могла го-
ворить, она сказала бы именно то, что у
Есенина вылилось в знаменитую «Песнь о
собаке». Родственность с этим «неизрече-
ным» миром в его поэзии — одно из самых
сильных чувств. Когда из глубин его худо-
жественного сознания выплескивается ра-
дость земного бытия, он говорит: «Счаст-
лив тем, что целовал я женщин, мял цве-
ты, валялся на траве...» И как самое силь-
ное, вошедшее в живой мир человека —
«и зверье, как братьев наших меньших, ни-
когда не бил по голове»...

«Корова», «Лисица», «Табун» — все это
из его жизни деревенского мальчика, пре-
ображенное художником, высказывающим
боли и радости, все чувства «братьев на-
ших меньших». Не просто детские воспо-
минания — как было «в ночном», — а «пе-
реживания», если так можно сказать, ло-
шадей привлекают родственное внимание
поэта:

Дрожат их головы над тихой водой,
И ловит месяц их серебряной уздой.

Храпа в испуге на свою же тень,
Зазастить гривами они ждут новый день.

И вот могучий всеохватный образ жизни
природы:

Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту.

В какой мере можно было бы считать его
обобщающим для нас сегодня? Одно время
в литературе велись разные разговоры: де-
скать, с одной стороны, «малая» родина, то
есть край, где родился поэт и где прошли
его ранние годы, с другой — большая, об-
щая родина... Естественно, что во многих
случаях мотивы творчества, само движение
поэтической фантазии не могут не опреде-
ляться воспоминаниями начальных лет жиз-
ни, однако самую глубину их по-настояще-
му откроет художнику в новых образах
любовь к будущему, ставшему настоящим.
Знаменательно, что Есенин, «гражданин се-

ла», в годы своего творческого расцвета вдохновенно заговорил о том, что он хочет стать «настоящим, а не сводным сыном — в великих штатах СССР».

Что же такое есенинская Русь? Это не только образ прошлого, но и прообраз, предчувствие великого будущего. Он сам спорил с теми, кто хотел бы ограничить пределы ее местом рождения поэта, он всей душой был вместе с «другими юношами», которые

...поют другие песни,
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать.

И в то же время как велика для будущего поэта роль словесных истоков и впечатлений юных лет. Деревня всегда была хранительницей национальных традиций, в которых много прекрасного и нерушимого. Творцами родного языка всегда были и оставались творцы хлеба, у которых и русскому языку и мудрости народной учились и Пушкин и Лев Толстой. Как русский национальный поэт, Есенин разделял со своими великими предшественниками эту судьбу, учась понимать «Коммуной вздыбленную Русь», славя революцию в образе родины: «Мать моя родина, я — большевик». Непросто далось ему осмысление значения происходящих вокруг него решительных перемен в жизни, недаром он называл себя «последним поэтом деревни». Приняв Октябрьскую революцию, он в первые годы представлял себе ее общественный идеал в виде утопического мужицкого рая, где... «люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм...».

Есенин славил Октябрь, стремясь понять его корни в исторических образах народных мстителей, поднявшихся на господство их в крестьянской войне конца XVIII века. Он создал «Пугачева» — поэму огромной поэтической силы. Мятежный образ вожака восстания стал живым воплощением революционного гнева веками угнетенного крестьянина-труженика. В этом образе Есенину удалось выразить как мощь народа, так и боль сердечную за неудачу раннего крестьянского восстания, и по-есенински понятый трагизм русской души. Горький так передавал свое впечатление от чтения Есенина:

«Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь, как под
ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул,
безнадежно, прощально:

Дорогие мои...
Хор-рошше...»

Взволновал он меня до спазмы в горле,
рыдать хотелось...»

После победы в гражданской войне перед Советской страной встали исключительной важности задачи ее хозяйственного возрождения. Ленин еще в ходе гражданской войны предвидел особые трудности в отношении к среднему крестьянству, мечтая о том времени, когда можно будет дать ему «100 тысяч первоклассных тракторов...». Есенину не хватило тогда исторического понимания единственно возможной, гениально намеченной Лениным перспективы возрождения русской деревни — поэт осознал ее позже и, как всегда, с неотразимой искренностью сказал об этом в стихах, исполненных художественного обаяния. Но в ту пору, когда Ленин делился своей мечтой о ста тысячах тракторов, поэт воспринял со страхом за судьбу деревни приход «железного гостя».

«Конь стальной победил коня живого», — писал Есенин в одном из писем, предшествовавших созданию поэмы «Сорокоуст» с полюбившимся в ней всем символическим образом «красногривого жеребенка». Если несколько упрощенно передать смысл противопоставления жеребенка поезду, «живого» и «стального», то можно сказать, что уже в этот период поэт умом понимал неизбежность и прогрессивность развития техники, обусловленного всем ходом существования людей на земле. Но вот тут следовало бы добавить, что, решая свою задачу как художник, Есенин оказался перед противоречием, когда «ум с сердцем не в ладу». В художественном мире поэта даже в природе «живым» для него, мы помним, было естественно растущее, например тот же колос, до которого еще не дотронулась рука человека, вооруженная серпом. Со страстной любовью к живому как «плоти» в поэте соединялось неумение понять, что «каменное и стальное» создается трудом человека для его счастья на земле, что и это «стальное» живо, как детище его плоти и духа. В картине «отчаянных гонок», где поезд побеждает жеребенка, поэт сочувственно рисует «разбуженный скрежетом плес», то есть оживленные судоходством просторы той же родной Есенину Ожи. И, однако, грусть расставания с прошлым в изуми-

тельной по художественной силе картине «Гонок» сильнее «разбуженного» плеса:

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроая,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поеззд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

О том, как воспринималась эта картина, свидетельствуют воспоминания С. Т. Коненкова:

«Читал он так, что душа замирала. Строки его стихов о красногривом жеребенке сердце каждого читающего переполняют жалостливым чувством, а вы попробуйте представить, какую глубокую сердечную рану наносил он своим голосом...»

Нельзя не сказать, что подобную грусть расставания с прошлым мы встречали и в образах некоторых художественных произведений последних лет, посвященных деревне. Когда создавались на колхозной земле искусственные моря и нужно было колхозникам переселяться на новые места, в новые, гораздо более благоустроенные дома, с неохотой покидали они старые, давно обжитые и даже ветхие хаты — с ними была связана вся жизнь, воспоминания молодости, радость любви и первых впечатлений бытия, одним словом, то, что по-своему символизируется есенинским, чистым до наивности «красногривым жеребенком»...

3

На творческом пути Есенина последние годы — 1924 и 1925 — отмечены большим художественным подъемом. Но, конечно, в недолгом стремительном его пути нельзя миновать произведений, созданных поэтом в годы перехода к нэпу, когда развитие его по восходящей к тому, что, по Маяковскому, было «местом поэта в рабочем строю», замедлилось и осложнилось. Этому сопутствовали и некоторые неблагоприятные обстоятельства в личной жизни, которые

Горький называет «роковыми» в письме о Есенине к Ромену Роллану. Однако высокий пафос творчества Есенина в целом не дает никаких оснований преувеличивать значение цикла стихов из «Москвы кабацкой» и тем более отождествлять поэта с гротескным образом «ужасного скандалиста».

Сразу же следует сказать, что по своей эмоциональной тональности эти стихи выпадают из лирического единства его поэзии, из того чувства связи личных переживаний с общим в жизни родной страны, которое никогда не покидало поэта. Разве характерны для Есенина признания, подобные тем, что встречаются в этом злосчастном цикле?

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Исповедальный характер лирики Есенина, открытость в общении с читателем-другом окрасили трагизмом его отход от общественной темы. И отсюда — натуралистические «излишества», грубость, образ хулигана, от лица которого как бы третируется присущая есенинской лирике нежность в изображении чувства любви. Известно, что Есенин не один раз перестраивал расположение стихов в этом мучительном для него цикле, от некоторых отказывался, не включая их в новые издания, пытался растворить их среди других, нарушая хронологическую последовательность, но так и не смог от них отказаться. Пушкин, как бы предвосхищая ситуацию, подобную есенинской, оказал:

И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю...

Но, «строк печальных» не смывая, основоположник новой русской литературы предопределил и ее неколебимую нравственную основу. В «Москве кабацкой» мы должны видеть, что внешняя форма грубости скрывала глубокое страдание поэта, чувствовавшего свою отчужденность от жизни родины, в особенности в годы его зарубежных странствий. Нужно в полной мере ощутить самоосуждение поэта-гуманиста и, скажем его словами, потребность «рубцевать себя по нежной коже» за то, в чем он сознавал нарушение «правды жизни» и достоинства

человека, потерявшего в кабацкой мути, в нэповском угаре:

К вашей своре собачей
Пора простить.
Дорогая, я плачу.
Прости... прости...

Есенин понимал переходящее значение своего отчуждения от того, что было дорого ему всегда, чем жила воспрянувшая Русь, сознавал болезненность своих переживаний, верил в свое возрождение, в свой возврат к природе, к радости общения с близкими ему людьми на дорогой ему земле Советской страны:

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навеки,
Слушать песни дождей и черемух.
Чем здоровый живет человек.

Едва ли не самым прогательным свидетельством поэтического воплощения этой надежды могут служить лирические признания Есенина в «Письме матери», которое как бы подводит черту под этим периодом, поэт называет его «тягостная бредь»:

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

И в самом деле, в замечательном «Возвращении на родину», написанном в середине 1924 года, Есенин вновь обращается к большим гражданским темам, восторженно вглядывается в новый облик знакомых с детства мест, в изменившиеся под напором социалистической нови души родных и близких ему людей. И все же непросто было ему избавиться от того, что назвал он в «Письме матери» «тоской мятежной», что в дальнейшем вырастает в ненавистного для него «Черного человека». Не только образ — замысел этой поэмы живет в нем и не угасает в последние годы его жизни, которые единодушно были оценены критикой как оптимистические для Есенина после возвращения его из-за границы. «Тягой к новому» назвал впоследствии Маяковский произведение, появившееся в этот период: «Русь советская», «Баллада о двадцати шести», «Стансы», «Русь уходящая», «Письмо деду». И в них «тоска мятежная», но совсем иной окраски. В них — требование к себе: выбор пути окончательного, вопрос об ответственности поэта перед родиной.

«Возвращение на родину» сюжетно как бы ограничено встречей с родным селом, с людьми, близкими с детства:

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Нужно напомнить, что эти «открытия» в ту пору, когда деревня, как и вся страна, только приступала к хозяйственному возрождению после разорительных двух войн, не относились еще к ее внешнему облику, «бедному, неприглядному». Тем важнее, что Есенин замечает изменения в душах людей, в их психологии. С уверенным мастерством художника-реалиста, с подкупающей искренностью лирика Есенин рисует встречу с дедом — диалог, полный глубокого драматизма. В строфе, заметим, лишь одной, посвященной свиданию с матерью, особенно действенно ироничность по отношению к собственным, столь естественным чувствам. Поэт отбрасывает то, что могло бы быть воспринято как излишняя тепер. Теперь Есенин не только сдержан, но, снижая пафос иронией, передает глубину невысказанного:

И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова...

Во всей картине «открытий», сделанных поэтом, особенно важен сатирический момент по отношению к самому себе, который ставит все отношения на свои места: ведь, по существу, трагедии-то нет. Что же есть? Есть вина поэта перед обществом:

На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя. —
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Вот теперь, когда поэт овладел своими чувствами, поднявшись до сарказма по отношению к самому себе («И мне смешно, как шустрая девчонка меня во всем за шиворот берет»), нет сентиментальности в признании «готов упасть я на колени», чувству поэта веришь полностью. Веришь, потому что оно слишком серьезно. И выражается оно словами, которые от частого употребления иногда могут показаться общим местом. Чувство это — советский патриотизм, в поэтическое утверждение которого Есениным вложено много и так, как никем другим из самых замечательных наших поэтов. В те ранние годы, когда в со-

ветской литературе оно только прорезывалось, Есенин выразил его как «гражданин села» — села, труженикам которого еще только предстояло вступить в небывалую по опасности и жестокости борьбу с кулачеством.

В такой аграрной стране, какой досталась советской власти старая Россия, где все корни рабочего класса — в деревне, Есенин сказал с большим талантом и на основе, как говорится, связи с деревней о завтрашнем дне новых людей: «Цветите, юные! И здоровейте телом! У вас иная жизнь, у вас другой напев». Как честный художник, не скрыл он своих чувств перед тем, что в его «малой родине» осталось для него по-прежнему дорогим, хотя «уж и я, конечно, стал не прежний». И, как сын народа, перестраивающего родину на основах социализма, он откровенно говорит о книгах Маркса, признаваясь с горьким упреком к себе: «Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал». О многом говорит спокойствие, с каким он смотрит на себя как бы со стороны.

И еще недоумевает:

Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.

«Отчего-то»? Да оттого, что признает силу нового на Руси, с любовью говоря о ее прошлом, о том лучшем, что переходит из старого в новое, что в произведениях Есенина о Руси советской делает его великим русским поэтом советской эпохи.

«Календарный Ленин» как самая яркая примета нового бросился в глаза Есенину в родной избе. Образ Владимира Ильича — великого вождя и человека — вошел в душу поэта, когда вместе со всем народом, потрясенный смертью Ленина, провожал его, не находя в себе сил уйти из Колонного зала. Переживание общего горя вызвало у Есенина глубокие раздумья о Ленине, рожденные любовью. Только Есенин с его душевной открытостью в своем искреннем стремлении ответить на вопрос, кем был Ленин для всех людей земли, мог сказать о нем так:

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?

Это признание определило все направление работы мысли и чувства поэта, и уже к первой годовщине смерти Ленина он пытается создать его образ, дав своему стихо-

творению название «Капитан земли». Мучительно переживая неосуществленность всей творческой задачи, он верит в приход поэта «другой судьбы», который и споет людям песню «в честь борьбы другими, новыми словами».

Тема Ленина, обращение к его образу углубили смысл есенинского прощания с прошлым, сделали для Есенина более осознанным выбор пути к новому, открыли новые возможности создания песен «в честь борьбы» по-есенински «новыми словами». Среди этих произведений мы назовем прежде всего «Русь советскую» и такие выстраданные любовью к новой истории родины стихи, как «Русь уходящая», «Баллада о двадцати шести», «Стансы», «Цветы». Есенин становится поэтом самой острой общественной проблематики, сохраняя весь свой лиризм, всю свою душевную открытость. «Мы многое еще не сознаем, питомцы ленинской победы», — говорит он и как поэт стремится осознать, что же не дает и ему пойти вперед за новыми людьми — большевиками, стать в общий строй с ними. О себе он говорит с покоряющей прямоотой: «...я человек не новый» — и в то же время никак не отделяет себя от тех, кого он называет «питомцы ленинской победы», включая и себя в общее «мы». Это противоречие рождает в его стихах драматически напряженную тональность, отзывается мучительной думой о своем завтрашнем дне. Сила Есенина-художника в психологической наполненности его лирики, создававшейся в те годы, когда вопрос «кто кого» еще не был решен. Как выходец из деревни, знающий по собственному опыту, «о чем крестьянская судачит огуль», он говорит о своих земляках с любовью и сочувствием, но без всякой идеализации и с пониманием того, как может расширяться их кругозор и как по-иному, богато и полно, пойдет жизнь прежних обитателей «бедных селений», действительно задавленных страшной нуждой и темнотой. Ведь и они «питомцы ленинской победы», плодами которой, как мы знаем теперь, довелось воспользоваться только их сынам и внукам, прошедшим новые исторические испытания, неслыханные по своей тяжести и жестокости. Но ведь и плоды эти в результате коренного преобразования жизни прежней деревни в новую, колхозную таковы, какими они и не мечтались землякам Есенина. На фоне реальной действительности наших дней особенно живо воспринимается трезвый есенинский юмор:

Я слушаю. Я в памяти смотрю.
О чем крестьянская судачит оголь.
«С Советской властью жить нам по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...»

По-видимому, юмор — непрменная составная часть реализма художника, знающего жизнь и убежденного в том, что она не может стоять на месте. Есенин, как мне кажется, отлично это понимал и, как настоящий художник слова, главная сила которого была в лиризме, пускал в ход юмор, вызывая «огонь на себя» именно тогда, когда ему нужно было убедить читателя в главном и, между прочим, в том, что мотивы «Москвы кабацкой» им отброшены:

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне.
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Из этого освещенного юмором, очень искреннего порыва вовсе не следует, к сожалению, что Есенин обладал чувством того, что Маяковский назвал «понятое время». Нет. Есенина время несло «в развороченном бурей быте», он нередко чувствовал себя «в сплошном дыму» и, как открытый каждому движению истерзанной своей души лирик, объявлял: «...с того и мучаюсь, что не пойму — куда несет нас рок событий».

Настоящий художник правдиво отражает происходящее в человеческих душах, стало быть, литература — психологический документ времени, и есенинские стихи на общественные темы останутся как явления искусства, когда сами темы уйдут или предстанут в резко измененном самой жизнью виде и существе. Возьмем такое, можно сказать, программное стихотворение Есенина, как «Стансы», посвященное редактору «Бакинского рабочего» П. И. Чагину, много помогавшему поэту и старавшемуся в самые ранние годы восстановительного периода сблизить поэта с тем, о чем сегодня мы говорим как о рабочей теме, индустриальной эстетике. Если бы не юмор, к которому так охотно прибегал Есенин-лирик, то «Стансы» остались бы декларацией, каких в те времена писалось много. Есенин делает совершенно живыми поучения, обращенные к поэту убежденным партийным работником, излагая речи Чагина, а потом и свои комментарии к ним с полным уважением к предмету беседы, а в то же время и с улыбкой:

«Смотри, — он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов покланяться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Есенину невозможно не верить, сказано «чистым сердцем», но и с невольной лукавинкой поэта, нашедшего великолепное сравнение нефти на воде с одеялом перса, поэта, увидевшего вечер, который рассыпал по небу «звездный куль». Поверим поэту в его клятве, что иные фонари могут быть прекрасней звезд, а если и не согласимся с ним, то, приняв его шутку, оценим трудность задачи художника. «Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно...» А эстетическая задача вырастает здесь тем более, что это задача общественная — «преодоления» красоты звезд «в пользу» фонарей, и недаром в начале «Стансов» иронически сказано об иных стихах, обращенных к звездам, и с полной, резкой серьезностью о том, что «любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла» и что его, поэта, «другое чувство... гложет». Интонация озорная, юмористическая внезапно сменяется исповедальной, и от этого особенную внутреннюю торжественность приобретают очень ответственные строки, совсем не риторические:

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Многое из того, что поэт делает (а в особенности чего не делает), противоречит высокому идеалу, и это заставляет его обращаться к самому себе в другом стихотворении с мучительным упреком: «Ведь я мог дать не то, что дал, что мне давалось ради шутки». Осознанием своей ответственности перед родиной проникнуто стихотворение «Метель»: «Нет! Никогда с собой я не полажу, себе, любимому, чужой я человек». Картина получается достаточно мрачная и явно выпадает из всего тона стихов,

создававшихся рядом, примерно в те же месяцы и дни.

Чем талантливее поэт, тем более он «переменичив», словно орган в самых близких, идущих друг за другом звучаниях. К Есенину это относится в полной мере. Ведь известно, что «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», то «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...». Значение последнего тем более весомо, что сказано Пушкиным. Есенин был крайне недоволен, когда в одном из его сборников, озаглавленном «Страна советская», который вышел в Тифлисе в начале 1925 года, издательство, произвольно расположив стихи, именно «Метель» поставило как заключительное. Там ведь и было сказано о себе как о «чужом человеке», чужом тому, каким Есенин жаждал видеть себя в искусстве великом и ответственном.

Облезлый клен
Своей верхушкой черной
Гнусавит хрипло
В небо о былом.
Какой он клен?
Он просто столб позорный —
На нем бы вешать
Иль отдать на слом.

И первого
Меня повесить нужно,
Скрестив мне руки за спиной:
За то, что песней
Хриплой и недужной
Мешал я спать
Стране родной.

«Спать» не совсем то слово, ведь смысл сказанного, конечно, в том, что мешал стране набираться сил для борьбы и труда. А этой «песней хриплой и недужной» и были стихи из «Москвы кабацкой», казалось бы, полностью отзвучавшие для поэта в то время, когда он уже был в самом разгаре работы над «Анной Снегиной». Но «Метель» с ее отвращением к самому себе, с упреками за неумение идти в ногу со всей страной, за то, что, «стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю», страшная «Метель» создавалась поэтом параллельно, как бы подтверждающая его признание: «...я человек не новый, что скрывать...»

Образ нового человека зарождался в Есенине с теми муками, о каких говорил Ленин, ища именно в художественной литературе аналог неизбежных трудностей, с которыми сопряжено рождение нового общества и нового человека:

«Возьмем описание акта родов в литературе, — те описания, когда целью авторов было правдивое восстановление всей тяжести, всех мук, всех ужасов этого акта, например Эмиля Золя «La joie de vivre» («Радость жизни») или «Записки врача» Вересаева. Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. Но согласился ли бы кто-нибудь признать человеком такого «индивида», который видел бы *только* это в любви, в ее последствиях, в превращении женщины в мать? Кто на этом основании зарекался бы от любви и от деторождения?»¹

Творчество Есенина с его гордой любовью к новой, воспрянувшей Руси может быть еще одним литературным примером мук рождения нового в эпоху революционного перелома, мук, описанных Лениным с такой беспощадной выразительностью. Есть светлая печаль в есенинских признаниях: «Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю людей». Но как раз в последние два-три года, творчески отмеченных светлым мироощущением, поэтическая мысль Есенина неизменно обращалась к вынашиваемой им в самых глубинах души теме «Черного человека», задуманного, по видимому, еще в годы заграничных странствий. А последняя точка поставлена была в поэме в конце 1925 года, совсем незадолго до трагического конца поэта. Образы «Черного человека» как бы вытеснялись в какое-то глухое подземелье сознания, лишь прорываясь иногда на поверхность взрывами вроде «Метели». «Черный человек» так и не увидел света при жизни автора и был опубликован сразу после его смерти. Так получилось, что эта поэма для иных читателей оказалась чем-то вроде итога всего написанного поэтом. Но, хронологически являясь последней, она как бы шла издалека, сопровождала самые впечатляющие явления последних лет его творчества. Неверно оценивать ее как завершение творческого пути поэта. Ничто не уменьшает силу произведения, отмеченного чертами гениальности, но понять объективный смысл его можно только в связи с доминантой, с общей устремленностью поэзии Есенина.

Хотя сам поэт, по свидетельству С. А. Толстой-Есениной, говорил о влиянии «Моцарта и Сальери» на его «Черного человека», но меньше всего в данном случае

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 476.

может нам помочь в истолковании смысла есенинской поэмы литературная связь ее с одним из образов пушкинской «маленькой трагедии». Пафос есенинской поэмы ни в одной точке не соприкасается с пушкинской проблемой «моцартианской» гениальности, устранившей завистника Сальери тревогой за свою судьбу. Опорной «моралью» преступления Сальери является для него у Пушкина якобы имеющая общее значение тревога за всю судьбу искусства в будущем, оправдывающая в глазах Сальери измененность истинных побуждений завистника, убийцы гения.

Соприкосновение с Пушкиным можно увидеть, как мне кажется, в трагическом исходе внутреннего конфликта есенинского героя-поэта, противопоставленного и собственному объективному образу и образу чуждой литературной среды. Но он вершит суд над собой сам, потому что Черный человек — один из ликов поэта, о котором в «Метели» Есенин говорит: «Себе, любимому, чужой я человек» — и признается: «Нет! Никогда с собой я не полажу...» Несколько упрощая очень глубокое символическое значение образа Черного человека в поэме, можно сказать, что в «Метели» его предвосхищает «чужой человек» в самом поэте. Автор начинает свою поэму обращением:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

В дальнейшем Черный человек, «прескверный гость», вступает в коварный диалог с Поэтом, прерываемый лишь один раз доверительным обращением Поэта к другу, который так и не появляется до конца поэмы. Но и приход Черного человека и убийственные инвективы его, адресованные Поэту, не более как видения его больной души. В ходе диалога, где речи Черного человека насыщены биографическими подробностями жизни Есенина, где не только клевета на Поэта, но и поразительно меткие характеристики его таланта, читателю еще не ясно, что это разговор с самим собой. И поэтому так ошеломляет заключительная строфа поэмы:

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковалка?
Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

Поэма Есенина была трагической сатирой, больной и до предела ожесточенной и против самого себя, и против тех «поклонников» из окружающей его литературной среды, которых настоящий поэт мог лишь презирать и ненавидеть. Сатирой, в которой нет ни малейшей попытки переложить на кого-то ответственность Поэта перед родиной за то, чего он не смог или не успел свершить. Сатирой мужественной и самого высокого поэтического мастерства, разоблачающей лживость эстетской красоты. Когда после смерти Есенина реакционная часть литературной среды тех лет попыталась, зацепившись за трудные моменты его творческого пути, исказить истинное лицо поэта Руси советской, сделать его «своим», ближайший соратник Маяковского Николай Асеев выступил со знаменитой статьей «Плач по Есенину», сказав в ней о страстной обращенности поэта к будущему:

«Есенин был поэт своей эпохи. Его творчество было нарушено столкновением с прошлым, а не с будущим. Не плачьте над Есениным, как над старой Россией. Попробуйте разобраться в том новом поэте и в том новом опыте поэта, который заплатил за него своей жизнью...»

Этой задаче и служат теперь многие работы, посвященные творчеству Есенина, которые решают эту задачу в связи с новой жизнью есенинской поэзии во всей ее углубленно понимаемой эстетической прелести.

Все сказанное дает представление, как сложно постигался поэтом новый опыт действительности, преобразенный Есениным в искусстве. С увлечением работает Есенин в 1924 году над крупными вещами агитационного характера, как, например, «Песнь о великом походе», написанная с революционным воодушевлением, с великолепным мастерством, весело, с юмором, с использованием средств фольклорного стиха. Есенин чувствует себя свободно и уверенно в жанре, хозяевами которого в то время были Демьян Бедный, Маяковский, Асеев. Новую государственность Страны Советов Есенин видит законно завоеванной трудящимися массами нашей родины в «великом походе», на историческом пути, в кровавой классовой борьбе. С любовью обращается он к людям авангарда:

Пусть вас золотом
Свет зари кропит.
В куртке кожаной
Коммунар не спит.

В заключительном эпизоде поэмы растерянно «бродит тень Петра» по улицам своего города, теперь столицы «вольного люда». Есенин и начинает свою историческую повесть с фигуры Петра, сочувственно говоря о решительных его преобразованиях: «Это только, ребята, начало». Появление Петра в финале поэмы, рассказывающей о долгой и трудной революционной борьбе и гражданской войне, как бы открывает перспективу могучего будущего Руси.

Есенин очень серьезно относился к своей поэме, к тому, что ему удалось высказать в ней. Но его привлекал и гораздо более близкий период истории, которому он был непосредственным свидетелем. Воспоминания о людях, ставивших власть Советов в родном Константинове, настоятельно требовали от поэта художественного осмысления. Это была важнейшая часть нового опыта. Художественное решение новой задачи становилось возможным на пути слияния лирики с эпосом, расширения лирического переживания до эпического охвата хорошо знакомых ему событий из жизни революционной деревни. В «Анне Снегиной» Есенин едва ли не впервые выступает с таким размахом в роли повествователя, изображателя характеров. Но лирически-трепетная интонация присутствует в «Анне Снегиной» во всем. В достоверности личного свидетельства, в стремлении войти в самое сердце читателя — в этом Есенин не знал себе равных!

Возникнув на автобиографической основе, поэма выросла в большое социально-реалистическое обобщение, которое стало возможным потому, что углубилось понимание Есениным исторического смысла Октября. И хотя поэма названа по имени женщины, дочка помещицы, у которой отобрали имение, хотя Анна поставлена в центр повествования, тем не менее образ Снегиной не является главным в поэме. Он не мог бы занять своего места в повествовании, если бы не был окружен целым миром крестьянских образов — от возницы, который доставляет своего молодого земляка в родную деревню, до мельника, с которым поэт ходит на охоту, до Прона Оглоблина — большевика, ведущего крестьян-односельчан на захват помещичьей земли, и его непутевого брата Лабути. Великолепно написан сход крестьянский — «горластый мужичкий галдеж» с допросом земляка, приехавшего из столицы, по самым важным пунктам «текущего момента» (время действия поэмы —

канун Октября): «Скажи: отойдут ли крестьянам без выкупа пашни господ?»

Знание крестьянской психологии и особенностей языка естественны для автора, «своего» в тех местах, где живут его персонажи. Поражает реалистическое министерство, доступное только большому художнику, с каким написан мир русской деревни на подступах к Октябрю. Обращу внимание на ключевой момент в беседе героя-поэта с крестьянами, напомним его читателю, чтобы дать возможность оценить идеологический рост автора «Анны Снегиной»:

Дрожали, качались ступени.
Но помню
Под зловонные головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Все отношения людей в деревне, конфликты действующих лиц и особенности типов мужичьих освещены с присущим Есенину юмором, но с новой, высокой точки зрения (автор в свое время, как мы знаем, признавался, говоря о Ленине: «Он вроде сфинкса предо мной»). Есенин пошел на модернизацию своего героя-поэта (если отождествить его с самим автором) — в 1917 году он еще не был подготовлен к такому ответу. Но автор «Анны Снегиной» не нарушил художественной правды, создавая обобщение в образе поэта, опережающее его автобиографический прообраз.

В поэме, в общем движении повествования как художественного целого любовно-лирическая струя исключительно органична. Отношения героя-поэта с Анной отодвинуты в прошлое. Это дает возможность Есенину говорить о них в тоне элегии, но элегия взрывается драматизмом социального противостояния советского поэта (именно такой образ создает Есенин в герое поэмы) и не нашедшей себе места в новом мире, все потерявшей женщины. Есенин говорит о ней с сочувствием к ее горю, к ее судьбе и разделяет вместе со своим героем странное чувство, рожденное неожиданным ее письмом с лондонской печатью. Эти отношения психологически наполнены светом гражданской ответственности и лиризма.

Перечитывая «Анну Снегину», нельзя не оценить заново ее жизненности.

Работа над поэмой шла в плодотворный для поэта период, в те месяцы, когда Есенин жил на Кавказе, в близком общении с

П. И. Чагиным. Встретившись неожиданно с Николаем Тихоновым в 1924 году в Тбилиси, он читал ему только что написанное. «У меня хорошо сейчас идут стихи, — добавил он, — я много пишу», — вспоминает Н. С. Тихонов слова Есенина.

Замечу, что в воспоминаниях Н. С. Тихонова есть еще и примечательный разговор с ленинградским поэтом, который очень дружил с Есениным до последних дней его, как раз о «Персидских мотивах». Разговор на беспощадном ветру высоких гор Армении — Тихонов вместе с этим другом Есенина бродяжили там в 1929 году. «Здесь пахнет вечностью! Здесь только и появляются подходящим воспоминаниям. Но, говоря без иронии, эти места сами по себе большая поэзия, ты чувствуешь? — обратился Тихонов к своему спутнику. — Очень жаль, что Есенин сейчас не с нами и не может их видеть. Вольф, ты должен написать о нем все, что ты помнишь. И питерское и московское, все подряд. Есенин — это вечное, как это озеро, это небо...»

Видимо, нельзя считать случайностью, что в это время Есенин открыл для себя персидских лириков и так увлекся ими, что стал писать стихи на их темы. Известно, что «Персидскими мотивами» восхищался С. М. Киров. Есенин рвался в Иран, мечтая увидеть «настоящий Восток», но друзья поэта не пустили его из Баку, учитывая опасность, с которыми мог встретиться Есенин. Киров говорил Чагину: «Ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай же. Чего не хватает — дообразит».

Последняя мысль имеет принципиальное значение для искусства вообще, а в таланте Есенина она открывала возможности, которые, казалось бы, трудно было связывать со всем характером его поэзии — очень русской, уходящей всеми корнями в опыт собственной жизни. В последнем варианте автобиографии, написанном поэтом специально для первого тома подготовленного им самим собрания стихов, Есенин даже оговаривает: «Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах».

Для создания «Персидских мотивов» были «мотивы» особые. Если не сделать попытки разобраться в них, то трудно понять явление этого цикла в поэзии Есенина. Они казались неожиданными, поскольку то, что и в лирической поэзии считается «материалом», было автору неизвестно. В варианте

автографов одного из первых стихотворений цикла были строфы, поэтом зачеркнутые:

Ты сказала, что в коране
Говорится: мечь врагу,
Ну, а я ведь из Рязани,
Знать тех строчек не могу.

И еще:

Ты сказала, что в коране
За любовь с неверным жгут.
Ну, а я ведь из Рязани,
Знать тех строчек не могу.

Эти строфы принижали роль воображения поэта, ограничивали значение тех внутренних побуждений, которые заставили его обратиться к мотивам и манере персидской лирики. Значение таких побуждений для творчества не может вызвать сомнения, но в чем они? Беловой автограф стихотворения, завершающего цикл, был озаглавлен «Подражание Омар Хаяму». Потом автор его снял. Но в самих стихотворениях упоминаются имена персидских лириков, в характере образности, в ритмике вполне явное и очень выразительное созвучие стилю того же Хайяма, Саади, Фирдоуси. Самый дух поэзии, которым дышат «Персидские мотивы», воссоздает образ Персии-страны, и вовсе не потому, что в строчках светят Багдад, Шираз, Шахразада. Поэтическое достижение Есенина в том и состоит, что, вообразив невиданное им, поэт избежал стилизации. «Никогда я не был на Босфоре», — обращается он к неведомой прекрасной персиянке и в конце стихотворения обещает: «Я тебе придумаю о нем». А вот то, что и придумывать не нужно:

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай,
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край?

Нигде в стихах Есенин не чувствовал с такой остротой своей Рязани, как в этих заманчивых картинах воображенной Персии:

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолгий.
Потому, что я с севера, что ли.

Русский поэт принял в свою душу красоту страны Омара Хайяма и сумел передать ее в прекрасных ритмах персидских поэтов. При этом он ни на один миг не забывал своей Руси. Чужое постигал через свое. В стихотворении о любви со строкой «Почелуй названья не имеет» поэт не получает

ответа, как звучит по-персидски это русское слово, но, заимствуя манеру, выражает свое — «нежность кроткую русской души». И в этом нет ни стилизации, ни сентиментальности. Обращаясь к Персии, родине любимшегося ему поэта, он верит: «Ты не можешь, памятью простыв, позабыть о ласковом уресе» — и прощаясь с ней:

Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевай, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...

Это уже другая песня — нового «уруса», говорящего персиянке от всей своей многонациональной родины, от имени обновленных национальных республик, где женщины уже не прячут своего лица под чадрой:

Я спую тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...

«Персидские мотивы» были счастливой песней, рожденной выпавшим на долю трагического поэта светлым днем: автора оставили сомнения и муки неисполненного долга перед родиной.

* * *

Россия... Есенин называл всегда осторожно и радостно и как бы вспоминая ранний исторический путь ее: Русь. В имени этом звучало нежное, домашнее и в то же время всеобъемлющее, грозное, пророческое, от Гоголя: «...у, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!...» Известно, что лирические отступления из «Мертвых душ» были у Есенина всегда на памяти. Имя родины шло от «малой родины», от «края любимого», «рязанских раздолий». «Затерялась Русь в Мордве и Чуди...» И сразу же гордое, уверенное: «Нипочем ей страх...»

Далекое прошлое, сама древность веков и революционная новь, поистине неведомая земле, утвержденная Лениным, который стал для поэта понятным, своим Человеком, «календарным Лениным» людей деревни и в то же время символом исторической судьбы Руси, пролагавшей новые пути для всего человечества, Руси советской, — в этом сиянье прошлого и настоящего, рвущегося в неведомую землю даль, весь Есенин, приходящий к нам сегодня.

К искусству слова он относился очень сознательно, глубоко размышляя над особенностями родного языка и его превращений в поэзии. Вместе с Фетом он мог бы сказать, что в нем «песня зреет», но отдавал

себе отчет в том, что и как будет петь. Давно оставлено поверхностное представление, что Есенин пел, «как птица». Сослужив свою службу в ранний период, местные речения земляков в более поздних стихах его естественно уступили место нормам общелитературного русского языка. Именно это имел в виду поэт, подводя некоторые итоги своего пути: «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину». Но своеобразие его поэтической речи и образности утверждалось тем больше, чем решительнее он противопоставлял себя Клюеву и отделял от Блока, никогда не забывая народных истоков собственной образности, восходящей к «Слову о полку Игореве». Поэзия Есенина со всей ее «тоской мятежной» органически входит в русло великого национального искусства слова, мощно углубленного и раздвинутого Маяковским — первым поэтом Революции.

Цену мастерству, форме Есенин понимал глубоко, не поступаясь никогда особенностями своего таланта. Говоря о Есенине, можно и не упоминать об имажинизме, но без Есенина с его ураганом образности невозможна была бы и мотыльковая жизнь этого «течения», вместе с другими шумевшего в ранние советские годы. Если около Маяковского-лефовца были Асеев и Пастернак, то, кроме Есенина, в имажинизме поэта не было, в этой «гостинице» он был только «прописан». Недаром Борис Пастернак видел Есенина «живым, бьющимся комком той артистичности, которую, вслед за Пушкиным, мы зовем моцартовским началом, моцартовской стихией».

Историческая судьба родины была главной мыслью всей его поэзии. Этой мыслью пронизана его прекрасная любовная лирика. Разлад между своей жизнью и долгом перед родной землей сообщает ей шемящую по-есенински ноту. Надрывность, иногда звучащая в ней, отвергается самим поэтом.

Высокой точкой, с которой виднее всего значение Есенина в нашей поэзии, представляется стихотворение «Русь советская» — в самом его названии высказаны и устремления Есенина и вера в будущее родной страны. Стихотворение продолжает мотивы «Возвращения на родину» в форме до предела напряженного внутреннего диалога. Но здесь спокойствия эгегического теперь мало, ни с кем поэт-герой не встречается, ни с кем не обменивается словом, как в «Возвращении», он все время с собой наедине, в непрерывном споре с самим собой:

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин...»

С радостью видит он приметы нового, укрепившегося в жизни родного села. Это реальность: «с горы идет крестьянский комсомол», поэт слышит, как «под гармонику, наяривая рьяно, поют агитки Бедного Демьяна».

И опять перед поэтом встает вопрос о нужности его поэзии, о том, какой она должна стать, чтобы ответить запросам новых людей, которым вверена теперь судьба новой Руси. Ведь он чувствует себя с ними заодно, выстрадал это единство и говорит об этом с большой силой художественной, с полной лирической открытостью:

Принимаю все,
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам,
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам,

Вставало сомнение, что «песни нежные» нужны только ему, поэту, а другим не нужны. Наша любовь к Есенину, потребность в нем большого читателя нашей страны и всего мира говорит о том, как он ошибался. Его лира звучит в лад с главным в современности, с тем, что превратило нашу родину в решающую силу обновления мира, что явилось залогом расцвета национальной поэзии Руси советской, вне которой Есенин не мыслил себя как поэта! С каждым новым шагом вперед нашей многонациональной родины все глубже раскрывается смысл вечных заключительных строк его «Руси советской»:

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названием кратким «Русь».

Так приходит поэт к нам, в «коммунистическое далеко»...



П. БАЛАШОВ



ПУТЬ ХУДОЖНИКА

Первый роман Чарльза Сноу «Смерть под парусом», вышедший в 1932 году, был написан в жанре занимательного детектива. Это была реализация давней мечты стать писателем, проба сил.

Более симптоматичным и обещающим было появление в 1934 году романа «Поиски». Жизненный опыт ученого-исследователя подсказал художнику именно ту тему, которая ему была особенно близка и выношена им, именно то ее драматическое решение, которое определялось жизненными обстоятельствами. По словам Уильяма Купера, одного из английских исследователей творчества Чарльза Сноу, книга «Поиски» упрочила за Сноу славу романиста. Но сам создатель этой книги испытывал известную неудовлетворенность: он совсем по-иному хотел бы написать о судьбах человеческой личности и многообразии ее связей с обществом.

Переиздавая «Поиски» в 1959 году, писатель основательно прошелся по тексту романа и удалил из него все, что уже не соответствовало его новым представлениям о соотношении и характере социальных сил в современном мире. Замечу: сопоставление этих двух вариантов романа позволяет исследователю заглянуть в творческую лабораторию художника и увидеть, в каком направлении эволюционируют его воззрения.

В романе «Поиски», вышедшем у нас и быстро завоевавшем свою читательскую аудиторию, Чарльз Сноу обнаружил, как справедливо отмечала критика, хорошее знание людей. Сноу действительно так же свободно чувствовал себя среди своих персонажей, как математик в мире теорем. Здесь уже обозначилось умение создавать человеческие характеры с их индивидуальным складом. Как не похожи друг на друга честолюбивый и целеустремленный Артур Майлз, рвущийся ввысь, мечтающий о научной

карьере, и его беспечный любвеобильный друг Шерифф, с завидной легкостью создающий обманчивые мифы о своем прошлом и так же легко и вполне сознательно идущий на фальсификацию и подлог. И честный, пронзительный Хант, бесконечно несчастливый в своей сердечной привязанности. И так же не схожи своими темпераментами Одри и Рут, ученые мужи Остин, Десмонд, Тремлини, для каждого из которых художник находит приметные и выразительные штрихи.

Роман «Поиски», в частности, примечателен тем, что пробуждает большой интерес к напряженному и поглощающему все умственные силы процессу научного открытия. В книге изображены огромные трудности, встающие на пути подлинного ученого, и радость их преодоления — самая высокая эстетическая радость, которую переживает исследователь, приоткрывая завесу над тайнами мироздания. Чарльз Сноу вполне самостоятелен в раскрытии пафоса и трудностей научного исследования: изыскательская работа физика в этом смысле дала очень много писателю, и ему не было необходимости повторять кого-либо из тех, кто освещал эту тему ранее. Эта сторона книги в наш век больших научных открытий особенно близка советскому читателю.

В образе Майлза писатель, по его признанию, пытался изобразить «истинного ученого-идеалиста, более далекого от политики или прикладной науки, чем мои сверстники или я сам». Для нас, подчеркивал Сноу, это было уже невозможно.

Работа над «Поисками» была важным этапом в становлении реалистического творческого метода писателя, стоявшего на пороге важных художественных открытий. Она непосредственно подводила к новому рубежу: по своим образам, мотивам и поднятым в нем проблемам роман «Поиски» являлся

предвестником будущей эпопеи. Писатель мучительно и напряженно искал новую форму, которая дала бы возможность высказать то, что ему хотелось сказать, и сказать по-иному. Зарождалась более широкая и глубокая концепция нового произведения, но контуры его еще были неясны.

В содержательном и интересном интервью, которое Чарльз Сноу дал сотруднику журнала «Обозрение английской литературы», говорится о том, как в итоге мучительных размышлений у него вдруг сложился общий замысел большого полотна. «Неожиданно я увидел, почувствовал или представил себе, назовите как вам угодно, — заявил Сноу, — и внешние контуры романа «Чужие и братья», и внутренний склад его построения, а именно: соотношение или диалектическую взаимосвязь между процессом самоанализа, которым занят Элиот, и тем, что происходит с ним». Это произошло в начале 1935 года. Через два-три года был разработан план всего цикла романов, известных под этим названием.

Эпическая широта замысла «Чужих и братьев» заставляет нас вспомнить «Барсетширские хроники» Антони Троллопа или монументальную «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси, хотя тут же приходит мысль, что горизонт автора «Барсетширских хроник» сравнительно узок и что эпопея Чарльза Сноу как художественное явление другой исторической эпохи несет в себе иное содержание, иную систему образов и имеет иную художественную структуру.

Бегство художника «в себя», отрыв его от социальных противоречий эпохи, игнорирование насущных проблем времени в конечном счете чревато для него большими идейными утратами и художественными просчетами. Чем ближе писатель стоит к жизни, стремясь правдиво передать ее стремительное и бурное течение, тем более вероятно, что художественная структура произведения, весь его образный строй не будет вымученной, мертворожденной схемой, а приобретет художественную завершенность и цельность, ту эстетическую значимость, которая нас так всегда привлекает и убеждает.

Чарльзу Сноу, писателю-реалисту, близко знающему английскую действительность со всеми ее социальными контрастами, эта опасность изоляции от жизни, как нам представляется, не грозила. Все дело было в том, чтобы выработать свой подход и найти емкую форму для выражения пережитого и увиденного.

Художественная структура эпопеи и отдельных ее частей весьма оригинальна. Каждый из романов цикла сюжетно вполне завершен и относительно самостоятелен, и вместе с тем каждый из них — воплощение общего целостного замысла художника, одна из граней в его раскрытии, в стремлении дать широкую картину жизни английского общества, особенно интеллигенции и «верхних» слоев начиная с 1914 года и вплоть до наших дней.

Сквозь весь цикл проходит фигура главного героя Льюиса Элиота, ученого и крупного администратора, от лица которого и ведется повествование. В какой-то мере образ рассказчика — alter ego самого автора, хотя Сноу резонно предостерегает: нельзя абсолютно отождествлять образ героя с ним самим. «Мне думается, что в существе своем, — заявлял Сноу, — Льюис Элиот — это я. Но по поступкам и обстоятельствам своей судьбы он часто оказывается не похож на меня. Однако во всех своих значительных и показательных проявлениях он — это я».

Лирической сердцевинкой цикла является та группа романов, в которых наиболее полно раскрыт мир внутренних переживаний главного героя. Его образ мыслей и образ действий здесь изображен крупным планом. К числу романов внутреннего, «непосредственного опыта» относятся известные у нас романы «Пора надежд» (1949) и «Возвращение домой» (1956). К этой центральной группе цикла по замыслу автора относятся и заключительный, одиннадцатый роман эпопеи «Завершения» (1970).

Во второй группе романов — романов «опыта наблюдений» — внутренние переживания центрального героя освещены лишь частично и на первый план выступают драматические судьбы других персонажей. (Вторая группа романов, непосредственно связанная с первой, включает такие книги, как «Чужие и братья», 1940; «Свет и тьма», 1947; «Наставники», 1951; «Новые люди», 1954; «Совесть богачей», 1958; «Дело», 1960; «Коридоры власти», 1964; «Спящий разум», 1968.)

Подобная художественная структура позволила автору сохранить единство всего цикла, ярко запечатлеть духовную эволюцию главного героя и раскрыть многообразие драматических конфликтов, в которые вступают те или иные персонажи романа.

За внешним спокойствием неторопливого рассказчика, с такой обстоятельностью и

исчерпывающим знанием повествующего о психологических переживаниях, жизни и быте своих героев, что мы получаем о них ясное и живое представление, — за этим внешним спокойствием всегда ощущается нарастание напряженного конфликта или неотвратимой беды. И это одна из примечательных художественных особенностей цикла «Чужие и братья».

Социально-психологический роман «Пора надежд» — один из наиболее лиричных романов цикла. Его мотивы и сюжетные линии непосредственно продолжает и углубляет роман «Возвращение домой». «Пора надежд» — повествование о детстве и юности Льюиса Элиота, о мечтах среднего англичанина, о стремлении героя «выбиться в люди» и упрочить свою карьеру. Картины детства Льюиса изображены с той теплотой и проникновенностью, которая делает близкими и понятными радости и огорчения мальчика. Выразителен образ матери, женщины гордой и тщеславной, мечтающей о богатой, обеспеченной жизни и глубоко разочарованной в неудачнике-муже, не обладавшем деловой хваткой и потерпевшем закономерное крушение в жестокой конкурентной борьбе. Всю страстную любовь мать переносит на сына. Она ревниво следит за его успехами в школе, питая надежду, что рано или поздно он поднимется на «высоты счастья» и осуществит ее несбывшиеся мечты. С юмором обрисован отец мальчика, стоически воспринимавший удары судьбы и защищавшийся от жизненных невзгод своеобразной клоунадой. Образ самого Льюиса — образ даровитого юноши, настойчивого, целеустремленного, волевого, способного идти на риск, чтобы осуществить свою мечту и получить высшее образование.

Напряженно и драматично развиваются личные отношения Льюиса Элиота с Шейлой Найт в романах «Пора надежд» и «Возвращение домой». В изображении мучительной и неразделенной любви юноши, как и его последующих переживаний, когда Шейла стала его женой, писатель выступает перед нами пронизательным психологом. Он тонко рисует изменчивый характер неприкаянной Шейлы, порывистой, непостоянной, холодной и — временами против своей воли — бессмысленно жестокой. При всем том Льюис Элиот с болью переживает утрату Шейлы, решившей уйти из жизни. Он был потрясен ее смертью. Трагедия Шейлы Найт — трагедия неуравновешенного существа, не нашедшего себе места в жизни и остро ощущающего пустоту и бесцельность

своего праздного существования. В социальных обстоятельствах усматривает писатель-реалист истоки раздвоения человеческой личности, неприкаянности и изломанности Шейлы Найт. Росшая в тепличной атмосфере пасторского дома, своевольная, Шейла не встречала ни сопротивления, ни ограничений. Причиняя боль другим, она терзалась сама.

Какой ироничной и даже саркастичной может быть интонация рассказчика, показывают хотя бы сцены, в которых изображены встречи героя с отцом Шейлы, мистером Найтом. Большой притворщик и актер, он хитро и умно разыгрывает свою роль пастора человеческих душ: то буквально слабеет на глазах и еле говорит тихим голосом, то мгновенно преображается, самозабвенно и даже самовлюбленно читает свою проповедь громовым голосом. Художник развенчивает утонченный и понстине всеобъемлющий снобизм мистера Найта, поднявшегося на несколько ступеней по социальной лестнице благодаря женитьбе на богатой девушке и ставшего «своим» среди местной знати и церковных сановников. Всю свою хитрость и пронизательность мистер Найт обратил на выяснение того, какими путями счастливицы проникают в высший свет. «Здесь он проявлял чудеса пылкости, ловкости и безжалостности», — резюмирует свои наблюдения рассказчик. Писатель очень удачно подчеркивает, как, повторяя одну и ту же фразу, мистер Найт придавал ей разные оттенки, меняя при повторении смысловой акцент. И мистер Найт встает перед нами удивительно живой и неповторимый.

Парадоксально складывалась личная жизнь героя: его восхождение по ступеням служебной лестницы (Элиот занимает во время войны ответственный пост в Уайтхолле, организуя ученых на оборону страны), его успех и полученная возможность влиять на события, о чем он страстно мечтал, находились в дисгармонии с его усилиями создать семейный очаг. Встретив после смерти Шейлы прекрасную Маргарет Дэвидсон и полюбив ее, Льюис Элиот должен был сначала пережить с ней разрыв (в его умолчании о причине смерти Шейлы Маргарет увидела проявление недоверия к ней), чтобы затем восстановить отношения.

Внутренне драматичные, социально-психологические романы «Пора надежд», «Возвращение домой», пожалуй, содержат самые яркие страницы в духовной эволюции главного героя. Эти романы привлекают не

внешней занимательностью интриги, а глубокой обрисовкой человеческих характеров, страстей, жизненных судеб героев, отличным знанием атмосферы и быта как Лондона, так и английской провинции.

В этих двух наиболее лиричных романах изображается трудный путь героя к вершинам успеха. Герой многого достиг, но он знал и неудачи. Он «изведал всю горечь поражения и с тех пор почувствовал себя со всеми теми, кто вначале подавал блестящие надежды и ничего не достиг, ибо силы изменили ему». Вот почему Льюис Элиот с таким горячим участием отнесся к своему великодушному другу Джорджу Пассанту, который доверился склонному к авантюрам Джеку Коутери и попал в беду. Изображению вольнолюбивых мечтаний Джорджа Пассанта и единомышленников из его кружка, возлагавших надежды на изменение мира, истории его поражения, собственно, и посвящен роман «Чужие и братья».

Драматический выбор нового пути определял судьбу и другого близкого друга Льюиса Элиота, юноши Чарльза Марча, героя романа «Совесть богачей». Отпрыск могущественного финансиста вопреки воле отца избирает скромную, но полезную карьеру врача. Очень удачно переданы в романе особая атмосфера богатого еврейского дома, углубление конфликта между отцом и сыном, все больше и больше выходящим из-под власти семьи и обретающим самостоятельность.

Романист поднимает одну из интереснейших тем литературы критического реализма — тему блудных сынов буржуазного класса, тему отхода и разрыва со «священными» вековыми буржуазно-аристократическими традициями и моральными предписаниями. Острый моральный конфликт, затронутый в романе «Совесть богачей», постепенно все усложняется и перерастает в конфликт социальный. Острота психологической коллизии сочетается в этом романе с убедительным и ярким развитием характеров. Роман знакомит с жизнью и бытом людей английской банкирской среды, очень своеобразным и мало у нас известным. Роман «Совесть богачей», на наш взгляд, более значителен и художественно выразителен, чем открывающий цикл роман «Чужие и братья».

С пониманием и немалой долей симпатии рассказывает Льюис Элиот историю идейных блудящих своего «интимного друга», весьма одаренного молодого ученого Роя Кальверта, героя «Света и тьмы», историю

его драматической раздвоенности, метаний из одной крайности в другую вплоть до заигрывания с нацизмом, историю его душевных терзаний, борьбы между светлым (дух) и темным (плоть) началом и трагического конца в дни войны. Рой Кальверт — образ вдохновенного, пронизательного ученого-ориенталиста, отдающегося исследованию со всем пылом, страстью и железной настойчивостью и умеющего проникнуть в «тайну» древних текстов. Но противоречивый мир героя лишен твердой внутренней основы. За буйством плоти у него следуют темные бессонные ночи, полные сомнений и мрачного отчаяния.

В романе «Наставники», так же как и в известном у нас романе «Дело», Чарльз Сноу берет, казалось бы, изолированный мир кембриджских ученых, но какие там поднимаются и бушуют страсти!

Роман «Наставники» — художественно значительное и оригинальное звено в цикле «Чужие и братья». Роман вышел в 1951 году вслед за лирической книгой «Пора надежд». Но по времени изображаемых событий он должен быть поставлен вслед за романом «Свет и тьма». Подобно другим звеньям обширной эпопеи, роман «Наставники» вполне самостоятелен и изображает одну из примечательных фаз в жизни центральных героев цикла.

В Оксфорде или Кембридже, о котором пишет Чарльз Сноу в романе «Наставники», особенно остро чувствуется та атмосфера, которая царит в британском научном мире.

Нерушимым и тягостно-застойным кажется прочный на первый взгляд уклад академической жизни, носящий на себе следы старых предписаний и статутков. Вроде бы ничего не изменяется в этом мире и жизнь идет своим чередом, как шла много десятилетий тому назад, в своем плавном и размеренном течении. Но это только на первый взгляд. Здесь возникают острые конфликты и бури.

В романе «Наставники» взгляд Чарльза Сноу обращается к относительно «закрытому» миру Кембриджа 1937 года, к раздорам, интригам между преподавательским составом, между членами одного из колледжей, вспыхнувшим вслед за печальной вестью о том, что главу колледжа подтачивает тяжкий недуг и что на его место должен встать кто-то другой как более заслуженный и уважаемый, — такова завязка довольно острой коллизии романа. В замкнутом академическом мире сразу же за бурлили волнения и страсти, и они долго

не угасали, потому что больной не хотел уходить из жизни, хотя болезнь медленно и неуклонно подтачивала его силы. У главы колледжа были свои любимцы; он знал, что участь его решена, и он хотел, чтобы на его место поступил вполне определенный и вполне достойный ученый. Конфликт, положенный в основу романа, — острый психологический конфликт; он расколол членов колледжа на две враждующих группы. В описании этого сложного драматического процесса Сноу проявляет и знание психологии ученых и наблюдательность художника-бытописателя.

Чарльз Сноу дает почувствовать, как болезненно-остры переживания человека, который медленно тает, но не хочет сдаваться, не хочет поверить в то, что на нем уже поставлен крест. Он показывает, с какой болью это медленное угасание человека воспринимается его близкими друзьями. И рядом с этой человеческой драмой — бушующие академические страсти: кто одержит победу в этом состязании? В ход пущены самые разнообразные средства.

Роман «Наставники» занимает определенное место в общей цепи как отличное социально-психологическое произведение, как роман нравов, правдиво и ярко рисующий общий академический колорит и типические фигуры английских ученых. Близкое знание этой среды позволяет художнику выпукло и достоверно обрисовать весь уклад их жизни, их духовный облик, их силу и их слабости.

Сноу создает широкую галерею характеров с яркими индивидуальными приметами, и предстают они перед нами в момент «разлада», в момент драматического столкновения. Чарльз Сноу не протоколирует, он тщательно отбирает художественные детали — и они много говорят читателю, соединяясь в целостную развернутую картину.

Роман «Дело» по сюжету и атмосфере напоминает роман «Наставники» — о борьбе за власть и влияние преподавателей и ученых одного из колледжей Кембриджа. Здесь, как и в романе «Наставники», ученые разбились на две противоположные группы, но борьба развернулась не из-за того, кому быть во главе колледжа, как в романе «Наставники», а из-за того, нужно или не нужно пересматривать «дело» одного из коллег, обвиненного в фальсификации научного эксперимента и исключенного из состава колледжа. Драматизм ситуации обостряется тем обстоятельством, что обвиненный в научной недобросовестности До-

нальд Хоуард — человек прогрессивного образа мысли, а его судьба — в большинстве своем люди консервативного склада. Это типичные представители английской буржуазной интеллигенции, замкнутые в своем кастовом кругу, враждебно относящиеся ко всему передовому и новому. Но даже и люди либерального толка, как герой эпопеи Льюис Элиот, от лица которого ведется повествование, или его брат Мартин, или Фрэнсис Гетлиф, выступившие в защиту обвиненного, относятся к нему с известным предубеждением. Во всяком случае, Льюис Элиот, как и ряд других персонажей романа, не раз подчеркивает то, что Дональд Хоуард не вызывает у них симпатий, что он прямолинеен, резок и даже груб в своей откровенности и крутой прямоте. Но все же они считают своим долгом выступить в его защиту, коль скоро они обнаруживают, что он был обвинен без веских оснований. Выступая против консервативно настроенной группы, не желающей возвращаться к «делу» и оказывающей всяческое сопротивление попыткам его пересмотреть, либерально настроенные ученые предстают как защитники чести и справедливости.

Читая с интересом драматично развивающийся роман «Дело», невольно отдаешь должное наблюдательности Сноу и по достоинству оцениваешь его спокойную, но не бесстрастную позицию быто- и нравописателя. За внешним спокойствием рассказчика угадывается лукавая ирония. Нельзя не согласиться в данном случае с рецензентом «Дейли уоркер» Джоном Гриттенем, давшим роману «Дело» высокую оценку и метко определившим манеру рассказчика: «Чопорные обеды, заплесневелые традиции и позеленевшие от времени протоколы, которые пишутся с таким старанием, — «дядюшка» Сноу описывает все это очень подробно и с явным почтением. Но... чем дальше вы читаете, тем больше начинаете подмечать усмешку. И мало-помалу обнаруживается, что «дядюшка» деликатно и безыскусно предлагает вам образчик такого тонкого но злого разоблачения «установившегося порядка» и, в частности, университетской братии, которое мы встречаем лишь у Шоу и П'она О'Кейси».

Рецензент отдает должное критической направленности романа «Дело». «С вводящей в заблуждение сдержанностью, — пишет Джон Гриттен, — делая вид, что он занят только раскрытием тайных мотивов (а это он делает с большой глубиной и пронизательностью), Сноу изображает вы-

сокомерие твердолобых преподавателей. Он показывает, что в их мире, где декларируется, что все помыслы бескорыстно отданы на служение научным целям, процветает карьеризм и мелочная дипломатия, интриги и хитроумные ходы в погоне за властью и престижем. Их тревожит только одно: как бы слухи о «деле» не просочились в печать».

Сноу дает глубокий анализ мотивов, побуждающих Льюиса Элиота, Мартина Элиота, Фрэнсиса Гетлифа и других ученых настойчиво бороться за пересмотр «дела». Эта борьба принимает напряженную форму. Некоторые из участников, например Фрэнсис Гетлиф, пользующийся большим авторитетом, даже идут на риск, поступают в интересах своей научной карьеры ради торжества справедливости. И они в конце концов побеждают: обвинение снимается, хотя Хоуард и не восстанавливается в правах члена колледжа.

В книге «Роман и народ» Ральф Фокс высказывал сожаление о том, что литература XIX века, как и XX, не уделила образу ученого такого внимания, на которое он вправе был рассчитывать. «Пусть читатель не думает, — писал Фокс, — что я выступаю здесь адвокатом ученого, требуя признать его «сюжетом», как Гонкур признавал актрису или Золя — бойню, а Арнольд Беннет — первоклассный отель. Ученый — это не сюжет, но тип человека, творческий ум которого приближается к уму великого артиста, он часть действительности, и никакая картина человеческой жизни в современном мире, игнорирующая его, не может считаться полной».

Ральф Фокс дает вполне определенный ответ, и, на наш взгляд, ответ очень убедительный, почему образ ученого почти исчез из поля зрения романистов или, во всяком случае, не привлекал того внимания, какого он заслуживал.

«Существуют две причины, — писал Фокс, — почему этот человеческий тип, одна из подлинных творческих сил нашего времени, игнорировался романистами. Первая заключается в том, что романист сам настолько невежествен в науке, настолько чужд области научного творчества в этом мире узкой специализации и разделения труда, что все это широкое поле деятельности человеческой личности остается для него книгой за семью печатями. Вторая причина в том, что самые условия социальной жизни помешали романисту исследовать личность ученого. Наука является од-

ним из демиургов современного мира, но она сама также порабощена и развращена им. Только бесстрашный реалист мог бы изобразить ученого XIX столетия... обнажив самые корни социального строя. А в наши дни он должен быть готов идти еще дальше, показать, как общество использует науку для разрушения науки».

Сноу-романист удачно восполняет этот пробел, который наметился в современной литературе Запада и о котором так убедительно писал Ральф Фокс. Он развертывает перед нами целую вереницу выразительных и точно очерченных портретов деятелей науки самого различного калибра и различных убеждений. Мы с неподдельным интересом погружаемся в изучение мира науки, совсем не спокойного, совсем не отгороженного непроницаемой стеной от остального мира, от социальных противоречий и политической злобы дня. Он ясно видит, что жизнь с неизбежностью ставит перед учеными вопросы морали, вопросы ответственности за человеческие судьбы. Сноу изображает не только процесс расщепления атомного ядра, но и процесс размежевания среди английской интеллигенции.

Проблема ответственности ученых за человеческие судьбы остро поставлена в романе «Новые люди», герои которого уже не могут оставаться на позиции Артура Майлза, не могут стоять в стороне от политики, тем более в пору борьбы с нацизмом. Английские ученые, выведенные романистом, призваны внести свой вклад в эту общую борьбу, разгадать секреты атомной энергии, использовать ее для приближения победы. Вкладывая все силы и знания в изобретение самого смертоносного оружия, люди науки не могли не отдавать себе отчета в том, с какими губительными последствиями связано его применение. Отсюда и возникло в сознании ученых чувство гневного протеста, протеста в значительной степени стихийного, как только они узнали, что атомные бомбы были сброшены на мирных жителей Японии. В правдивом освещении сложного и противоречивого процесса размежевания среди ученых, в изображении их нравственных сомнений, острой тревоги за будущее человечества — активный гуманизм писателя.

Показательна эволюция сознания Мартина Элиота, брата рассказчика, совместно с другими учеными выполняющего секретную миссию. Писатель, как мы уже видели, весьма внимателен и к философии успеха, исповедуемой в научной среде, и к его ре-

альным пружинам. Мартин Элиот также одержим честолюбивой мечтой. Он настойчив, упорен в достижении своих личных целей. Каждое его движение строго рассчитано, каждый шаг взвешен и холодно обдуман.

Заслуга Сноу в том, что он убедительно раскрывает, как личные, порой эгоистические побуждения ученых неизбежно сталкиваются с более широкими интересами — национальными и общечеловеческими. Образ Мартина Элиота построен так, что герой проходит через многие стадии тяжелых раздумий и сомнений, пока наконец не утверждается в той справедливой мысли, что он не может и не должен быть винтиком военной машины. Пусть пострадает его карьера, но как человек он остается верным своему гуманистическому сознанию, новому чувству ответственности за судьбы других людей.

В раскрытии именно такой эволюции героя — важное завоевание романиста. Оно логически продолжено и в последнем романе «Коридоры власти». Проблема ответственности ученых-атомщиков и политиков перед «человеческими ценностями», поднятая в «Новых людях», здесь ставится во всем ее широком значении. Все в этом романе по-настоящему злободневно, значительно, тревожно.

Роман привлек внимание читателя смелым вторжением романиста в сферы высокой английской политики и художественным раскрытием большой и захватывающей темы современности — темы завтрашнего дня человечества, темы активной деятельности людей против угрозы ядерной войны.

Чарльзу Сноу знакомы лабиринты и тайные ходы политики Уайтхолла не понаслышке — много лет он непосредственно соприкасался с теми, кто держит бразды правления в своих руках, направляя английскую политику порой по очень опасному курсу. Писатель все это отлично осознает, и для него проблемы «высокой политики» носят не академический, не отвлеченно-умозрительный характер, а имеют насущный и жизненный интерес.

Компетентное и доскональное знание изображаемой поры (1955—1958), верная характеристика борьбы реакционных и относительно прогрессивных тенденций английской послевоенной политики, острота драматического столкновения между персонажами, выпуклое изображение стиля жизни высших слоев английского общества, близких к правительственным кругам, — все это выгодно отличает роман «Коридоры власти».

Зрелое реалистическое мастерство Сноу-романиста, в частности, сказалось в penetrating оценке международной ситуации, в точном изображении того, как напряженная политическая борьба по-разному преломлялась в помыслах ученых и политиков страны. Особенно внимательно прослежен в романе ход мысли и ход действий политика Роджера Куэйфа и его ближайшего друга и советчика Льюиса Элиота. Роджер Куэйф — это тип здравомыслящего политика, ясно представляющего, сколь губительна была бы для Англии термоядерная война. Свою политическую карьеру он связал с партией консерваторов, но в отличие от ультраправых консерваторов, склонных к экстремизму, Роджер Куэйф ясно осознает гибельность войны.

Романист дает ясно понять, что благополучие народа Англии не на путях гонки вооружений.

Опираясь на авторитет ученых-атомщиков, Роджер Куэйф с осторожностью проводит умеренную политику, до поры до времени не раскрывая карт. Сначала он стремится как-то нейтрализовать таких сторонников гонки вооружений, как физик Бродзинский, слепо ненавидящий Советский Союз и жаждущий его уничтожения. Именно он при поддержке ультраправых консерваторов выступает против политической линии Роджера Куэйфа, обвиняя поддерживающих его английских ученых чуть ли не в измене национальным интересам.

Читатель с неподдельным вниманием следит за завязавшимся поединком. Вся сила своей власти и авторитета Роджер Куэйф направляет на то, чтобы восторжествовал именно его политический курс. Каждый его промах и опрометчивый шаг может быть поставлен ему в вину и использован противниками для дискредитации его самого и осуществляемой им политической линии.

Обострение борьбы в финале романа достигает высшего накала. Выступление Куэйфа в парламенте не встретило той поддержки, на какую он рассчитывал. Ему предстояло сдать на милость победителей и изменить самому себе или уйти в отставку. Роджер Куэйф предпочел последнее. Но ни он, ни его друг Льюис Элиот не сложили оружия, не утратили веры в то, что именно на пути мира, а не войны — залог благополучия английского народа и всего человечества.

Образ рассказчика предстает в романе в новом свете, как и образы других ученых (например, Фрэнсиса Гетлифа), с которы-

ми мы уже встречались. Удались писателю здесь и женские образы, как, впрочем, и в других романах цикла.

Внешне ослабленная интрига, не такая, может быть, обостренная, как, допустим, в романах Грэма Грина, использующего приемы психологического детектива, все же надежно скрепляет и движет вперед действие. И наш читатель уже по достоинству оценил эту обстоятельную и неторопливую манеру повествования, оценил Сноу-романиста как вдумчивого и пронизательного рассказчика. Нельзя не почувствовать внутреннего драматизма нарастания иногда подспудной, иногда открытой борьбы, все большее сгущение тревожной атмосферы в «Коридорах власти», этом замечательном социально-политическом романе.

Всем нам памятно очарование лирических интермедий «Саги о Форсайтах» Джона Голсуорси, составляющих органическое целое с эпическим изображением исторических судеб Форсайтов и форсайтизма как социального феномена.

Сноу близка эта стилевая традиция. Он стремится к глубокому проникновению в душевный строй героя-рассказчика, в мир его помыслов и влечений, его нравственных поисков. Так складывается особая интонационная окраска, особый колорит романов «личного» плана или «внутреннего опыта», которые становятся своеобразным центром всей многогранной системы Чарльза Сноу. Без этого связующего центра цикл распался бы на составные части. Чарльз Сноу справедливо пояснил в предисловии к роману «Совесть богачей», что соотношение между тем, что Элиот наблюдает, и тем, что он чувствует, — ядро, стержень, сердцевина всего художественного замысла. Тесная взаимосвязь в освещении «внутреннего опыта» и «опыта опосредствованного» или «внешнего опыта» определяет примечательные особенности художественной структуры цикла. «Грубо говоря, — справедливо подчеркивал в свое время Сноу, — цикл включает три книги внутренних переживаний. Одна из них — «Пора надежд», другая — «Возвращение домой», и предстоит создать еще одну книгу, завершающую цикл. Внутренним процессам частично уделено внимание в других книгах цикла. Но эти три книги должны быть полностью посвящены процессам внутренних переживаний. И в зависимости от них находятся книги более внешнего обзора».

В общих чертах этот безусловно интересный и обширный замысел нашел достойное

художественное выражение, хотя жизнь вносила в атмосферу всего цикла необходимые поправки. Политическая погода и соотношение социальных сил во всем мире в нашу эпоху радикальным образом переменялись, и этого нельзя было не учитывать, создавая целостное художественное полотно.

Ученый по образованию, писатель по призванию, Чарльз Сноу обладает необычным, можно сказать, уникальным жизненным опытом. Он уверенно входит в мир науки и в «коридоры власти», близко соприкасаясь с кругами английского «истаблшмента» — с теми, кто обладает богатством, властью и может так или иначе определять ход событий. Деятельный по натуре, Чарльз Сноу никогда не стоял в стороне от общественных событий — его всегда увлекала возможность влиять и воздействовать на ход событий.

Не было недостатка в попытках умалить своеобразие его художественного вклада и его заслуги как общественного деятеля и публициста, привлекающего внимание читателя к острым проблемам времени. И не удивительно, что в речи, произнесенной Ч. Сноу на заседании Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР (4 сентября 1964 года), легко уловима скрытая полемика с недружелюбными интерпретаторами его творчества. «Есть две вещи, которые доставили мне особую радость, — сказал Ч. Сноу. — Первая — это то, что вы прекрасно поняли, что мое творчество не такое простое, как кажется поверхностному читателю. Внешне все как будто очень просто, но во всем скрыт очень большой подтекст. И что еще меня очень порадовало — это признание вами того, что моя общественная деятельность неразрывно связана с моей творческой деятельностью как романиста. В своих романах я стремился показать и рассказать всю правду, которую наблюдатель может подметить и описать. А в своих речах и выступлениях я старался высказать то, что нужно сделать»¹.

...В предпоследней, десятой книге цикла «Спящий разум», и особенно в его заключительном аккорде — в романе «Завершения», — у художника возникает настоятельная потребность свести воедино пучок сюжетных линий, оглянуться на пройденный путь исканий. Деятельный по натуре рассказчик — теперь сэр Льюис, как и сам ав-

¹ Стенограмма речи Чарльза Сноу на заседании Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР. Архив ИМЛИ.

тор, достиг заметного положения в «верхних» слоях английского общества, получил возможность вторгаться в сферы государственной и общественной жизни страны. В финале сильно звучит и личная тема — тема семьи, любви к сыну, тема болезни и смерти. В эпилоге иногда проскальзывают элегические ноты. Неизбежно возникают в финале и реминисценции. Сколько интересных, порой драматичных человеческих судеб встречал на своем пути рассказчик! Как сложно перекликаются его нынешние раздумья с мыслями и наблюдениями былых лет!

Строчка из Гои «Спящий разум порождает чудовищ», взятая создателем «Спящего разума» в качестве эпиграфа, ясно говорит о направлении мысли писателя-гуманиста, о том, что тревожит его. Весь строй романа, где разворачивается суд над двумя лесбиянками, мучившими восьмилетнего мальчика и убившими его, — не только призыв к человеческому разуму, но и внутренний протест против безответственности и апологетики насилия и надругательства над человеческой личностью, которые столь широко культивируются в современной Англии особенно так называемой массовой культурой.

Создатель монументального цикла «Чужие и братья» в последние десятилетия продолжает интенсивно и плодотворно работать. В частности, им создан социально-психологический этюд об упорных поисках группы молодых людей провинциального городка, именующих себя «ядром», путей к улучшению мира («Недовольные», 1970). Здесь виден острый аналитический ум рассказчика, исследующего столкновение «отцов» и «детей» и умеющего привлечь внимание читателя к распутыванию драматических узлов, в которые стягиваются взаимоотношения героев.

В еще большей степени сказывается в социально-психологическом романе «Хранители мудрости» (буквально «В их мудрости», 1974) способность искушенного иронического рассказчика создавать широкую и впечатляющую картину современной Англии — Англии 70-х годов с ее социальными контрастами, тревогами и переменами.

Эти картины и сцены из частной, общественной и государственной жизни прекрасно передают общий социально-политический климат в стране, где забастовки — сигнал возрастающего недовольства ухудшением условий человеческого существования. Иронический рассказчик ведет нас в «коридо-

ры власти», в парламент. Ч. Сноу создает впечатляющие образы аристократов (лорда Хилмортона, лорда Райли, лорда Сэдживика), погруженных в свои заботы, представляет в острых социальных коллизиях богатей (Рэджинальд Суэфильд) с их типичным нравственным обликом людей мнимого величия, вся «мудрость», житейская философия которых сводится к оправданию стяжательства.

Чарльз Сноу свежо и остро решает в романе традиционную тему — тему судебной тяжбы за наследство. Писатель всегда охотно обращается к различного рода коллизиям, возникающим в стенах суда, для создания картины нравов современного английского общества, для выявления подлинного нравственно-психологического облика персонажей, ведущих тяжбу, и в частности тех влиятельных персон, которые предпочитают оставаться в тени, играя важную роль в исходе судебной волокиты.

Интересны в романе «Хранители мудрости» эпизоды, где освещается вопрос о работах по исследованию человеческого мозга и возможности воздействовать на него. Здесь, как и в других романах писателя, заостряется проблема о моральной ответственности ученых перед человеком и человечеством.

Живое впечатление в романах Сноу оставляют зарисовки Лондона и Кембриджа, характеристики, как беглые, так и развернутые, их обитателей. Мы с удовольствием ощущаем стихию юмора (очень колоритно обрисован, например, отец Льюиса Элиота, или бесподобный пастор Найт, или старик Гэй). Об этом, как и вообще об отдельных художественных приемах и стилистической манере романиста, можно было бы сказать очень многое.

Хочется заметить, что переводителю прозу Сноу нелегко именно потому, что она прозрачна, ясна, сдержанна и вместе с тем богата смысловыми оттенками. Надо уловить живую интонацию рассказчика, порой ироническую и саркастическую, порой согретую теплотой юмора, и тогда проза Сноу при переводе не потускнеет, а оживет, приобретет экспрессивную выразительность, точность и сдержанную эмоциональность, которая так привлекает в подлиннике. Чарльз Сноу, художник-реалист, обладающий неповторимой, легко узнаваемой манерой письма, внес значительный вклад в развитие английского реалистического романа XX столетия.

Во многих странах мира вызывают большой резонанс и выступления Сноу-публициста. Ридовская лекция Чарльза Сноу «Две культуры и научная революция» — о драматическом разрыве «двух культур» (точных наук, техники и, с другой стороны, гуманитарных дисциплин) в современном западном мире — по праву привлекла большое внимание, как и годкинская лекция «Наука и правительство», поставившая большой вопрос об ответственности ученого в современном обществе и ответственности правительств за практическое использование научных исследований. Очень содержательны суждения Сноу о красоте и истине как элементах науки. Большой интерес вызывают такие статьи Чарльза Сноу, как «Письмо американскому другу», «Великие заблуждения» и другие его публицистические работы; они воспринимаются как публицистический комментарий к его творчеству, как одно из проявлений активности писателя-гуманиста.

Обращаясь к участникам дискуссии о гуманизме, проводившейся Союзом писателей СССР и Институтом мировой литературы имени А. М. Горького, Чарльз Сноу подробно изложил в письме свою позицию сторонника активного, действенного гуманизма. Во многих интервью и беседах Сноу со всей определенностью дал понять, как близки и дороги ему реалистические традиции, как несомненна для него бесперспективность и бесплодие модернистских концепций. Непреходящая ценность для Сноу имеет наследие таких великанов, как Чарльз Диккенс или Лев Толстой, которого он считает «величайшим из романистов», а «Войну и мир» — «лучшим романом на свете»².

Чарльз Сноу не раз затрагивал в статьях, лекциях, речах вопросы моральной ответственности ученых и писателей за судьбы мира и человечества, со всей определенностью подчеркивая, какими губительными могут быть последствия термоядерной войны. Сноу принадлежит к тем представителям английской интеллигенции, кто активно поддерживает идею мирного сосуществования, содействуя установлению дружеских контактов с представителями советской страны. Кто побывал у Чарльза Сноу в гостях в его лондонской квартире на Кромвел Род, а затем на Итон Террас (в последние годы здесь были приняты многие советские писатели, литературоведы и критики), тот знает, на-

сколько широк круг интересов маститого писателя и с каким вниманием он следит за развитием образования, науки и литературы в нашей стране. Обаятельный собеседник, чутко улавливающий комическую сторону вещей и ситуаций, сэр Чарльз вносит в разговор атмосферу непринужденности, дружелюбия и веселого оживления. Беседуя с вами, он проявляет тонкое внимание и к существу и к оттенкам вашей позиции в обсуждаемом вопросе. Для него важно установить прежде всего то, что объединяет представителей сегодняшней культуры в их общих усилиях по охране мира. Ч. Сноу решительно отвергает эстетику модернизма, дегуманизацию искусства и любые попытки принижения человеческой личности. И он в высшей степени доброжелателен к тому, что делается у нас, в Советской стране, в области литературы, искусства, науки.

В Англии вышел сборник рассказов советских писателей, подготовленный Чарльзом Сноу совместно с женой, писательницей Памелой Хенсфорд Джонсон. Обращаясь во вступительной статье к английскому читателю, Сноу советует ему поближе познакомиться с теми героями и той духовной реальностью, которую открывает советская литература.

Высоко оценивая художественное новаторство М. А. Шолохова, его вклад в мировую литературу, справедливо относя «Тихий Дон» к числу великих романов, Чарльз Сноу много сделал для популяризации на Западе творчества этого выдающегося советского художника.

В самый разгар одной из антисоветских кампаний в Англии Чарльз Сноу выступил в газете «Таймс» со статьей, в которой страстно обвинял английских издателей в преднамеренном отборе и издании книг антисоветского содержания. Вместе с тем Сноу прямо указывал на тот факт, что советские издатели широко публикуют современную английскую литературу.

Голос Сноу — влиятельный, его выступления имеют немалый общественный вес, и в своем существовании они всегда направлены против предвзятости и субъективизма в оценке достижений первой страны социализма. Сопоставляя две существующих в мире системы, капиталистическую и социалистическую, высказывая свою точку зрения о возможностях двух систем, Чарльз Сноу при этом со всей определенностью заявил, что всегда желал, «чтобы система (социалистическая система. — П. Б.) имела

² Из письма к И. И. Анисимову от 25 сентября 1960 года. Архив ИМЛИ.

успех; я и теперь этого желаю так же сильно, как всегда».

Писатель-гуманист твердо верит в возможность совершенствования общественных отношений. «Я хочу сказать, — заявил Сноу в одном из выступлений, — что мы твердо верим в то, что большая часть мира может стать и должна стать лучше, и надо этого добиваться. Это совершенно ясно. И многие из моих героев, если бы они жили в обществе, система которого была бы лучше и мудрее, жили бы более счастливой

жизнью, и таланты их развивались бы шире и полнее»³.

Видный общественный и государственный деятель, ученый и писатель Чарльз Сноу безусловно принадлежит к числу крупных английских романистов нашего времени. Писатель полон энергии и творческих замыслов. Пожелаем же Чарльзу Сноу в дни его семидесятилетия больших творческих свершений.

³ Выступление Чарльза Сноу на заседании в ИМЛИ. Архив ИМЛИ.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Леонид Новиченко. Слыша этот звон... — Сурен Гайсарьян. С нежной любовью. — И. Роднянская. Прибавление к объему. — М. Домогацких. Новая встреча с Цюй Цю-бо.

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Троицкий. Биография советской столицы. — Б. Кузнецов. Мысль и внутренний диалог. — И. Дрейцер. Искусство синтеза. — Ю. Курсков. Культура Сибири за два века.

Литература и искусство

СЛЫША ЭТОТ ЗВОН...

Лев Якименко. Жеребенок с колокольчиком. Повесть. «Москва», 1974, № 8.

Осатанело воеет снаряд, гремит взрыв, хлещет лошадей ездовой, пытаюсь проскочить зону обстрела, а сквозь дым и мглу в промежутках тишины слышится тонкое «динь-динь» — это жеребенок с подвезанным колокольчиком скачет где-то вблизи, и неизвестно, пощадит ли новый удар эту навязную, хрупкую, еще ничего не ведающую жизнь...

Полусон-полубред, приходящий в госпитальную палату к Алексею Яловому, когда ему самому в просветах между приступами боли остается лишь надеяться на подспудные спасительные резервы своего организма.

Действие повести Л. Якименко «Жеребенок с колокольчиком» и разворачивается то в настоящем (госпиталь, борьба за выздоровление, приезд в Москву), то в недавно прошедшем времени. А в этом недавно прошедшем — фронт, разные люди, разные встречи и переживания молодого капитана, бывшего сначала военным журналистом, а потом боевым командиром.

Если вспомнить горьковский термин «история молодого человека», который писа-

тель распространял на многие произведения мировой классики, то можно сказать, что наша литература о Великой Отечественной войне тоже в значительной части представляет «историю молодого человека», историю, разумеется, наполненную новым содержанием. Молодые, двадцати-двадцатидвухлетние, — они ведь не только воевали, они проходили на войне в ее десятикратно уплотненной атмосфере и сложную школу формирования характера, личности, всей жизненной философии. Обстоятельства, предельно обостренные опасностями, трудностями, страданиями, жестоко учили постигать все, что требуется настоящему человеку в жизни. Недаром уже три десятилетия с таким уважением и гордостью произносятся у нас слова «фронтовое поколение».

Не удивительно, что историю этого поколения, его военной молодости, его мужания в грозных испытаниях битв рассказывают в литературе прежде всего художники, которые сами к нему принадлежат. И она, эта история, составляя неотделимую часть общей панорамы народного бытия, все время движется в своем художественном смысле-

нии, поворачивается к читателю новыми гранями, озвучивается дополнительными акцентами.

В насыщенном лирическими токами повествовании Л. Якименко на первое место выдвигаются размышления о духовных ресурсах человека, о его нравственном противоборстве со злыми силами войны. И тот общий «опыт сердца», который выносит совсем еще молодой человек из огня, из своих госпитальных мучений,—тяжким, но и бесценным будет этот опыт во всей его последующей жизни.

Студент-филолог в предвоенном прошлом, Алексей Яловой честно выполняет свой солдатский долг. Был армейским газетчиком, потом политработником; когда его поставили перед выбором, возвращаться в газету или оставаться в полку, остался и принял командование батальоном. «Не мог он уйти в эти дни из полка. Чистый, пронзительный голос вести не велел». В ближайшем бою он и отвоёвывая, получив тяжелые ранения. Событий, в общем, немного, но каждое из них, как и каждая встреча с новым человеком, накрепко отпечатывается в эмоциональной «филологической» душе молодого капитана. Очнувшись после рокового разрыва снаряда, он против собственной воли еще шепчет самому себе: «Не так! Совсем не так!» (То есть совсем не так это происходит, как с Андреем Болконским, который мог, умирая, просветленно размышлять о жизни и смерти, о других высоких предметах,—эта ассоциация в ином случае могла бы показаться натянутой, здесь же убеждает при всей ее неожиданности.) Он мужественный человек, этот молодой офицер и литератор, мечтающий написать рассказ о жеребенке, который родился на войне; но мужество Яловой — это не только безупречное поведение в бою, не только стойкое преодоление собственных страданий, но и умудренная ясность взгляда на людей и на жизнь, приобретаемая в отнюдь не ласковых к человеку обстоятельствах. Это он, полуживой, сочувствует «смертельно уставшей», изболевшей душой медсестре эвакуопоезда, которая три года возит тяжелораненых, вызывая тем самым горестное удивление с ее стороны: «Вы меня жалуете! Бедный ты мальчик! Ты не о других... О себе плакать...»

Встречи, встречи, нескончаемые встречи с самыми разными людьми, как бывает только на войне... В повести они образуют своеобразную цепочку социально-психологических типов и вариаций: через них молодой

герой Л. Якименко познает многоликий человеческий мир, живущий в напряжении военной страды, и благодаря им же, как в зеркальном отражении, мы видим внутреннее движение в самом Яловом, его мужание и закалку.

Образованный, интеллигентный Яловой, читающий в госпитале Шиллера,—и комбат Павел Сурганов, человек далекий от литературы, как будто бы чистый армейский прагматик и в то же время храбрый и дельный офицер. Живая, искренняя человечность Павла ощущается и в его заботах о том, чтобы батальон не понес лишних потерь, и в его почти «штрафной», с точки зрения начальства, но искренней и сильной любви к своей Тоньке. Память о нем сохранится для Яловаго как память о настоящем боевом друге, о человеке с крепким основательным народным характером, который обнаруживается под грубоватой внешностью. Свой след в духовном опыте героя оставляют многие люди — и в чем-то похожие на Сурганова, и являющиеся полной ему противоположностью. В их изображении и расстановке, в художественном расположении света и теней писатель трезв и правдив, что составляет одно из приметнейших достоинств повести. Война есть война — трудная, суровая, беспощадная, она ставит перед людьми огромные требования, подчас ломает их жизни, деформирует характеры; автор ничего не обходит, испытывая героя всеми «ликами» жестокой действительности, уверенно полагаясь на жизнеутверждающую силу своих конечных выводов.

Среди госпитального окружения героя — а в госпиталях Яловому пришлось повалиться немало и в почти безнадежном состоянии (угроза полного паралича) — появляется на какой-то момент, скажем, фигура отчаянного вояки из штрафников, способного на отвратительное бездушие по отношению к таким же, как и он, раненым. Натура, видимо, сверхтрудная. «Он дважды в штрафниках был... И дважды возвращал себе звание и ордена. Ожесточенный человек. Покромсали мы его тут, кишочек ему повырезали», — говорит о нем врач. Как будто в чем-то можно и понять и даже оправдать его — вот оно, одно из психологических последствий войны. Но этого оправдания ни на минуту не собираются давать ему ни герой повести, ни ее автор: мерзкая жестокость, разнузданный этический анархизм, какими бы переживаниями они ни «мотивировались», не могут быть извинимы ничем и никогда. «Не сдаваться и

не смиряться! — шепчет физически беззащитный Яловой, подавляя в себе пришедшие откуда-то «толстовские» мысли. — Перед жестокостью, силой, наглостью». Чувство, естественное для порядочного человека в любых условиях, но особенно понятное в наше время с его непримиримостью к любым попыткам оправдать антисоциальное своеволие вот таких «стихийных» индивидов.

Встречаются на пути героя повести и иные столь же неприятные типы — клеветник Мопс, к примеру, мстительный дурак Пузырьков, симулянт Корзинкин... «Из песни» их при всем желании не выкинешь, и в «воспитании чувств» молодого человека они тоже играют свою особую роль, вытравляя в герое несколько абстрактное, книжное прекраснотушное, обостряя его ненависть ко всему низкому и дурному, чуждому нравственной атмосфере советского общества.

Но зато какую науку ума и сердца получает Яловой от настоящих людей, встречаясь, общением с которыми отнюдь не обделила его жизнь на войне! Больше всех других запомнится нам, пожалуй, искалеченный молоденький лейтенант Петр Чернышев, едущий вместе с Яловым в Москву в сопровождении женщины, ставшей его женой. «Со своей подушки на Ялового смотрел лобастый мальчишка. «Ну-ну, смотри! Разглядывай!» — казалось, говорили его твердые серые глаза.

Разглядывать-то было нечего. Ни рук, ни ног. Живой обрубок...

В том, как он предложил Яловому закурить, попросил: «Аннушка, поднеси и мне», как спросил, куда следует Яловой и что собирается предпринять, было уверенное, создающее себя достоинство, не допускавшее ни жалости, ни снисхождения».

К его судьбе автор возвращается и в дальнейшем. Поскрипывая протезами, идет по коридору МГУ в сопровождении подростка-сына высокий мужчина с серыми добродетельными глазами (это уже лет через пятнадцать). Успел закончить Чернышев аспирантуру и стать преподавателем («А сейчас, простите, у меня семинар. Опаздывать не в моих обычаях»). «Как громко звучали для Ялового в те минуты торжествующие колокола жизни!»

Или немолодой колхозник из алтайского села, недавний солдат, на все руки мастер, по своей охоте «нянчивший» Ялового в течение немалого времени. Его образ, пусть и несколько бегло очерченный, вносит в по-

ведь обаяние доброго, надежного человека; человека трудолюбивого, чуткого, знающего, что «к делу одному прикипеть надобно». Михаил Афанасьевич искренне презирает суетливых, «неосновательных», загребуших — быстро такие, как он говорит, перегорают. Характер, неплохо нам знакомый по литературе, но существенный в повести именно по той сердечной зарубке, которую он оставляет в памяти героя повести.

И если добавить к этому госпитальный «сюжет» самого Ялового — его мужественной борьбы не только с физическими страданиями, но и с угнетающим чувством обреченности и безнадежности, — явственно слышим становится главный, пожалуй, внутренний мотив повести: человеческий разум и человеческое сердце против всего хаотического, стихийного и темного, того, что развязывает в сознании, в поведении иных людей война. Многообразны формы столкновения этих сил в «будничной» действительности войны, но конечный вывод всегда один: побеждает подлинная человечность, высота идейного и нравственного духа, воспитанная в людях ясными и гуманными законами социализма. И то, что герой чутко прислушивается к звону колокольчика на шее жеребенка в момент, когда человеку, попавшему под артиллерийский обстрел, можно забыть, казалось бы, все и вся, становится в этом смысле сквозным поэтическим символом повести. Так же как и мужественное принятие всей правды жизни, какой бы горькой она ни была, сформулированное Яловым в виде перифразы блоковских строк: «Сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен». На фронте и в госпитале, думает герой, все было «случайным» и все было жизнью. Слишком многое надо было бы стирать ревностному изыскателю случайного... Здесь Яловой и учится видеть жизнь во всей ее повседневной полноте, но видеть так, как подобает человеку, ясно сознающему, в чем заключаются настоящие жизненные ценности.

Немало страниц в повести посвящено светлой, чистой любви, гармонирующей с общим духовным настроением героя, любви трагически оборванной, но оставившей незабываемый след в памяти.

Завершается повесть главкой «Вместо эпилога», как мне показалось, не очень обязательной, очерково-беглой, пересыпанной «суммирующими», но не слишком яркими философскими прописями.

Вместе с первой повестью известного критика и литературоведа Л. Якименко «Куда вы, белые лебеди?», вышедшей семь лет назад, «Жеребенок с колокольчиком» представляет интересный, своеобразный вари-

ант художественной истории того поколения, чья опаленная юность была вместе с тем испытана и закалена в великой битве с фашизмом.

Леонид **НОВИЧЕНКО**.



С НЕЖНОЙ ЛЮБОВЬЮ

С. Кошечкин. Сергей Есенин. Раздумья о поэте. М. «Советская Россия». 1974. 224 стр.

Нельзя, немислимо представить себе восьмидесятилетнего Сергея Есенина. Сколько бы лет ни прошло со дня рождения поэта, он всегда останется молодым в памяти читателей. И тех, кто его видел, знал в далекие революционные годы, и тех, кто знает его лишь по стихам, по книгам.

Великие не имеют возраста. «Нежностью пропитанное слово» Есенина, его лучшие творения не утратят эстетической силы и притягательности и в будущем. Кто захочет познать, что происходило в душах людей, в мире их чувств в то взвихренное время, когда над миром разразилась Октябрьская гроза, неизбежно должен будет обратиться в первую очередь к книгам Маяковского и Есенина. Ведь в творчестве этих ныне уже не разъединяемых гитанов содержится, в сущности, единый взаимно восполняющий поэтический рассказ «о времени и о себе».

Не угасает исследовательский интерес к поэзии Есенина. О нем уже есть большая литература. Еще больше будет написано.

Вот и сейчас передо мной новая работа о поэте — маленькая, удобного карманного формата книжка. На обложке — улыбающийся Есенин. Ласковый и зоркий взгляд словно идет из самых глубин души. Строчки о «вспыхнувших взглядах», о «буйстве глаз», кажется, рождены этой неповторимой манерой всматриваться в окружающее, манерой, за которой угадывалось поистине «половое чувство».

Написана книжка с нежной любовью к поэту, с чувством глубокого преклонения перед его сверкающим талантом и с не остывающей с годами болью за короткую, трагически оборвавшуюся жизнь одного из величайших лириков XX столетия.

Автор — опытный литератор, который превосходно знает не только все созданное

Есениным, но и все, что о нем когда-либо печаталось в нашей стране.

Работа С. Кошечкина горячая, страстная, наделенная, однако, той необходимой уравновешенностью суждений, когда исключаются крайности — «улучшения» и «ухудшения» творческой деятельности поэта. От них — увы! — еще не избавлена литература о Есенине.

Это честная, прямая книга. Автор увлеченно пишет о Есенине и в то же время не находит возможным умолчать об ошибках, срывах, слабых чертах любимого поэта. «И как бы ни был трагичен его путь, счастье и радость не обошли поэта», — верно замечает С. Кошечкин, говоря о человеколюбии Есенина, о его огромном оптимизме и той суровой, беспощадной правдивости, которая позволяла ему без оговорок сказать строителям новой России:

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.

Или обратиться к будущему пророческие строчки:

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

Работа С. Кошечкина отнюдь не является очерком жизни и творчества поэта в традиционном понимании. Это свободное повествование о наиболее существенном в поэзии Есенина. Главы проходят здесь как отдельные кадры творческой биографии писателя, выхваченные ярким светом из повседневного течения жизни.

Автор опирается не только на тексты поэта, но и на многие авторитетные свидетельства, делая иногда справедливые замечания по адресу тех, кто писал о Есенине односторонне.

Живой слог, энергичное письмо, верность фактам, принципиальность в их освещении — все это невольно отмечаешь, читая книгу С. Кошечкина.

Начиная рассказ, автор проводит резкую грань между ранним, несамостоятельным творчеством Есенина и его, так сказать, «первым»; истинно «есенинским» стихотворением, считая, что таким было «Выткался на озере алый свет зари», уже отличающееся характерной образностью. В книге приводится также исправление, внесенное Есениным в это стихотворение в 1925 году при подготовке трехтомного (посмертно ставшего четырехтомным) собрания сочинений.

Эта правка, на мой взгляд, сама по себе важное свидетельство необыкновенно возросшего мастерства Есенина, момент, интересный для его творческой лаборатории. Поэт отбрасывает два двустишия, в которых есть надуманность, фальшь, они нарушают целостность стихотворения. И взамен пишет две новые строчки, придавшие лирическому чувству полную завершенность.

Сергею Есенину было присуще удивительное чувство родной земли, родного слова, наблюдательность и особый вкус к образности — качества, щедро заложенные в русском народном характере. В пейзажной лирике Есенина поражает именно эта острая наблюдательность поэта в сочетании с его живописующим, образным словом — об этом хорошо сказано в книге.

Исследователь при всей любви к поэту не склонен проявлять снисходительность к его слабостям. Он показывает ясно, что увлечение Есенина религиозной символикой привело к разным идейно-эстетическим результатам: были «Товарищ» и была «Инония» — вещи очень далекие друг от друга. Говоря о «Ключах Марии», о том интересном, что было в этом есенинском «трактате», автор не забывает, что статья содержала также положения «туманные, неубедительные, а подчас вообще неверные».

Свежо и точно пишет С. Кошечкин о есенинском имажинизме. Отзываясь с похвалой о «Пугачеве», отмечая историческую достоверность деталей, споря с некоторыми

оценками этого произведения, он в то же время видит слабость «Пугачева» в мечтательно-романтическом характере главного героя.

В книге вырисовывается сложный облик поэта — со всеми его метаниями и творческими взлетами, со смятением, сковывающим душу, и с окрыляющими душу озарениями. И, конечно, прежде всего с есенинской неуемной, бескомпромиссной искренностью, составляющей сердцевину его поэтического отношения к действительности.

Примечательно, что Есенин, будучи тончайшим лириком, стремится говорить языком сердца, писал всегда крупно, ему было чуждо то, что сейчас принято называть «мелкотемьем». Ведь все, что он писал, — это раздумья о родной природе, о родной стране, о Великой Революции, о настоящем, прошлом и будущем дне России, о месте человека в жизни при небывалой исторической ломке общественного уклада.

Впечатляющая, легко покоряющая сердце читателя есенинская лирика требует тонкого понимания. Ценно поэтому, что в небольшой по объему работе автор уделяет много внимания поэтическому искусству, мастерству Есенина, «секретам» художественности. Здесь и наблюдения над цветописью, и над звукописью, и над излюбленными эпитетами поэта.

С. Кошечкин удачно спорит с некоторыми вульгарными истолкователями есенинских стихов. В частности, он опровергает утверждение о том, будто Есенин «с очень легким сердцем» соединял один и тот же эпитет с любым определяемым. Нет уж, в бездумности Есенина никак не уличишь!

«Я понял, что такое поэзия», — писал Есенин в последний год жизни. Это признание — свидетельство все возраставшего мастерства, которое сказалось с большой силой в произведениях, написанных в 1924—1925 годах, оно сказалось и в изменившемся отношении поэта к вещам, ранее создаваемым, и в том, как он решительно отбрасывал некоторые свои юношеские стихотворения, а другие умело редактировал.

С. Кошечкин приводит еще одно характерное высказывание Есенина об искусстве поэта: «А ты сумеи улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть; вот тогда ты — мастер!» Речь идет о том, что сказанное в стихах должно быть зримым, должно создавать иллюзию реального.

Сам Есенин умел писать на редкость зримо, впечатляюще, прочувствованно. Именно это подкупает в его стихах. Естественность жеста, интонации, оттенков чувства, настроения — в основе всех лучших его вещей. Потому-то есенинские образы деревьев, полей, вечеров, луны, реки, душевных движений, чувств человека и даже животных так зримо достоверны.

Ценно и то, что созданное Есениным в книге рассматривается не изолированно, а в сопоставлении с произведениями других советских поэтов. В частности, автор убедительно показывает стремление Есенина отойти от шаблонов тех лет, когда Ленина изображали больше в «космических» масштабах, риторическими приемами. Отойти от всего этого и дать естественный образ Ленина — человечнейшего человека, решитель-

ного революционера, мыслителя, вождя народных масс.

Сергей Есенин один из тех многих, кто пришел к активной творческой деятельности на величайшем историческом переломе русской национальной жизни, на ее революционном подъеме. Но он один из совсем немногих, кому привелось необычайно раздвинуть горизонты русской лирики. Величайшая его заслуга — в дальнейшем психологическом углублении и наполнении образа русской природы в стихах, в правдивом и тонком поэтическом изображении душевной жизни человека, «лирического чувствования» в эпоху огромных социальных взрывов и потрясений. Эти заслуги Есенина бессмертны.

Сурен ГАЙСАРЬЯН.



ПРИБАВЛЕНИЕ К ОБЪЕМУ

Александр Кушнер. Письмо. Стихи. Л. «Советский писатель». 1974. 95 стр.

Александр Кушнер. Прямая речь. Стихотворения. Лениздат. 1975. 110 стр.

О слава, ты так же прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами.
Как в парк повернувший последний трамвай, —
Уже и не надо. Не стоит. Прощай!

Над этим не мешает задуматься. Поэтическая позиция Кушнера действительно была чревата драматизмом непризнания и полупризнания. Когда-то он отправился в дорогу, доверчиво сообразуя свой шаг лишь с объективной, обобщенной мерой российской стиховой речи и не загадывая, что за ближайшим поворотом.

Я видел подлость и беду.
Но стих прекрасно так устроен,
Что вот — я весел и спокоен,
Как будто я в большом саду.

Тогда в пору было принять беспечную радость путника, все снаряжение которого — образцовая воспитанность глаза и уха да счастливый прирожденный навык сразу усваивать любое впечатление ритмически и рифмически, минуя нестиховое внутреннее слово, — в пору было принять эту радость попадания в такт за поверхностную невозмутимость. Дескать, все досталось поэту из вторых рук — понаслышке и по чужой прорисовке: и звучный «стопный» стих, ограниченный полуторавековой работой

избранных мастеров, которые сначала отличили его форму, а потом расковали его звучание и словарь, открыв двери для щебета шипящих и для непредвиденности прозаизмов; и виртуозная скользящая подвижность интонации: вверх, вниз, по едва заметным пригоркам перечислений, вправо, влево — вслед за тонко прочерченными изгибами фетовской и пастернаковской «строчки короткой», без перенапряжения, преткновения, без ритмических сломов и задыхающихся переносов; и вся культурная панорама города на Неве с его окрестностями, столько раз воспетая, что как будто одного только именованного достаточно, чтобы пробудить дух поэзии — гуляя себе по цивилизованному, безопасному заповеднику красоты, благодушеству.

Между тем «классическое» равновесие стиля и впечатлений с самого начала было воспринято поэтом как явление сверхличное, внеличное и потому неподражательное, как «склад, что в жизни есть», широкий поток, заимствующий свою красоту от облаков и деревьев. Влиться в неиссякающее течение, продолжить его и продолжиться в нем («К этим сотням и тысячам круглым твоим приплюсую десяткам», как скаже позднее поэт) — в этом, собственно, и за-

ключалось первое своеобразие Александра Кушнера.

Впоследствии изменяется топография и разлет жизненного пространства, и очертания стиха, все более уходящего от летучей краткости; чувства осложнятся противочувствиями. Но все это — даже в «Письме» — останется внутри «классически» общезначимого строя, того стиля литературной культуры, в пределах которого любая тема неуклонно мыслится как вечная, любая сиюминутность — как соотношенная с историческими прецедентами, любой привидевшийся сон — как навязчивый миф, что грезится многим человеческим поколениям.

На таком устойчивом фоне у поэта обостряется чувство органических сдвигов, чуткость даже к малым перестановкам, подстроенным течением времени («Повторяется все: устремления, и сны, и рычанье чудовищ. А по-моему, лишь элемент новизны интересен и стоящ!»). Но для читателя знаки накопленного традицией постоянства существенней, виднее, чем «элемент новизны». Сам же Кушнер не дает в руки собеседнику и адресату стихов никакой подсказки относительно своей лирической «миссии» или «роли», не отчуждает от себя идеализированного, легендарного, так сказать, «двойника», способного завладеть воображением читателей.

Но здесь, как мне кажется, и разгадка «места» Кушнера, не окончательная («Ты, как марка, еще не погашен. Не дописано даже письмо»), но ориентирующая. Он во-скресил «частного человека», столкнув его участь с необозримым культурно-историческим, географическим и космическим пространством и побудив читателя не к приподнимающему отождествлению с «Поэтом», а к сомышлению и соседству с равным по уделу собеседником, к своего рода «обмену опытом».

Отсюда (ссылаюсь на примеры главным образом из «Письма») напряжены между «классичностью» общих контуров стиха Кушнера и будничной сниженностью его словесной интонации: она берет в легчайшие кавычки любое высокое литературное слово и не дает заложенным в строю «вечного» стиха ораторской патетике и мелодическому распеву прорваться сквозь сетку житейских «вот», «как будто», «что ли», «если честно разобраться», сквозь обиходные и профессиональные «мелочи», точно указывающие на место, время и даже на «социальное положение» автора. И вообще Кушнер охотно сообщает о своих поэти-

ческих занятиях как о частном деле в условиях прозаического быта у лампы за «теплым столом», посреди дальних командировок, сборов на дачу, вперемешку с переводами («...подстрочник выглядит, как ребус... но как нам дух перевести?») — и все это для него всегдашняя правдивая «изнанка» столь же правдивого в своей общезначимости классического культурного «мифа», тем более загадочная, что, как в ленте Мебиуса, «нет между ними черты» («Пряжка, Карповка, Смоленка, Стикс, Коцит и Ахеронт»).

Отсюда же проблематичное противостояние громадных вопросов о жизни, смерти, свободе, одиночестве и общении, славе и любви, движении истории, судьбах человечества — вопросов, для постановки которых создан поистине «великий совет», потревожены тени Пушкина, Достоевского, Тютчева, Баратынского, Толстого, и сугубо личных, живо-мучительных применительно к себе, к частному своему случаю попыток ответить на эти вопросы без итоговой звонкости и завершающего аккорда. В одном из стихотворений Лев Толстой с его «арзамасским ужасом» посмертного исчезновения оказывается просто «проезжим» (хотя и «покрепче нас») постояльцем провинциальных номеров, которому, как и «нам» (мне, «командировочному» поэту, и тебе, читателю), случалось «очнуться на клейменной простыне гостиничной, со швом посередине». С тем же ограниченным успехом — для разгадки собственной жизненной задачи — можно примериться к приятелям, соседям, к трудностям и их жизни: «Я к друзьям загляну — и у них, и у них те же трещины, та же борьба. Хорошо иногда подсмотреть у других то, что общая дарит судьба».

Отсюда, наконец, двойное пространство стихов Кушнера: большой обзор под легкооблачным импрессионистическим или завихренным небом — и малая деталь интерьера, почти насильно приближенная к глазу. Первоначально эти две перспективы не были расщеплены. Пролеты ленинградских улиц, сады и багряный кирпич окраин, переливы Невы на солнце, просторное небо и облако на нем, ажур листвы, тихое падение снега, воздушный очерк ветвей и оград, влажное и вольное дыхание жизни («сырая эта красота»), свет в окне как знак человеческого присутствия и душевности; «скатерть, радость, благодать» — таков был поэтический ландшафт первых книжек поэта.

Затем две точки обзора мучительно и противоречиво наложились друг на друга, обнаружив несовместимость, разрыв: взгляд из купе поезда за окно на головокружильный бег туч, далее, станционных огней — и одновременно на окно, «с этой стороны стекла, где сохлась муха»; безмерность и запертость, неостановимое движение «на мировом ветру» — и прикованность к месту.

В «Письме» двоение жизненных обзоров, их непостижимое перекрещивание, этот везде наступающий стык большого и малого, исторического и личного пространства времени, становится для Кушнера источником драматического ощущения жизни:

Как будто мы в бинокль взглянули
С увеличением многократным
И вдруг его перевернули
С пренебрежением непонятым.
Какой роман такое чтение
Способен выдержать — не знаю,
Такой фавор и отдаленье?
Я как про Мянниха читаю.

С этой поры очертания «большого» пространства, его география, топографические меты, фактические мемориалы смещаются в причудливых маршрутах ночного «заблудившегося трамвая», все чаще размываются снежной пеленой, усугубляющей неизмеримость расстояний, сливаются в «немыслимом круженье по равнине».

А в малом житейском купе, в его заслоняющих даль крупных планах, как пожизненный, вплоть до Аида страж, — «диван, потрепанный на вид, его «расставивший капкан нитяной узор»: «...как боюсь я вот таких диванов, скрытых тех пружи н».

Меняется самый способ ориентировки, передвижения и общения: от летней прогулки среди достопримечательностей «большого сада» (книжка «Ночной дозор») к бегу поезда по безответному простору (в «Приметах») и к письму. «Письмо» — символ кратчайшего, сквозь все дали, общения и вместе с тем подающей о себе весть затерянности: ведь отправитель и получатель летучей почты не покидают своего очерченного места. Мир его переписки огромен: и с читателем-другом и с благородными умами русского XIX столетия, которые в обход законов естества шлют почтовое ободрение из посмертного «ослабленного существования» («Конверт какой-то странный, странный...»); но все письма раз-

ложены и перетасованы на «тесном столе».

Мне кажется, эта затерянность среди равнин географии и истории у Кушнера чувство не мелкое, не теснящее робко к обочине; оно заслуживает искреннего выражения и осмысления. Ведь у поэта и впрямь перед глазами вся огромность судеб нашей страны под необозримым куполом космоса:

Мигают звезды на приколе.
Россия, опытное поле,
Мерцает в смутном ореоле
Огней, бегущих в стороне...

Кушнер избегает понятного соблазна вписать в этот общий, с бескомпромиссной широтой захваченный жизненный план условную участь «поэта вообще»: «...прямой поступок — вот реальность». У него честный и точный глазомер, острое чувство масштаба, требующее мужества:

Ночь за окном синее смутно.
Должно быть, время наше трудно.
Но думать было бы абсурдно,
Что были легче времена.
А хоть и были. мы — не дети,
И мы рассчитаны — на эти.
Не мы, тогда никто на свете
Их не снесет...

(«Отказ от поэмы»)

Любовная тоска и память о смертном часе, сквозящие во многих строках и еще больше в любой недомолвке «Примет» и «Письма», а в последнем сборнике звучащие уже с открытостью «прямой речи», — это все же рельефный фон внимания, проявители и усилители поэтической мысли, поставленной перед лицом крайностей. Внутренняя же мысль, многопредметно-разветвленная, непрестанно возвращается к тревожному вопросу — о чем? «Боюсь сказать: о смысле жизни», о ее путеводных ветках и связях. И день за днем убегающий скупом отмеренным век с желанным и нежеланным трудом, «неудавшейся любовью»; пересудами друзей, семейными заботами, самолюбивыми обидами и ответственное участие в общем ходе бытия и культуры, в подъятии большой исторической и современной ноши — эти два жизненных «отчета» где-то должны совместиться, дав истинное «прибавление к объему». Вот предмет поисков.

Иногда смысловая связь только мелькает и меркнет, как шифр, к которому еще нет

ключа, как смутное касание исторического к обыденности личной драмы:

И безумный над бездной застыл истукан,
Связью связанных жуткой
С серебристой цистерной, везущей метан,
И искусственной шубкой.

Однако поэту ведомо наперед, что всеобъемлющая «точка истины», точка пересечения «частной» жизни, природно-космического бытия и исторически-значимого деяния, существует, и он, грустя, что не находит ее, и радуясь, что она достоверно есть, созывает для совместного раздумья синклит своих «корреспондентов» и «адресатов».

Эти вечные счета, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики,
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом — расходы.

То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный — зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?

Эта жизнь так дешево и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегаёт, наоборот!
Свет осенний и зыбкий...

Снова дикая кошка бежит по пятам.
Приближается время платить по счетам,
Все страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам —
И не будет пощады.

Все равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!

Стихотворение представляется ключевым. Как и везде, Кушнер адресуется к «нашим гениям» не столько за ответами, сколько за примерами. Он и цитирует всегда с любовью-приближающей иронией, как бы воскрешая, извлекая из-под «культурного слоя» исходную житейскую ситуацию, примеривая к ней свою («Уж не роняет больше, обронил продрогший лес убор свой знаменитый...», «так Баратынский с его пироскафом...» — здесь также процитирован блоковский «железный век»). Вопрос, как свети концы с концами, встает и перед «нашими гениями» и перед «нами» и в элементарном (не отмахнуться!) и в духовном значении: хозяйственный, а то и карточный

долг — и нравственно-творческая душевная отдача («...то, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде»). «Время платить по счетам» — двойное, частное и историческое время, омонимически совмещенное. А просьба: «Покажи, от чего начинать нам отсчет», обращена не только к наследству «наших гениев», но и к тому постоянно присутствующему в стихах Кушнера лицу, к тому обладателю «круглых сотен и тысяч», которого поэт сделал, так сказать, своим космическим корреспондентом и высшим сотоварищем в радостях, неурядицах и бедах. Этот собеседник страдает («... как вы, как вы, как вы!»), сострадает («...сам в пылу внушенья, как сердобольный врач, нуждаясь в утешенья»), даже винится, но вместо ответа гонит по ветру медные кроны под необъятным небом своего «выстуженного дома»: «...каких нам еще доказательств его роковых замешательств?»

Итак, ответа не слышится, ответ не добыт, но есть манящий обнадеживающий намек на самую возможность ответа — «послушная рифма», чудо сложения стихов как знак того, что все пласты жизни «в конце», в конечном итоге сопрягутся, срифмуются (с живой «неправильностью» Кушнер, ликующе провозглашая точность рифмы, на самом деле дает ассонанс: «рифма — цифра»). Поэту представляется, что непредвиденный рифменный лад, возникающий из нескладницы текущего дня, не эстетическая иллюзия, а весть о скрытом единстве и скрытой устроенности жизни, весть, которую он, «уничтожая расстояние», обязан как бы и не от себя передать другим.

Именно в «Письме» Кушнер, кажется, находит собственный эквивалент крупной формы — продолжительное раздумье в строгой оправе больших строф, позволяющих передать и объемность мыслей и их прерывность, не укладывающуюся в линейный сюжет, продвинутого от впечатления и переживания к осознанной коллизии идей. Так написаны уже цитированные «Отказ от поэмы», стихотворение «Письмо» и «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки» — тройная опора книги, придающая ей качественную новизну. Ими как будто еще раз представлены все три символа местонахождения «частного человека» в многомерном пространстве жизни: в первом — «поезд», во втором — «письмо», в третьем, как конечный прорыв в движение — стремительная прогулка. Но неожиданно твердое «мы» («мы — не дети»), прямота обращения, яс-

ность посылает как никогда прежде требовательно и уверенно влекут совместно развернуть «свиток памяти», втяже соединить ночные мысли «о смысле жизни», не пугаться большого времени, накопленного большим пространством: «Вот свобода. Только руку протяни».

Поэтическое «мы» в «Письме» тем и ценно, что сберегает читателю эту свободу, не избавляет «где-то в отдаленье» живущего собеседника от собственной, личной ноши, а терпеливо нащупывает связь взаимовнимания.

А новый сборник «Прямая речь», предвещает ли он взаимное сближение поэта и читателя?

Сюда вошел рассеянный по разным страницам цикл о «прощании с любовью», о «круженье над мостом гибели», написанный с откровенностью, требовательно рассчитывающей на сердечное эхо. Откликнуться на стихи, что «всенародно касаются сердечных тем», читателю всегда проще, внушения чувства, выраженного без метафорических околичностей («прямая речь» как параллель «прямому поступку», воспетому в «Письме»), обладают властью над любым из нас. Недаром поэт, стремящийся наделять каждую из своих книжек единством «погоды», единым чувственным, «атмосферическим» тоном, выбрал здесь как эмблему, конечно, в противовес зимней стуже «Письма», «Черному морю во льду», неслыханно томительную «ашхабадскую» жару в Ленинграде, сухой пух и ржавчину на влажной обычно листве, пыл, переходящий в выжженность.

Ты думаешь, что ты стихи читаешь,
Прочтешь строку и, вздрогнув, перечесть,
Ты руку в боль чужую погружаешь
И горяча ль, на ощупь узнаешь.

«Подсохла рана. И следы высохли, я в море — та же сушь. И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана, улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж... О жизнь, наполненная смыслом и любовью, хлынь в эту паузу...»

Среди «горячих» и «сухих» стихов, заполняющих «эту паузу, этот перебой», в звездный час творческой удачи написаны «Прощай, любовь!» и «Взметнутся голуби гирляндой черных нот...» — длинные лирические вещи на линии «взамен поэмы». Совершенно новый тон — надрывной сдержанности, лихорадки в тисках мысли, — найден благодаря резкому ритмическому рисунку разноstopных ямбов, которые чудом

не обращаются в хаос, а сбегаются в строфы, не лишенные странной певучести. В этих вещах при острой их интимности все еще сохранена та анфилада смыслов, та расширяющаяся перспектива значений, когда (прибегну снова к автокомментарию поэта) «комната, двор, сад, город, пригород, вся страна выстраиваются в сквозной ряд».

Но есть примечательная группа неожиданно новых стихов, где личная ситуация — скажем, ошеломленности, пригвожденности к месту, паузы и перебоя — превращается в ситуацию экспериментальную; где от читателя требуется уже не отзыв, не соразмысленные даже, а усилие расшифровки. За него обещано вознаграждение: «Ты перечтешь меня за этот угол зренья. Все дело в ракурсе, а он и вправду нов». Построение такое: взгляд, безвольно застывший на случайном предмете, разлагает его с навязчивой пристальностью, между тем как мысли неотступно кружатся над минувшим, вообразимым, памятным. Вот пример — из лучшего в этом роде:

На шелковой подкладке зыбь морская.
Широк покров, и сумрачен фасон.
Несбыточное сбывсья принуждая,
Чего мы добиваемся, Язон?

Полоска меж горами и волною.
Захламленная жизнью, так узка:
Покрепче надавить, нажать рукою —
Отвалится, как кромка от куска.

Зачем же я из мрака вызываю
Любимый образ, лезу, как в петлю,
В глухой откат, по смоченному краю
Хожу, как тень, и ракушки давлю.

Возьму одну: зубчатая щербинка,
Сырая сыпь прилипшего песка.
Моя любовь, твоя, Язон, овчинка...
Что не сбывлось, что сбудется... Тоска!

Здесь один ряд — горестное, лунатическое, как по канату, хождение по извилистой кромке прибой, другой — отдельный ток мыслей все о том же, о несбывшемся счастье; точка пересечения — раковина, машинально поднятая и поднесенная к глазам, она сравнивается с золотым руном аргонавтов и, значит, с любовью. Разгадка нетрудна, «настроение» создано, но необязательность, случайная однократность связей превращает восприятие именно в «догадку», от которой получаешь чуть прохладное удовлетворение. Поэтическое достоинство стихотворения для меня несомненно. И все же...

Хотя «слиства и ветр», шумевшие еще в ранних стихах Кушнера, укрывали старый романтический символ золотой арфы (в том смысле, в каком сказано: романтизм — это душа), это не мешало поэту оставаться в пределах объективной жизненной и культурной меры, создающей единство и общность, что имела яв в виду, говоря о его «классичности». Путь к прустовским импрессионам, путь «от позднего Пастернака к раннему» (я подбираю почетные, но вместе с тем и тревожные аналоги), какие бы

«новые ракурсы» он ни сулил и как бы ни привлекал коллекционеров красоты, — этот путь означал бы для поэта некий надлом, уход из завоеванного им ранее смыслового пространства. Избавится ли поэт от соблазна «пристальной» ворожбы? От этого ведь зависит и союз Кушнера с нужным ему читателем — с тем, у кого «и вздох, и выдох, и боль, и просто жизнь — в цене».

И. РОДНЯНСКАЯ.

НОВАЯ ВСТРЕЧА С ЦЮЙ ЦЮ-БО

Цюй Цю-бо. Избранное. Перевод с китайского. М. «Художественная литература». 1975. 224 стр.

Передо мной томик избранных произведений Цюй Цю-бо, любовно составленный и переведенный М. Шнейдером. Я вспоминаю, как впервые читал почти все эти произведения на китайском языке, вспоминая, как много слышал об этом удивительном человеке за годы работы в Китае...

У Цюй Цю-бо необыкновенная судьба. Его тридцати шести прожитых лет хватило бы на несколько жизней — так богат был событиями каждый год.

Я часто видел его: в комнате дочери в Пекине, у известного писателя Мао Дуя, в квартире-музее классика китайской литературы Лу Синя в Шанхае. У него была густая высокая шапка волос над лбом мыслителя, острый взгляд добрых глаз за стеклами больших круглых очков, тонкое одухотворенное лицо интеллигента.

Но за многие годы жизни и работы в Китае я не обмолвился с ним ни одной фразой, потому что видел его только на портретах. Я приехал в Пекин через восемнадцать лет после его гибели в гоминьдановских застенках.

Очень хотелось узнать получше, каким же был он в жизни — писатель, революционер, коммунист Цюй Цю-бо, один из немногих китайцев, который слушал выступления Ленина, разговаривал с ним и оставил потомству изумительно человеческие страницы воспоминаний о великом вожде.

Ду Ин, дочь Цюй Цю-бо, кажется, большую часть жизни прожила в Советском Союзе. Здесь она росла, училась, здесь у нее было много друзей. Я и познакомился с Ду Ин в Москве, в Кремле, когда члены Политбюро ЦК КПСС встречались с пер-

вой делегацией китайских журналистов. Делегацию возглавлял замечательный человек — историк, драматург, поэт Дэн То, бывший тогда главным редактором газеты «Жэньминь жибао». Ду Ин была хорошей журналисткой. Вместе с мужем Ли Хэ, в то время корреспондентом газеты «Жэньминь жибао» и агентства Синьхуа, они выпустили интересную, быстро ставшую знаменитой в Китае книгу «Московские репортажи». Это была книга друзей. Они рассказывали о наших великих стройках, о героях трудового фронта, вели читателя по аудиториям Московского университета, заглядывали в лаборатории, рассказывали о чувстве сердечной искренней дружбы, которое питали советские люди к только что победившему в долгой революционной борьбе китайскому народу.

Но все это было потом, а тогда, в Кремле, мы обошли все его дворцы и соборы, сфотографировались и у Царь-пушки и в Грановитой палате, и я вдруг случайно узнал, что женщина в белом пуховом платке, говорившая по-русски, как коренная москвичка, — дочь Цюй Цю-бо, одного из выдающихся китайских революционеров. Тогда поговорить о Цюй Цю-бо нам не пришлось: не было времени. Мы условились о встрече.

Но встретились не скоро, только через шесть лет, в Пекине. Ду Ин позвонила по телефону и сказала, что они с Ли Хэ вернулись домой. В Москву поедет другой корреспондент. К тому времени Дэн То уже не был редактором «Жэньминь жибао».

Шел 1959 год, тяжелый год для Китая. Бесперывные собрания по исправлению всяких «стилей» продолжались иногда сутками. Каждый должен был рассказывать

что-либо плохое о себе, «вскрывать свою сущность», писать на себя «дацзыбао», нещадно сечь себя за ошибки.

Встретившись с Ду Ин, я не узнал ее. Она была нервной, беспокойной, все время поглядывала на дверь и окна. «Она очень больна, — сказал муж. — Переживает». Он не пояснил, из-за чего она переживает. Оказывается, в закрытых документах уже шла критика Цюй Цю-бо как «предателя», потому что он был сторонником коминтерновской линии в партии.

Постепенно Ду Ин успокоилась, стала улыбаться, вспоминать Москву. Я попросил ее рассказать об отце.

Из соседней комнаты Ду Ин вынесла большую бамбуковую катушку с бумагами. Там были черновики каких-то статей, фотографии, небольшая брошюрка с автографом Лу Синя и отличная фотография Цюй Цю-бо.

Я перебирал бумаги, старался разобраться в бегущей китайской скорописи, а Ду Ин или Ли Хэ читали мне некоторые тексты, рассказывали, каким необыкновенным человеком был Цюй Цю-бо.

Ему было двадцать два года, когда он приехал в Москву корреспондентом пекинской радикальной газеты «Чэнь бао» («Утренняя газета»). Это была единственная газета, которая писала правду о русской революции, о том, что происходит в России.

Ду Ин снимает с полки томик сочинений Цюй Цю-бо и медленно читает:

«Юнец с Востока, возвращенный на древней, насчитывающей несколько тысячелетий культуре, в период широкого и повсеместного распространения популярных идей и знакомства с ними, не сумев преодолеть самого себя, вышел в открытый мир и невольно закружился в водовороте событий. Так он оказался в несущемся, словно стремительный поток, бурлящем, как водопад, краю, где идет противоборство двух культур. На юнца с Востока, исполненного страстных надежд, хрупкого, слабого телом и духом, обрушилось все многообразие новых впечатлений, новых звуков. От столицы нового Красного государства далеко-далеко окрест растекаются сверкающие лучи длиной в десять тысяч чжанов, оттуда в грядущие тысячелетия несутся могучие звуки. Красная столица уже стала, несомненно, величайшей вышкой мира, отражением всего и вся».

Автору было в это время двадцать два года. Через полгода он вступит в коммуни-

стическую партию, а пока подготовил первый сборник репортажей о Москве, корреспонденций о красной России. Эссе, как мы сказали бы теперь, о революции и литературе.

Как корреспондент «Чэнь бао» Цюй Цю-бо присутствует на III конгрессе Коминтерна. «На конгрессе, — напишет он, — несколько раз выступал Ленин. Он свободно владеет немецким и французским языками, говорит вдумчиво, уверенно, держится просто, в нем нет ничего от университетского профессора. Настоящий политический деятель — прямой и непреклонный. Как-то я встретился с Лениным в коридоре. Мы беседовали несколько минут...»

Эти несколько минут определяют всю жизнь молодого Цюй Цю-бо. Он будет много думать о Ленине, будет вести революционную работу, жить на нелегальном положении, бороться за партийность литературы.

В четвертую годовщину Октября Цюй Цю-бо приезжает в бывшие мастерские «Динамо». Он, как всегда, в массе рабочих, быстро знакомится с людьми, расспрашивает их, рассказывает о себе.

Цюй Цю-бо присутствует на торжественном собрании. Он так опишет его в своей книге:

«Все в приподнятом настроении. Но вот на трибуну поднимается Ленин. Зал устремляется вперед. Кажется, что молчаливому изумлению не будет конца. Однако тишина длится недолго: ее раскалывают крики «ура», аплодисменты, сотрясающие небо и землю...»

Взоры рабочих прикованы к Ленину. Затанув дыхание они слушают его речь, стараясь не пропустить ни единого слова...»

В феврале 1922 года Цюй Цю-бо вступает в Коммунистическую партию Китая и до конца жизни, будучи с III съезда КПК членом Центрального Комитета, борется за интернационалистскую линию в партии, за ее марксистско-ленинскую направленность. В Шанхайском университете он читает лекции по научному социализму и философии. В это же время он переводит на китайский язык пролетарский гимн «Интернационал». В архивах гоминьдановской охранки чудом сохранилась запись о Цюй Цю-бо, сделанная 18 июня 1935 года: «Когда на него направили винтовки, он запел «Интернационал»...»

С началом революции 1925—1927 годов Цюй Цю-бо переходит на нелегальное положение. В подполье он редактирует боевую газету «Жэсюэ жибао». Если бы удалось

собрать все статьи, написанные Цюй Цю-бо в эти годы, получился бы большой том страстных революционных произведений, оказывавших огромное влияние на современников.

С борьбой революционного народа Цюй Цю-бо связывал будущее своей родины. Он не мог предположить, что через тридцать лет после гибели от рук гоминьдановцев его объявят «предателем», разобьют на куски надгробный мраморный памятник, надругаются над его именем. В вину поставят выступления на VI съезде партии и VI конгрессе Коминтерна. Почти за сорок лет до «культурной революции» Цюй Цю-бо предупредил об опасности национальной ограниченности некоторых руководителей КПК того периода, которые пытались доказать, что марксизм «не подходит» для Китая.

Еще студентом Пекинского института русского языка он пробует силы в переводе художественных произведений, а позже, вернувшись из Москвы, жадно примется за переводы русской литературы — Л. Толстого, Тютчева, Лермонтова, Гоголя, — выпустит книгу «Русская литература до Октябрьской революции». Потом подарит китайскому читателю «Цыган» Пушкина, «Сказки об Италии» и главы из «Жизни Клим Самгина» Горького. Вместе с Лу Синем он будет руководить Лигой левых писателей Китая, которая объединит революционных писателей и переводчиков. Лу Синь и Цюй Цю-бо составят список произведений советской литературы, которые необходимо выпустить на китайском языке: стихи и поэмы Маяковского, «Железный поток» Серафимовича, «Разгром» Фадеева, рассказы Павленко. Лу Синь будет переводить «Мертвые души» Гоголя, Цюй Цю-бо — вдохновенный рассказ о Данко, пламенным сердцем своим осветившем людям дорогу из мрака. Этот образ был особенно дорог Цюй Цю-бо.

Цюй Цю-бо переводил ленинские статьи о Толстом и о партийности литературы, а под их влиянием писал собственные критические произведения, поддерживая революционных писателей.

Мне часто приходилось встречаться с Мао Дунем, крупным писателем, бывшим тогда министром культуры. В одну из встреч мы разговорились о Цюй Цю-бо.

Мао Дунь рассказал, как он впервые прочитал его короткое стихотворение в прозе «Туча». Прочитал в рукописи. «Может, одна, может, две странички иероглифов, —

вспоминал писатель. — но я был потрясен смелостью автора. Как он ненавидел мрачный гоминьдановский режим, который он назвал зловещей темной тучей. Вот послушайте. — У Мао Дуня был глуховатый голос, но он четко произносил каждое слово. — Послушайте: «Неужели ночи не будет конца? Когда же наступит рассвет? Но взгляните на вдруг мелькнувшую радугу. Молитвы здесь ни при чем. Самим надо стать громовержцами. Там, где мелькнула радуга, чуть слышно прогремел гром, свернула неяркая молния. Но она прорвала черную, как воронье крыло, тучу, и солнце снова показало свой лик — краснее меди. Только могучий и грозный гром в силах согнать свинцовые тучи и мрачную мглу со всего небосвода. Такое нам будет под силу тогда лишь, когда сами мы станем богами грома, богинями молнии. Так пусть же чуть слышный удар грома станет могучим и грозным раскатом!... Я перечитывал «Тучу» раз десять подряд. Ее идея была очень близка мне, можно сказать, сам жил теми же надеждами: как быстрее разогнать темную тучу, душившую наш народ. Но еще большее впечатление произвело на меня другое произведение Цюй Цю-бо, «Перед бурей». Это был открытый призыв к революции, к борьбе. Как «Буревестник» Горького. Идея очистительной бури присутствовала тогда во многих произведениях молодых писателей, работавших под влиянием Лу Синя... Потом я читал статью Цюй Цю-бо о Лу Синь, — вспоминал Мао Дунь. — Это было предисловие к сборнику избранных произведений нашего великого писателя. О нем уже много писали. Писали друзья и враги. Но так, как Цюй Цю-бо, не говорил еще никто. Он первый заявил, что Лу Синь своим творчеством, тесно связанным с жизнью и борьбой народа, занял выдающееся место в истории китайской и мировой литературы».

В сборник «Избранное» включен отрывок из письма Цюй Цю-бо к Лу Синю в связи с выходом в свет фадеевского «Разгрома» в переводе китайского писателя. «Издание таких книг, как «Разгром», «Железный поток», и целого ряда других произведений, — писал Цюй Цю-бо, — следует считать обязанностью всех революционных китайских писателей. Каждый боец революционного литературного фронта, каждый революционный читатель должен отметить как праздник эту победу — пусть пока маленькую, но победу... Читая «Разгром», я, как, вероятно, и Вы сами, испытываю необычайное волне-

ние: я люблю эту книгу, как любят своих детей. Любовь эта, несомненно, приумножит наши силы и энергию, поможет нам развернуть во всю ширь нашу работу, которая еще только начинается...»

Так писал Цюй Цю-бо в декабре 1931 года, когда в Китае начинали создаваться революционные базы. Он вновь вернется к «Разгрому» и свяжет судьбу левинсоновского отряда с судьбой революции в Китае. «Отряд Левинсона потерпел «разгром»... Но за ним шло множество других отрядов. Мы знаем, однако, кому сейчас принадлежат Сибирь и Приморье. Разгромленными наголову оказались в конце концов белогвардейцы и вооруженные силы японского империализма. «Разгром» Фадеева отвечает на вопрос, почему это произошло».

Верой в силы своего народа звучат и сегодня слова Цюй Цю-бо, написанные сорок четыре года назад: «Китайские Левинсоны уже родились и продолжают рождаться. И хотя в Китае еще очень много алчных псов, охочих до чужого добра, они уже обречены на верную гибель».

Я листаю свои старые журналистские блокноты и нахожу такую запись: «Цюй Цю-бо был человеком, наделенным многими талантами. Яркий писатель, замечательный литературовед, критик, переводчик, политический работник. И все, что он делал, он делал с полной отдачей сил. Он оставил заметный след в истории нашей культуры. Недаром великий Лу Синь, узнав о гибели своего друга, сказал: «Цюй Цю-бо убит, но его творения уничтожить невозможно: они бессмертны». Это слова из беседы с профессором Цао Цзин-хуа (в 60-е годы он был деканом факультета русского языка в Пекинском университете) 18 июня 1955 года, в двадцатую годовщину со дня гибели Цюй Цю-бо».

В свое время я побывал в Жуйцзине — столице самого крупного советского района в Китае. Там в 1931 году была провозглашена Китайская Советская Республика, которая стала знаменем борьбы всех революционных сил Китая. Там Цюй Цю-бо стал ректором Советского университета, организовал Театральное училище имени М. Горького, создал Лигу левых журналистов Китая. В то напряженное время, рассказывали мне участники событий, Цюй Цю-бо был настоящим факелом новой культуры. Он не знал, что такое усталость, работая в самой гуще народа.

Он не ушел в Северо-западный поход в октябре 1934 года из-за слабого здоровья. ЦК партии оставил его заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК КПК по провинции Цзянси, где тогда бурно развивались революционные события. Вместе с Фан Чжи-мином, легендарным революционером, Цюй Цю-бо вел титаническую организаторскую работу, поднимая народ на вооруженную борьбу с гоминьдановскими полчищами. 23 февраля 1935 года в одном из военных столкновений с гоминьдановцами он попал в плен. Имя Цюй Цю-бо было хорошо известно не только друзьям, но и врагам. Гоминьдановцы обещали ему высочайший пост в государстве, «свободу творчества», лишь бы он перешел на их сторону. Цюй Цю-бо гордо отвечал: «Всю свою жизнь я отдал революции. Теперь я арестован и меня ждет смерть. Пусть я умру, но на мое место встанут сотни миллионов, чтобы идти дальше».

Его пытали. Он выдержал и пытки. Враги не могли оставить в живых человека, чье слово поднимало людей на подвиги. Так оборвалась героическая жизнь талантливого литератора-революционера.

Не раз с ним, уже расстрелянным, пытались разделаться гоминьдановцы, сжигая его книги. Но слово, сказанное Цюй Цю-бо, обладало магической силой воздействия.

Память о нем пытались уничтожить и хунвэйбины, когда сровняли с землей могилу. Оправдывая свои кощунственные дела, они писали в специальной листовке «Покараем Цюй Цю-бо»: «В процессе разрушения могилы предателя бойцы руководствовались указаниями председателя Мао: «Развивать дух героической борьбы, не бояться жертв, не бояться усталости и продолжать борьбу»...» Это делали юнцы, которые не знали, что творят, не знали уже, над кем издеваются. Вина за это лежит на людях, которые мстили Цюй Цю-бо за верность революционному знамени, за дружбу и любовь к Советскому Союзу.

Советский читатель, получив томик избранных произведений Цюй Цю-бо, будет несомненно рад новой встрече с удивительным человеком, вся жизнь которого была связана с китайской революцией, с Советским Союзом, с великой мечтой о счастье для своего народа. Об этом он постоянно писал. За это он боролся. За это отдал свою жизнь.

М. ДОМОГАЦКИХ.



Политика и наука

БИОГРАФИЯ СОВЕТСКОЙ СТОЛИЦЫ

История Москвы. Краткий очерк. М. «Наука». 1974. 515 стр.

Города, как и люди, имеют свою биографию, которая всегда связана с судьбами народа и его страны. У одних она короткая, насчитывающая всего несколько лет или даже месяцев; «возраст» других исчисляется веками, а то и тысячелетиями. Одни из них имеют богатое прошлое, другие только строятся, и, возможно, их ожидает славное будущее. Но есть города, которые играли в древности и ныне играют выдающуюся роль не только в судьбах своей страны, но и многих государств мира. Обращение к их прошлому, запечатлевшему многотрудный творческий и славный опыт народа, всегда поучительно, ибо оно позволяет лучше понять закономерности экономической, политической и культурной истории всей страны.

Среди многих замечательных городов Советского Союза, чья древняя и сегодняшняя слава давно перешла рубежи нашей Родины, особое место занимает Москва. Ее по праву называют сердцем России. История этого города, начавшего играть огромную роль в исторических судьбах всей страны вскоре после своего возникновения и ставшего столицей России, а позже и многонационального Советского государства, особенно ярко выражает связь веков и поколений, героiku прошлого и социалистическую новь нашей Родины, устремленной в коммунистическое завтра.

О Москве существует колоссальная литература, принадлежащая перу дореволюционных и советских авторов. Богатое прошлое главного города нашей Родины и его выдающаяся роль в современной жизни страны постоянно привлекают внимание не только профессиональных историков, но политических и общественных деятелей, писателей, поэтов, художников, архитекторов, скульпторов, композиторов, создавших огромное количество произведений о Москве или описавших ее в своих воспоминаниях.

Однако до недавнего времени в обширной литературе о Москве отсутствовали серьезные научно-популярные книги, рассчитанные на широкие слои читателей и дающие сжатое изложение истории города от его возникновения и до наших дней. Ныне этот пробел в отечественной историогра-

фин устранен: издательство «Наука» выпустило в свет однотомную «Историю Москвы»¹.

Научное и общественное значение этого издания трудно переоценить, так как история столицы Советского Союза — тема близкая и глубоко волнующая для миллионов читателей не только в нашей стране, но и за рубежом. С Москвой связаны весь героический путь нашей великой Родины, все победы и достижения Страны Советов. На ее примере трудящиеся всего мира впервые увидели, каким должен быть политический центр социалистического государства.

Несмотря на ограниченный объем книги, основные моменты более чем восьмивековой истории Москвы освещены достаточно полно и глубоко, на широком историческом фоне, так как создатели однотомника обобщили и творчески переработали накопленные дореволюционными и особенно советскими учеными данные о прошлом столицы нашей Родины. Этому во многом способствовало и то, что авторский коллектив нашел правильное соотношение между общерусским материалом и данными по истории главного города страны. В результате история Москвы предстает перед читателем как концентрированная история России. Это, в свою очередь, позволило авторам показать более ярко и выпукло ведущую роль столицы во всех областях экономической, политической и культурной жизни страны. В книге органически сочетаются строгая научность и ясность в освещении сложных исторических вопросов с доступной широкому читателю формой изложения огромного конкретного материала.

Около половины объема отведено освещению истории Москвы в эпоху феодализма и капитализма и примерно столько же — истории города в советское время. В целом можно согласиться с таким распределением материала в однотомнике по периодам, ибо оно позволило более полно показать те гигантские изменения, которые произо-

¹ Ответственный редактор — С. С. Хромов, члены редколлегии: Ю. И. Кораблев, А. К. Мельниченко, А. А. Преображенский, Т. А. Седыванов, А. М. Сяницын.

шли в столице нашей Родины за годы советской власти.

В главах «На заре истории», «За единство русских земель», «Столица единого русского государства», «В заре антифеодальных восстаний», «Под властью крепостников-помещиков», «Предреформенные десятилетия» (авторы — А. А. Зимин, А. А. Преображенский) содержится интересный, насыщенный яркими фактами и колоритными деталями рассказ о возникновении Москвы, происхождении ее названия и последующей судьбе города в эпоху феодализма. Новейшие данные свидетельствуют о том, что действительная история Москвы началась задолго до ее первого упоминания в русских летописях под 1147 годом. Авторы убедительно обосновали глубокую и верную мысль о том, что «не волею того или иного князя, а трудом ремесленника и крестьянина создан был вначале маленький, а затем крупнейший город России».

В рецензируемой книге приведены многочисленные данные, показывающие процесс превращения Москвы в крупнейший центр ремесла, промышленности и торговли страны, который имел торговые связи со всеми русскими землями, а также с Литвой, Польшей, Германией, Крымом, Кавказом, Турцией, Ираном, Средней Азией. Постепенное перерастание ремесла в мякое товарное производство привело к тому, что в XVII веке Москва стала центром складывающегося единого национального рынка.

Будучи центром формирующейся русской нации, Москва в XIV веке возглавила борьбу за объединение русских земель в единое русское государство, а позже сплотила в его составе многочисленные народы нашей страны. Авторы односторонне показали роль Москвы как организатора борьбы русского народа против татаро-монгольского ига, а позже против разорительных набегов Крымского ханства и Турции, агрессии польских и шведских феодалов, наполеоновской Франции.

Многие страницы «Истории Москвы» посвящены истории классовой борьбы трудового населения столицы, не раз выступавшего против различных форм социального гнета, особенно в «бунташном» XVII веке. В следующем столетии на борьбу с эксплуататорами стали подниматься и рабочие люди московских мануфактур, устраивавшие стачки и забастовки.

Несомненной удачей является то, что авторам удалось показать крупный вклад столицы русского государства в развитие общественной мысли и культуры национального государства. Читатель найдет интересные сведения о складывании общерусского центра летописания в Москве, возникновении и развитии книгопечатания, открытии первых высших учебных заведений — Славяно-греко-латинской академии и университета, — издании первой газеты «Ведомости» и о других событиях культурной жизни города, а также о деятельности всемирно известных художников Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия, замечательных зодчих, артистов, музыкантов, классиков русской литературы.

В главах «Москва капиталистическая», «Рабочие Москвы на баррикадах», «На пути к победе Февральской революции» (автор — Ю. И. Кирьянов) прослежено становление черт капиталистического города. К началу XX века «вторая столица» Российской империи была крупнейшим промышленным, торговым и финансовым центром, связанным 10 железными дорогами с основными районами страны. Численность жителей Москвы в это время превысила миллион человек. Хотя к XX веку сильно выросло значение металлообрабатывающей промышленности, Москва в целом продолжала оставаться «ситцевой» столицей России.

С развитием капитализма заметно менялся внешний облик города: в нем строились красивые дома, появляются булыжные и асфальтовые мостовые, керосиновые, газовые, а затем и электрические фонари на улицах, водопровод, канализация, телефон, конка и сменивший ее в XX столетии трамвай. Одновременно в Москве углублялись присущие капитализму резкие социальные контрасты между сравнительно благоустроенным центром, где жили буржуазия, чиновничество, верхушка интеллигенции, и многочисленными окраинами, где были сосредоточены промышленные предприятия и в невероятно тяжелых условиях ютилось большинство трудового населения. Царские власти не проявляли заботы о каком-либо улучшении положения жителей городских окраин. Не случайно один из сотрудников газеты «Раннее утро» саркастически писал в 1911 году о том, что «не позднее чем через 500 лет Москва будет по внешнему виду вполне столичным городом, который сможет выдержать срав-

нение со своими нынешними зарубежными товарищами».

В рецензируемой книге уделено большое внимание освещению общественного движения в городе и истории революционной борьбы московского пролетариата, показано изменение форм борьбы: от стачек, демонстраций и манифестаций к вооруженному восстанию в декабре 1905 года. Внимание читателя привлекают насыщенные конкретным материалом страницы однотомника, на которых рассказано о подъеме революционного движения в конце XIX — начале XX века, работе первых марксистских групп и кружков, организаторской деятельности В. И. Ленина и созданной им партии большевиков.

К несомненным удачам может быть отнесена глава книги, повествующая о незабываемых и героических событиях революции 1905 года в Москве. На сравнительно небольшой площади этого очерка показано нарастание накала классовой борьбы трудящихся масс в стране против царизма и буржуазии и превращение Москвы в сентябре — октябре 1905 года в центр революционных событий в России, приведшей в декабре 1905 года к вооруженному восстанию московского пролетариата под руководством большевиков.

Раздел по истории Москвы в эпоху капитализма завершается содержательным очерком, в котором показаны назревание Февральской буржуазно-демократической революции и большая организаторская работа партии большевиков, возглавивших борьбу московского пролетариата за свержение власти царизма и использовавших для политического воспитания масс легальную печать, стачки, забастовки, демонстрации, профсоюзы, кассы взаимопомощи.

Третий, наиболее обширный раздел однотомника посвящен истории Москвы в эпоху социализма. В очерках «В борьбе за власть Советов», «Столица Советского государства» (автор — Г. С. Игнатъев) подробно рассказано о ходе революционных событий в 1917 году, завершившихся замечательной победой московского пролетариата.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции начался принципиально новый этап в истории Москвы. Это во многом было связано с тем, что в марте 1918 года сюда переехали из Петрограда Совнарком во главе с В. И. Лениным и Центральный Комитет партии большевиков. Москва стала столицей первого в мире

государства рабочих и крестьян, его политическим центром.

Конкретные данные показывают огромный вклад Москвы в создание Красной Армии и организацию разгрома внутренней контрреволюции и иностранных интервентов в 1918—1920 годах. Добровольцами ушли на фронт многие руководители городской партийной организации, члены Моссовета, секретари райкомов, тысячи рядовых коммунистов, свыше одной пятой московских комсомольцев. В тяжелых условиях гражданской войны и иностранной военной интервенции, еще более усиливших разруху, рабочий класс Москвы сумел наладить производство необходимых Красной Армии товаров, снаряжения. Весной 1919 года столица Страны Советов стала родиной первых коммунистических субботников, которые, как писал В. И. Ленин, «имеют громадное историческое значение»². Тогда же были предприняты первые шаги по улучшению жилищно-бытовых условий трудящихся города, открыты для их детей двери всех школ и вузов.

В середине 20-х годов в основном был восстановлен довоенный уровень промышленного производства и достигнуты значительные успехи в благоустройстве столицы. Особенно подробно, и это закономерно, рассмотрены в книге история технической реконструкции промышленности Москвы и развитие городского хозяйства в годы первых пятилеток, что позволило авторам однотомника показать огромные преимущества социалистического строя. В книге уделено много внимания той борьбе, которую вели московские большевики с троцкистами и правыми уклонистами, отстаивая генеральную линию Коммунистической партии на построение социализма в СССР.

За годы пятилеток Москва превратилась из столицы «ситцевой» в крупнейший индустриальный центр Советского Союза. Лишь в первой пятилетке в городе было построено и реконструировано 76 металлообрабатывающих предприятий, создана мощная энергетическая база. Москва начала производить такую продукцию (станки, автомобили, самолеты, турбины, насосы, подшипники, искусственный шелк, электроаппаратуру и многое другое), которую ранее страна ввозила из-за границы. В годы первых пятилеток столица стала родиной многих видов и форм массового социалистического соревнования

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 18.

за повышение производительности труда, которые затем были подхвачены трудящимися всего Советского Союза.

В рецензируемой книге впечатляюще рассказано об изменении внешнего облика столицы. О масштабах проделанной работы красноречиво говорит лишь один пример: за пятнадцать предвоенных лет для благоустройства Москвы было сделано гораздо больше, чем за все восемь веков ее существования. В городе появились тысячи современных комфортабельных жилых домов, больниц, школ, детских садов и яслей, десятки кинотеатров, театров. В 1935 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) утвердили Генеральный план реконструкции Москвы. Было построено лучшее в мире метро. В 1937 году введен в действие канал Москва — Волга. В 1938 году завершена реконструкция центра столицы и начаты работы по благоустройству других ее районов.

Еще в 1920 году великий друг Страны Советов Ромен Роллан с восхищением писал: «Я удивляюсь колоссальной творческой энергии и силе организации Российского Советского правительства. Москва сейчас — умственный центр всего мира». Весь приведенный в книге материал, как нам представляется, чрезвычайно ярко иллюстрирует эту глубокую мысль замечательного писателя и гуманиста. Со времени победы советской власти до начала Великой Отечественной войны, то есть менее чем за четверть века, в столице СССР были достигнуты колоссальные успехи в развитии науки и культуры, которые действительно стали достоянием трудового народа. В 1941 году в вузах и техникумах Москвы было гораздо больше учащихся, чем в Англии и Германии, вместе взятых. Город стал всесоюзной кузницей научных и педагогических кадров. Авторам удалось хорошо показать, что Москва сыграла выдающуюся роль в развитии культуры и науки всей страны, особенно в ранее отсталых национальных окраинах, способствуя тем самым сплочению народов и укреплению их дружбы. В эти годы ученые Москвы не только обогатили своими трудами отечественную и мировую науку, но и активно участвовали в изучении и освоении природных богатств самых различных районов Советского Союза.

В главе «Москва военная» (авторы — А. Д. Колесник и А. М. Сеницын) показаны большая политическая и организаторская работа Коммунистической партии и Советского правительства по укреплению обороны

Москвы, а также замечательный вклад трудящихся столицы в победу над гитлеровской Германией. Сотни тысяч москвичей строили оборонительные укрепления на подступах к городу, охраняли его от налетов фашистской авиации, а затем добровольно вступили в ряды народного ополчения и Красной Армии. У стен столицы были наголову разбиты отборные дивизии гитлеровского вермахта. Трудящиеся Москвы сделали исключительно много для обеспечения Красной Армии оружием, боеприпасами и другим снаряжением. Москва стала «живым примером несгибаемой воли к победе, мужества и веры в будущее». Спокойный и уверенный голос Москвы звал на борьбу против варваров XX века, вдохновляя народы антигитлеровской коалиции и оккупированных стран. Ратный и трудовой подвиг жителей столицы в Великой Отечественной войне Советского Союза был высоко оценен Родиной — Москве присвоено почетное звание города-героя.

В главах «Годы завершения строительства социализма» и «В авангарде строителей коммунизма» (авторы — К. И. Буков, А. Н. Пономарев, Д. В. Дягилев) дана широкая панорама мирной жизни города начиная с послевоенных лет и до наших дней. Авторы совершенно правильно уделили главное внимание тому новому, что характерно для современного этапа в истории советской столицы. В книге подробно освещена разносторонняя деятельность трудящихся Москвы, которые под руководством партийных советских и профсоюзных органов успешно работали над выполнением новых пятилетних планов, благодаря чему достигнуты выдающиеся успехи в развитии науки и промышленности в городе. В этих главах наглядно показана ведущая роль рабочего класса Москвы в рационализации производства, совершенствовании технологии и повышении производительности труда. Именно московские рабочие были инициаторами многих всесоюзных начинаний, таких, как скоростное резание металлов, досрочное выполнение личных годовых и пятилетних планов, переход на часовой график работы, движение за коллективный ударный коммунистический труд и других. В ускорении технического прогресса важную роль играют ученые столицы. В Москве плодотворно работает многочисленный отряд советской интеллигенции, который вносит большой вклад в развитие литературы и искусства всей страны, активно помогает Коммунистиче-

ской партии воспитывать народ в духе патриотизма и интернационализма.

Успехи в развитии промышленности Москвы позволили еще шире развернуть работы по ее благоустройству. В последней главе книги читатель найдет многочисленные цифры и факты, характеризующие рост территории и численности населения города, а также гигантские масштабы работы по увеличению жилищного строительства в столице, улучшению социально-бытового и культурного обслуживания ее жителей, которая приобрела особенно широкий размах в два последних десятилетия. Не случайно символом современного массового жилищного строительства в нашей стране и за рубежом стали Черемушки — название одного из новых жилых массивов Москвы. В 1971 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили новый Генеральный план развития города. В нем намечена обширная программа роста и благоустройства столицы на двадцать и более лет, предусматривающая превращение Москвы в образцовый коммунистический город.

Авторскому коллективу удалось кратко, но чрезвычайно емко и выразительно показать широкие международные связи столицы Советского Союза и ее огромную роль в судьбах всего человечества, в борьбе за сохранение и упрочение мира во всем мире. «Москва, — писал выдающийся деятель мирового коммунистического движения Г. М. Димитров, — стала мозгом и сердцем мировой демократии, воплощением всего лучшего на земле, надеждой и опорой угнетенных всего мира». Конкретный материал книги полностью подтверждает справедливость этой высокой оценки международной роли столицы Советского Союза.

...Знакомство с содержанием краткого очерка по истории Москвы со всей очевидностью свидетельствует о том, что его авторы и редакторы создали ценную, интересную и патриотическую книгу, которая будет содействовать воспитанию чувства глубокой гордости и уважения как к славному прошлому столицы нашей Родины, так и к ее замечательному настоящему.

Рецензируемая книга привлечет внимание широкого читателя не только богатством содержания, но и прекрасным полиграфическим оформлением (художник — Г. В. Дми-

триев). Создатели «Истории Москвы» выпустили книгу как подарочное издание, снабдили ее нарядной суперобложкой и включили в текст 206 умело подобранных иллюстраций, которые усиливают познавательное значение очерка и оживляют изложение материала.

В заключение хотелось бы отметить некоторые недостатки и недочеты этой интересной и нужной книги.

При чтении одномоментно сразу заметно, что книга написана неровно. Авторам не во всех случаях удалось найти яркую и живую форму подачи большого и сложного материала. Иногда они сбиваются на сухой пересказ фактических данных, и тогда изложение утрачивает живость и образность.

Можно пожалеть и о том, что некоторые разделы главы по истории науки и культуры в советское время носят излишне общий, «перечневой» характер: вряд ли массовый читатель-неспециалист может конкретно представить вклад многих лиц в развитие науки или культуры на основании длинного списка имен и фамилий. Не лучше ли было бы в ряде случаев сократить эти перечни и кратко рассказать о том, как были сделаны те или иные открытия, какое они имеют значение для науки и практики?

Думается также, что в отдельных случаях, несколько не снижая общего высокого научного уровня рецензируемого издания, можно было бы несколько разгрузить книгу от фактов и цифр и привлечь мемуары, воспоминания и дневники современников, а также данные по истории быта населения Москвы, которые позволили бы оживить изложение материала и ярче раскрыть суть тех или иных явлений.

Наши критические замечания, а точнее, пожелания для второго издания краткого очерка по истории Москвы касаются главным образом способа подачи большого и сложного материала и не колеблют общей высокой положительной оценки рецензируемого издания. Эту книгу с интересом и пользой для себя прочтут в Советском Союзе и за рубежом люди, интересующиеся героическим прошлым и настоящим столицы нашей Родины.

С. ТРОИЦКИЙ,
доктор исторических наук.

МЫСЛЬ И ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ

В. С. Библиер. Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога). М. Политиздат. 1975. 399 стр.

В наше время вопрос «что есть творчество, в чем его смысл, тайна, оправдание, соблазны, опасности?» встает с особенной остротой. И самое характерное — этот вопрос становится не столько предметом общих деклараций и восклицаний (это было всегда), но сам превращается в предмет творчества.

В литературе тайны творчества, даже его технология все более проникают в самое средоточие писательского интереса. Эти проблемы нередко теснят традиционные «треугольники» любви и ненависти, или, точнее, по-новому поворачивают эти извечные основы художественной «геометрии», создавая «неевклидову геометрию» человеческой души. Бесконечное самонаблюдение (как я это делаю? как у меня это выходит?) иной раз разрушает (вспомним ту сороконожку, которая стала выяснять, как она ходит, и... разучилась ходить), а иной раз решающим образом обновляет искусство.

Не знаю, легче ли от этого писателю, художнику, композитору, но свидетельствую: та же проблема «как протекает процесс творчества?» становится важной проблемой непосредственных творческих усилий ученых, предметом их пристального внимания. Исследования, посвященные ей, появляются во всех сферах современной науки, философии, логики, больше того — эта проблема оказывается, на мой взгляд, одной из самых сокровенных «тайн» современной научно-технической революции.

Теория физики все больше становится теорией «изобретения физических теорий». Вопрос, который раньше интересовал только психологов или «физиков на отдыхе», «физиков мемуарной поры», сегодня волнует ученых с первых их шагов в науке, с непримиримых и максималистских годов научной юности, годов самой активной и эффективной работы. Для Бора или Эйнштейна тайны творчества столь же актуальны, как и тайны пространства или тайны атома. В современной теории элементарных частиц вообще трудно отличить, где кончается теория теории и начинается физическая теория в собственном смысле слова. А математика наших дней? Проблемы обоснования математики, исследование ее начал стали сейчас центром

всей — самой сложной и специальной — «архитектуры математических дисциплин»: и теории групп, и теории множества, и современных топологических представлений. И так везде, во всех сферах знания, хотя, конечно, в логике в первую голову. Впрочем, о логике речь пойдет дальше.

Где-то рядом с исследованием тайн творчества независимо, а может быть, навстречу идет другой столь же всеобъемлющий процесс: писатели, исследователи культуры, философы, логики, психологи, даже физиологи высшей нервной деятельности уделяют все больше внимания проблеме диалога, полифонии мышления. Здесь и великолепные исследования М. М. Бахтина, который понял многое в Достоевском, в культуре средневековья, в истории романа, в истории всей целостной культуры человечества, анализируя суть и значение диалогической формы мышления, творчества, деяния. Здесь и современные психологические исследования, начатые замечательными работами советского психолога Л. С. Выготского, посвященными внутренней речи. Здесь и исследования современной физиологии, выясняющей решающую роль «диалога» правого и левого полушарий головного мозга (теоретика и поэта) в работе человеческого интеллекта. Здесь и интереснейшие работы по истории и теории науки, в которых ключ «диалога» раскрыл значительное число замков, казалось, запертых навечно, — хотя бы книги И. Лакатоса, в том числе переведенная у нас работа «Доказательства и опровержения».

И вот книга В. Библиера «Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога)». Работа эта примечательна в нескольких отношениях. Во-первых, в ней органически сливаются те два потока, о которых было сказано: анализ творческого мышления раскрывается как анализ внутреннего мысленного диалога. И соединение этих потоков неожиданно сделало, казалось бы, чисто философскую (я бы сказал, углубленно философскую) работу важной и интересной в более широком смысле — для истории культуры, для художественного мышления; для самовоспитания человека. Во-вторых, неожиданна, плодотворна та смелость и радикальность, с которой завязан в этой книге узел «мышление — твор-

чество — логика — культура диалога». В. Библер ставит проблему так: для того, чтобы обосновать логику какого-то движения мысли, необходимо обосновать исходные начала этого логического движения — скажем, те самые аксиомы, из которых я исхожу в своем доказательстве. Но эти начала нельзя уяснить при помощи той логики, которая сама исходит из этих начал. Необходима некая иная, вторая логика, которая рождается, когда наше обычное мышление обращается на самое себя и хочет себя понять. Эта вторая логика не может быть какой-то новой, но также «монологической». Для ее обоснования и самопознания понадобится еще одна логика, еще одна — и так до бесконечности. Выход один: когда я обращаю свою логику на нее самое, когда я начинаю спорить с основаниями, собственной мыслью, то моя логика становится, если использовать удачный неологизм В. Библера, «диалогической», логикой спора — логикой спора логик. И такая ситуация особенно актуальна в переходные, переломные эпохи, в периоды коренной научно-технической революции, когда переосмысливаются самые исходные начала теоретического движения. А наше время — именно такая эпоха. Потому сегодня, говоря словами В. Библера, «логика творчества» может и должна быть понята в единственно возможной форме — в форме «творчества логики». Этот исходный тезис и этот исходный парадокс, поставленный в кратком вступительном параграфе «Исходное утверждение», В. Библер подробнее формулирует во втором, ключевом для всей книги параграфе. «Логика должна обосновать собственное начало — стать «диалогической». Здесь автор анализирует парадоксы теории множеств и другие проблемы современной научной теории. И вдруг оказывается, что проблемы эти отнюдь не носят чисто специального, узкого характера. Они существенны для каждого из нас, в какой бы области мы ни работали, если только мы задумываемся над сутью и началами своего дела.

Далее, В. Библер последовательно развивает эти утверждения, раскрывая их значение в истории мышления Нового времени, в истории культуры, в анализе теоретических и художественных текстов и так далее.

В первой части книги исходная гипотеза В. Библера получает дальнейшее развитие. Перед читателями впервые раскрывается «Ума Палата» — иначе говоря, совет ос-

новных внутренних собеседников, в мысленном споре которых развивалась культура Нового времени.

Во второй части («Быть теоретиком... По ту сторону текста») автор осуществляет своего рода рабочий опыт — реконструирует этот мысленный диалог по тексту (или отталкиваясь от текста) теоретика-классика, создателя классических теорий Нового времени. Автор застает мыслителя в тот момент, когда он «изобретает» свои идеи, строит свои теоретические здания. Основной герой этой части — Галилео Галилей.

Проблема внутреннего Собеседника, точнее многих внутренних собеседников, в споре с которыми живет и развивает свою мысль каждый мыслящий человек, — эта проблема оказывается в книге В. Библера живой, плодотворной, лично значимой для самых различных читателей. Тут я перейду еще к одному моменту, который мне показался весьма существенным в этой книге. Диалог и его законы — это не только основной предмет работы В. Библера: это одновременно основная форма чтения самой книги. Уже с первой страницы начинаешь спорить с автором, относить его мысли к своим работам, к своим проблемам, возникают встречные гипотезы и предположения, и автор книги все более становится собственным внутренним Собеседником читателя.

Поэтому мне и хотелось дальше рассказать, может ли историк науки воспринять многие идеи В. Библера в контексте своей проблематики. Вероятно, такое намерение не приведет к слишком узкому взгляду на книгу. Автор сам постоянно апеллирует к истории науки. Но воздействие современной науки не затеняет у Библера преемственной связи концепции мысленного диалога с проходящей через всю историю философии (и более того, через всю историю культуры) идеи раздвоения мыслящего человека, констатации парадоксальных утверждений, которые звучат в его сознании и оспариваются внутренними репликами. Так, соотнесение своих утверждений с Эйнштейном и Бором не мешает автору книги видеть и анализировать историко-философские истоки концепции внутреннего диалога. Наоборот, современная наука поднимает, усиливает, конкретизирует эту сквозную концепцию. Беспрецедентный темп современного научного прогресса разрушает иллюзию неподвижной науки, демонстрирует динамизм науки, ее незатающую производную во времени — то, что

соединяет прошлое с настоящим, а настоящее с будущим. Их соединяют сквозные проблемы, которые каждая эпоха получает от предыдущей и передает будущему. Нашему современнику как никогда раньше близко то, что движет науку, этот постоянный внутренний диалог, в котором и состоит живая душа развивающегося познания.

Раскрытие внутреннего диалога и есть, как я уже сказал, задача книги В. Библера. Стиль мышления автора соответствует этой задаче. Он все время возвращается к истории философии, но для него эта история не последовательность монологов, а непрерывный спор, не накопление позитивных ответов, а вопросы, на которые философская мысль отвечает, тут же обнаруживая недостаточность ответа. Он видит в истории философии возникновение новых парадоксов, раздвоение субъекта познания, его беседу с собой. Особенно интересны для нового стиля историко-философского анализа параграфы, посвященные величайшему мыслителю XV века Николаю Кузанскому. В. Библер обнаруживает в философии этого кардинала римской церкви начало перехода к новой логике, и вместе с тем в ней выявляется та диалогичность средневекового мышления, которая ведет к переходу в Новое время. «Кузанский осуществлял страшную, мучительную работу: он доводил средневековый Ум до наибольшей выявленности, осознанности, парадоксальности и тем самым до той предельной грани, где определения этого Ума начинали высветиваться как пред-определения Ума иного, логики иной (Нового времени, классического разума)». «Ум», о котором говорит Кузанский, это определение интеллекта, когда он переходит от одной логики к другой, это разум, который не только идет вперед, но углубляется внутрь самого себя, меняет свои каноны, создает новую логику. Лаплас говорил, что разуму трудней погружаться в самого себя, чем идти вперед. Однако современная наука — это движение разума вперед, которое, как правило, почти непрерывно сопровождается таким погружением, перестройкой логики. Все, что пишет В. Библер о подобных моментах преобразования, о транслогических переходах («логических революциях»), покажется современному ученому очень близким. Но это отнюдь не изложение современных коллизий на языке философии и ее истории, а раскрытие тех исторически сквозных проблем, без констатации которых невозможно понимание современной науки.

Действительно, историко-философские экскурсы стали необходимым компонентом современного познания. Напомним о двух критериях выбора физической теории, о которых Эйнштейн писал в 1949 году: внешне оправдании (согласованности теории с эмпирическими данными) и внутреннем совершенстве (логическом выведении теории из наиболее общих принципов, то есть естественности теории, не требующей дополнительных, искусственных допущений). Но поскольку современные теории меняют самые общие принципы и самую логику теоретического анализа, условием их внутреннего совершенства становится выявление разума в его переходах к новой логике, выявление исторической эволюции логики, выявление принципов перехода, анализ векового историко-научного диалога, того, что В. Библер называет «диалогикой».

Квантовая механика не только иллюстрирует «диалогикку». Изложение ее априорий в рамках концепции внутреннего диалога — это не простой перевод (впрочем, бывают и «простые» переводы?), а уже некоторая ее интерпретация. Квантовые понятия теряют смысл без классических, классические понятия в квантовой механике теряют смысл без квантовых, налицо диалог двух логик, и чем больше квантовая механика и неклассическая наука в целом выявляют свое принципиальное отличие от классической науки XVII — XIX веков, тем отчетливее мы видим единый сквозной, свойственный и древности, и средневековью, и Возрождению, и Новому времени внутренний диалог развивающейся науки.

Ее парадоксы, ее коллизии, ее «диалогика» воплощают фундаментальный диалог познания и бытия. Познание движется по однозначным логическим рядам от одного вывода к другому, этот путь как бы исключает непосредственное чувственное восприятие объекта познания. С другой стороны, непосредственное восприятие кажется несовместимым с логическим анализом. Но они — логика и непосредственное восприятие — невозможны друг без друга. Внешнее оправдание, эмпирия, чувственные восприятия не только подтверждают логические конструкции, но вторгаются в них, меняют их логику, выявляют противоречащую ей «антилогику», без которой данная логика не может существовать. «Логика возможного (в идеализации) «классического предмета», — пишет В. Библер, — возникает в целенаправленном отрицании

некой иной, невозможной (для классического понимания) логики бытия. Но для такого отрицания сию «невозможную логику» природного бытия необходимо каким-то образом знать (хотя знать ее вне логики теории невозможно). Бытие «классического объекта» определяется на фоне многозначной (всевозможной) неопределенности бытия».

Подобная характеристика классической мысли появляется в неклассической ретроспекции. В классической науке «антилогика» — это то, что нужно устранить, чтобы определить данную логику, подобно тому как, по замечанию Родена, скульптура — это глыба мрамора, откуда удалили все лишнее. В неклассической науке «антилогика» сохраняется, без нее неклассические понятия теряют смысл, логика и «антилогика» оказываются дополнительными.

Когда-то М. А. Марков говорил, что квантовый объект напоминает кентавра — он частица и волна. Чтобы объяснить такой дуализм, нужно приписать волне совсем особый смысл: амплитуда волны — это непрерывно меняющаяся от точки к точке и от мгновения к мгновению вероятность встречи с частицей, вероятность ее пребывания здесь — теперь. Такое толкование волнового уравнения связано с изменением логических норм. Физика Аристотеля требовала логики с двумя оценками — «истинно» и «ложно». Объясняя движение тела, нужно ответить на вопрос о его пребывании в естественном месте, утверждение о пребывании может быть либо истинным, либо ложным. Квантовая логика обладает тремя оценками: «истинно», «ложно», «вероятно». Это тривалентная, трехзначная логика. При этом если на вопрос о пребывании частицы в определенной точке мы даем все более определенный ответ, то есть приближаемся к бивалентной логике, то на вопрос о ее скорости приходится давать все менее определенный, все более тривалентный ответ. Перед нами не просто новая логика, а диалог между двумя логиками.

Что дает подобным соображениям о квантовой логике концепция Библера, идея мышления как внутреннего диалога? Эти соображения перестают быть специально придуманными, введенными, как говорят, ad hoc, они обретают внутреннее совершенство, они естественно вытекают из весьма общих определений человеческого мышления. Вернее, внутреннее совершенство приобретают не высказанные только что логические конструкции, а сама идея пере-

менной логики, характерная для квантовой механики, для неклассической физики в целом, для современного стиля научного мышления. Квантовая механика — лишь наиболее отчетливое применение «диалогички» диалога, спора, взаимодействия различных логик.

Такой диалог, такое взаимодействие раскрывает творческий характер познания и его свободу. Логика научного мышления отображает бытие, его противоречия и парадоксы, но она не является пассивным рефлексом непосредственного эмпирического постижения бытия. Раздваивающийся, беседующий сам с собой субъект познания творит новые и новые конструкции, и, как это ни парадоксально звучит, такое свободное творчество раскрывает объективную, независимую от субъекта существующую истину. Но субъект свободен и от самого себя — он смотрит одновременно и на противостоящее ему бытие и на самого себя. «Отсюда, — говорит Библер, — из раздвоенности, двупозиционности, расщелины внимания, человек может и должен смотреть со стороны на себя самого, сомневаться в себе. Его внимание к миру оказывается антиномически противопоставленной самой себе формой самовнимания, самопознания». Внимание человека к миру — это вместе с тем и самовнимание, и преобразование самого себя, и преобразование объекта познания. В. Библер приводит высказывание В. И. Ленина: «Деятельность человека, составившего себе объективную картину мира, изменяет внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (= меняет те или иные ее стороны, качества) и таким образом отнимает у нее черты кажимости, внешности и ничтожности, делает ее само-в-себе и само-для-себя сущей (= объективно истинной)» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 199).

В книге В. Библера мы встречаем очень важный переход от основных проблем теории познания и логики к одному из фундаментальных понятий экономической теории Маркса. Мышление — это творчество, оно активно и свободно. Оно меняет свой предмет и самое себя. Для Нового времени характерно раздвоение активности сознания, разделение изменений объекта познания и изменений его субъекта. Создается антиномия, противопоставленность всеобщего труда и совместного труда. Определение этих понятий дано в «Капитале», где Маркс определяет всеоб-

ший труд как научный труд, открытие, изобретение. «Он обуславливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников. Совместный труд предполагает непосредственную кооперацию индивидуумов» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25, ч. 1, стр. 116). Совместный труд ассоциируется с преобразованием внешнего мира, с производством изделий, а всеобщий труд — с производством научных и эстетических ценностей, с преобразованием субъекта познания. Можно было бы показать, что результатом всеобщего труда служит изменение технических и экономических показателей, характеризующих производство, изменение субъекта познания, возрастание творческого потенциала субъекта. Вообще говоря, всеобщий труд и совместный труд переходит один в другой, но в капиталистическом обществе они противостоят друг другу. В книге В. Библера говорится об их антиномии, их противостоянии, ограничении всеобщего труда духовным производством. В таком отношении всеобщего и совместного труда Библер видит важнейшую основу того исторического феномена мышления, который он называет «теоретиком-классиком».

Эта тема развивается в трех очерках, составляющих вторую часть книги «Мышление как творчество». В первом из них определяется угол зрения — ситуация, создавшаяся в 70-е годы XX века. В наше время только складывается новый тип логики, новый диалог разума с самим собой. Мыслитель, субъект познания, субъект коренного преобразования своего собственного мышления и своей деятельности выступает «против» себя как объект такого преобразования. Этот еще только назревающий тип «диалогичности» и служит отправной точкой всей реконструкции. Второй очерк содержит разбор «теоретика-классика» как образа культуры, а в третьем очерке такой разбор продолжается на основе анализа творчества Галилея.

В заключение — об эстетической концепции, связанной с идеей внутреннего диалога.

В точках перехода к новой логике, в точках, где уже нет непрерывного ряда однозначных выводов, логика обладает «эллипсисом», некоторым интервалом, где мысль уже не идет от одного вывода к другому, где она сразу охватывает целое. Это и есть точки, которые Библер назвал «точками

Кузанского». Это «точка», похожая на то мгновение, о котором писал Моцарт; мгновение, когда слышишь сразу всю еще ненаписанную симфонию. Мышление продолжается, но оно перестает быть объектом наблюдения. «Наблюдатель», субъект наблюдения, не может понять, как он пришел к некой истине. Но это и есть поэтическое видение мира. Внутренний диалог не может происходить без таких «эллипсисов», без, если отбросить философский псевдоним, поэтических озарений. Но «точки Кузанского» всегда сопровождают мыслительную деятельность. Поэтому, заключает Библер, «каждый мыслитель — поэт».

И наконец о стиле В. Библера, не о стиле мышления, а о литературном стиле.

В книге много неологизмов. Но ни на минуту не возникает впечатления об их нарочитости. Они необходимы. Если философская работа поднимает действительно новые проблемы, она не может ограничиться употреблением старых терминов и вынуждена создавать новые. Библер делает это очень сдержанно. Иногда неологизм чрезвычайно широкого содержания создается очень простыми средствами. Выше мы встретились со словом «пред-определение». Достаточно было разбить дефисом знакомое слово, чтобы оно обрело остроту, стало вызывать размышления, оказалось способным принять новую смысловую нагрузку. Вообще в пользовании неологизмами В. Библер проявляет и смелость и разумную осторожность. Мне кажется, это связано с методом и содержанием анализирующей мысли. Если характеризовать ее критериями Эйнштейна — внешним оправданием и внутренним совершенством, — то первому критерию соответствует новизна материала, привлеченного для подтверждения основного тезиса, широкая миграция понятий и терминов из одной области в другую, где они подчас оказываются неологизмами. Осторожность в пользовании неологизмами сочетается с удачным употреблением устоявшихся терминов, выражающих наиболее общие принципы; она препятствует вторжению специально, ad hoc введенных дополнительных концепций, способствует внутреннему совершенству.

Нужно ли прибавить к сказанному собственнo-оценочные суждения типа: «книга «заполняет пробел...», «будет с пользой прочитана...» и так далее? Вероятно, они не нужны. Ценность философского, историко-

философского; историко-научного исследования измеряется интензивностью сдвигов в содержании и значении имеющихся понятий и в широте и общности этих модифицированных понятий. В данном случае речь

идет о зазвучавших совсем по-новому фундаментальных понятиях теории и истории познания и культуры.

Б. КУЗНЕЦОВ.



ИСКУССТВО СИНТЕЗА

Синтез искусств и архитектура общественных зданий.
Сборник статей. М. «Советский художник». 1974. 275 стр.

Во все времена сотрудничество муз способствовало лучшему решению задач, которые вставали перед архитектурой. Но возможен ли такой синтез в наш динамичный век, когда домопроизводство поставлено на поток и даже уникальные общественные здания возводятся из стандартных строительных деталей?

Оказывается, возможен. Более того, когда в период перехода на типовое проектирование однообразие угрожало захлестнуть все и вся, монументальное искусство вкуче с новаторской планировкой и ландшафтной архитектурой помогло зодчеству спастись от этой беды.

Виднейшие архитекторы нашего века и в своих теоретических изысканиях и в творческой практике отводили синтезу искусств очень важную роль. В этой связи хочется вспомнить работы академика И. А. Фокина, братьев Весниных, творчество выдающихся зарубежных мастеров Ле Корбюзье, Оскара Нимейера, Алвара Аалто. Впрочем, даже те, кто отказывал архитектуре в праве считаться полноправным искусством, признавали благотворность союза зодчества с монументальными видами искусств.

Разумеется, синтез — это не способ улучшения плохой архитектуры: уродливое здание не спасешь никаким «довеском» (как, впрочем, и плохая живопись не нанесет серьезного ущерба выразительному архитектурному объему): Таковы исходные позиции, таков символ веры авторов рецензируемого сборника, подготовленного Институтом истории искусств и выпущенного издательством «Советский художник».

Авторы избрали предметом своего исследования синтез архитектуры, монументального, прикладного и станкового искусства, а также других компонентов, составляющих жизненную среду. Актуальность этой проблемы вряд ли вызовет у кого-либо сомнения.

Современная научно-техническая революция, с которой связан интенсивный процесс

урбанизации, внесла серьезные качественные сдвиги в казавшиеся незыблемыми принципы формирования городских структур. Существенные преобразования претерпела и собственно архитектурная форма — первоэлемент города. Наконец, богаче и разнообразнее стали материалы, которыми сегодня располагает зодчий.

Все это, естественно, не могло не внести изменений и в устоявшиеся представления о путях и возможностях синтеза искусств, о роли такого союза на качественно новом этапе градостроительства.

«Сложность ситуации, — пишет доктор искусствоведения О. Швидковский, — состоит в том, что традиционные композиционные приемы, основанные на периметральной застройке кварталов, на системе симметричных осей и уравновешенных объемов, на четкой масштабной и художественной соподчиненности жилой застройки общественным зданиям, центра — комплексам, расположенным на периферии городов, и на других классицистических принципах, ушли в прошлое, а новые принципы композиции все еще не сформировались в устойчивую закономерную и филигранную в своей завершенности художественную систему».

В сложившихся условиях проектировщик, задающий основные объемно-пространственные композиции, зачастую сталкивается с целым клубком проблем, разобраться в котором очень нелегко. Авторы сборника понимают, что предлагаемые в книге варианты решения многих из них еще не в состоянии обеспечить зодчего надежными рецептами «на все случаи жизни». Задача, которую они поставили перед собой, значительно скромнее — коснуться лишь некоторых аспектов проблемы, вынесенной в название книги, обобщить накопленный за последние десятилетия опыт.

В процессе освоения современных концепций градостроительства и открытия современных закономерностей, на основе которых формируется художественный образ горо-

да, наряду с неизбежными издержками были и интересные обретения. И авторы сборника — искусствоведы, известные мастера зодчества, художники-монументалисты — дают глубокий анализ сложившейся ситуации.

В книге исследуется широкий круг вопросов — связь монументально-декоративного искусства с архитектурой здания, роль элементов природы в интерьере и многие другие.

Нынешняя ситуация ставит перед архитектором и художником более сложные задачи, чем те, которые приходилось решать несколько десятилетий назад. Ведь раньше каждый из них создавал работы, воспроизводившиеся лишь единожды, — обстоятельство, расковывавшее фантазию. Сегодня зодчий ограничен жесткими рамками каталога изделий строительной индустрии. Означает ли это наступление кризиса? Опыт лучших мастеров отвергает такое допущение.

«Высокоиндустриальное строительное производство является активным стилиобразующим фактором, — утверждает доктор архитектуры А. Полянский, руководитель авторского коллектива комплекса Нового Артека, — оно ведет к выработке общих устойчивых стиливых черт, присущих разным типам зданий при обеспечении в пределах этой общности функционального и эстетического (разрядка моя. — *И. Д.*) разнообразия».

Разработанный под руководством А. Полянского метод позволил найти интересные архитектурно-художественные решения отдельных сооружений, составляющих комплекс Нового Артека, широко использовать произведения монументального и прикладного искусства, а также необычные ландшафтно-топографические условия местности.

Очевидно, есть необходимость подчеркнуть особо ту мысль, что и в случае с комплексом Нового Артека и во всех остальных случаях, о которых говорится в сборнике, речь идет о совместных и синхронных творческих поисках, начинающихся на стадии архитектурного проектирования. О содружестве равноправных партнеров, чьими общими усилиями создавался архитектурно-художественный образ здания.

Это далеко не лишнее уточнение. Большинство досадных просчетов в зодчестве связано с утверждением в творческой практике ушербного принципа приоритета архитектора над художником, «обеспечива-

ние» здания начинается после его сооружения.

Помещенный в прокрустово ложе свободных плоскостей (случайно оказавшихся свободными), монументалист располагает в этом случае минимальным числом «степеней свободы» и вынужден предлагать небольшие вставки там, где могло оказаться крупномасштабное полотно, составляющее часть комплексного пространственного решения.

Многочисленны и такие примеры, когда вначале строится здание и лишь затем начинается размышление о том, как «украсить его малыми архитектурными формами». Все это, естественно, оборачивается неорганичностью, чужеродностью такого смещенного во времени эстетического «обустройства».

В идеальном же случае, когда между зодчим и художником достигается гармония, живопись может подчинять себе отдельные архитектурные элементы, служить своеобразным «масштабным модулем» интерьера и даже всего объема. Очень обстоятельный анализ многих работ такого рода приведен в статье искусствоведа И. Воейковой «Монументальное искусство и современные проблемы синтеза», в которой, кроме всего прочего, сделан интересный исторический экскурс в рассматриваемую проблему.

Думается, не менее полезной для практиков окажется и статья художника Н. Гаркуши, исследующего на большом числе примеров многообразие приемов размещения монументально-декоративного рельефа в современной архитектуре.

Говоря о роли синтеза в архитектуре, нельзя не отметить довольно опасного для развития истинного искусства стилизаторства, ставшего, к сожалению, сегодня модным поветрием. Сейчас уже, пожалуй, трудно установить, где впервые в нашей стране было решено реставрировать старую мельницу, используя ее под ресторан, в котором вкусные блюда подают под «соусом» экзотической старины. Споры нет, очень хорошо, что прошлое так удачно «работает» на современность. Но когда избы или ветряки начинают проектировать и строить вновь, когда они воспроизводятся большим тиражом, они превращаются в своего рода штампы.

Недаром профессор Ю. Яралов, исследующий проблему национальных традиций в архитектуре общественных зданий, предупреждает: нельзя постоянно занимать у

прошлого. Это может привести к художественной и моральной девальвации, страшной для современного искусства. Ведь стилизовать значит расписаться в собственной беспомощности, признать отсутствие собственных творческих концепций, образов и форм, продиктованных современностью.

Нельзя не сказать несколько слов еще об одной стороне затронутой проблемы. Сегодня «география» интересных свершений в области синтеза искусств в архитектуре имеет прискорбно опасный «перекос». Большинство заслуживающих внимания работ, как видно из рецензируемого сборника, создано западнее Урала — в Центре, Закавказье, Прибалтике. Радостное исключение составляет, пожалуй, только Ташкент, но на его площадке явили свое градостроительное искусство зодчие всего Союза.

Восток страны сегодня представляет собой гигантскую стройку. Однако интенсивная урбанизация, к сожалению, проходит здесь не всегда гладко в градостроительном отношении. Архитектурно-художественный облик вновь возводимых и реконструируемых городов еще далек от желанного совершенства. А строить некрасивые города в наши дни просто непроизволительно.

На торном пути «вхождения» в новую эстетику градостроительства каждая работа, обобщающая интересный опыт, может сослужить добрую службу. Думается, ее сослужит и сборник «Синтез искусств и архитектура общественных зданий».

И. ДРЕЙЦЕР.

Кемерово.



КУЛЬТУРА СИБИРИ ЗА ДВА ВЕКА

А. Н. Копылов. Очерки культурной жизни Сибири XVII — начала XIX в. Новосибирск. «Наука». 1974. 252 стр.

Четыре важнейших аспекта духовной культуры представлены в книге — просвещение, архитектура, живопись, театр. Исследование проводилось под углом зрения историка. В центре внимания автора — роль и место Сибири в общероссийском историко-культурном процессе. Если в начале исследуемого периода определяющим выступал процесс приспособления переселенцев к условиям нового края, то конец (рубеж: XVIII—XIX веков) характерен, по мнению А. Копылова, взаимодействием различных потоков русской культуры с культурами аборигенов края, ростом и активизацией в культурной жизни Сибири русских старожилов.

Автор внимательно изучил обширнейшую литературу по исследуемому вопросу и заставил заговорить сотни и сотни документов центральных и местных архивов. Он исследовал множество фактов, свидетельств, получавших в ряде случаев искаженное толкование, сопоставил, просеял их через сито научного анализа, для того чтобы нарисовать широкую, насыщенную массой интересных деталей картину культурной жизни сибиряков за двухвековую историю. Как исследователь А. Копылов ничего не берет на веру. Каждый приведенный им факт имеет твердую документальную основу.

Собран, обобщен, осмыслен огромный материал. Автор выполнил, по сути дела, работу «целого муравейника». Книга хорошо иллюстрирована чертежами, рисунками, гравюрами, акварелями.

Четыре отрасли культуры, рассматриваемые в книге, разумеется, не исчерпывают всех аспектов культурно-исторического процесса, но, безусловно, вбирают непосредственно или опосредованно все самое главное и существенно его характеризующее. И, что самое важное, вплотную подводят к важнейшему пласту этого процесса — истории общественной мысли сибиряков. К тому же в ряде случаев логика изложения побуждала автора исследовать сюжеты, непосредственно характеризующие общественную мысль. Закономерно, что особенно пристальное внимание обращено при этом на вопросы просвещения. Документы убедительно свидетельствуют, что обучение у частных «мастеров грамоты», как и в европейской части страны, в Сибири началось раньше школьного обучения. Это подтверждается и многочисленными коллективными челобитными, имеющими подписи людей самых разных социальных слоев.

Интересны изыскания о начале работы первой сибирской школы в начале 1702 года в Тобольске. Эта светская школа была и

одной из первых в России, а по составу учащихся, кругу изучаемых предметов превосходила цифирные и гарнизонные училища. Видное место в культурной жизни Сибири играли Иркутская и Тобольская семинарии, обеспечивавшие грамотными кадрами гражданские учреждения и учебные заведения, а также открытые в 40—60-х годах XVIII века камчатские и якутские миссионерские школы.

В подготовке мореплавателей и геодезистов значительное место занимают созданные в середине XVIII века Иркутская и Томская, Нерчинская и Тобольская навигацционные и геодезические школы. В связи со строительством металлургических заводов и горных рудников на Алтае и в Забайкалье открываются горнозаводские школы. С открытием в конце 80-х — начале 90-х годов XVIII века народных школ социальные рамки школьного обучения расширились за счет торгово-ремесленного населения.

Лишь в первой четверти XIX века доступ к образованию получили сибирские крестьяне. В отличие от европейской части страны начало школьному просвещению в Сибири положили не духовные школы, а светские — типа цифирных. К концу XVIII века в Сибири имелось около 30 духовных и более 30 светских учебных заведений. Общий вывод сводится к тому, что «грамотность русского населения Сибири на протяжении всего изучаемого периода с начала колонизации края была не ниже общероссийского уровня».

Сибирская гражданская деревянная архитектура XVII века характеризовалась простотой и строгостью, что обусловлено суровостью природных условий и отсутствием в Сибири дворцовых ансамблей ввиду неразвитости помещичьего землевладения. В декоративном убранстве русской избы в Сибири основное внимание обращалось на обработку наличников и роспись оконных ставней, а внутри избы — на роспись печка, потолка и дверей. Учитывая климатические особенности края, в частности снежные заносы, сибиряки строили высокие крыши, утепленные стены и потолки.

При художественной отделке культовых строений широко использовались такие элементы, как лемех, бочки, маковицы, шатры, а жилых помещений — коньки.

Автор изучил и проследил эволюцию и особенности ранней острожной архитектуры в Сибири — от тынового острога к двухчастному рубленому городу.

В массовой застройке даже крупных городов господствовало дерево. Одним из первых каменных строений был Софийский двор в Тобольске (80—90-е годы XVIII века). Первые каменные частные дома появляются в Сибири в 60-х годах XVIII века — купеческие дома в Тобольске. К началу XIX века в Сибири в 23 пунктах насчитывалось 222 каменных постройки, из которых половину составляли культовые. С началом каменного строительства сибирские зодчие, творчески используя образцы украинской, московской и петербургской архитектуры, формы и детали русского северного деревянного зодчества, элементы художественной культуры нерусских народов края, создают ряд оригинальных сооружений в стиле сибирского барокко. Сибирское барокко с его великолепным узорочьем, сочетанием древнерусских форм с украинской яркостью и элементами орнаментики аборигенов края, по наблюдению А. Копылова, достигло наивысшего расцвета во второй половине XVIII века в Иркутске. В градостроительной практике Сибири раньше, чем в центре страны, появились элементы регулярности, особенно при строительстве горнозаводских поселков. Но господствующим оставался принцип свободной планировки.

Интересны данные, приведенные А. Копыловым о социальном составе сибирских градостроителей — мастеровых, архитекторов. Автор проследживает влияние Петербурга в конце XVIII — начале XIX века на архитектурный облик Иркутска, Тобольска, Томска и особенно Барнаула, где работали зодчие, учившиеся в Петербургской академии художеств.

Изобразительное искусство в быту первых русских поселенцев Сибири представлено преимущественно иконами. Русская живопись в Сибири дольше, чем в европейской части России, развивалась в рамках иконописи. Но сибиряки имели представление и о живописи светского характера. Для эволюции художественных запросов сибиряков и ускорения формирования светского направления в русском изобразительном искусстве Сибири, подчеркивает А. Копылов, большое значение имели тесные экономические и культурные связи края с европейской частью страны. Уже с конца XVII века в Сибири можно было встретить парсуны, виды русских городов и монастырей, а в XVIII веке — произведения батальной, портретной, исторической и пейзажной живописи русских и западноевропейских мастеров.

История живописи насыщена борьбой между церковным догматизмом и творческим видением художника. К тому же иконописцы, как правило, выполняли и сугубо светские функции. Все это привело в конечном счете к кризису церковной и торжеству светской живописи.

Из произведений этого характера (XVII — начало XIX века) до наших дней сохранились немногие. Частые в Сибири пожары погребли большинство произведений ранней живописи. Автор дает анализ произведений на основе архивных источников и записок современников, приводит неизвестные ранее данные о деятельности отдельных сибирских художников.

Одним из значительных аспектов духовной культуры Сибири предстает сибирский театр, его становление, репертуар, состав работников творческих профессий и т. д. Театральная культура русского населения Сибири, имея общие генетические корни с театром европейской России, развивалась в аналогичных с ним формах и проходила те же этапы становления и развития: народные игрища и скоморошья представления, церковно-школьный и кукольный театр с элементами бытовой комедии, народная драма, любительский, полупрофессиональный и, наконец, профессиональный светский театр. В 1750 году Ф. Г. Волков открыл в Ярославле первый в России провинциальный светский театр. А второй провинциальный театр открылся в 1764 году в Омске. Позднее родились театры в Иркутске, Барнауле, Тобольске. До сих пор все исследователи, упоминая о существовании театра в Тобольске, опирались на единственную фразу А. Н. Радищева о его посещении театра в 1791 году. Автор обнаружил уникальные по своей значимости документы, позволяющие серьезно расширить наши представления о жизни тобольского театра. Видная роль в его истории принадлежит отцу композитора А. В. Алябеву; правителю тобольского наместничества в 1787—1795 годах. При его активном участии была сформирована актерская труппа; построено специальное здание.

Исследуя репертуар, впервые им выявленный, А. Копылов подчеркивает, что в распространении драматических и музыкальных пьес активную роль играла издательская деятельность русских просветителей, в том числе и тобольских купцов Корнильевых.

В сибирских театрах с успехом шли комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» и пьесы Я. Б. Княжнина, оперы «Мельник — козлун, обманщик и сват», «Сбитенщик» и первая русская комическая опера «Анюта». До самого последнего времени в литературе общепризнанным являлось мнение о том, что театр в Сибири был развит слабо. Исследования А. Копылова показывают, что на самом деле в Сибири в это время действовало несколько театров с достаточно высоким профессиональным уровнем, а разнообразный репертуар тобольского и иркутского театров составлялся по преимуществу из пьес прогрессивного направления. Причем эти пьесы ставились почти одновременно со столичными театрами. Приведенный автором материал показывает, что роль провинциального театра в общественной жизни России того времени была несравненно выше, чем до сих пор представлялась исследователям.

Вполне доказан тезис о том, что отсутствие в Сибири помещичьих латифундий и относительная свобода населения в выборе занятий обусловили более демократический, чем в европейской части, состав работников творческих профессий, «благодаря чему демократическая культура оказывала в Сибири существенное влияние на официальную господствующую культуру».

Автор справедливо подчеркивает, подводя итог, что «культура русского населения Сибири формировалась и развивалась в ходе заселения и хозяйственного освоения края, на базе исторического опыта и традиций как органически неразрывная составная часть общерусской культуры». Это совсем не исключало выработку местных региональных особенностей, внимательно выявленных и проанализированных автором.

В целом исследование А. Копылова, рассматривающее в историческом плане развитие основных направлений культуры на обширной территории Сибири на протяжении длительного периода времени, вносит существенный вклад не только в сибирскую историографию, но и в разработку культурно-исторического процесса феодальной России. Эта книга, думается, заинтересует широкий круг читателей, не только специалистов, но и всех, кому дорога каждая новая страница истории русской культуры.

Ю. КУРСКОВ,

кандидат исторических наук.

КОРОТКО О КНИГАХ

САДРИДДИН АЙНИ. Собрание сочинений в шести томах. Перевод с таджикского. М. «Художественная литература». 1971—1975 гг.

«В течение своей жизни я написал немало книг, и все они были посвящены одной теме, сложены из одного и того жизненного материала. Все это книги о таджиках и Таджикистане, о моей горной стране, приподнятой над миром острыми пиками Памира, о родной земле, которую в прошлом топтали бесчисленные орды завоевателей, о сыне этой земли, которую в VIII веке нашей эры нарекли именем «таджик»...» — так определил устод Садриддин Айни суть и идею своего творчества в статье «Судьба одного народа», написанной в 1951 году.

И в самом деле, Айни является таким представителем таджикской советской литературы, в произведениях которого ярко отражена история таджикского народа, его борьбы за независимость и равноправие. Герои исторических очерков Айни «Восстание Муканы», «Герой таджикского народа Тимурмалик» и других — выходцы из народных низов, неустанно приближавшие светлое завтра родной земли.

Айни был не только несравненным знатком истории таджикского народа, его культуры, но и выдающимся художником слова, что сделало его уважаемым народом писателем, устодом («устод» означает по-таджикски мастер, учитель).

Продолжая богатейшую традицию всемирно известных поэтов Востока — Рудаки, Фирдоуси, Хафиза, Саади, Хайяма, Абу Али ибн Сины, — Айни овладел таким могучим орудием художественного постижения жизни, как метод социалистического реализма. Вооруженный этим методом, Айни глубоко вскрыл подлинные причины народных страданий в долгие века засилия феодалов и развернул широкую картину социальных перемен в родном краю.

Новое издание Садриддина Айни знакомит любителей литературы с наиболее значительными повестями, романами, рассказами, очерками и стихотворениями устода. Здесь и романы «Дохунда», «Рабы», повести «Одина», «Смерть ростовщика», «Ятим», рассказывающие о тяжелом прошлом таджиков, о борьбе лучших сынов народа за свободу, за установление советской власти в Таджикистане.

Знакомясь с очерками и автобиографическими произведениями Айни, можно наглядно убедиться, с каким духовным подъемом он участвовал в организации и выпуске первых советских периодических изданий для таджиков — «Пламя революции», «Голос таджика», какое активное участие принимал в грандиозных преобразованиях, развернувшихся на обновленной революцией родной земле.

Вспоминая о романе «Рабы», Айни как-то заметил: «Мне было легко писать эту трудную книгу, ибо я достаточно хорошо помню рабство, помню, как в доме раба рождались маленькие рабы и как их мать-рабыня покорно принимала удары судьбы...»

Да, именно богатый жизненный опыт дал Айни возможность столь ярко и правдиво отразить в своих произведениях судьбу родного народа.

В основе написанного Айни чаще всего — реальный исторический факт, что сообщает его произведениям как художественную, так и историческую значимость.

Выход шеститомного собрания сочинений нельзя не приветствовать как одно из наглядных подтверждений широкого общественного интереса к творчеству этого замечательного писателя. Айни и сегодня живет с нами в своих бессмертных произведениях.

Ибрагим Усмонов.

Душанбе.



А. С. БУШМИН. Преемственность в развитии литературы. Л. «Наука». 1975. 159 стр.

Проблема литературной преемственности рассматривается А. Бушминым в широком контексте развития культуры в целом и анализируется на разных уровнях: идеологическом, философском, теоретико-литературном.

А. Бушминым точно найден методологический ориентир исследования: ленинский анализ соотношения революции и культурного наследия. Опираясь на учение В. И. Ленина о преемственности в развитии культуры, Бушмин опровергает концепцию полной повторяемости и противоположную ей концепцию, отрицающую всякую повторяемость в общественном (и, в частности, художественном) развитии, и

приходит к выводу, что без применения критерия повторяемости к литературе «невозможно научное постижение генерализирующих тенденций, пробивающих себе дорогу в бесконечном многообразии индивидуальных явлений». Успехи типологического изучения литературы, особенно заметные в последние годы, подтверждают справедливость этого вывода.

Центральное место занимают в книге размышления автора о путях исследования межнациональных литературных связей, о соотношениях и взаимодействиях литературных этапов и направлений, а также линий преемственности, идущих от писателя к писателю, от произведения к произведению.

Принципиальны суждения А. Бушмина о предпосылках влияния литературы одной страны на литературу другой. Ученый вносит существенную поправку в общепризнанное определение Г. В. Плеханова, согласно которому взаимовлияние литератур разных стран прямо пропорционально сходству общественных отношений и общественного быта этих стран. По мысли А. Бушмина, «плехановская формула не может объяснить результат влияния, который определяется не сходством, а именно различием литератур, испытывающих взаимное влияние». «Диалектика связи сходства и различия, — отмечает автор, — их совместной роли еще недостаточно освоена нами в методике исследования литературных связей. Мы сосредоточиваемся преимущественно на выявлении моментов сходства, облегчающих сближение литератур, оставляя в тени различия, определяющие результативность взаимодействия литератур». Настоячивый акцент на различии представляется верным и плодотворным. Исследователь иллюстрирует свою мысль на примере взаимоотношений восточнославянских литератур, а также русской литературы с младописьменными литературами народов СССР.

В книге Бушмина содержится подробный и точный критический анализ ряда работ, трактующих проблему преемственности. Однако досадно недостаточное внимание автора к положительному опыту в этой области. Если для подобной беглости взгляда были известные основания в прежних выступлениях ученого по данному вопросу, где характер и объем материала определялся иной задачей и рамками жанра (статьи, доклады, главы в многопроблемной монографии), то теперь в специальной книге о проблемах преемственности мы вправе ожидать суждений Бушмина и об успехах на этом участке науки.

Главный итог исследования А. Бушмина — в утверждении большей сложности, неоднозначности, противоречивости соотношения традиционного и новаторского начал в художественном творчестве. «Взаимодействие унаследованного и личного оказывается настолько сложным и взаимопроницающим, — пишет Бушмин, — что ответить на вопрос: что принадлежит традиции и что автору? — всегда бывает трудно, и тем труднее, чем крупнее художник, чем мощнее

его творческая сила». «Новаторство писателя — это совокупный результат действительного проявления его таланта, жизненного опыта, заинтересованного отношения к запросам своего времени, высокой общей культуры и, конечно, профессионального мастерства, основанного на знании художественных образцов». Диалектическая связь категорий традиции и новаторства убедительно раскрыта Бушминым во всей сложности их борьбы и взаимных переходов.

Ю. Борисов.

Саратов.



А. НЕЖНЫЙ. Дни счастливых открытий.
М. Политиздат. 1975. 159 стр.

Газетчики нечасто возвращаются в места, где уже бывали, к тем людям, о которых уже напечатали когда-то очерк или корреспонденцию. Такова специфика работы — читателям постоянно нужно новое.

В силу этого иные книги, написанные журналистами, сродни фотографии. Человек запечатлен лишь в момент съемки, разглядеть же сложную динамику характера, его многомерность нельзя.

Связь Александра Нежного со своими героями тесная и постоянная, она не обрывается в день окончания командировки. Встречаясь вновь и вновь с пришедшими к нему по душе людьми, журналист становится свидетелем, а порой и участником многих их дел, наблюдает, как меняются характеры, судьбы, как люди борются, терпят жестокие неудачи, побеждают. И потому портреты героев приобретают цвета времени, объемность.

Александр Нежный, исследуя человеческий характер и человеческую судьбу, старается открывать самую суть той или иной натуры, внутренние мотивы слов, поступков.

Вот один из героев книги — строитель Каракумского канала инженер Константин Евгеньевич Церетели. Лауреат Ленинской премии, самый уважаемый человек на гигантской стройке. Решительный, смелый, умеющий руководить тысячами людей. Но журналист увидел и другого Церетели. Оказывается, инженер по натуре своей аскет. Живет много лет один, без семьи, отгородив себя даже от обычных скромных человеческих радостей: в кино почти не бывает и телевизор почти не смотрит, в доме его всегда пусто — в гости к нему не ходят, вне работы это неразговорчивый, замкнутый человек.

Рассказывая о Церетели, автор книги убеждает нас: нет, инженера нельзя судить по привычным меркам. Ибо он всю жизнь свою, а не только рабочие часы посвятил каналу. И в том, что строители опережают плановые сроки, что вода, которую ждали в пустыне не скоро, уже поит хлопковые поля и фруктовые сады, есть и его немалая заслуга.

Не побоялся автор представить в «невыгодном свете» и московского токаря-изобре-

татея Моисеева. На заводе его не очень-то любят: трудный человек, неуживчивый, с людьми сходитя туго. И вообще чужак. Но чужак этот изобрел «Мечту» — универсальный патрон для фрезерных станков, и сегодня все фрезеровщики страны благодаря «Мечте» стали работать быстрее, производительнее. У Моисеева десяток авторских свидетельств. Это человек редких способностей, идущий к задуманной цели всегда напрямик. А что касается его «чужачества», то с ними надо считаться, призывает автор людей завода. Ибо Моисеев неуживчив по большей части с теми, кто хочет заставить его трудиться по шаблону, кто мешает ему работать над новыми изобретениями.

Чем-то похож на Церетели, на Моисеева архитектор Александр Иванович Шипков. Он упорно добивается осуществления своего проекта — дома-комплекса для жителей Севера. Он тоже человек неуживчивый, не легкий в общении. Но проект его действительно интересный и нужный. Это новое слово в архитектуре, в северном градостроительстве. И Шипков хочет построить комплекс не ради личной славы, а ради общественной пользы, ради тружеников Заполярья.

Герои книги А. Нежного — люди весьма противоречивых, трудных характеров, сложных судеб — с резкими падениями, но и с резкими взлетами. При всей несхожести возрастов и профессий их роднит влюбленность в свое дело, которое для них — смысл жизни.

Ю. Скворцов.



НА СУШЕ И НА МОРЕ. Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. М. «Мысль». 1974. 415 стр.

Альманах «На суше и на море» издается вот уже пятнадцать лет и давно привлек к себе внимание читателей, интересующихся описанием дальних стран, тех, кто любит приключения, путешествия, фантастику.

Случайно на ноже карманном
Найдешь пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман... —

писал А. Блок.

И хотя мы практически ежедневно перевариваем груды информации об этих самых «дальних странах» при помощи газет, телевидения, кинохроники, волшебная «пылинка», способная разбудить воображение, присутствует там далеко не всегда. Большинство же публикаций альманаха будит воображение читателя, и он по-новому ощущает огромность мира, в котором живет.

Очерки и рассказы переносят нас на Кубу, на Памир, в джунгли острова Калимантан, на траулер, промысляющий в Охотском море.

В очередном выпуске читатель найдет главы из книги известного польского путешественника и натуралиста А. Фидлера, очерк В. Гребенникова «Мелитобния задает загадку», политически заостренный очерк о Японии журналиста Л. Лебедева, «Балладу о рыбаках» А. Онегова, рассказ о республике Заир Ю. Фельчукова «Акула-каракула», сообщение о необычных образцах лунной породы, доставленных экипажем «Аполлона-17», повесть о судьбе снаряженной Петром I экспедиции в Хиву и многие другие интересные работы писателей, журналистов, ученых.

И все же главное достоинство альманаха не в его чисто «географической познавательности». В конце концов, есть немало источников, из которых можно почерпнуть обширнейшие сведения, скажем, о джунглях бассейна Амазонки. Но вот перед нами очерк И. Фесуненко «Там, где пройдет Трансамазоника» — репортаж с огромной стройки. Живое свидетельство об одном из тех свершений, которые меняют лицо планеты, жизнь аборигенов — но в лучшую ли сторону?.. Советский журналист видит каждодневный подвиг индейцев матейрос, вступающих в непролазные тропические заросли; он восхищен их героизмом, но видит и другое: «Шестьдесят долларов в месяц. За двенадцатичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю. Без суббот и воскресений. Без праздников и выходных дней...»

Многие авторы альманаха — путешественники, исследователи, географы. Они, так сказать, профессиональные искатели приключений, любители экзотики. Но они отлично видят и «экзотику» капиталистических общественных отношений.

Размышления о различных сторонах человеческой жизни, о людских характерах мы находим в большинстве публикаций альманаха. Хочется отметить небольшой рассказ Н. Болотникова «Остров Филоктимона». Ночь опустилась на палубу судна, идущего вдоль экватора к Зеленому мысу. Поморонец рассказывает о своем земляке деде Филоктимоне, всю жизнь прожившем в глубине бора на берегу озера. Так уж сложилась судьба, а мечтал-то он о дальних плаваниях, об открытиях... И вот сам он «построил» остров на отдели озеро: много дятел возил валуны, потом песок, землю...

«А за ради чего ты, брат Филоктимон, стараешься? А для чего, спрашивается, создал бог землю? И сам себе отвечаю: для радости всего сущего, так ведь?.. Почнет птица на острове моем гнездо вить, в безопасности птенцов выводить, значит, вынолю я урок жизни своей, а не только душу потешу, что открыл, мол, остров...»

С первооткрывателями, с исследователями новых земель, с людьми, которые привыкли быть один на один с природой, знакомит нас каждый новый выпуск альманаха «На суше и на море».

Ан. Пирожков.



Г. Б. ФЕДОРОВ, Г. Ф. ЧЕБОТАРЕНКО.
Памятники древних славян (VI—XIII вв.).
Кишинев, «Штинца», 1974. 134 стр.

В последнее время становится все более заметным рост читательского интереса к работам по истории. Даже такие отнюдь не предназначенные для «легкого чтения» книги, как «Археология Западной Европы» А. Л. Монгайта или ежегодники «Археологические открытия» издательства «Наука», раскупаются в считанные дни. Думается, читатель, полюбивший литературу такого рода, с интересом познакомится и с книгой Г. Федорова и Г. Чеботаренко «Памятники древних славян (VI—XIII вв.)», вышедшей в серии «Археологическая карта Молдавской ССР», хотя и здесь нет ни одного из тех внешних признаков, по которым издания привычно относятся к разряду общедоступных. Шесть с половиной страниц введения — и далее строгое описание раскопок, городищ, отдельных памятников. Прямо скажем, утверждать, что нам подарили захватывающее чтение, довольно трудно. Зато работа Г. Федорова и Г. Чеботаренко дает, как и все другие выпуски этой серии, в сконцентрированном виде огромное количество новой информации.

В Большой энциклопедии, вышедшей в начале века, об истории Молдавии сказано буквально следующее: «Из мрака преданий история Молдавии выступает лишь с Александром I (1401)...»

Книга Г. Федорова и Г. Чеботаренко подводит итог четвертьвековой (каждодневной, кропотливой, зачастую просто физически тяжелой) работы большого коллектива исследователей. Читатель видит развернутую во времени и пространстве панораму исторических будней молдавской земли, составленную из тысяч и тысяч в большинстве своем неприметных стороннему глазу находок: осколков керамики, обломков ножей, следов землянок... Перед нами будни восьми веков того витка славянской истории, который еще вчера был скрыт «мраком преданий».

Первые славянские поселения (небольшие, без укреплений, в которых еще не выделялись специализированные ремесла и отсутствуют товарные отношения) возникают на территории Молдавии в VI—VII веках. Они, как видно из карты-схемы, прижимаются к излучинам и притокам Прута и Днестра. Этих поселений немного — тридцать девять, — и держатся они кучно, гнездами. Зато в последующие два столетия их число увеличивается до девяноста трех. Находки, отнесенные к концу IX века, говорят, что в то время в степной части Молдавии появилась и стала господствовать так называемая

мая балкано-дунайская, или южнославянская, культура. В XI веке следы ее в Молдавии исчезают под натиском тюркских кочевников. Но в центре и на севере Молдавии продолжалось развитие восточнославянской культуры. Выделились и стали мощно развиваться ремесла — археологи насчитали более десяти специализированных производств: гончарное, ювелирное, оружейное, металлургическое и так далее. Многие поселения приняли вид типичных раннесредневековых городов, в некоторых из них обитало до четырех-пяти тысяч человек. Эти города в политическом и военном отношении были теснейшим образом связаны со всей Русью, являясь юго-западным форпостом древнерусского государства. Татаро-монгольское нашествие привело к запустению большинства древнерусских городов молдавской лесостепи.

Такова вкратце «фабула» этой книги, цель и смысл которой по замыслу самих авторов — дать конкретные факты и на их основе сформулировать конкретно-исторические выводы.

Но разве исторический факт когда-нибудь исчерпывался утилитарным толкованием?

...«Екимяуцкое (Резинский район) городище. В 1952 году обнаружены два погребения... Оба погребенных, видимо, принадлежали к древнерусскому населению городища. Оба скончались в период сооружения вала и были погребены... не по правилам христианского обряда... Труны умерших были положены на площадке, сnivelированной для сооружения вала, поверх них был насыпан вал».

И мгновенно эти безымянные погребения в основании городищенского вала — крепостной стены — оказываются связанными в сознании с дошедшим до наших дней обычаем хоронить павших воинов у подножья городских — кремлевских — стен. И нельзя уже не вспомнить, что такой же обычай едва ли не повсеместно был распространен и у других древних народов.

Так вначале одной лишь точкой появляется ощущение личного единения с историей всех живущих. И разум уже не может не искать других подобных точек. Так история с ростом знания из энциклопедического свода фактов начинает все больше и больше ощущаться как личное прошлое. А «припоминая» это «свое» прошлое, читатель уже не может довольствоваться лишь общими, предписанными традициями умозаключениями, но ищет точные и четкие факты для последующего осмысления. На наш взгляд, книга Г. Федорова и Г. Чеботаренко тем и интересна для непрофессионального читателя, что она будит целую цепь ассоциаций, заставляет задуматься о многих эпизодах истории славянских народов.

В. Левин.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

ПОЛИТИЗДАТ

Ф. Энгельс. Диалектика природы. XVI. 359 стр. Цена 82 к.

А. Абрамов. Часовые поста № 1. Из истории почетного караула у Мавзолея Ленина. Изд. 3-е, дополненное. 95 стр. Цена 19 к.

М. Басманов и Б. Лейбзон. Коммунистический авангард. Проблемы идеологической борьбы. 237 стр. Цена 1 р. 23 к.

В. И. Ленин и ВЧК. Сборник документов 1917—1922 гг. 680 стр. Цена 1 р. 16 к.

Н. Тарасенко. Единый советский народ. («Развитой социализм») 128 стр. Цена 22 к.

В. Шрагин. Чили, Корвалан, борьба. 176 стр. Цена 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Азаров. Неоткрытые острова. Стихи. 128 стр. Цена 34 к.

А. Алдан-Семенов. Красные и белые. Роман. 639 стр. Цена 1 р. 30 к.

Д. Андреев. Ранью заревою. Стихи. Предисловие В. Лидина. 72 стр. Цена 21 к.

Г. Горышкин. Этим летом. Повесть, рассказы и заметки. 295 стр. Цена 63 к.

Р. Достян. Тревога. Повести. 383 стр. Цена 77 к.

А. Западов. В глубине строки. О мастерстве читателя. Издание 2-е, дополненное. 296 стр. Цена 89 к.

Д. Икрами. Поверженный. Роман. Перевод с таджикского. 312 стр. Цена 70 к.

А. Масс. Воробей на снегу. Повесть и рассказы. 224 стр. Цена 32 к.

Т. Молдагалиев. Дума Джигита. Стихи. Перевод с казахского. 126 стр. Цена 32 к.

Л. Плоткин. Даниил Гранин. Очерк творчества. 246 стр. Цена 76 к.

Сарыг-Оол. После ливня. Стихи и поэмы. Перевод с тувинского. 87 стр. Цена 30 к.

Ю. Шелоков. Яснополянский сенокос. Стихи. 103 стр. Цена 28 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Бобинский. Избранное. Стихи. Перевод с украинского. 254 стр. Цена 84 к.

К. Маликов. Стихотворения. Перевод с киргизского. («Библиотека советской поэзии») 174 стр. Цена 52 к.

И. Млечина. Литература и «общество потребления». Западногерманский роман 60-х — начала 70-х гг. («Литература за рубежом XX в.») 239 стр. Цена 72 к.

Ш. Нишнинидзе. Симфония лозы. Стихотворения. Перевод с грузинского. 253 стр. Цена 63 к.

А. Нувас. Лирика. Перевод с арабского С. Шервинского. 221 стр. Цена 37 к.

Сад золотого павлина. Старинная малайская проза. («Классическая проза Востока») 333 стр. Цена 47 к.

О. Сейфеддин. Эфруз-бей. Рассказы. Перевод с турецкого. («Народная библиотека») 284 стр. Цена 37 к.

С. Сергеев-Ценский. Повести и рассказы. В 2-х тт. Т. 1 1902—1912. Предисловие Н. Любимова. 526 стр. Цена 1 р. 9 к.

Г. Цурикова и И. Кузьмичев. Утверждение личности. Очерки о герое современной документально-художественной прозы. 333 стр. Цена 83 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Р. Брэдбери. Рассказы. Перевод с английского. 224 стр. Цена 80 к.

Е. Долматовский. И песни и стих. 158 стр. Цена 68 к.

Л. Завальнюк. Вторые травы. Стихи. 63 стр. Цена 23 к.

А. Листовский. Конармия. Роман. 638 стр. Цена 1 р. 40 к.

Г. Маркес. Недобрый час. Роман и рассказы. 208 стр. Цена 60 к.

Н. Тряпкин. Вечерний звон. Стихи. 112 стр. Цена 40 к.

В. Шаталов и М. Ребров. Люди и космос. 112 стр. Цена 30 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Балин. Затяжной прыжок. Стихи. Предисловие В. Цыбна. 125 стр. Цена 52 к.

А. Волобуев. Отблески неба. Стихи. («Первая книга в столице») 96 стр. Цена 28 к.

А. Газн. Дерево на вершине. Стихи и поэмы. Перевод с даргинского. 95 стр. Цена 43 к.

Н. Гарин-Михайловский. Рассказы. Вступительная статья К. Чуковского. 836 стр. Цена 74 к.

В. Кузнецв. Русло. Книга лирики. («Новинки «Современника») 79 стр. Цена 21 к.

А. Льюров. Таежная баллада. Рассказы и повесть. Перевод с коми. 142 стр. Цена 23 к.

М. Максимов. Соёмбо. Письма в пути. («Наш день») 189 стр. Цена 41 к.

«Наш современник». Избранная проза журнала 1964—1974. Предисловие С. Викулова. 494 стр. Цена 1 р. 2 к.

Б. Ручьев. Любава. Поэма. («Российская поэма») 79 стр. Цена 49 к.

А. Хватов. На страже века. Художественный мир Шолохова. Издание 2-е, дополненное. 478 стр. Цена 1 р. 39 к.

ВОЕНИЗДАТ

Н. Бирюков. Трудная наука побеждать. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. («Военные мемуары») 352 стр. Цена 81 к.

М. Горбунов. За все тебя благодарю. Повести, рассказы. 358 стр. Цена 81 к.

В. Инфантьев. Не ради славы. Дни и годы изобретателя Алексея Давыдова. Роман. 398 стр. Цена 83 к.

В. Петров. Тревожно мерцают экраны. Повести и рассказы. 382 стр. Цена 73 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ф. Балкарова. Ищу тебя, отец. Стихотворения и поэма. Предисловие Г. Левина. 95 стр. Цена 33 к.

П. Димитров-Рудар. Рассказы о Георгии Димитрове. Перевод с болгарского. Предисловие М. Лоцманова и А. Тодорова. 64 стр. Цена 15 к.

Е. Драбкина. Кастальский ключ. Эссе. 126 стр. Цена 38 к.

С. Лукьянов. Жизнь А. С. Голубкиной. Документальная биография. Предисловие С. Коненкова. 78 стр. Цена 44 к.

С. Михайлов. Басни. Предисловие И. Андроникова. 318 стр. Цена 1 р. 36 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Ананьев. Память сердца. («Писатель и время») 80 стр. Цена 11 к.

М. Гавина. Дальняя поездка. Рассказы. Предисловие Ю. Томашевского. 287 стр. Цена 58 к.

Н. Камбулов. На пороге не стоят. Роман. 282 стр. Цена 60 к.

И. Молчанов, Полувековье. Стихотворения. 192 стр. Цена 63 к.

Б. Полевой. Созидателя морей. Из дневников. Зарисовки О. Верейского. 190 стр. Цена 35 к.

«ПРОГРЕСС»

Г. де Бройн. Присуждение премии. Роман. Перевод с немецкого Е. Кацевой. 152 стр. Цена 39 к.

Т. Кайко. Горькое похмелье. Роман. Перевод с японского Б. Раскина. 320 стр. Цена 89 к.

Ж. Кольо и В. Жоанес. Морис Торез — человек, борец. Перевод с французского. 160 стр. Цена 48 к.

Партия и молодежь. Сборник документов. 1971—1973. Перевод с польского. 288 стр. Цена 72 к.

Р. Сабатье. Шведские спички. Роман. Перевод с французского Ю. Жукова и Р. Измайловой. 256 стр. Цена 77 к.

«ИСКУССТВО»

М. Андроникова. Об искусстве портрета. Послесловие И. Зильберштейна. 326 стр. Цена 1 р. 49 к.

Н. Бритова, Н. Лосева и Н. Сидорова. Римский скульптурный портрет. Очерки. 102 стр. Цена 2 р. 27 к.

Восемь бельгийских пьес. Перевод с фламандского и французского. Составитель И. Шкунаева. Послесловие Л. Андреева. 582 стр. Цена 1 р. 67 к.

Б. Вяткин. Жизнь клоуна. 135 стр. Цена 77 к.

Н. А. Добролюбов. Избранное. Вступительная статья У. Гральчика. 439 стр. Цена 2 р. 6 к.

В. Косточкин. Поясом немеркнувшей славы. Мемориалы рубежей Ленинградского фронта. 150 стр. Цена 46 к.

К. Крапива. Драмы и комедии. Автор предисловия Я. Казека. Перевод с белорусского. 576 стр. Цена 1 р. 69 к.

Москва. Памятники архитектуры XVIII — первой трети XIX века. Книга-альбом. В 2-х кн. Книга 1. Вступительная статья М. Ильина. 113 стр. Цена 3 р. 2 к. Книга 2. 355 стр. Цена 12 р. 52 к.

А. Федоров-Давыдов. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. Послесловие Г. Стернина. 739 стр. Цена 3 р. 75 к.

«НАУКА»

Ближневосточная новелла. Арабские страны, Иран, Турция. Перевод с арабского, персидского и турецкого. Предисловие С. Шуйского. Составитель А. Куделин. 214 стр. Цена 60 к.

Буржуазные и мелкобуржуазные экономические теории социализма. Критические очерки. 1917—1945 гг. Коллектив авторов. Общая редакция С. Хавиной. 327 стр. Цена 1 р. 66 к.

В. Виноградов. Избранные труды.— Исследования по русской грамматике. Составители М. Ляпон и Н. Шведова. 559 стр. Цена 3 р. 23 к.

Забавные и назидательные истории армянского народа. Перевод с армянского. Составитель Г. Карапетян. 160 стр. Цена 19 к.

Идейно-эстетические проблемы. Сборник статей 318 стр. Цена 1 р. 54 к.

В. Келдыш. Русский реализм начала XX века. 280 стр. Цена 1 р. 23 к.

А. Леонов и В. Лебедев. Психологические проблемы межпланетного полета. 248 стр. Цена 1 р. 55 к.

Пятая стража. Китайская лирика 30—40-х годов. Перевод с китайского и предисловие Л. Черкасского. 128 стр. Цена 44 к.

Современная советская историко-литературная наука. Актуальные вопросы. Под редакцией Н. Пруцкова. 347 стр. Цена 1 р. 79 к.

«МЫСЛЬ»

В. Афанасьев. Основы философских знаний. 335 стр. Цена 59 к.

В. Власов. Научно-техническая революция в Японии. База, направления, последствия. 192 стр. Цена 64 к.

Г. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. Переводы. («Философское наследие») 695 стр. Цена 2 р. 93 к.

В. Погудин. Путь советского крестьянства к социализму. Историко-географический очерк. 276 стр. Цена 1 р. 16 к.

Ф. Родин. Бурлачество в России. Историко-социологический очерк. 245 стр. Цена 1 р. 29 к.

«ЭКОНОМИКА»

М. Ляпушта. Качество, стимулы, хозрасчет. 183 стр. Цена 60 к.

В. Павленко. Территориальное планирование в СССР. 279 стр. Цена 86 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Е. Коршунова. Международная защита прав женщин. 96 стр. Цена 18 к.

А. Прохоров. К вопросу о советско-китайской границе. 287 стр. Цена 1 р. 27 к.

В. Трухановский. Мирное сосуществование — норма отношений государств с различным общественным строем. («Библиотека международника») 112 стр. Цена 15 к.

ПРОФИЗДАТ

Советские профсоюзы в Великой Отечественной войне. 1941—1945. К 30-летию Победы. Сборник воспоминаний. Составитель И. Белоносов. 239 стр. Цена 69 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ч. Айтматов. Повести и рассказы. Перевод с киргизского. Фрунзе. «Кыргызстан». 620 стр. Цена 1 р. 19 к.

В. Лидин. Окно, открытое в сад. Рассказы 1972—1974 гг. «Московский рабочий». 335 стр. Цена 66 к.

Э. Межелайтис. Человек. Стихи. Перевод с литовского. Вильнюс. «Вага». 116 стр. Цена 94 к.

В. Родин. Весна Михаила Протасова. Повесть и рассказы. Предисловие В. Кольхалова. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 135 стр. Цена 20 к.

С. С. Смирнов. Брестская крепость. («Подвиг») Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 422 стр. Цена 1 р. 21 к.

А. Тимонен. Мирья. Роман. Перевод с финского Т. Сумманена. Петрозаводск. «Карелия». 542 стр. Цена 1 р. 19 к.

А. Удалов. Чаша терпения. Роман в 2-х книгах. Предисловие К. Яшена. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 720 стр. Цена 1 р. 32 к.

И. Фаликов. Месяц гнезд. Лирика. Владивосток. Дальневосточное книжное издательство. 80 стр. Цена 21 к.

В. Харчев. Поэзия и проза Александра Грина. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 256 стр. Цена 1 р. 18 к.

И. Шухов. Пресновские страницы. Повести, рассказы, очерки. Алма-Ата. «Жазушы». 544 стр. Цена 1 р. 16 к.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 29/VII 1975 г.

Объем 18 п. л.

Подписано к печати 12/IX 1975 г.

Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)

A02339.

Тираж 170.000 экз.

Зак. 1542.

Отпечатано с готовых матриц в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 05505.

Цена 70 коп.

70636